



**Иван
Кудинов**

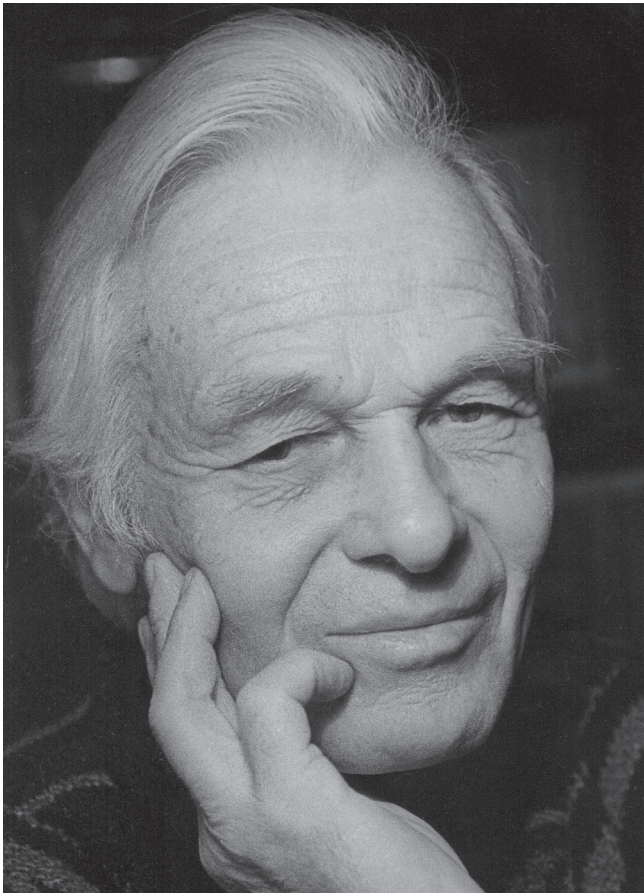
ТОМ ВТОРОЙ







Литературное
наследие
Алтая



В. Кузнецов.

Министерство культуры Алтайского края
Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова

Иван Кудинов

РУССКИЙ ОСТРОВ

История одной жизни

ТОМ ВТОРОЙ

Барнаул · 2022

*Издание подготовлено по заказу и при финансовой поддержке
Правительства Алтайского края
в рамках губернаторского издательского проекта
«Литературное наследие Алтай»*

Редактор-составитель: С. А. Мансков
Художественный оформитель: А. Н. Шелепов

Кудинов, И. П.

К-887 Русский остров. История одной жизни. Т. 2 / Иван Кудинов ; [ред.-сост. С. А. Мансков] ; М-во культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. — Барнаул : ООО «Азбука», 2022. — 432 с. : [1] лит. порт., ил.

В двух томах серии «Литературное наследие Алтай» впервые публикуется роман Ивана Павловича Кудинова «Русский остров. История одной жизни». Писатель работал над ним последние десять лет своей жизни, стремясь дать объемный взгляд на исторические события XX века. В тексте действуют И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, Мао Цзэдун, адмирал Н. Кузнецов, маршал Г. Жуков и многие другие. Автор не раздает этим историческим фигурам оценки, основанные на коммунистических или перестроечных стереотипах. Книга отличается от других кудиновских повестей и романов автобиографическим характером, а главный герой выступает в качестве alter ego автора.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-6049400-2-0 (Т 2)

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-6049400-0-6

© И. П. Кудинов, 2022

© А. И. Кудинов, 2022

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2022

© С. А. Мансков, редактор-составитель, 2022

© К. М. Паршина, иллюстрации, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Пресные воды Ладоги (окончание)
стр. 09–128

Рядом с Кузнецовым
стр. 129–147

«Поправка» старпома Ховрина
стр. 148–160

Охотское миоре
стр. 161–179

Морские узлы
стр. 180–186

Испытательный срок
стр. 187–193

Крымская карта
стр. 194–238

Последний шаг
стр. 239–247

Сдача Порт-Артура
стр. 248–286

Визит на крейсер «Калинин»
стр. 287–298

Дневная облава
стр. 299–310

Грядущий год
стр. 311–325

Курс по бейдевинду адмирала Кузнецова
стр. 326–344

Корабли железные, но...
стр. 345–359

Перед судом
стр. 361–429

Библиографический список
стр. 430–431

Русский остров

История одной жизни

Роман

Том II



Пресные воды Ладоги (окончание)

Зима 41-го пришла на Ладогу очень рано. Ледяные припаи у берегов уже в конце октября установились прочные, затрудняя подходы к причалам. Дули холодные норд-осты. Однако и в этих условиях конвой Ладожской флотилии продолжали переброску из Осиновца на восточный берег, в Леднево, двух стрелковых дивизий – операция невероятной сложности, к тому же внезапные холода вносили свои поправки. И все же к 6 ноября, несмотря на сложнейшую обстановку, обе стрелковые дивизии со всеми их тылами (около двадцати тысяч человек, артиллерия, танки, трактора, машины, тысяча лошадей) переправлены были на восточный берег – в самое пекло боев за Волхов и Тихвин. Однако с ходу остановить противника или хотя бы на время притормозить, задержать его наступление не удалось. И в ночь на 8 ноября Тихвин был взят. Теперь явная угроза нависла и над главной базой флотилии, полный разгром которой позволял немцам перекрыть, наконец, водную трассу Новая Ладога – Осинец и тем самым замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда.

Рано утром, едва проснувшись, Клевенский вдруг вспомнил (мог и забыть), что сегодня у него день рождения. Да-да, товарищ капитан первого ранга, сегодня, 8 ноября 1941 года, стукнуло вам тридцать семь! И такой вот подарочек преподнесли к этому дню фашисты... Какие-то странные, прямо-таки фатальные совпадения: 8 сентября был взят Шлиссельбург, сегодня, 8 ноября, взят Тихвин и сегодня же, 8 ноября, родился он, капитан Клевенский. «Ну, что ж, поздравляю, – сказал он сам себе, грустно посмеиваясь. – Будь здоров и крепок, назло фашистам! А все остальное – у нас впереди».

И в это же мерклое холодное утро 8 ноября командующий Ладожской военной флотилией Чероков созвал экстренное

совещание. Приглашенные командиры и комиссары кораблей, дивизионов, бригад, соединений и служб обстановку знали не понаслышке. Поэтому и Чероков был предельно краток. «Сложившаяся обстановка вам известна, — сказал он, глядя в строгие лица сидевших перед ним офицеров. — И вы понимаете, сегодня как никогда зависит от нас судьба флотилии, судьба ладожской коммуникации, без которой Ленинграду не устоять... Но ситуация может еще больше осложниться — и мы обязаны быть готовыми к любым поворотам. А посему, — употребил командующий отнюдь не военное словечко, но по-военному четкое и сжатое, как взведенный курок винтовки, — а посему, — сказал он жестко, будто разжав курок, — приказываю: на случай крайней необходимости подготовить к уничтожению все склады, здания, мастерские, все пирсы и причальные сооружения, мосты и отдельные корабли... — Чуть замешкался и уточнил: — Имеются в виду те корабли, которые не смогут своим ходом выйти из гавани. Но главная наша задача, — как бы отделив одно от другого, добавил подчеркнуто, — сохранить боевое ядро флотилии, сберечь корабли. А если придется оставить Новую Ладогу, местом зимней дислокации назначается побережье в районе Осиновца и бухты Морье...»

События тех дней, пронизанных ледяными ветрами внезапной зимы, казалось, лишали моряков-ладожцев последних надежд и опор, но в то же время поднимали и разжигали в них почти запредельное, нечеловечески злое упорство: «Ах, вы так? А мы — так!» И били наотмашь, давая сдачи. Клевенский видел это каждодневно. И не только видел, но чувствовал и знал по себе, дивясь и подчас вовсе не сознавая — откуда в людях в самый, казалось бы, лютый и безысходный момент берутся столь мощные и неукротимые силы, откуда?! Судите сами. Фашисты неостановимо движутся, рвутся и прорываются вдоль восточного побережья в сторону Свирицы, чтобы соединиться с финскими войсками и замкнуть второе кольцо. А русские водолазы-монтажники прокладывают в это время по дну глубокого Ладожского озера телефонно-телеграфный морской бронированный кабель, длиной в 43 километра, чтобы связать блокадный

Ленинград со всей страной; и в тот же день из Новой Ладogi в Осиновец отправляется очередной конвоем с продовольствием и боеприпасами...

8 ноября немцы берут Тихвин. И явно нацеливаются на Новую Ладого, главную базу флотилии, дни которой (по их расчетам) уже на исходе. А русские, будто не предвидя грядущей опасности, буквально на следующий день начинают прокладку обходной дороги к той же Новой Ладогe. И пробиваясь, прорубаясь и двигаясь вдоль стьлых болот, по каким-то заброшенным колеям, проселкам и едва приметным тропинкам тихвинских лесных чащоб, в невероятно короткий срок прокладывают скрытую фронтую «шоссейку» под самым носом противника, остановленного и прочно застрявшего здесь на целый месяц, у Тихвина... «Да они что, эти русские, с ума сошли!» – жаловался дневнику своему генерал-полковник Гальдер. Впрочем, для него русскими были все, кто населял громадную Россию: белорусы, украинцы, армяне, грузины, казахи, таджики, узбеки, татары, башкиры, туркмены, буряты, киргизы, чувашы, якуты, алтайцы, нанайцы, манси, юкагиры и десятки, сотни других народов, о которых он даже не слышал и знал лишь один ненавистный ему народ – р у с с к и й. Бить, истреблять его надо, выдирать этих русских с корнем! Другой задачи вермахт в то время не ставил. Шел 141-й день войны...

Вот в эти крайне тяжелые дни ладожцы и, сами того не заметив, потеряли начальника штаба флотилии. А когда спохватились – его уже не было на Ладогe! Нет, капитан первого ранга Боголепов не погиб. Начальник штаба флотилии вдруг и без всякой шумихи был арестован и осужден военным трибуналом за «неумелое руководство». Как, почему, за какое «неумелое руководство»? – гадали на кораблях. Этот вопрос витал в воздухе. Но никто не собирался на него отвечать. Хотя вердикт военного трибунала имел короткое и «смягчающее» резюме: «Исполнение приговора отложить до окончания военных действий». Так что каперанг Боголепов вскоре после суда столь же тихо и незаметно отбыл к месту нового своего назначения. Куда? Матросам об

этом никто не докладывал. Но из сообщений «палубного радио» они узнали, что бывший начштаба переведен на Северный флот и командует там бригадой торпедных катеров...

Новым начальником штаба Ладожской флотилии был назначен капитан первого ранга Кудрявцев. И все на этом замкнулось и как бы сгладилось, тем более, что приговоры с отложенным исполнением не были новостью на Ладоге и коснулись они не только каперанга Боголепова, но и бывшего командующего флотилией контр-адмирала Трайнина, человека спокойного и мужественного, обвиняли которого в «трусости и паникерстве». А в связке с ним прошел это горнило и нынешний командир Охраны водного района главной базы флотилии капитан первого ранга Клевенский, сумевший-таки утаить этот день, 8 ноября 1941 года, тридцать седьмой день своего рождения, а если правду сказать, забыл он о нем — утром вспомнил, подивившись «фатальным» совпадением, и вскоре напрочь забыл. Не до того было!

А потом наступили дни другого расклада, кого-то радовавшие своим поворотом, а кому-то вовсе не по шерсти — что вилы в бок! Война есть война. Двенадцатого ноября, спустя лишь четыре дня после сдачи Тихвина, немного отдохнувшие и перегруппировавшиеся армии Мерецкова и Федюнинского повернулись лицом к противнику и повели методический артобстрел его позиций; по всем расчетам, готовилось мощное контрнаступление. И теперь немцам, запертым в Тихвине, было не до второго кольца — удержать бы первое.

Между тем зима не собиралась отступать. К середине ноября основательно прихватило, ночами ртуть опускалась до семнадцати градусов, а если с ветерком — уши вянут! Чистой воды на Ладоге почти не осталось, льды нарастали быстро, заполняя все открытые пространства, озеро, как огромный аквариум, затихало под их ледяным панцирем. Но первые льды были еще ненадежны, хрупки, и сильные ветры (нередкие в эту пору на Ладоге) легко их взламывали и разносили в разные стороны, образуя там и сям ледяные надолбы и заторы. Однако крепнущие холода брали свое. И теперь корабли с трудом пробивались во льдах, очищая фарватер и тратя на переходы от Новой Ладоги до Оси-

новца все больше и больше времени. А что дальше? Вопрос этот встал напрямую. Все понимали, что навигационный период вот-вот завершится, корабли бросят якоря в местах зимних стоянок — и водная коммуникация... уйдет под лед. А что же взамен? Об этом говорили с большим беспокойством и на кораблях, и в штабах флотских, и в Ставке Верховного главнокомандования. 14 ноября Сталину передали записку Председателя Президиума Верховного Совета, а попросту, как называла его вся страна, «всесоюзного старосты» М.И. Калинина, в которой Михаил Иванович излагал свою крайнюю озабоченность и упреждал Председателя Государственного комитета обороны: «Трудности в положении Ленинграда и опасность для него, видимо, увеличиваются, — писал он, взывая к немедленному принятию чрезвычайных мер. — Мне кажется необходимым, чтобы были выяснены и тщательно разработаны возможные пути и способы снабжения Ленинграда в условиях зимы...»

И еще одна записка лежала на столе Верховного главнокомандующего, и он внимательно ее прочитал. «В течение осени 1941 года 24 корабля Ладожской военной флотилии (в составе 6 канонерских лодок, 2 сторожевиков, 5 военных транспортов и 11 тральщиков) совершили 339 рейсов с грузами на борту и с баржами на буксирах, — сухо и кратко докладывал штаб флотилии. — За трехмесячный период осенней навигации в Ленинград было доставлено более 60 тысяч тонн груза, из них продовольствия — 45 тысяч тонн. Водным путем вывезено из Ленинграда около 40 тысяч человек.

Кроме того, войскам Ленинградского фронта доставлено около 5 тысяч винтовок, 1 тысяча пулеметов, более 10 тысяч снарядов, 3 миллиона патронов, более 108 тысяч мин и 114 тысяч ручных гранат...»

Было о чем подумать! И Сталин, подумав, сказал: «Эта поддержка неоценимая. И надо сделать все для того, чтобы ладожская коммуникация работала непрерывно. И не только летом, но и зимой, — сказал, как отрубил, и эти слова его легли в основу директивы ГКО «О сохранении ладожской коммуникации». — Надо изыскивать все возможные пути.»

А возможный путь оказался один – и его избрали. Уже 15 ноября группа гидрологов вышла на лед и двинулась в сторону восточного берега Шлиссельбургской губы, чтобы разведать наиболее удобный путь для прокладки ледовой трассы. «Около полуночи вышли из Осиновца, – вспоминал много лет спустя один из участников этой ледовой разведки. – Небо покрывала сплошная низкая облачность. Дул северо-восточный ветер. Мороз доходил до 15 градусов. Снега на льду не было. Пока лед был крепким, моряки шли друг от друга на расстоянии десяти-пятнадцати шагов. Через каждую пройденную милю пробивали во льду лунку, измеряли толщину льда. Когда толщина достигла десяти сантиметров, разведчики обвязались прочным пеньковым тросом и шли, а иногда ползли через трещины и промоины, настилая перед собой лыжи. По компасу и по пройденному расстоянию определяли координаты и, укрываясь брезентом, наносили на карту при свете ручного фонаря. Неожиданно случилась беда. Командир группы лейтенант Дмитриев, зацепившись за торос, повредил ногу, идти не мог – пришлось делать лыжные «сани» и везти его (почти волоком тащить) обратно в Осиновец». Двое матросов, назначенных эвакуаторами, тотчас впряглись в эти «сани» и далеко уже за полночь доставили лейтенанта в санчасть; там его осмотрели, йодом обработали кровоточащие ссадины, ногу загипсовали – перелом оказался закрытым, но тяжелым, и лейтенанту предстояло недельки две-три попрыгать на костылях...

Можно сказать, лейтенант Дмитриев оказался первой жертвой ледовой дороги. Меж тем поредевшая группа гидрологов, команду над которой взял на себя старшина второй статьи Зубов, продолжала идти, держа курс на деревню Кобона; иногда останавливались и, прячась под брезент плащ-палатки, включали фонарик и помечали на карте координаты будущей ледовой дороги. И к четырем утра, еще потемну, вышли на восточный берег у деревни Кобона. Вот отсюда и начиналась 30-километровая ледовая трасса (Дорога жизни), уходя почти по прямой до деревни Кокорево, что на западном берегу, в непосредственной близости от узловой базы флотилии Осиновец. Однако, несмо-



тря на ранние морозы, лед был все еще слабоват и опасен для проезда по нему гужевого и тем более автомобильного транспорта. Надо было повторно всю трассу обследовать и разметить, проследить за нарастанием льда, чтобы потом не кусать локти.

Вот для этого и был сформирован Ладожский ледово-дорожный отряд под командованием старшего лейтенанта Куприянова. Задача гидрологов: вести наблюдение за ледовой трассой и ни в коем случае не разрешать проезд по тонкому, неокрепшему еще льду. Это диктовалось и самой природой, спорить с которой — себе же во вред! Но у войны своя природа, свои законы — и заставляет война человека поступать зачастую вопреки всему и вся. Так и на этот раз: только что был подписан приказ о создании ледово-дорожного отряда, но дорожники не успели еще и на лед выйти, как им сообщили, что сегодня же, 20 ноября 1941 года, по новой ладожской трассе отправлен первый санный обоз. «Как отправлен, кто разрешил?!» — возмутился старший лейтенант Куприянов. И готов был кинуться вдогон, разобраться и принять какие-то меры, но его успокоили: «Да ты не суетись, теперь уже поздно — обоз вышел рано утром, еще потемну, и сейчас он далеко, где-нибудь под Кобоной. А решение о начале перевозок принято в Смольном, на Военном совете. Непосредственно же отдал приказ на отправку сегодняшнего обоза заместитель командующего фронтом адмирал Исаков. Туда, в Кобону, с большой земли доставлен какой-то груз, его надо срочно перебросить в Ленинград. Ждать некогда». — «Да, теперь уже некогда, — сказал Куприянов, — теперь можно надеяться только на русский «авось».

И все же не стал надеяться на этот «авось», а тотчас вместе с небольшой своей группой отправился на трассу. Но день этот, 20 ноября, к вечеру еще больше похолодавший, оказался вполне удачным. Снега на льду было немного, будто с метелкой кто-то прошелся — никакого уброта. Следы же кованых санных полозьев четко прочертили, разметив дорогу. Видно было, что повозки двигались строго в «кильватер» друг другу — и налегке. Сколько их было? Пятьдесят, шестьдесят или все сто? А вот обратным

ходом первый ледовый обоз, нагруженный мешками, основательно потяжелел, двигался медленно и почти всю ночь; но так или иначе, а наутро, 21 ноября, в Ленинград были доставлены сотни мешков ржаной и пшеничной муки. Так началась «навигация» на ледовой трассе Осиновец – Кобона. А еще день спустя, 22 ноября, вышла на лед первая колонна полуторок и трехтонок. Однако на этот раз не обошлось без ЧП. Где-то на семнадцатом километре две машины газанули, непонятно зачем пойдя на обгон, и попали в промоины. Один шофер сумел выскочить из кабины, подоспевшие люди помогли ему выбраться на лед, другой водитель вместе со своей полуторкой ушел на дно... Место происшествия обозначили вешкой.

Назавтра, ближе к полудню, сюда прибыла спасательная команда на специально оборудованной машине. Руководил спасателями воентехник Паромонов, имевший по части подводных работ немалый опыт. Подоспела вскоре и группа ледово-дорожного отряда во главе с Куприяновым. Офицеры посоветовались, походили вокруг схватившейся ледком промоины, и Паромонов сказал: «Будем поднимать». Водолазы, уже облаченные в свои доспехи, медленно и неуклюже приблизились к заледеневшей промоине; тонкий ледок от малейшего прикосновения хрустнул и зазвенел, как стекло, рассыпаясь осколками, от воды потянуло глубинным холодом... «Пошли!» — скомандовал Паромонов. И водолазы один за другим ушли в эту полынью, держа в руках концы крученых строп с захватными приспособлениями. Глубина здесь доступная, как говорят водолазы, и обнаружить утонувшие полуторки не представляло большого труда; машины прямиком ушли на дно и стояли рядышком, едва не касаясь кузовами. Водолазы дали знак наверх: машины найдены! И стали заводить стропы под одну из них (в кабине которой, мертвой хваткой держась обеими руками за баранку, недвижно сидел шофер); полуторка в воде казалась невесомой, водолазы подали команду наверх «Вира помалу!» и чуть ли не на руках вынесли ее на поверхность промоины, легко сдвинув и утвердив передние колеса на льду, там полуторку мигом забуксировали и с помощью водолазов осторожно вывели из воды.

Таким же способом подняли и другую машину, поставили их рядом. Погибшего шофера, с трудом отняв его руки от баранки, вынули из кабины и положили на брезент, мокрая одежда на нем тотчас заледенела, льдистой синевой покрылось лицо... «Вот дурачок, сам себя загубил», – сказал кто-то рядом. Впрочем, жалостливый этот упрек вряд ли был справедлив. Готовность ледовой трассы оставалась пока слабой, дорогу не успели еще обустроить; а главное, лед был непрочным и нередко проламывался под тяжестью груженных машин. Так что водолазам хватало работы.

Старые лоции говорят: ледовый режим на Ладоге сложный, сначала образуется береговой припай, затем идет нарастание льда на банках и отмелях, а с приходом морозов нарастание льда движется к центру. По той же причине неровности ледяного покрова долго не удавалось установить вдоль трассы зенитные батареи; первая попытка сделать это кончилась (в буквальном смысле) провально – и тем же водолазам под руководством воентехника Паромонова пришлось доставать зенитки со дна. Наконец, морозы приспели – и лед окреп. Вдоль дороги появились ремонтные пункты, посты связи, а на самой колее всевозможные мостики и настилы в особо опасных местах; а главное – установлены были зенитки, пять или шесть батарей со стороны восточного берега, хорошая защита от воздушных налетов.

Тем временем флотилия, натрудившись изрядно, уходила в зимнюю «спячку». Корабли (частью в бухте Морье, неподалеку от Осиновца, а частью милях в шести-семи от Новой Ладоги) бросили якоря на рейдах, встав на свои места строго по диспозиции, и потихоньку вращались в лед. Но жизнь корабельная не затухала, оставаясь в привычных рамках строжайшего распорядка, вольничать и тем более расслабляться не приходилось – повышенной готовности никто не отменял! Да и вставшие на рейдах корабли нуждались в хорошем ремонте (и даже реанимации), многие из них имели серьезные повреждения, пробоины в бортах и палубных надстройках; износ же механизмов, машин и прямо-таки на ладан дышавших котлов был запредельным.

Особенно это коснулось военного транспорта «Ханси», который стоял сейчас неподалеку от канонерки «Вира», сильно завалившись на левый борт. А случилось это недели три назад, еще на чистой воде, когда «Ханси» находился в составе конвоя и вместе со всеми оказался под бомбежкой, но перепало ему больше всех!

Налет немецких бомбовозов был, как всегда, неожиданным и нещадным. «Юнкерсы» заходили в пике, проносясь над целью, но и сами нередко попадали под огонь корабельных зениток. Водяные столбы взлетали то справа, то слева, пугающе выли стабилизаторы бомб. Одна из взрывных волн захлестнула полностью «Ханси», электрический свет погас на корабле, машинное отделение, где находился в это время техник-лейтенант Родионов, заволочло клубами черной пыли, выброшенной из угольных ям; а на полубаке вспыхнули дымовые шапки, серое облако поглотило корабль, в носовом отделении горела кладовая с вещевым довольствием... Пробоины в правом борту, прямое попадание в ходовую рубку. Погибли командир корабля лейтенант Коркин, старпом Спорышев и боцман Охапкин. «Ханси» потерял управление. И тогда техник-лейтенант Родионов, единственный уцелевший на корабле офицер, поднялся из машинного отделения в полуразбитую ходовую рубку, взял на себя командование — и «Ханси» чудом выжил, не утонул и даже своим ходом пришел и встал на рейд. Теперь вот забота — можно ли восстановить транспорт? Да и все остальные корабли, стоявшие на рейде во льдах, нуждались в ремонте. А как это сделать? Хорошо оборудованных и приспособленных мастерских ни в Новой Ладоге, ни в Осиновце не было, поэтому корабельным спецам и матросам предстояло все делать на своих боевых постах и работать вручную. Что ж, они к этому готовы — и ждут лишь команду. Но команды все нет и нет. Двадцатого ноября по ледовой дороге из Осиновца в Кобону прошел санный обоз. А корабли на рейдах дымят себе и дымят, бездельно сжигая уголь. Чего выжидает флотилия? Двадцать второго ноября вышли на ледовую трассу колонны автомобилей. И тут, наконец, поступило распоряжение: «Кораблям флотилии начать ремонт!» Приказ был короткий, как лозунг.

И в тот же день трюмные отсеки судов наполнились кузнечным стуком и звоном — котельные машинисты и кочегары, матросы и старшины, что называется, засучив рукава, приступили к работе: снимали изношенные механизмы, разбирали вконец уставшие, разболтанные машины... «Выходит, металл слабее матросских рук?» — смеивались котельщики, дружно ухватываясь за очередную поковку. Теперь им стоять здесь, во льдах на новолadoжском рейде, не меньше четырех, а то и пяти месяцев — до следующей навигации. Времени хватит, чтобы привести корабли в порядок, рассуждали котельщики между делом, зная наперед: как потопашешь, так и полопашешь! Мудрость невелика, но знатна. Они были, как и все российские моряки, немножко философы. Итак, изношенные механизмы сняты, машины разобраны... Вот в этом «разобранном» виде и застал их на следующий день, 23 ноября 1941 года, новый приказ командующего Лadoжской военной флотилией капитана первого ранга Черокова. Точнее сказать, приказ по прямому проводу получен был командиром Охраны водного района главной базы, а уж он, капитан первого ранга Клевенский, по прямому же проводу озвучил его на тех кораблях, которых непосредственно это касалось: «Ремонт отложить! Машины собрать! Подготовиться к выходу». Это было невероятно! Как выходить, если кругом сплошные льды, с которыми и ледокольные буксиры не справляются? Но коли приказ поступил — надо его исполнять. И если буксиры (даже и ледокольные) слабоваты для такого льда, им-то, ладожским морякам, силы не занимать. Да и состав конвоя выглядел основательно. Пятнадцать кораблей, целая эскадра: канонерка «Вира», два военных транспорта («Чапаев» и «Вилсанди»), пара скоростных и хорошо вооруженных тральщиков (ТЩ-81 и ТЩ-126) и десять катерных тральщиков. Разумеется, корабли пойдут не пустыми — трюмы транспортов и других судов уже готовы к загрузке. Две тысячи тонн продовольствия, боеприпасы, оружие — все это доставляли из Новой Лadoги на рейд разными способами, вплоть до санных повозок и даже неких плашкоутов, поставленных на полозья и снабженных моторной тягой...

Три дня продолжалась загрузка и подготовка конвоя к выходу. И только 27 ноября, ранним холодным утром, сонную тишину стоявших на рейде кораблей взорвали колокола громкого боя: «По местам стоять, с якоря сниматься!» Матросов, старшин и офицеров, будто ветром сдуло с нагретых постелей и вмиг разнесло по своим боевым постам. Утробно и глухо гудели корабельные машины, продувая котлы и наращивая обороты. Первой двинулась «Вира», ломая форштевнем лед и дрожа всем корпусом от резких усилий, но вскоре остановилась, выждав минуту, дала задний ход... и снова вперед! Так и пошло туда и сюда — челночно. Маневрируя постоянно машинами, с полного хода рвались назад, а потом с разгона бросали корабль вперед, чтобы пробиться, прорваться сквозь толщу льда... Другие суда упорно пробивались к открывшейся перед ними лагуне, этой длинной спасительной проруби, оставленной канонерской лодкой, пристраивались в кильватер и, как на привязи, шли за «Вирой» по чистой воде. Двигались медленно. «Вира» то и дело застревала во льдах, опасно сжимавших борта. Приходилось снова и снова маневрировать и рвать машины, переходя с полного реверса на полный вперед с разгона, удары об лед становились все глуше и тяжелее.

Когда рассвело и прояснилось, Клевенский поднялся на верхний мостик и видел, как бьется нещадно «Вира», ледяные осколки брызгали из-под форштевня; казалось, еще один такой удар — и носовой брус канонерки не выдержит, сломается и разлетится вдребезги вместе с ледяным крошевом. Командир ОВР знал хорошо: канонерские лодки (не говоря уже о тральщиках и транспортах) для плаванья во льдах не годятся — ни мощностью машин, ни прочностью и обводами своих корпусов они к тому не приспособлены. Но знал каперанг Клевенский и другое, чего не ведали и знать не могли матросы: столь радикальный приказ командующего флотилией Черокова не вдруг и не сам по себе возник, а продиктован совместным распоряжением Военных советов Балтийского флота и Ленинградского фронта. Клевенский держал в руках эту директиву, в которой сразу же бросалась в глаза (похоже, самим Чероковым) подчеркнутая красным карандашом фраза: «Продолжить до последней

возможности перевозку грузов канлодками и транспортом из Новой Ладogi в Осиновец и обратно». И еще жестче уточнено: «Конвои провести из Новой Ладogi в Осиновец и обратно во что бы то ни стало, несмотря ни на какие тяжести, не считаясь ни с какими потерями — даже если придется потерять отдельные корабли». Так было сказано — и так приказано. И конвой сейчас выполнял эту (почти невыполнимую) задачу, пробиваясь сквозь толщу льда. Однако за два часа хода едва одолел одну милю — а впереди еще оставалось более шестидесяти.

Вдобавок ко всему погода сломалась. Подул жесткий холодный ветер, временами доходивший до штормовой отметки, потом он стих немного, изменив направление, и начался снегопад, густой и сыпучий, сплошная белая мгла поглотила все пространство — никакой видимости. Корабли шли помалу (во льдах не разбежишься), не видя, что называется, самих себя. А лед становился все тяжелее и торосистее, должно быть, сжатый и взбуренный здесь постоянно и сильно дующими северными ветрами. Канонерка с трудом пробивала фарватер. Машины работали на пределе, казалось, котлы готовы лопнуть от перегрева, но кочегары, потные, с густыми подтеками сажи на лицах, подбрасывали и подбрасывали, как заведенные, тяжелый уголь в железные пасти огнедышащих топков, ни себе, ни машинам не давая никаких передышек. А снаружи, за бортами, другая погода — снежная мгла, порывистый ветер, мороз около двадцати; и другая работа: канонерка «Вира» уже в который раз, делая реверс, а затем с разгона бросаясь вперед, тщетно пыталась силой своих машин и мощностью крутого форштевня пробить ледяную преграду. Иногда ей это удавалось, но тут, среди бугристых торосов, оставалось все меньше и меньше простора для маневров — и в какой-то момент, даже и при полной отдаче машин, зажата льдами «Вира» не могла сдвинуться с места. Никакие маневры не помогали.

«Все, приехали... Стоп, машина! — коротко бросил в переговорную трубу командир канонерки Лаховин и виновато глянул на только что вошедшего в рубку Клевенского: — Борта зажало, товарищ капитан первого ранга», — не то пожаловался, не то доложил, скорее то и другое вместе. «Этого надо было ожи-

дать, — сказал Клевенский, снимая и слегка встряхивая припорошенную снегом шапку с влажно блестящей кокардой. — Ну что ж, командир, если машины не справляются, придется поработать вручную», — добавил спокойно, как о чем-то наипростейшем, но в тоне легко угадывался приказ. И вскоре корабельное радио разнесло по всем судовым закуткам, огласив команду: «Всему личному составу, свободному от вахты, приготовиться к построению». Но какое там построение... Задача и без того понятна: выволить корабль из ледового плена! И решение это не с бухты-барухты, не тотчас и на ходу возникло, а загодя было продумано, взвешено и тщательно подготовлено, потому и сейчас никого не застало врасплох — все делалось быстро и четко. Спустя две-три минуты после радиокоманды наряд спасателей (чуть ли не весь экипаж корабля) уже стоял на юте у запасного трапа, вооруженный, что называется, до зубов и готовый к спуску на лед — у кого-то лом в руках, а то и кирка-ледоруб, кайло с укороченной ручкой (непонятно, откуда они взялись на корабле?), кто-то пешню прижимал к плечу, как винтовку, а кто-то стоял с лопатой наперевес, будто к рукопашной схватке готовился...

Над кормой канонерки, зажатой во льдах, ветер кружил снег и уносил его прочь, начисто подметая палубу; однако внизу, вдоль правого борта, где только что появились люди, снег на льду лежал буграми. И спасатели, вооруженные железными совковыми лопатами, вмиг расчистили длинную полосу от кормы и до самого носа, чтобы облегчить прорубку ледяного припая, в тисках которого оказалась «Вира». Задача была непростой — настывший лед с трудом поддавался, лом звенел и отскакивал от него, как от камня, высекая холодные искры; чтобы одолеть эту каменную твердь, приходилось бить изо всех сил в одну точку и до тех пор, пока ледяная коврига не отламывалась, образуя между бортом и припаем узкий пролив. Работали молча, не сбивая дыхания разговорами; тяжелые ломы, пешни и кирки-ледорубы неустанно ходили в руках матросов, крушивших лед, и в каждом их взмахе, в каждом ударе угадывалась какая-то запредельная, почти невозможная сила, по-чапаевски злая решимость и неуступчивость: врешь, не возьмешь!





Клевенский и командир канонерки капитан третьего ранга Лаховин спустились на лед, спасатели уже завершали прорубку вдоль полубака, высвобождая форштевень. Теперь на виду были человек пять, остальные перешли на левый борт — и с той невидимой стороны доносилась какофония разрозненно гулких ломовых ударов, глушивших все другие звуки. «Да, картина почище репинских бурлаков», — сказал Лаховин. Клевенский взглянул на него, сдержав улыбку: «Что это вас, Дмитрий Васильевич, озаботила живопись? Небось, до войны акварельки пописывали?» Лаховин шутки не принял: «Нет, товарищ капитан первого ранга, акварельки я никогда не писал, но так подумалось: впряги наших матросов в лямки репинских бурлаков, они и не такие барки потянут». — «Так они уже тянут!» — поправил его Клевенский.

И это была правда. Тянули ладожские моряки, что называется, в три лямки и не одну барку, а весь конвой, все пятнадцать боевых кораблей, вот уже вторые сутки продиравшихся сквозь тяжелые непролазные льды. По чистой воде от Новой Ладоги до Осиновца всего-то ходу десять-двенадцать часов, но это по чистой воде, а сейчас корабли то и дело застревали во льдах. Машины работали на пределе, и машинисты время от времени открывали и тут же закрывали продувочные краны котлов, пытаясь этим маневром добавить сил кораблю, но сил не хватало, как будто их уносило в трубу вместе с угольным дымом, и все рыбки (с полного хода на реверс и полным ходом вперед!) были напрасны, лед в какой-то момент становился непробиваемым — и канонерка выдыхалась вконец, попадая в тиски глыбистых торосов. И тогда наступал черед спасателей. Корабельное радио объявляло большой сбор, сзывая на шканцы весь личный состав, свободный от вахты; и вскоре один за другим, поеживаясь от злого колючего хиуса, спускались по трапу вниз, на заснеженный лед, комендоры и боцманы, котельные машинисты и кочегары, интенданты и писари, сигнальщики и даже радисты-телеграфисты, «музыкальным» пальцам которых противопоказан излишне тяжелый труд, но сейчас никакие нюансы не шли в расчет — сейчас перед всеми стояла одна задача: освободить из ледового плена корабль!

Спасатели, как вчера, позавчера (и сегодня уже в седьмой раз!), располагались вдоль правого борта застрявшей во льдах «Виры», держа наготове свой ледоломный инвентарь. Сумрачно, холодно и метельно, сыпучий снег бьет в лицо. Погода, можно сказать, никудашная, но это с одной стороны, а с другой стороны, именно эта погода, точнее даже сказать непогода, спасала конвой от воздушных бомбежек, самолеты в такую непогоду вынуждены сидеть на своих «подскоках»; низкая облачность, густые туманы по утрам и почти каждодневные пронизывающие студеные ветры... Зябко матросам в легких шинелях-зипунках; но это лишь до той минуты, пока стоят они бездельно, а как только начинают работать, орудуя ломами, пешнями и ледорубами, холод вмиг отступает, будто и не было его, потом и вовсе жарко становилось; лица багровели на ветру, шапки съезжали с потных лбов на затылок, ладони горели от набитых мозолей — не спасали от этой напасти даже брезентовые верхонки, надетые поверх теплых двупалых рукавиц. Кто-то втихомолку пербинтовал уже ладони, однако ни жалоб, ни стонов от матросов не слышали — тянули они почище репинских бурлаков. Что и говорить, работа ломовая, нечеловеческая, сверх всяких мер! И случалась она, эта работа, в любое время суток, спускались на лед чуть ли не ежечасно, нередко и ночью поднимали их по тревоге, вооружая ломами, пешнями и ледорубами...

А как же другие суда? Клевенский держал постоянную связь со всеми кораблями конвоя, которые точно так же, как и канонерка «Вира», с великими трудами прорубались и шли помалу, продвигались вперед, можно сказать, по дюйму, по футу, по метру или, как еще говорят, в час по чайной ложке. Особенно тяжело приходилось, когда на пути вырастали громадные флюсы ледяных торосов. Канонерка не могла ни обойти, ни пробить их слабым, отнюдь не ледокольным своим форштевнем и (в который уже раз на дню!) стопорила машины, застревая во льдах. И как только «Вира» встала между двумя глыбами, словно попав в жесткие их объятия, Клевенский тотчас поднялся на ходовой мостик и, приложив к глазам бинокль, долго всматривался в сумрачно-серое ледяное пространство; туман застил види-

мость и все-таки можно было разглядеть и понять, что фарватер и дальше по курсу опасно взбугрен торосами. Обойти их невозможно, разрушить же эти глыбы ломами, пешнями и ледорубами вовсе немыслимо — тут и в самом деле силы потребуются нечеловеческие. А где их взять, эти силы? Клевенский опустил бинокль и посмотрел на Лаховина, только что поднявшегося на мостик и стоявшего рядом, плечо к плечу.

«Да, командир, застряли мы крепко, — сказал Клевенский, кивая в сторону громадных глыб, защемивших нос канонерки; снизу, как из преисподней, тянуло холодом. Клевенский поежился и добавил с легким нажимом: — Похоже, здесь нам никакие бурлаки не помогут. И что прикажете делать, Дмитрий Васильевич? Не зимовать же среди торосов», — посмотрел в упор. «Думаю, ломом эти глыбы не взять, — согласился Лаховин, — придется использовать более мощное оружие...» — «Но как его использовать, это оружие?» — спросил Клевенский, догадываясь, какое оружие имеет в виду командир канонерки. И только сейчас заметил на мостике еще двух офицеров, стоявших чуть сбоку, за его спиной, старпома и минера корабля — присутствие последнего удивило, но показалось не случайным. Вот-вот, на ловца и зверь бежит! — подумал вскользь Клевенский и теперь уже напрямую спросил: «А что скажут минеры, какой выход они предлагают?» — «Выход один, товарищ капитан первого ранга, пробивать фарватер». — «И как вы намерены это сделать, надеюсь, не ломами?» — «Динамитом, — предельно кратко пояснил корабельный минер. — Можно и толовые шашки задействовать». — «А корабль вы не подорвете вместе с торосами?» — остерег Клевенский. «Не должны, товарищ капитан первого ранга, все просчитано. К тому же взрывы будут направленными, — живо заверил минной службы лейтенант и добавил с поспешной готовностью, вопросительно глянув на командира: — Но корабль лучше сдать назад, подальше от опасной зоны. Как считаете, товарищ капитан третьего ранга, такой реверс возможен?» — «А почему же нет, — сказал Лаховин и в свою очередь посмотрел на каперанга, как будто тот ему задал этот вопрос. — Назад отступить можно, а вот двинуться вперед ни в какую! Таких торосов я никогда не видел, — признался

Лаховин, чуть помедлил, точно обдумывая последующий свой шаг, и вдруг выправился и совсем уже другим тоном произнес: — Разрешите начать взрывные работы на торосах? — «Давайте попробуем, — кивнул Клевенский. — Сколько времени понадобится для подготовки к операции?» — но это он уже к минеру обратился. «Десять минут хватит, товарищ капитан первого ранга», — четко и без раздумий ответил минер. «Добро! Действуйте, лейтенант. Другого пути у нас нет».

И лейтенант больше не медлил — словно ветром сдуло его с ходового мостика. Минуту погода и Лаховин сбежал вниз, в боевую рубку, чтобы изготовиться к ретировке. Маневр этот не сразу и далеко не всеми был понят — иным приходилось гадать: неужто канонерка, отступив назад, попытается снова и снова рваться с разгона на «полный вперед» и долбить, долбить непреступные ледяные торосы? Похоже, что так! Обе корабельные машины уже гудели внапряг, сотрясая палубу мелкой дрожью, густой и угольно черный дым валил из трубы, вьюжный ветер подхватывал его и рвал в клочья, прижимая ко льдам. И когда на этих бесприютных, пронизанных стужей льдах, словно призраки из нетей, появились четыре матроса во главе с лейтенантом-минером и пошли вдоль правого борта к носовой части корабля, держа в руках довольно увесистые ноши, должно быть, все необходимое для взрывных работ, вот в этот момент канонерка «Вира» дала задний ход без рывка, помалу двинувшись и уходя, отступая прочь от громадных торосов, преграждавших путь, и через две-три минуты встала, застопорив машины, где-то в полукабельтове от опасной зоны. Достаточно ли? Тем временем взрывники достигли первого рубежа — тех самых торосов, замкнувших накрепко ледовый фарватер, который во что бы то ни стало надо пробить. «Во что бы то ни стало! Иначе придется здесь зимовать, среди этих торосов», — подумал Клевенский, а может, мысленно упредил отчего-то замешкавшихся взрывников, как ему показалось. Отсюда, с верхнего мостика «Виры», хорошо было видно, как вдруг оживились они, разом повернулись и посмотрели в сторону канонерки, будто и впрямь упреждение каперанга достигло их ушей.

И взрывники мигом разобрались со своим инструментарием: двое вооружились бурами и разошлись по «объектам» — один, ловко прицелившись, наладил хвостовик стержня в нижней части громадной глыбы и начал бурить шпур, этакую ледяную нору, которую минутой позже зарядят взрывчаткой; другой, отойдя метров на двадцать, бурил вертикальную скважину в точно указанном лейтенантом месте (похоже, для толовой шашки), а третий уже тянул детонирующий шнур, укладывая меж торосистых льдов и снежных заносов... Клевенскому показалось, что он не просто видит, как работают взрывники, а каким-то подкожным чутьем угадывает каждое их движение, будто и сам прилагает усилия и слышит зудящий звук шестигранной коронки хвостовика, вгрызающейся в ледяную твердь. «Ну, давайте-давайте, ребятки, надо пробиться! — мысленно подбадривал, похваливал и советы давал. — Все правильно, молодец, — говорил он матросу, бузившему скважину, — только еще разочек пройдишь, чтобы ниша образовалась... Добро!» Четвертый матрос, как могло показаться, был на подхвате у лейтенанта, но выполнял он, пожалуй, самую тонкую и ответственную работу, от которой зависел конечный результат операции — точное соблюдение всех необходимых пропорций при закладке зарядных капсул... «Так что надо еще разобраться, кто у кого на подхвате, — улыбнулся про себя Клевенский, наблюдая за действиями взрывников, и не мог не заметить: — Грамотно работают».

А там все уже было на мази. И вскоре один за другим прогремели во льдах четыре взрыва, первый из них оказался самым близким и гулким — ударило так, что верхний мостик канонерки дрогнул и заходил под ногами. «Грамотно работают», — теперь уже вслух сказал Клевенский, проследив за тем, как медленно (и тоже один за другим) опадают взлетевшие в воздух мощные гейзеры ледяного крошева. На том месте, где минуту назад высились громадные торосы, зияла непривычная глазу промоина, темные воды холодно отсвечивали и не вширь уходили, а вдаль, открывая фарватер. «Ну как, грамотно сработали?» — теперь уже прямо, без всяких обиняков спросил Клевенский, повернувшись к стоявшему рядом старпому. «Отлично, товарищ капитан

первого ранга, — не поспешил старпом, — ни один осколок нас не задел... Направленные взрывы. Молодец лейтенант, постарался». Клевенский согласно кивнул: «Вот именно: на-прав-лен-ные! Но точнее сказать: правильные взрывы», — последние слова он произнес, уже слегка подвинувшись и наклонившись к переговорной трубе, и слова эти там, в боевой рубке, приняли в свой адрес. «И я так считаю, товарищ капитан первого ранга, — ответил снизу Лаховин, — все сделано по уму. Фарватер открыт». — «Взрывники уже на борту?» — спросил Клевенский. «Только что поднялись». — «Ну, так действуйте, командир, — подтолкнул его каперанг. — И действуйте по уму». Минута на раскачку — рулевые уже на месте, штурман не сводит глаз с открытого фарватера, машинисты, стоя у жарких котлов, открыли и тут же закрыли продувочные краны (раз и другой), мощные сопла с тугим напором пропускали горячий пар — и канонерка, подвластная незримой силе машин, вмиг ожила и двинулась, набирая ход; и пошла, пошла, исправно минула, можно сказать проскочила, опасный, самый каверзный участок, где совсем еще недавно громоздились непроходимые торосы, теперь же, после взрывов, осталась только шуга...

Однако открытый фарватер скоро кончился, дальше опять сплошные льды — шибко не разбежишься. Пришлось умерить ход и двигаться помалу, что называется, в час по чайной ложке. Временами фарватер и вовсе скукоживался, льды опасно сжимали борта, грозя протаранить, пробить их своими тяжелыми лбами. И канонерка, вновь и вновь попадая в мертвую хватку льдов, беспомощно застревала; сопла турбин вхолостую нагнетали пар, канонерка еще раз-другой конвульсивно вздрагивала всем корпусом, силясь вырваться из ледяных объятий, и замирала окончательно... И тогда, не мешкая (ничего другого не оставалось), на лед спускалась команда спасателей — и начинала орудовать ломami, пешнями и ледорубами. Взрывники на этот раз отдыхали, делать им было нечего — не подкладывать же зарядные капсулы и толовые шашки под борта канонерки. Но уже часа через два ситуация круто менялась — и команда спасателей уступала место четверке взрывников. Так, поочередно, и боролись они со

льдами — там, где не брали пешня и лом, приводили в действие взрывчатку. И продолжали двигаться, шли вперед, шли помалу, пробиваясь и продираясь сквозь тяжелые льды. Следом, в кильватер канонерке, тянулись два транспорта, «Чапаев» и «Вилсанди», трюмы которых наполнены под завязку ценнейшим грузом (продовольствием для блокадного Ленинграда), за ними, соблюдая дистанцию, держались тральщики — конвой растянулся почти на милю, хвоста не было видно, последние корабли терялись где-то, будто истаивая в серой туманной мути. И льды, льды, куда ни посмотришь — сплошные, бесконечные льды! Кажется, весь мир обледенел. И даже ночью, в коротких и неглубоких снах, обжигающе холодные и синие льды стояли перед глазами. Клевенскому иногда казалось, что сквозь эти льды идут не только они, конвой в пятнадцать кораблей, груженных боеприпасами, оружием и продовольствием, но и сотни, тысячи, миллионы тех, кто бьется сейчас с фашистской нечистью, вся Россия идет, пробивается сквозь эти тяжелые ледяные преграды...

Обдирая борта и ударяясь носом об острые кромки льда, канонерка «Вира» вот уже шестые сутки, вымучивая малый ход, упорно держит курс на юго-западный берег Ладоги, в сторону Осиновца и мыса Морье. Шестые сутки немислимо тяжелого, невероятного перехода... и 165-й день войны. Да нет, Клевенскому, конечно, и в голову не приходило вести столь сложную арифметику — это начальник Генштаба сухопутных войск вермахта Гальдер аккуратно подсчитывал и, делая запись, непременно проставлял в своем дневнике такие цифры. Но кто их видел и читал в те дни, эти дневники? Зато все (начиная от командира канонерки капитана третьего ранга Лаховина и кончая любым матросом «Виры») знали: сегодня, 3 декабря 1941 года, шестые сутки их ледового рейса — и до базы Осиновца остается меньше десяти миль. Хотя при таком черепашьем ходе долбить, бурить и взрывать лед, прокладывая фарватер, хватит еще на сутки. И все-таки двигались, пробивались сквозь льды и шли вперед.

К полудню погода выяснилась, туман рассеялся, тучи, высыпав остатки снега, облегчились и поднялись выше, как бы раздвинув горизонт и обозначив хорошую видимость. Впрочем,

и в этом х о р о ш е м нашлись свои изъяны. Теперь надо быть начеку – самолеты противника, пользуясь благоприятной погодой, наверняка взлетают уже с ближайших «подскоков», что на восточном побережье Ладоги, и направляются в сторону зажатых льдами и тем самым лишенных маневренности, малоподвижных кораблей. Однако и корабельные зенитчики недремно следили за небом – врасплох их не застать. Тут уж кто кого! Но пока горизонт чист, никаких посторонних звуков, холодная тишина, только льды, льды и льды на всем видимом пространстве. И вдруг чей-то голос: «Лошади! Лошади!» – дважды прокричал, прямо-таки заблажил кто-то из матросов, кутивших на полубаке. Клевенскому с верхнего мостика все видно и слышно. «И вправду, лошади. Целый обоз!» – удивленно пробасил кто-то внизу, на полубаке. Клевенский тоже увидел конный обоз и подивился не меньше матросов необычайной этой встрече на перепутьях морских – уткнувшихся носами в лед боевых кораблей и впряженных в сани разномастных лошадок. Было морозно. И гужевой транспорт двигался живо, хотя и не на рысях. Заиндевелые лошади громко всхрапывали, полозья саней распевно поскрипывали – по морозцу звуки доносились отчетливо. Да и расстояние между канонеркой «Вира», с трудом пробивающей льды, и санным обозом, шедшим в сторону Кобоны, было незначительным, каких-нибудь полкилометра, если не меньше. Оттуда обозники, должно быть, по-своему удивляясь встрече с кораблями посреди сплошных льдов, махали руками приветственно и даже что-то кричали, желая, наверное, морякам доброго пути и семь футов под килем... И теперь стало понятно: конвой на шестые сутки битвы со льдами почти вплотную приблизился к той зимней трассе, которой предстояло (взамен водной коммуникации Новая Ладога – Осиновец) взять на себя всю тяжесть необходимых перевозок для блокадного Ленинграда более коротким путем – тридцать километров из Кобоны до Осиновца. Путь короткий (в три раза короче водной коммуникации), но и опасный – буквально под носом противника. Однако другого пути не было, пришлось осваивать этот – и вот ледовая трасса работала уже почти две недели.

Клевенский знал, что первым опробовал прочность льда конный обоз, а следом за ним — два дня спустя — вышли на лед грузовики, большей частью полуторки; лед был еще слабый, трехтонки (да еще груженные) на нем не держались, потому первым достались и самые горькие неудачи — потерь избежать не удалось: уходили под лед в промоины и грузовики, даже полуторки, и повозки вместе с людьми и лошадьми. Водолазам в те дни хватало работы. Потом лед окреп, дорогу стали обустраивать, и грузовики — полуторки и трехтонки — приняли на себя все основные тяготы перевозок. Конная же тяга заметно ослабла, выпряглась из оглобелей, что называется, и встала в пристяжку — будто сбоку припека. Однако полностью отказаться от гужевого транспорта командование пока не решалось — какая ни есть, а поддержка...

Так или иначе, но за весь этот день, 3 декабря 1941 года, конвойные корабли, пробиваясь сквозь льды, видели слева по борту лишь один конный обоз, прошедший в Кобону. «Лошади! Лошади! Смотрите, какие ломовики, — невесть чему радуясь и удивляясь невиданной, поистине экзотической встрече (корабли... и лошади!), восклицал кто-то из матросов, провожая взглядом санную вереницу, и мечтательно добавлял: — Эх, нам бы сейчас пар десять таких каурок, чтобы тянули канонерку до самого Осиновца!» И кто-то спокойно и деловито возразил: «Десять пар мало — не потянут». — «А сколько же надо?» — «Ну, пар триста-четырееста, а может, и все пятьсот. Машина канонерки — как раз пятьсот лошадиных сил, а их у нее, таких машин, две. Вот и посчитай!» — со знанием дела тот отвечал, вгоняя в уныние первого: «Ого! Да где ж их взять, столько лошадей?» — «А ты подожди, возможно, конный обоз еще подойдет», — смеялись дружно. Однако гужевого транспорт в тот день больше не появлялся. Зато колонны грузовиков двигались по ледовой трассе одна за другой — к восточному берегу и обратно.

А ближе к вечеру со стороны Осиновца неожиданно возникла, вывернув из-за громоздких торосов, юркая защитно-серого цвета «эмка» и покатила обочиной, легко обгоняя грузовики. «Кто ж это пожаловал?» — удивился Клевенский, поймав

в окуляры бинокля явно начальственную легковушку. Мелькнула догадка: адмирал Исаков? Это на него похоже! Иван Степанович умел внезапно, заранее никого не упреждая, появляться в самых сложных и горячих точках. Вот и по этой трассе, должно быть, решил проехать, чтобы самому все увидеть, почувствовать и оценить готовность ледовой коммуникации к предстоящей зиме. Меж тем легковушка, уйдя вперед, резко притормозила, и колонна грузовиков, поравнявшись с нею, тоже остановилась. Дверца «эмки» тотчас распахнулась — и наружу вышел невысокий (нет, не Исаков), довольно полноватый, но очень проворный человек в меховом реглане, живчиком прошагал к передней машине, недолго поговорил о чем-то с водителем, возможно, дав какие-то советы и указания; затем, не мешкая, как заправский регулировщик, махнул рукой — и грузовики один за другим двинулись дальше, в сторону Кобоны. А человек в командирском реглане быстро вернулся к стоявшей на обочине легковушке с ожидающе распахнутой дверцей, но что-то его задержало, он вдруг вскинул голову и, похоже, только сейчас увидел канонерку «Ви́ра», которая совсем неподалеку, в каких-нибудь двух-трех кабельтовых, билась во льдах, как огромная рыбина, с трудом продираясь и двигаясь самым малым, почти незаметным ходом — картина нешуточная! Вот уж поистине, все на театре ледовом смешалось — лошади, корабли, машины... Невысокий человек в меховом реглане, держась одной рукой за дверцу «эмки», внимательно и долго смотрел издали, будто не веря своим глазам.

Клевенскому показалось, что взгляды их встретились. И в тот же миг, приблизив и как бы укрупнив биноклем лицо стоявшего подле «эмки» человека, он враз и безошибочно его распознал: «Нефедов! Нет, вы посмотрите, — повернувшись к Лаховину, протянул ему свой бинокль. — Видите «эмку», а рядом человек в реглане...» Лаховин приложил бинокль к глазам и секунду-другую всматривался, потом кивнул и сказал твердо: «Кавторанг Нефедов. Но как он здесь оказался?» — спросил, возвращая бинокль. «Вот это и для меня загадка, — признался Клевенский. — Мне известно, что приказ о его назначении начальником Ледовой дороги должен вступить в силу только седьмого декабря. А се-

годня что у нас?» — глянул на командира канонерки. «А сегодня с утра было третье, товарищ капитан первого ранга», — ответил Лаховин, другие детали ему невдомек. Клевенский же осведомлен хорошо. Неделю назад он, командир Охраны водного района (ОВР) главной базы флотилии, был на экстренном совещании у командующего. Обсуждались две неотложные задачи: подготовка и переход большого и последнего (завершавшего навигацию 1941 года) конвоя с продовольствием, оружием и боеприпасами из Новой Ладogi в Осиновец; и вторая задача: освоение и обустройство ледовой трассы, которая уже начала действовать. «Так что последний конвой — это в сущности передача эстафеты из рук моряков в руки дорожной службы, — сказал командующий. — Кстати, начальником Ледовой дороги назначен капитан второго ранга Нефедов. Думаю, представлять его не надо, вы его хорошо знаете. Седьмого декабря он должен приступить к своим обязанностям. Но могут и раньше его залучить, — добавил Чероков отнюдь не военное словечко. И пояснил: — Дороге нужен опытный командир, умный и грамотный руководитель». Такими качествами Нефедов обладал в полной мере.

«Значит, удалось его залучить! — подумал Клевенский, вспомнив это летучее совещание и без бинокля видя сейчас, как невысокий и полноватый Нефедов усаживается в свою персональную «эмку». — Ох, и наведет же он тут шороху, на Ледовой дороге, мой тезка, Михаил Александрович», — отчего-то повеселев, мысленно произнес Клевенский, как бы кого-то загодя упреждая. Он-то знал хорошо Нефедова (штурмана по образованию и командира по призванию) и, надо сказать, не ошибся: опытнейший моряк, капитан второго ранга Нефедов не просто навел «шороху», но все порядки на ледовой трассе установил морские, потому и дорогу называл фарватером, мерил ее не километрами, а милями; и даже сугубо штатские, сухопутные водители трехтонок и полуторок, работавшие на Ледовой дороге, заговорили у него на морском лексиконе: причалить, встать на бочку, отдать швартовы, не говоря уже о вошедшем в обиход и часто звучавшем на трассе «полундра». Что это: причуды закоренелого моремана? Нет, конечно, нет! Нефедов слыл офицером серьезным

и требовательным, имевшим за плечами хорошую школу — так что порядки на Ледовой дороге вполне соответствовали его натуре. «Нефедов был полным хозяином трассы, — вспоминали участники тех событий. — Его вездесущая «эмка» носилась по ней днем и ночью. В самые критические моменты, в самых опасных местах из машины на лед выходил невысокий и, несмотря на полноту, очень подвижный человек, с ходу оценивал обстановку, столь же мгновенно принимал решения, отдавал приказанья, усаживался в «эмку» — и снова в путь».

А путь этот — шестнадцать миль или, попросту говоря, тридцать километров от Кобоны, что на восточном берегу Ладоги, до деревни Кокорево, скрытой в смешанном и густом лесу на западном побережье Шлиссельбургской губы, неподалеку от узловой базы флотилии Осиневец и в непосредственной близости от конечной железнодорожной станции по Ириновской ветке — Ладожское Озеро, той самой «ладожской ниточки», которая и связывала Ленинград со всей страной. Оборвись эта «ниточка» — и мгновенно затянется петля вокруг Ленинграда, второе кольцо (задуманное стратегами фашистского вермахта), чтобы удушить город, не оставив ему никаких шансов на выживание. Немцы хотели завершить эту операцию к зиме. Ах, как хотели! Но пока эта «ниточка» оставалась в руках ладожских моряков — и они держали ее крепко. «Водный путь через Ладожское озеро представляет единственный путь, по которому происходит снабжение Ленинграда и армии», — говорилось в одном из приказов командующего Ленинградским фронтом. И подчеркивалось: «От действий этого пути целиком и полностью зависит судьба города». Целиком и полностью!..

И вот сейчас, когда последний ладожский конвой 1941 года, пробиваясь сквозь льды, уже видел по курсу полосатые обводы Осиневецкого маяка (до него оставалось не больше пяти-шести миль, по чистой воде — полчаса ходу), а слева по борту, в каком-нибудь полукилometре виднелась уже хорошо наезженная ледово-снежная трасса, по которой сначала проехал, скрипя полозьями, санный обоз, потом прошла колонна грузовиков, а вдогон укатила начальственная легковушка, вот в этот момент,

можно считать, и произошла смена караула: отныне ладожская водная коммуникация всецело (и вплоть до весны) переходила в руки хозяина Ледовой дороги, капитана второго ранга Михаила Александровича Нефедова — ему радеть о ней и отвечать за нее головой! Так подумал Клевенский, стоя на верхнем мостике канонерки «Вира» и глядя вслед убежавшей по трассе к восточному берегу маленькой и юркой легковушке. Наверное, в этот же миг и примерно об этом же (хотя и по-своему) думал сейчас и кавторанг Нефедов, сидя в тесной кабинке своей персональной «эмки». Нет, они не прошли и не проехали мимо, никак себя не обозначив, а вскоре перекликнулись, приветствуя друг друга, как это и положено на встречных курсах морских перекрестков.

Радисты канонерки, долго не мыкаясь, наладили контакт с постом связи Ледовой дороги (оказывается, такой пост уже имел свои позывные и работал в эфире), а тот в свою очередь незамедлительно разыскал начальника трассы, хотя Нефедова и разыскивать не пришлось, он сам, как говорится, на ловца вышел, подкатив на своей «эмке»; и буквально секунды спустя, вооруженный наушниками, услышал знакомый голос: «Ну что, Михаил Александрович, настиг я вас, хоть вы и на колесах? — спросил Клевенский, посмеиваясь. — По правде сказать, не ожидал я сегодняшней встречи». — «Здравия желаю, Михаил Сергеевич! — отозвался Нефедов. И сдержанно пояснил: — Вот, как видите, оперативная обстановка внесла коррективы». Впрочем, Клевенский и без того сразу понял, как только увидел на трассе Нефедова: и впрямь залучили его раньше приказа, и он уже не впервые, наверное, объезжает ледовую трассу. Однако от расспросов и уточнений Клевенский воздержался; да и сам Нефедов вряд ли стал бы распространяться, «засоряя» эфир излишними подробностями... Пицца для радиоперехватчиков! Зато блокнотик, небольшой и плотный, у него всегда при себе (в боковом кармане реглана), и Нефедов время от времени, когда ему надо, вызывает его, открывает на чистых страницах и заносит туда свои карандашные «памятки».

Да, и вот что любопытно: именно в тот день, когда последний конвой Ладожской военной флотилии вышел из Новой Ладоги,

тяжело пробиваясь сквозь льды, и взял курс на базу Осиновец, именно тогда же, 27 ноября 1941 года, около десяти утра, кавторанг Нефедов выехал из Осиновца в сторону Новой Ладogi – и, судя по всему, поездка эта была для него первой, ознакомительной. Начальник Ледовой дороги, приказом пока не утвержденный, знакомился со своим хозяйством. «Дорога по льду обвехована, но еще не организовано обслуживание, – сделал он первую запись в блокноте, – проходишь большие расстояния и не встречаешь регулировщиков». Последнее пометил не только для памяти, но и для дела: буквально на следующий день регулировщики были поставлены. А строгий и въедливый хозяин трассы продолжал изучать обстановку, ничего на своем пути не упуская. «Опасные места не обвехованы, – помечал он в своем блокноте – и это звучало почти как SOS, неотложно и упреждающе. – Лед непрочный. Там, где много проезжало машин, он часто проваливается. На нашем пути встретилось 35 полуторок, провалившихся и наполовину затонувших. Много разбилось лошадей», – последняя фраза, как горестный выдох – лошади все-таки не машины, а живые существа. Что до машин, так их в тот день, кроме «35 наполовину затонувших», было еще с десятка провалившихся и полностью ушедших под лед. Подводникам-спасателям хватало работы!

Но это было 27 ноября, а сегодня 3 декабря, почти неделя прошла с тех пор, трасса за эти дни заметно ожила и поменяла облик – морозы внесли свои коррективы. Клевенский все это видел и хорошо понимал. «Ну что ж, Михаил Александрович, – сказал он тихо и даже прочувствованно, – рад нашей встрече. Читайте, что мы вам эстафету передали». – «Эстафету принял! Выходим на дистанцию», – полушутя ответил Нефедов. «И пусть вам сопутствует удача на этом нелегком пути! – слово «пути» Клевенский произнес подчеркнуто, имея в виду не что-то загадочно-туманное, глубоко запрятанное, а самый конкретный и реальный п у т ь, Ледовую дорогу, от которой сегодня зависело многое, очень многое. – И твердого льда вам под колесами!» – «Спасибо, Михаил Сергеевич. А вам более мягкого льда. Чтобы поменьше приходилось долбить ломami и рвать аммоналом», –

не поспешил на пожелания Нефедов. «Вот видите, какие разные у нас интересы, — сдержанно усмехнулся Клевенский, что чувствовалось и по голосу. — Вам нужен твердый лед, а нам — мягкий. Ну, Михаил Александрович, до встречи на чистой воде!»

Но мягкого льда и тем более чистой воды на пути не встречали. Конвой в этот день едва продвигался. Тяжелые торосистые глыбы опасно сжимали слабые, вовсе не приспособленные к таким «плаваньям» корпуса кораблей. И чем ближе подходили к бухте Осиновца, тем жестче и неподатливей становились льды. А когда оставалось до бухты миль пять, не больше, один из тральщиков получил пробоину. Командир тотчас об этом доложил: «В машинное отделение поступает вода...» — «Помощь нужна?» — спросил Клевенский. «Пока не нужна, товарищ капитан первого ранга, — ответил командир, — обходимся своими силами». — «Держитесь, лейтенант! Остается немного — рукой подать. Дотянете сами?» Но, как говорится, близок локоток... Короткий этот отрезок, в пять или шесть миль, тащились всю ночь, прорубаясь ломами, пешнями и снова ломами (взрывчатка здесь, на подходе к базе, была неподручной), двигались в час по чайной ложке и только к полудню следующего дня, 4 декабря 1941 года, дотянули до бухты Осиновца и встали во льдах на внешнем рейде. Ближе к причалам подходить не решались — опасно!

Клевенский уже знал, что три дня назад здесь, во льдах, буквально были раздавлены и затонули сторожевой катер МО-216 и тральщик «Норек», тащивший на буксире груженную продовольствием баржу. Когда «Норек» получил несколько тяжелых пробоин и весь залитый водой пошел под лед, буксирный трос натянулся и оборвался, как балалаечная струна, что и спасло баржу от худшего. Однако теперь стало ясно: навигацию пора завершать! Корабли, как и люди, нуждаются в отдыхе, замене изношенных и побитых механизмов, латании и лечении тяжелых пробоин, трещин и вмятин... И когда корабли, выбиваясь из последних сил, встали, наконец, на внешних рейдах Осиновца и Морье, удивляться было чему — конвой прибыл в полном составе! Это было невысказано. Семь дней конвой пробивался

сквозь льды из Новой Ладоги до Осиновца. Обычно по чистой воде эти 62 мили – около ста пятнадцати километров – проходили за десять-двенадцать часов. Ледовый же переход длился 168 часов, ровно неделю! Но главное – обошлось без потерь. Это самое главное! Все конвойные корабли, как на поверке, стояли на заснеженно-ледовых рейдах: канонерка «Вира», военные транспорты «Чапаев» и «Вилсанди», тральщики ТЩ-81, ТЩ-126 и десять катерных тральщиков. Здесь они и останутся до весны, еще больше врастая в лед; но не выжидая у моря погоды, а каждодневно и со всем тщанием готовясь к следующей навигации...

Позже заместитель командующего флотилией по снабжению и водным перевозкам каперанг Авраамов доверительно скажет Клевенскому: «Ну, Михаил Сергеевич, из двух одно: либо вы в рубашке родились, либо над кораблями конвойными летали ангелы-хранители...» Клевенский покачал головой: «Нет, Николай Юрьевич, ни то и ни другое. А вот погода сопутствовала. Почти всю неделю, пока мы бились во льдах, штормовые ветра и снегопады сменялись густыми, как дымовая завеса, туманами. Неба не видно! В такой круговерти не только ангелы, но и самолеты противника не решались над нами летать... Так что плохая погода обернулась для нас благодатью». – «А люди?» – спросил Авраамов, как бы подведя черту, умел он расставлять в разговорах все точки над «і». Клевенский, помедлив, сказал: «А людей наших, Николай Юрьевич, вы не хуже меня знаете. Это ж о них было сказано: гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире лучших гвоздей!»

Авраамов улыбнулся: «Тихонов... Николай Семенович? Это его стихи. Да он и сам из породы «железных». Мне довелось с ним встречаться. Он возглавляет группу писателей при Политуправлении Ленинградского фронта. Очень надежный, мужественный человек. И поэт божьей милостью! «Гвозди бы делать из этих людей...» – после короткой паузы повторил, будто пробуя эти слова не только на слух, но и на прочность. «Да-да, – подтвердил Клевенский, – точные слова! А правоту этих слов я настоящему оценил в последнем нашем переходе. Вы бы видели

руки матросов — сплошные кровавые мозоли... И никаких жалоб! Семь дней не выпускали из этих рук пешню, ледоруб и лом, пробивая фарватер. Железо ломалось, гнулись лома и пешни, а люди выстояли, не сломались — и корабли спасли, провели, протащили сквозь льды. Знаете, — помедлив, сказал, — сейчас я смотрю на наших матросов и думаю: да они все — все до единого! — заслуживают наград». Авраамов утвердительно покивал: «И я так думаю. Ну что ж, значит, и надо всех, кто заслуживает, представить к наградам». — «Надо», — согласился Клевенский. Хотя оба они понимали и сознавали подспудно, что «всем, кто заслуживает», далеко не всегда удастся вручить награды...

И в тот же день, когда последний конвой Ладожской флотилии завершил свой небывало тяжелый, немислимый ледовый переход из Новой Ладogi в Осиновец, начальник Генштаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Гальдер записал в своем дневнике: «4 декабря 1941 года. 136-й день войны... Наша авиация начала налеты на транспорт, идущий по льду Ладожского озера».

Факт неоспоримый. Не скрывал этого и начальник Ледовой дороги капитан второго ранга Нефедов, днем раньше занеся в «бортовой» журнал, как называл он карманный блокнот, который держал всегда при себе: «Вчера и позавчера трассу бомбили около 30 самолетов противника. Они бомбят и обстреливают обозы и машины из пулеметов...»

Немцы пытались уничтожить Дорогу (и как можно скорее!), превратить ее в «ледовую кашу», не жалея бомб и снарядов, били с воздуха и с позиций береговых. Но Дорога держалась! «Лед озера стал толще, — помечал в «бортовом» журнале Нефедов. — Теперь можно передвигаться на полностью загруженных машинах».

Вот это больше всего и раздражало, сбивало с толку генералитет вермахта, вызывая гнев и у самого фюрера. Причиной тому, разумеется, не запись Нефедова, о которой они и знать не знали, а то, что Ледовая дорога, несмотря на все их усилия и тактические уловки, продолжала действовать. «До каких пор?» — спрашивал фюрер недавнего своего любимца фельдмаршала

Лееба, который в свое время буквально за три дня прибрал к рукам Париж, а здесь, под Ленинградом, торчит уже не один месяц — и не может полностью замкнуть кольцо. Ладожская коммуникация продолжала действовать, оставаясь для немцев камнем преткновения. Нефедов же радовался покрепчавшим морозам: «Лед становится толще». И «эмка» его, как челнок, сновала по трассе туда и сюда, уже одним своим присутствием взбадривая и поднимая дух дорожников.

Укреплялась и обживалась постепенно ледовая трасса. На всем ее протяжении от Кобоны до Кокорево было возведено полдюжины ремонтных пунктов, новые посты связи осваивали эфир, на самых сложных участках стояли регулировщики, работали дорожники-мостовики и спасатели, а главное... Да все тут было главным! Вот этим в первую очередь и поинтересовался Исаков, поймав хозяина дороги где-то в пути, между западным берегом и восточным: «Ну, как там «ниточка», Михаил Александрович?» — «Держится, товарищ адмирал. И обустраивается», — коротко и без малейших запинок отвечал Нефедов, хотя звонок из Смольного и настиг его врасплох. «Противник с воздуха донимает по-прежнему?» — «Донимает, товарищ адмирал, но теперь по-прежнему у них не всегда получается». — «Даже так! А причины?» — выпытывал Исаков. Впрочем, о причинах ему уже докладывали, но, видимо, хотелось услышать об этом из уст самого хозяина трассы. «А причина одна, товарищ адмирал, отросли и у нас острые «зубы», — пояснил Нефедов. — Теперь мы можем не только огрызаться, но и кусаться умеем больно».

И все было понятно. «Зубы» — это зенитные батареи, наконец-то установленные на укрепшем ладожском льду вдоль всей зимней трассы, которая неплохо теперь защищена. Еще бы! Как только самолеты противника появлялись в небе, устремляя хищные фюзеляжи в сторону Ледовой дороги, зенитные батареи тотчас показывали «зубки» — открывали плотный заградительный огонь. Обстрелы же трассы береговыми батареями довольно решительно пресекал 302-й артиллерийский дивизион флотилии, с недавних пор занимавший удобную позицию на правом берегу Невы, в районе Морозовки, неподалеку от

Шлиссельбурга. Стоило только береговым батареям противника тявкнуть, обозначив себя выстрелами, как тут же их огневые точки засекали и подавляли тяжелыми ударами дальнобойных морозовских гаубиц.

Не сидел сложа руки и гарнизон Шлиссельбургской крепости, которую немцам так и не удалось взять. Пролив шириною в двести метров, отделявший город Шлиссельбург от островка Орешек (так называли его издавна), оказался не по зубам двум фашистским десантам, а третий они уже не засылали — глубина пролива была внушительной! Да и крепостные пушки работали исправно. Снарядов на островке хватало. После спешной передислокации главной базы флотилии здесь остались целые погреба и склады, арсеналы продовольствия, оружия, боеприпасов...

Получалось, не только гарнизон несдавшейся крепости и не только Ледовая дорога, но и штаб дорожной службы, находившийся в деревне Кокорево, имели надежное прикрытие. Размещался штаб в бывшей школе, однако в деревне известен был далеко не всем. Зато исключительно все знали и охотно могли показать «домик Нефедова». Хотя самого флагмана Ледовой дороги видели в деревне редко. Между тем имел он здесь и свой кабинет, и своих помощников, заместителей и спецов при штабе, и даже «флагманскую каюту», где мог начальник Дороги перевести дух и часок-другой поспать в уютной постели.

Но появлялся он в деревне обычно затемно, уезжал отсюда ранним утром, а то и ночью, поднятый тревожным звонком; так что в большей мере «дом Нефедова» находился не в Кокорево, а на трассе, где встретить и видеть самого флагмана можно чуть ли не круглые сутки. Вездесущая «эмка» попевала всюду — и не было ни одного опасного, а то и почти безвыходного случая на трассе, где бы в самый острый и нужный момент не появился Нефедов. А когда он появлялся — гора с плеч! — все знали: сейчас хозяин дороги мигом разберется и найдет из безвыходной, казалось, ситуации единственно правильный выход. И он его находил! Не с кондачка, тяп-ляп, а строго продуманно, с точным расчетом — штурманская жилка давала о себе знать. Больше

того, Нефедов разработал и составил (на основе своих наблюдений) «График зависимости перевозок от метеорологических условий, от подвижки и толщины льда и снежного покрова, от воздействия противника». Вот так! Воздействие противника Нефедов ставил на последнее место. Но это вовсе не значило, что силу противника он умалял, недооценивал, однако твердо сознавал и был уверен в том, что подвижки и толщина льда таят в себе гораздо больше опасности, чем налеты «юнкеров» и обстрелы вражеских береговых батарей.

Позже, десятки лет спустя, участники той ледовой эпопеи уверяли: «Этот документ, представлявший собою научную ценность, помогал М.А. Нефедову не только принимать правильные решения, но и многое предвидеть заранее». Не случайно его называли полным хозяином трассы. И уже тогда ходили о нем легенды. Поговаривали, мол, капитан второго ранга Нефедов настолько смел и уверен в себе, что при случае может проигнорировать любой (даже адмиральский!) приказ, если тот не взвешен и пуст – и сделает все как надо. Здесь, конечно, как и во всяких легендах, были преувеличения, но в сущности незначительные; Нефедов действительно обладал сильным характером и незаурядной способностью быстро и точно просчитывать, принимать нужные решения, исходя не из буквы того или иного приказа, а прежде всего из реально сложившейся обстановки.

Вот и той промозглой штормовой ночью Нефедов как всегда вовремя подоспел к месту чрезвычайно опасных событий. Тьма непроглядная! Даже свет фар не мог пробить эту мглу – и «эмка», двигаясь как бы на ощупь, с ходу въехала в какую-то наледь, брызги из-под колес дробью обдали боковые стекла. Сразу несколько человек выскочили из тьмы навстречу, взмахивая руками, словно готовясь подхватить легковушку и перенести ее на «сухой» участок ледовой трассы. Но машина уже остановилась, не выключая фар, дверца справа тотчас открылась, и – сам себе хозяин! – на лед, скорее в наледь уверенно и без малейшего колебания ступил Нефедов. Шквальный ветер ударил в лицо, сбивая дыхание. И за пределами неровно-блеклого мятущего-

ся света, шедшего с двух сторон, что-то хлопнуло и зашуршало протяжно, будто сразу несколько петард взорвали воздух, однако пахнуло не порохом, а пронзительной ледяной сыростью.

«Обнаружены майны и трещины, товарищ капитан второго ранга, — отделившись от группы людей, стоявших подле машин с зажженными фарами, и шагнув навстречу Нефедову, поспешно и коротко доложил начальник аварийно-спасательной службы лейтенант Усольцев. — Штормовой ветер выхлестывает на лед потоки воды...» — «Понятно, — сказал Нефедов, обрывая доклад и нетерпеливо вслушиваясь в долетавшие из тьмы протяжные и гнетущие звуки. — И чем это чревато, надеюсь, тоже понятно, — добавил секунду спустя, подходя вплотную к той группе людей, которые ждали его, как бога. — Лейтенант, что вы намерены предпринять?» — повернулся к главному аварийщику. «Используем деревянные настилы, — ответил лейтенант. — Но нам не хватает подручного материала. Вот ждем, должны подвезти...» — «Ждите. И не спускайте глаз с этих майн. Будьте начеку, — распорядился Нефедов. — Сейчас всех оповестим — подвезут материалы и люди подъедут. Работа предстоит нелегкая, — и без всякой паузы уточнил: — Ближайший пост связи близко? Нужен телефон». — «Пост связи тут рядом, товарищ капитан второго ранга, метров триста, не больше, — с готовностью отозвался лейтенант. — Можем показать, если разрешите». — «Отставить! Обойдемся без провожатых. А вы занимайтесь своими делами», — бросил Нефедов, уже садясь, втискиваясь объемной своей фигурой в тесноватую, но уютную по-домашнему «эмку». Дверцу захлопнули, и машина тронулась, ощущывая зажженными фарами ледовую трассу, местами переметенную снегом, а где-то уже подмытую и залитую водой. Порывистый ветер бил в лобовое стекло, залепляя мелким крошевом ледяных брызг и сырыми ошметками снега.

А пока настырная «эмка» пробивалась в промозглой тьме сквозь тугие порывы холодного норда, двигаясь в сторону предполагаемого поста связи, Нефедов успел прокрутить в голове и обмозговать два взаимоисключающих варианта, чтобы оставить один из них — и принять окончательное решение.

И первое, что мгновенным и жутким видением возникло перед глазами — неизбежная катастрофа! Ураганный ветер взламывает льды (такое на Ладоге нередко случается), заливая и разрушая дорогу со всеми ее сооружениями: деревянными настилами, мостками, постами связи, ремонтными пунктами, зенитными батареями, без которых ледовая трасса теперь немыслима... Все разом смыто и уничтожено. Попробуй восстановить! «Нет, нам это не подходит, — мотнул головой Нефедов, резко, всем корпусом подаваясь вперед, будто готовясь поскорее сойти на лед и что-то делать, предпринимать, искать выход. — Надо спасти Дорогу! Но как?» И он уже думал, просчитывал второй вариант, уверенный в том, что третьего им не дано и, значит, на этом надо стоять, держаться.

Ветер с прежней силой хлестал в лобовое стекло, заслоняя видимость. Неровный свет фар метнулся вправо, сползая с дороги, и водитель, все это время сосредоточенно и молча крутивший баранку, хрипло сказал: «Пост связи, товарищ капитан второго ранга». Машина свернула с дороги, приблизившись к небольшой деревянной постройке, похожей скорее на некую караульную будку, осветив ее сбоку и как бы вырвав из тьмы. Нефедов вышел из машины, ступив на лед, и быстро направился к будке. Мягким, почти домашним теплом обдало его, когда он открыл дверь, и Нефедов заметил, что в крохотной этой камерке, где с трудом уместился один продолговатый стол с радиотелефонной аппаратурой, нашелся угол и для железной печки-временки, «буржуйками» их называют, а еще «барabanками» — это уже из детской памяти...

Двое матросов, сидевших где-то сбоку, увидев вошедшего Нефедова, проворно вскочили, а третий, старшина первой статьи, сидел в центре стола, держа телефонную трубку подле уха и с кем-то негромко разговаривая. Краем глаза и он заметил вошедшего, медленно встал, продолжая говорить в мембрану: «Так точно, он здесь. Только что зашел. Будете разговаривать?» — и, наконец, отняв трубку от уха, обратился к Нефедову: «Товарищ капитан второго ранга, Кокорево на связи. Дежурный штаба разыскивает вас».

Нефедов подошел к столу и взял трубку из рук старшины. «Да-да, что там у вас? Знаю, — выслушал и еще раз сказал: — И это знаю. Усольцев с аварийной группой уже на трассе. Начальник штаба уведомлен? Добро. А теперь слушайте внимательно мой приказ, — чуть отодвинул от стола табуретку, чтобы свободней уместиться, сел и спокойно, без всякой натяжки продиктовал: “Прекратить впредь, до особого распоряжения, выпуск на лед эвакуированных и всех едущих по транзиту. Тех, кто застрял во льду, подобрать и доставить на Большую землю машинами, — говорил он твердо и медленно, после каждой фразы делая остановку, наверное, для того, чтобы дежурный не только уяснил суть, но и успел записать полный текст, которого, впрочем, и сам Нефедов не имел перед собой, а приказ диктовал изустно. — Регулировочные посты сократить. Оповестить всех находящихся на трассе о возможном взломе льда. Без приказа Ладогу не оставлять. Движение не прекращать до последней возможности. Весь состав дорожно-мостовых и аварийно-спасательных команд выдвинуть на лед”. И вот еще что, — после паузы (и как бы выходя за рамки только что продиктованного) сказал он дежурному, — там рано утром готовили к отправке на восточный берег «цыплят» (так условно называл он детей). Немедленно передайте начальнику эвакупункта Левину: отправка «цыплят» отменяется вплоть до особого распоряжения. Все. Точка. Вопросы есть? Действуйте!» — и не положил трубку, а передал старшине, сказав коротко: «Будьте внимательны — положение на льду опасное. Очень опасное!» Шагнул к выходу, взялся за скобку, вдруг обернулся: «А у вас благодать как тепло», — с улыбкой заметил и, распахнув дверь, вышагнул в пронизанную ветром холодную тьму, где, неярко светясь фарами, ждала его «эмка».

И только под утро, едва забрезжило, буйство взломанных ураганным ветром майн было укрощено — и постепенно утихомирилось, плотно зажатое сверху бревенчатыми настилами.

«Всю ночь шла борьба за жизнь трассы, — вспоминал об этом спустя много лет один из участников тех ледовых событий. — Дорога жизни была спасена».

И Нефедов, не спавший вторые сутки, мог расслабиться, наконец, и даже слегка прикорнуть, сидя в тесной кабинке неумоимо катившей по трассе «эмки».

Однако, вернувшись под утро в Кокорево, он поспешил не в свою флагманскую каюту, а напрямик в штаб, где и настиг его звонок из Смольного. Оказывается, там уже знали: кавторанг Нефедов запретил отправку приютских «цыплят» на восточный берег, отменив приказ адмирала Исакова! Что ж, на то он и хозяин дороги. Впрочем, известно было и то, что ураганным ветром взломало льды, воду из майн выхлестывало на трассу, грозя снести ее и разрушить вместе со всеми строениями. Всю ночь дорожники боролись с этой стихией, запирая майны от ветра тяжелыми бревенчатыми настилами, «заглушками», как называли их аварийщики. «Ну, что там у вас, товарищ Нефедов, держитесь?» — звонил из Смольного председатель исполкома Ленсовета Соловьев, ответственный за ледовую трассу. «Кажется, устояли, товарищ член Военного совета, — сухо и коротко отвечал Нефедов. — Майны заглушены. Трассу перестало заливать». — «А ночью движение прерывалось?» — спросил Соловьев. «Нет, движение продолжалось всю ночь, но ограниченно и с большой осторожностью», — сказал Нефедов. «Михаил Александрович, — после паузы и уже несколько другим тоном продолжал Соловьев, — а почему вы приютских «цыплят» не отправили в первую очередь?» Нефедов предвидел этот вопрос и был готов к нему. «Ну, значит, такой у меня петушиный характер, — сказал он, будто прикрываясь шуткой. — Долг петушиный такой — оберегать цыплят». — «Потому и отменили приказ, который предписывал срочно переправить в Кобону приютский контингент?» — «Никак нет, товарищ член Военного совета, — стоял на своем Нефедов. — приказ адмирала Исакова я не отменял. Приказ остается в силе. Однако прошлой ночью взял я на себя такую ответственность и запретил переброску приютского контингента, поскольку на трассе сложилась катастрофически опасная ситуация, — пояснил Нефедов. И не без усилий добавил: — Ну, не мог я, Николай Васильевич, не имел права рисковать малыми «цыплятами»! Не в моем это петушином характере». — «Понимаю, хорошо вас по-

нимаю, Михаил Александрович, – сказал Соловьев. – Надеюсь, и другие поймут».

Ледовая трасса в те дни (после пережитого урагана, а затем и острой нехватки горючего) казалась излишне суетной, тесной и перегруженной как никогда. Колонны машин двигались плотно, не соблюдая дистанций, с частыми и ненужными остановками, мешая друг другу и создавая опасные пробки.

Пользуясь этой сумятицей, самолеты противника миглом взлетали с близких «подскоков» и устремлялись к Дороге, нагло и не без риска пытаясь прорваться сквозь шквальный огонь зенитных батарей, заслоном стоявших вдоль трассы на льду, и прорывались нередко, нанося вождеденно и зло удары по скоплениям людей и машин... Однако столь же нередко немецкие бомбовозы, наткаясь на жгучий заградительный обстрел, круто взмывали и уходили, что называется, от греха подальше, освобождаясь от смертоносного груза где-нибудь в стороне от Ледовой дороги.

И так целыми днями, с рассвета и дотемна, лишь с малыми промежутками, продолжались налеты, налеты, бомбежки, атаки с воздуха... Лишь ночью, в кромешной тьме, когда машины двигались медленно и с погашенными фарами, наступало некое подобие затишья – казалось, ничто не грозило с неба.

Но здесь, внизу, на ледовой трассе, машины, шедшие почти вслепую, как бы наугад, подвергались не меньшей (но даже большей) опасности, чем при свете дневном под бомбежками. Это был факт! И Нефедов первым его заметил, вычислил, сопоставил и твердо решил: «Ночью надо ездить по озеру со светом». То есть, не маскируясь, с зажженными фарами? Вывод, прямо сказать, неожиданный. Ведь прежде (и до сих пор) считалось, что движение транспорта ночью без света более безопасно и надежно: темнота маскирует и защищает людей и машины от воздушных налетов.

Нефедов с этим не спорил. Да, маскирует, соглашался он и тут же, будто вывернув факт наизнанку (вот посмотрите!), показывал и доказывал обратное: да, темнота маскирует, но в темноте

непроглядной, теряя ориентировку, машины очень часто, не разобравшись где что, влетают в незримые майны, сталкиваются одна с другой и бьются там, где белым днем (или черной ночью, но при свете фар) катись хоть на боку. Непостижимо! Оказывается, ночные потери на Ледовой дороге значительно больше и тяжелее, нежели дневные под бомбежками и обстрелом.

«И что же теперь, как быть?» – пытали Нефедова. И сам он себя спрашивал: ну, что будем делать, Михаил Александрович? Хотя все уже твердо решил: «Ночью надо ездить со светом!» Но как это сделать? Отменить приказ командующего фронтом он (даже будучи хозяином Ледовой дороги) не мог, не имел права, однако и с тем положением, что сложилось на трассе, мириться нельзя – не в его это характере. Итак, что будем делать, Михаил Александрович?

Одно вне сомнения: Нефедов нашел бы выход! Но так сложилось, что искать ему не пришлось. Выход сам по себе приспел, обозначившись четко и в полной мере.

А началось это с весьма неприятного и крайне тяжелого случая. Шли последние дни декабря 1941 года. И вот в один из этих дней Ледовая дорога (или, как именовали ее официально, ВАД № 101, то есть военно-автомобильная дорога) лишилась транспорта. Трудно себе представить, но сотни и сотни грузовиков не смогли в тот день выйти на трассу. И Ледовая дорога вдруг опустела, оставшись не у дел. Кажется, телефонные провода раскалились от всевозможных звонков. Нефедова упреждали еще с вечера: завтра машины не выйдут на трассу – нет горючего! Как нет, почему не завезли? Нефедов дозвонился до Шилова: «Товарищ генерал, что там, как?» – «Пока никак, нет горючего, – сухо ответил Шилов. – Будем добывать».

Генерал-майор Шилов в конце ноября принял командование объединенной ледово-сухопутной трассой (ВАД-101 и ВАД-102): первая из них, Ледовая дорога, шла от деревни Кокорево, что на западном побережье Шлиссельбургской губы, до восточного берега Ладоги, до деревни Кобоны, где и начинала свой путь вторая, сухопутная трасса. Некоторое время, будто не в силах оторваться, «сухопутка» двигалась берегом озера, потом резко

поворачивала и долго тянулась вдоль правого фланга недавно (после освобождения Тихвина) открытого Волховского фронта, огибала его тылы и уходила на северо-восток, углубляясь в густые тихвинские леса. Там на всем протяжении маршрута размещалось множество складов, перевалочных баз, автодорожных частей и различных служб, входивших в состав военно-автомобильной дороги №102. Хозяйство громадное!

Наверное, с точки зрения военной стратегии объединение двух дорог, ледовой и сухопутной, имело свою целесообразность. Однако уже вскоре после начала действия Ледовой дороги, 22 ноября, когда вслед за конным обозом прошла по ней первая автомобильная колонна, сразу же определились и ее несомненная значимость, и... отдельность. Ледовая трасса, дойдя до восточного побережья Ладоги, у деревни Кобона, сомкнулась, но, увы, не «срослась» с дорогой сухопутной (скорее, пришвартовалась к ней), поскольку жили и действовали обе дороги как бы на особицу, каждая по своим уставным нормам, в разных условиях и даже, если хотите, в различных климатических поясах — не только погодных, но главным образом и вкупе со всем, «поясах» трудовых и военных, где Ледовой дороге отводилась исключительно важная роль. Что не раз отмечалось и в постановлениях Государственного комитета обороны, подписанных Сталиным: от беспрерывных и четких действий ледовой Ладожской магистрали зависит судьба не только Ленинграда, но и многих наших дальнейших успехов в борьбе с немецким фашизмом. Этот, казалось, излишний пафос не затмевал правды — все так и было!

Потому ледовая трасса и вызывала постоянное беспокойство в генералитете германского вермахта и раздражала фюрера. 1941 год завершался, зима в полном разгаре, а второе кольцо вокруг Ленинграда так и не было замкнуто. Колонны грузовиков продолжают идти через Ладогу, днем и ночью везут и везут продовольствие и оружие, снабжая блокадный город...

И вдруг разом все оборвалось — жизнь Ледовой дороги замерла и опустела. Утром 31 декабря машины не вышли на трассу. Нет горючего!

Полное безветрие. Штиль. Погода прекрасная! И безмолвная, пустая дорога. Нефедов кинулся было на своей «эмке» в Кобону, потом спохватился и передумал, велел шоферу: «Давай обратно. Не будем зря жечь бензин».

Шофер молча развернулся и погнал «эмку» по непривычно пустынной трассе в сторону Кокорево. Остановились у одного из постов связи. Нефедов решил еще раз позвонить Шилову. Что-то молчит генерал, наверное, ничего не добыл? Так и вышло! Шилов протяжно вздохнул, выслушав его, и устало попросил: «Послушай, Нефедов, ты меня шибко не терзай, я делаю все возможное, но пока безрезультатно – нет бензина».

Положение было двойственным – понятное и непонятное. Нефедов понимал: машины стоят, потому что нет горючего, логика тут простая. Но категорически не мог понять: почему это горючее (бензин, керосин и прочие масла-солидолы) не было вовремя доставлено и почему, наконец, не оказалось никаких запасов? Кто-то же в этом повинен, чей просчет, недочет сотворили столь сложную, можно сказать, провальную ситуацию на Ледовой дороге? Три дня трасса бездействовала – машины стояли без горючего. Это было похоже на отступление, тяжкое и неоправданное, с большими потерями. Потери же действительно были ощутимыми – сотни и тысячи тонн продовольствия, боеприпасов, оружия не были доставлены в Ленинград. Нефедов затосковал. Такую «мину» подложили под Новый год!..

А наутро, едва рассвело, коротко и зло начертил карандашиком в «бортовом» журнале: «План не выполняется. Дорога идеальная, а машин нет. Парк стоит. Шилов горючее так и не добыл».

Шел первый день 1942 года. Нефедов не находил себе места, мучаясь от полного своего бессилия. И все больше склонялся к мысли, что причиной всему послужила некая беспечность, нерасторопность Шилова, что это он, генерал-майор Шилов, должен позаботиться о своевременной доставке бензина. Нефедов уже собрался позвонить в Смольный и доложить, напомнив еще раз адмиралу Исакову о возникшей проблеме на Ледовой дороге, но чей-то звонок, настойчивый и протяжный, опередил

его. Он быстро взял трубку и услышал знакомый голос — звонил Соловьев: «Михаил Александрович, а я вот решил поздравить вас с новым годом! Ну, как вы там, бездельничаете?» — спросил спокойно, прямо-таки безмятежно, как будто ничего из ряда вон и не случилось на Дороге, которую он как член Военного совета Ленинградского фронта был уполномочен опекать. «А что нам остается, — ответил Нефедов. — Вы же знаете, Николай Васильевич, какая ситуация сложилась на трассе». — «Знаю. Ситуация нам известна, — подтвердил Соловьев. — И вопрос уже решается. Завтра весь автопарк поставим на колеса! Так что на дороге тесно будет», — легонечко припугнул. «Места хватит, а будет тесно — выход найдем». — «Найдете или уже нашли?» — уточнил Соловьев. «Имеются про запас, товарищ член Военного совета». — «Молодцы! И что это за выход, если не секрет?» — «Никаких секретов! Откроем вторую трассу». — «А это возможно?» — «Вполне, — отвечал Нефедов, исподволь загораясь. — Там колея уже готова! Осталось только оборудовать дорожные знаки, поставить регулировщиков. А так все начеку. Будет «добро» — и поехали!» — «Что ж, Михаил Александрович, вы меня почти убедили, — живо отреагировал Соловьев. — Давайте так. На днях я загляну к вам, проедем по трассе — там и решим все окончательно. Двух дней хватит на обустройство?» — «Хватит и одного», — заверил Нефедов. «Добро!» — коротко резюмировал Соловьев, как бы в столь косвенной форме давая свое согласие.

Человек исключительно штатский, Соловьев оказался по-военному четким и последовательным, а такой пунктуальностью далеко не всякий боевой офицер мог похвастаться. «Завтра весь автопарк поставим на колеса», — пообещал Соловьев. И на завтра под вечер горячее было доставлено к месту заправок. А в ночь со второго на третье января машины, одна за другой, двинулись в сторону Кобоны. Нефедов понимал, заслуга в этом не только Соловьева (хотя и Соловьев как председатель исполкома Ленсовета и член Военного совета фронта, в отличие от генерал-майора Шилова, имел достаточно рычагов и каналов, чтобы оперативно решить проблему с горючим); к тому же хорошо были осведомлены о ситуации и немало поспособствовали

ее разрешению оба командующие – Балтийским флотом вице-адмирал Трибуц и Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Хозин. И хотя Сталину не докладывали, сочтя, наверное, вопрос незначительным, Верховный какими-то «окольными» путями прознал об этом срыве (возможно, от Жданова, звонившего накануне) и очень спокойно, но жестко сказал: «Если к пятому января положение не исправите, будете головой отвечать». И назавтра, 4 января, Ледовая дорога вновь ожила, заработала с полной отдачей, перетаскивая на своем «горбу» сотни и тысячи тонн ценнейшего груза.

А 5 января 1942 года (шел 198-й день войны) к труженикам Ледовой дороги обратился с призывом Жданов, фигура в то время весьма заметная – член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б), одновременно секретарь Ленинградского обкома и горкома, член Военного совета фронта. Обращение Жданова несколько раз передавало радио, отпечатано было в листовках, большую часть которых в тот же день по всему маршруту – от Кокорево до Кобоны – распространили среди тружеников и защитников Ледовой дороги – а это целая дивизия! К ним непосредственно и обращался Жданов, их призывал сделать все возможное, чтобы отстоять Ленинград, защитить свою Родину, над которой нависла смертельная опасность фашистского ига. «Снабжение Ленинграда и фронта все время висит на волоске, а население и войска терпят невероятные лишения... Быстро исправить положение и облегчить нужду Ленинграда зависит от вас, работников фронтовой дороги, и только от вас! – говорил Жданов и призывал: – Возьмитесь за дело, как и подобает советским патриотам, честно, с душой, не щадя своих сил, не откладывая ни часа, чтобы быстро наладить доставку грузов для Ленинграда и фронта в количестве, установленном планом.

Товарищи ладожцы! Родина и Ленинград никогда не забудут ваших трудов!»

Впрочем, их и призывать не надо, тружеников и защитников Ледовой дороги, они и без того денно и ночью работали! Грузные машины бесконечным потоком шли по трассе. Но, как

известно, машины не сами по себе ходят, даже песенка об этом поется: «Не сама машина ходит — человек машину водит...»

Шестого января, еще затемно, приехал в Кокорево Соловьев. Однако, несмотря на такую рань, подле «дома Нефедова», на слабо освещенном пятачке двора, теснились, недолго задерживаясь, кучки военных, одетых по-зимнему — все в ушанках и шинелях, а кое-кто и в полушубках. Было морозно. Только что закончилось совещание, скорее короткая летучка при штабе Ледовой дороги, и участники этого чрезвычайно важного и экстренного сбора спешно расходились и разъезжались по своим боевым частям, подразделениям и дорожным службам. И когда к штабу подкатила и остановилась чуть поодаль, за оградой, заиндевелая легковушка, двор к тому времени уже почти опустел; оставались лишь несколько офицеров во главе с Нефедовым, который увидел вышедшего из машины Соловьева и проворно двинулся навстречу.

«С прибытием, товарищ член Военного совета, — поприветствовал и коротко доложил: — А у нас только что закончилось совещание. Собираемся ехать на трассу». — «Добро. Значит, я вовремя подоспел. А вы настоящие жаворонки», — сказал Соловьев, пожимая руку Нефедову. «И не только жаворонки, но и совы, — отшутился Нефедов. — Ложимся поздно, встаем рано». — «Правильно! Кто рано встает, тот много делает, — переиначил поговорку, упустив бога. — И что за совещание?» — «Экстренное. Можно сказать, объявлена боевая тревога. А вопрос у дорожников сегодня один: как улучшить работу на трассе? К этому нас и товарищ Жданов призывает», — добавил многозначительно. «Да-да, — подтвердил Соловьев, — это сегодня самое главное. И с чего вы решили начать, чтобы улучшить работу на Дороге?» — «Вот с Дороги и начнем, — ответил низкорослый Нефедов, снизу вверх поглядывая на более высокого Соловьева. — Сегодня к вечеру создадим вторую трассу». — «И что это даст?» — «Ускорим движение транспорта. А второе: значительно увеличим нагрузки. Двойная тяга!» — «Ну что ж, — кивнул Соловьев, явно заинтересованный, — посмотрим, как это будет на деле. Сегодня к вечеру, говорите? А успеете

к вечеру?» Нефедов улыбнулся, все так же снизу вверх поглядывая на него: «Так ведь мы, Николай Васильевич, не только жаворонки, но и совы», — и в этой шутке была вся правда.

Они не только успели, но и преуспели. Хотя и немцы вскоре пронюхали и недурно вычислили задуманную ими «реконструкцию» Дороги — и не скрывали своих намерений: разрушить, сорвать операцию, остановить движение и всякую жизнь на этой треклятой ледовой трассе! Воздушные налеты в тот день были особенно злые и частые. Немецкие асы, как и всегда (считая себя хозяевами неба), шли напролом, открыто и нагло, с остервенелым упорством пытались прорваться к самой трассе, чтобы нанести прямой и сокрушающий удар, вывалив на нее весь свой тротиловый запас... Лед трещал, взлетая в воздух тяжелыми глыбами и мелким крошевом, обрушиваясь близ дороги, а то и на саму дорогу. Машины пытались маневрировать, прибавляя скорости до предела либо сбрасывая и притормаживая, но возможности маневра были слишком ограниченными. И надеяться оставалось только на зенитчиков, которые хлестким заград-огнем вынуждали фашистских асов уходить в сторону, подальше от дороги, там и разгружать свои бомбовозы.

Нефедов и Соловьев в это утро, пока добирались до Кобоны, дважды попадали в опасные переплеты; особенно при последнем налете, когда от близкого взрыва «эмку» Нефедова круто занесло, ударило справа и так трянуло, едва не опрокинув, что небо показалось с овчинку... Однако шофер с управлением справился и тотчас машину выровнял. Но, проехав немного и выждав момент, сказал: «Надо бы остановиться, товарищ капитан второго ранга, посмотреть — что там?» — «Остановись. Посмотрим», — разрешил Нефедов. И первым вышел из машины, когда съехал на обочину, встали неподалеку от поста связи. Они осмотрели — и сразу бросилось в глаза сильно помятое, прямо-таки изуродованное крыло. Удар пришелся как раз с той стороны, где сидел Нефедов, но чуть ниже, у самых колес. «Да-а! — растягивая слова, как бы сам себе сказал шофер. — Хорошо, что угодило снизу...» Подъехал Соловьев и тоже вышел из машины, встал рядом: «Что случилось?» — «Ничего страшного, — сказал Нефедов. — Задело

слегка, но жить можно. Как считаешь, дело поправимое?» — глянул на водителя. Тот пожал плечами: «А почему нет, товарищ капитан второго ранга, поправить все можно, если время найдется...» — «Ну, тогда вперед! — приказал Нефедов. И, сидя уже в кабине, добавил: — А время найдется. Поехали!»

Обе машины, одна за другой, вырулив на дорогу, побежали справа, обгоняя не столь проворные грузовики разных калибров — трехтонки, полутонки, с кузовами под тентами и просто брезентом накрытыми, а то и вовсе открытыми, нараспашку...

Кобона встретила их рабочим гулом. Шла погрузка на причальной площадке, у нового, неделю назад обустроенного пирса. Юркие мотовозы подкатывали от ближних складов длинные сцепы груженых мешками вагонеток почти вплотную к ожидавшим очереди автомашинам — и механические грузоподъемники, слегка погромыхивая, аккуратно снимали тугие кули с платформ-вагонеток и переносили по воздуху, бережно опуская в открытые кузова; там их подхватывали в четыре руки и укладывали плотнее, один к одному — как надо.

Люди работали молча, несуетно, и временами казалось, что они здесь сбоку припека, а все механические приспособления, мотовозы с вагонетками и даже автомобили с распахнутыми кузовами действуют и движутся сами по себе, без чьей-то сторонней руки...

Загруженные машины одна за другой съезжали с причала по укатанной колее и направлялись в сторону Ленинграда. Отсюда, от новых пирсов Кобоны, и начиналась Ледовая дорога (Дорога жизни), оборвать которую, уничтожить и не оставить от нее никаких следов пытались немцы. Но Дорога жила и продолжала работать. А в этот вечер (точнее, в ночь с 6 на 7 января 1942 года) ледовая магистраль заметно расширилась от примкнувшей к ней второй трассы — и озарилась неисчислимым количеством ярких огней. Такого движения Дорога еще не знала! Колонны машин шли двумя вереницами — и не вслепую, как раньше, без единого огонька, а включив фары и все подфарники. Огни не только горели и освещали дорогу, но постоянно перемещались, раздвигая густую тьму, и плыли, плыли в холодном и гулком

пространстве единым живым потоком. Нефедов (можно сказать, творец и создатель новой трассы) ждал и предвидел такую картину, но это зрелище превзошло все его ожидания! Поздней ночью, вернувшись в Кокорево, он первым делом, едва скинув настывший реглан, записал в «бортовом» журнале: «6. 01. 42. Приехал Соловьев. Речь идет об улучшении работы на трассе. Решили к вечеру создать дорогу в две трассы — и создали! Дорога ожила, засветилась огнями. Вереницы огней. Машины идут одна за другой. Море огней! Дорога живет, а с ней заживет и Ленинград». Возможно, Нефедов не видел в себе поэта, но от его записок веяло стихами.

Прошла неделя, завершалась другая — и теперь уже ясно было, что перемены на Ледовой дороге не просто нужные, но предельно толковые и результативные. Подтверждали это и сводки доставленных с восточного берега в Ленинград крайне необходимых грузов, объемы которых возросли на глазах до двух тысяч тонн в сутки! И еще одно, может, самое главное: заметно убавились потери людей и техники. Нефедов, когда с ним об этом заговаривали, объяснял спокойно и деловито: «Так я давно твержу: ночью надо ездить по Ледовой дороге со светом. Это дешевле обходится. Меньше бьем машин и теряем людей...»

Ледовая дорога жила и работала 152 дня. Открылась 22 ноября 1941 года, а 25 апреля 1942 года в 16.00 приказом начальника автострады №101 капитана второго ранга Нефедова была закрыта для всех видов транспорта. Для всех! Нефедов подписывал этот приказ с таким чувством, будто сам себе объявлял смертный приговор. Хотя и знал заранее, держал в уме примерные сроки действия ледовой трассы, но когда эти сроки под напором апрельской ростепели подступили вплотную и начали своевольничать, разрыхляя и с треском ломая льды, тут уж не до сантиментов, надо было срочно принимать решение — и он его принял твердо и своевременно. А потом, как и положено, записал в «бортовом» журнале: «Итак: за 152 дня ледовым путем из Кобоны в Ленинград доставили 361 тысячу тонн различных грузов, из них 263 тысячи тонн — продовольствие». Много это или мало — судите сами.

И все-таки жаль было расставаться с Ледовой дорогой, очень жаль! Нефедов понимал: на смену автомобильному и гужевому транспорту придут боевые корабли, военные транспорты и новые «тысячетонные» баржи, построенные ленинградскими судостроительскими верфями. Водный фарватер (теперь уже водный, а не ледовый) примет их в свое лоно и возобновит переходы между Новой Ладогой и Осиновцем... Но когда это будет?! Навигация еще не открыта. А Ледовая дорога приказала долго жить. Наступило неизбежное междупарье. Взломанные, гонимые штормовыми ветрами, льды заполнили всю акваторию, все видимое пространство Ладоги, с пушечным треском громоздились друг на друга и создавали торосы гигантских размеров. Гидрологи упреждали: с природою не поспоришь! И уверяли: весна 1942 года позволит открыть навигацию на Ладоге не раньше 20 мая. А это почти месяц безделья! Целый месяц — никаких перевозок и поставок в Ленинград. Тревожный период. Хотя Соловьев отнесся к этому ровно. «Ничего страшного, — успокоил он и Нефедова, когда тот сразу после закрытия ледовой трассы позвонил в Смольный и доложил о сложившейся ситуации: — Запасы у нас достаточные, — сказал Соловьев, — тридцать-сорок, а то и пятьдесят дней продержимся. А там... будем надеяться, Ладожская флотилия не подведет».

Между тем Ладожская флотилия оставалась головной болью для стратегов Генштаба вермахта, строивших новые планы: как обуздать ее, наконец, эту флотилию, расчленив, уничтожить и вышвырнуть за пределы озера, замкнув окончательно — как удавку! — второе кольцо вокруг Ленинграда? Второе кольцо — это главная задача, решить которую пока не удавалось. И Гитлер крайне был недоволен обстановкой под Ленинградом, где вот уже несколько месяцев беспутно, по его мнению, топталась группа армий «Север» под командованием фельдмаршала Лееба, не делая никаких решительных шагов. Фюрер ценил прославленного Лееба за прежние заслуги, что, впрочем, не помешало ему в конце января 1942 года отозвать старика (фельдмаршалу в том году исполнилось шестьдесят шесть), а вместо него

назначить командующим довольно молодого, энергичного и амбициозного генерал-полковника Кюхлера. Новая метла, как известно, хорошо метет! И Кюхлер взялся за дело рьяно, заверив фюрера, что все возложенные на него задачи будут выполнены — и на Ладоге утвердится надлежащий порядок. Он действительно в это верил. Да и наступившая весна обнадеживала. Дни шли, все больше теплея, льды таяли, а вместе с ними, казалось, таяли и обрывались последние связи Ленинграда с внешним миром... Кюхлер был рад и не скрывал этого, поделившись однажды своей радостью с корреспондентами различных немецких изданий, — случилась такая оказия! И уже на следующий день заявление командующего группой армий «Север» появилось на первых полосах чуть ли не всех берлинских газет. «Единственный путь по льду Ладожского озера, при помощи которого Ленинград мог получать боеприпасы и продовольствие, с наступлением весны бесповоротно потерян, — торжественно и не без бахвальства вещал Кюхлер. — Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады, установленное нашими войсками». «Даже птица не сможет пролететь...» Однако 20 мая (как бы в ответ на это заявление) первый конвой Ладожской военной флотилии, состоявший из пяти боевых кораблей и двух барж, открыл навигацию 1942 года, выйдя из Новой Ладоги и взяв курс на Осиновец. Дорога жизни продолжала работать и воевать. Но это немцам претило — и они готовились нанести решающий удар. Готовились тщательно.

30 июня 1942 года дипкурьерская почта доставила в Смольный «строго секретный» пакет, адресованный Жданову. Конверт показался пустым, излишне легким и абсолютно чистым — без обратного адреса, каких-либо надписей и печатей, кроме двух сургучных с тыльной стороны. Жданов вскрыл конверт аккуратно по кромке, не ломая сургучных «замков», вынул из него вдвое согнутый стандартный лощеный лист (других вложений там не было) и первое, что прочитал, развернув письмо, это четкая и сжатая, как пружина, подпись внизу под машинописным текстом: «А. Микоян».

Жданов замешкался на секунду, немало удивившись, затем перевел взгляд вверх — и начал читать с первой строки: «Андрей Александрович, хочу вас поставить в известность. Государственный комитет обороны располагает достоверными сведениями о том, что немцы перебрасывают на Ладогу итальянские торпедные катера, — писал Микоян. — Задача этих катеров — уничтожение флота, занятого доставками продовольствия в Ленинград... — дальше он пояснял всю стратегическую значимость этой коммуникации. И завершал столь же сухо и чуть ли не в приказном тоне: — Чтобы не было никаких неприятностей, прошу строго проверить подготовку моряков для отражения этой опасности и обеспечения безопасности Ладожского водного пути». Записка члена Государственного комитета обороны Микояна, безусловно, содержала исключительно важную, а самое главное, своевременную информацию — что было очевидно. Хотя приказной тон — «прошу строго проверить подготовку моряков» — мог показаться Жданову не совсем уместным. Там же рядом, под боком у Анастаса Ивановича, Наркомат ВМФ во главе с адмиралом Кузнецовым, есть командование Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, наконец, здесь, в Смольном, постоянно находится заместитель наркома ВМФ, он же заместитель командующего и член Военного совета Ленинградского фронта адмирал Исаков... Возможно, и они по своим каналам получили это указание? «Надо поговорить с Исаковым», — решает Жданов и тут же, без малейшего промедления, связывается по внутреннему телефону с «морским атташе» (как в шутку и с большим пиететом называли адмирала). «Иван Степанович, здравия желаю, — сказал Жданов. — А теперь слушайте внимательно. Передо мной вот записка Анастаса Ивановича с очень интересной, как мне кажется, и важной постановкой вопроса. А вопрос безотлагательный. Мне хотелось бы его с вами обговорить. И не по телефону», — добавил многозначительно. «Все понятно, Андрей Александрович, буду сейчас», — по-военному коротко ответил Исаков.

И вскоре они сидели напротив друг друга за обширным столом заседаний в кабинете Жданова. Письмо Анастаса Ивановича

лежало перед Исаковым, адмирал его только что прочитал. «Ну, что скажете? — спросил Жданов. — Вы что-нибудь знали об этих торпедных катерах?» Исаков кивнул: «Да, знал, конечно». — «И что же?» — «Да, в сущности, почти все, что положено знать моряку моего ранга», — улыбнулся Исаков. «Ну, так рассказывайте! — поторопил его Жданов. — Что это за торпедные катера и в чем их преимущества?» — «Преимуществ у них достаточно, — сказал Исаков. — Прежде всего, это современные, новейшей конструкции малые торпедные катера, прямо-таки малютки, водоизмещением в двадцать тонн, но при этом имеют мотор мощностью в две тысячи лошадиных сил. Это ровно такая же мощность, какой обладают наши ладожские «линкоры» — боевые канонерки с двумя своими котлами. Вот эта моторная мощность и придает сил итальянским малюткам типа МАС — скорость их достигает 47 узлов... Можете себе представить?» — «Могу. Это где-то за восемьдесят километров в час?» — прикинул Жданов. «Да, в пределах 86 километров», — подтвердил Исаков. «И как они вооружены?» — «Хорошо вооружены...» В это время подали чай, что немного их отвлекло. «А вооружены итальянские катера, — несколько погодя продолжал Исаков, — двумя торпедными аппаратами, шестью глубинными противолодочными бомбами, имеют на борту мощную дымовую аппаратуру и один двадцатимиллиметровый пулемет. Но последний скорее для отпугивания ворон, которых на Ладоге остается все меньше», — сказал Исаков без всякой иронии. «Да, видать, крепкие орешки, — озаботился Жданов, поднялся и походил вдоль стола, разминаясь. Остановился и внимательно посмотрел на Исакова, «морской атташе» был строг и непроницаем. — И как вы находите, Иван Степанович, есть способ противостоять этим быстроходным торпедным катерам?» Исаков тоже встал и вышел из-за стола, приблизившись к Жданову. «Способов на войне много, Андрей Александрович, — ответил он, — но я сейчас не готов сказать, какой из них мы используем, когда встретимся лоб в лоб с итальянскими катерами... Обстановка покажет, как действовать. В одном я твердо уверен: наши моряки найдут способы, чтобы отстоять Ладогу». — «А ладожцы готовы к этому? — дотошно выпытывал Жданов. — Какие

меры, по-вашему, нужно предпринять дополнительно?» — «Такие меры уже предприняты, — сказал Исаков. — Приказом командующего флотилией введено непрерывное наблюдение за базами и кораблями противника, усилены системы постов связи, противоминного слежения, дозорной и конвойной служб... А корабли Охраны водного района главной базы переведены в постоянную боевую готовность». — «Это хорошо! Это правильно, — похвалил Жданов. — Надеюсь, и сам дух моряков поддерживается на высоком уровне?» — «Безусловно! Личный состав флотилии, Андрей Александрович, хорошо осведомлен о подготовительных действиях противника к решающим операциям и настроен по-боевому». — «Вот это самое важное, — сказал Жданов. — Вам, Иван Степанович, во что бы то ни стало надо удержать Ладогу и сохранить водную трассу. Во что бы то ни стало! А иначе — Ленинграду не устоять». — «Устоим, Андрей Александрович, — обнадежил Исаков. — Обязательно устоим, я в этом уверен». — «И я уверен», — сказал Жданов, коснувшись руки адмирала.

Итальянские же торпедные катера к тому времени, преодолев путь в три тысячи километров, прибыли уже к северо-западному побережью Ладоги и стояли в гавани Сортанлахти. Разумеется, добирались они не своим ходом — и путь их большей частью пролегал по суше. А начинался он от берегов Лигурийского моря, из порта Специя. Готовились к этому обстоятельно и серьезно. Еще 19 апреля главный штаб военно-морских сил Италии получил из Берлина исключительно деликатное предписание, от которого нельзя было отмахнуться: «Руководство войной на море, — писали шефы из вермахта, — рассматривает Ладожское озеро как весьма подходящий театр военных действий для использования там кораблей типа итальянских катеров МАС». Все было ясно! И сам Бенито Муссолини, прочитав берлинское послание, распорядился немедленно сформировать отряд катеров МАС и отправить на Ладожское озеро. Но каким путем? Эту заботу Муссолини возложил на военно-морское ведомство, и оно четко выполнило приказ. Отряд срочно сформировали из пяти торпедных катеров, командиром отряда назначили капитана

третьего ранга Бьянкини, грамотного и опытного моряка. Затем тайно погрузили на специальные платформы, тщательно замаскировали — и необычная автоколонна двинулась по крутым альпийским дорогам на Верону, Больцано, через туннели Бреннерского перевала и австрийские Альпы, до Берлина и дальше на Штеттин, оттуда морем до Хельсинки, там катера перегружены были на железнодорожные платформы и отправлены паровозной тягой до Лахденпохьи; и, наконец, увидели Ладогу и коснулись ее вод, завершая свой долгий путь, 22 июня 1942 года в порту Сортанлахти. Погода стояла отличная. Безбрежная Ладога отливала ровным голубоватым блеском. Полный штиль. Горячее солнце. Чистый воздух. Нет, это, конечно, не Ривьера на курортных побережьях Лигурийского моря, но жить можно, посмеивались итальянские моряки. Здесь и войной-то не пахло.

После столь затяжного и утомительного перехода (от Ривьер до Сортанлахти) итальянцам дали время на передышку и подготовку кораблей к боевым операциям. Передышка затянулась почти на месяц. К тому времени немецкая (а вернее сказать, немецко-финско-итальянская) флотилия была отлично укомплектована. Обновилось командование. Сформированный оперативный штаб «Форе-Ост» возглавил подполковник Зибель. Командующим всеми военно-морскими и воздушными силами на Ладоге назначили генерал-полковника Келлера. Да и боевой состав флотилии выглядел наступательно. Основой его, безусловно, считались самоходные десантные паромы «зибель», вооруженные крупнокалиберными пушками и скорострельными зенитными автоматами; все эти суда (а их не один десяток) вместе с баржами транспортными, санитарными, ремонтными, диверсионно-десантными и штабными составили специальный отряд — «Эскадра паромов». Особняком держалась эскадра кораблей, боевые качества которых переоценить невозможно: быстроходные десантные катера, тральщики, одна канонерская лодка, 6 сторожевых кораблей итальянского производства, 60 (шестьдесят!) катеров связи и прочего назначения и, наконец, отряд итальянских торпедных катеров, ждавших своего участия, а можно сказать, своей участи в предстоящих боях с кораблями русских...

«Ладожское озеро – весьма подходящий театр военных действий для использования там кораблей типа итальянских катеров МАС», – утверждали стратеги вермахта. Складно говорено! Однако уже после первых «репетиций» на театре ладожских вод обнаружилась полная несостоятельность этих расчетов; торпедные катера неизменно и, как правило, на большом расстоянии засекались дозорными тральщиками или «морским охотниками» Ладожской флотилии, с бортов которых тотчас, как только враг «засветился», открывали прицельный огонь скорострельные и довольно мощные «сорокапятки», посылая в цель снаряд за снарядом. Итальянцы же, в сущности, оказались безоружными, у них вся огневая мощь – один двадцатимиллиметровый пулемет. Похоже на то, если в руках одного сабля, а у другого шило – попробуй защититься! А применять в такой ситуации торпеды против тральщиков или «морских охотников» – все равно, что палить из пушки по воробьям. Тем не менее почти после каждой боевой операции катера МАС возвращались в гавань облегченными, без торпед, которыми, по признанию итальянских катерников, нанесен был ощутимый урон конвою противника...

Иногда доклады носили более живой и конкретный характер. «Слышу сильный взрыв и вижу, как корабль, по которому мы выпустили торпеды, медленно погружается, – докладывал командир одного из торпедных катеров лейтенант Ренато Бекки. – Потопленным кораблем оказалась одна из самых больших канонерских лодок на Ладожском озере». Ну, молодому лейтенанту, заброшенному из цветущих Ривьер на Ладогу, простибельна эта запальчивость – видеть то, что хочется видеть. Однако за все время первоначальных и последующих действий отряда итальянских торпедных катеров ни один ладожский корабль не пострадал. Это факт! Говорить же о глубинных противолодочных бомбах, которыми загружены торпедные катера, не приходилось, они оказались и вовсе ненужным балластом – никаких субмарин не водилось на Ладоге, а надводные цели для этих бомб не с руки. Оставалось одно преимущество – скорость, тут итальянским катерам МАС равных не было, и они частенько этим пользовались, не вступая в излишние и небезопасные

соприкосновения и перепалки с кораблями противника. Много позже один из участников тех событий подтверждал: «Безрезультатность действий итальянских торпедных катеров МАС на наших коммуникациях вынудила фашистское командование ускорить введение в строй паромов «зибель».

Итак, первые «репетиции» на театре ладожских вод показали, что «спектакль» может не состояться, если не поменять сценарий. Да-да, так рассуждал подполковник Зибель (видимо, большой театрал), такое мнение сложилось в оперативном штабе «Форе-Ост», и генерал-полковник Келлер поддержал это мнение. Сценарий быстренько поменяли. Теперь всякие одиночные вылазки и рейды итальянских торпедных катеров предельно сокращались, а предпочтение отдавалось более крупным групповым операциям. И тут самоходные десантно-штурмовые паромы «зибель» выходили на первый план. Эти боевые суда, в сущности, катамараны, возведенные на двух мотопонтонах, соединенных обширным помостом, на котором — в носовой и кормовой частях — установлены орудия 88-миллиметрового калибра и два многоствольных зенитных автомата. Бензиновые двигатели (их тоже два) с бесшумным подводным выхлопом держали скорость в пределах десяти узлов, скорость невелика, зато отличное вооружение. И еще одно достоинство — малая осадка, что позволяло «зибелю» проскакивать иные мелководья и почти вплотную приближаться к любому побережью, бросать специальные бронированные сходни, по которым могли спускаться на сушу не только десантники, но и танки с орудиями, не говоря уже о других, более легких машинах. К тому же «зибель» отличался большой живучестью за счет своей конструктивной особенности: он состоял из отдельных секций, разборка и сборка которых не представляла сложности и большого труда, все крепилось болтами. Между прочим, поначалу «зибель» предназначался (с расчетом на то и строился) для форсирования пролива Ла-Манш при вторжении в Англию. Но вскоре планы поменялись — и «зибель» оказался на Ладого. Что ж, здесь у него будет много работы, во всяком случае, не меньше, чем на Ла-Манше! Девятого октября 1942 года отряду десантно-штурмовых паромов «зибель»,

подкрепленному сторожевыми катерами, предстояло провести первую операцию, где он и должен был показать все свои боевые и ходовые качества, а заодно и крепость своей брони, свою живучесть. Надежды на него возлагали большие. Обновленный сценарий получил кодовое название «Смутьян» — немцы любили и готовы были кодировать каждый свой шаг.

Ранним утром, еще затемно, отряд кораблей вышел из Сортанлахти и лег курсом на остров Сухо, находившийся всего лишь в двадцати милях от главной базы Ладожской военной флотилии. Задача была одна: нанести огневой удар по острову и уничтожить маяк, лишив основную водную коммуникацию русских важнейшей связи. Однако в последний момент поступил приказ: операция отменяется, провести разведку и возвращаться на базу! Армада немецких кораблей, грозно щетинясь вздернутыми орудийными стволами, развернулась и пошла обратным курсом, что было похоже на упредительную разминку. Но удача в тот день «зибелям» явно сопутствовала. Возвращаясь на базу, они расстреляли с близкой дистанции ладожский «морской охотник», потопив его в два счета! И вернулись в Сортанлахти, имея тому весомое доказательство — трех раненых русских моряков, поднятых из воды.

Среди пленных оказался и старший лейтенант Миклашевский, которого немцы сочли командиром потопленного корабля. Миклашевский же как бы и не замечал этого — какая теперь разница, за кого немцы его принимают! В любой ипостаси отныне он пленный. Вот это его и мучило больше всех жутких и невыносимо тягучих болей в разбитом и, казалось, в клочья изодранном теле, и жалел он сейчас лишь об одном: почему не погиб вместе со всем экипажем, а выжил каким-то чудом и оказался в плену... В Сортанлахти, на главной базе немецкой флотилии, с ним разговаривал подполковник Зибель, начальник оперативного штаба «Форе-Ост», для которого пленный такого ранга был первым, и он не преминул взглянуть на него и задать ему пару простейших вопросов. «Вы есть командир убитого корабля?» — спросил он по-русски, глядя ему в лицо, кровоточащее от глубоких ссадин и ушибов. «Я», — сказал Миклашевский,

морщась от боли и не замечая, что ответ его и по-немецки прозвучал как утвердительное «да», что вполне соответствовало вопросу. А Зибель продолжал говорить по-русски: «Скажи, командир, а зачем ты пошел против нас лоб на лоб? У вас всего две пушки, а у нас тридцать две! Зачем такой риск?» Миклашевский промолчал и поморщился, испытывая невероятную боль и слабость в разбитом теле. «Гут! — сказал Зибель и сразу же отрепетовал по-русски: — Хорошо! Скажи, а как вам «зибеля» наши, сильно кусаются?» — спросил с почти откровенной усмешкой и явной издевкой в голосе победителя. Миклашевский опять промолчал, закрыв глаза, а когда открыл — подполковника уже не было. «А как же Богданов?» — вдруг вспомнил Миклашевский командира второго «морского охотника», шедшего за ними в кильватер. Да-да, сначала он следовал строго за ними, потом Миклашевский приказал ему сойти с кильватера и поставить дымовую завесу, что Богданов и сделал незамедлительно, резко уйдя вправо и открыв огонь из обеих «сорокапятков» по хорошо видимым невдалеке кораблям противника; потом, не делая пауз, поставил дымовую завесу — и «морской охотник» МО-214 потерялся из виду.

А как славно начиналось то утро! Патрульному звену «морских охотников», всю ночь бороздивших воды у южных берегов острова Коневец, в половине седьмого приказано было покинуть этот район и возвращаться в бухту Морье. Ночная вахта закончилась — и наступившее утро сулило спокойную передышку. Патрульные корабли двинулись вдоль побережья, а их было всего лишь два, одним из которых (МО-214) командовал лейтенант Богданов, а другим (МО-175) лейтенант Пустынников, самый молодой командир и общий любимец в дивизионе. Два года назад окончил Военно-морское училище во Владивостоке, распределился на Балтику, а прошлой осенью прибыл на Ладогу — вот и весь его послужной список. Он и жениться-то еще не успел, двадцатитрехлетний лейтенант Пустынников. Хотя когда заходила об этом речь, он спокойно и твердо возражал: «Почему не успел — успел! Только пожить нам вместе не удалось...» Однако, несмотря на свою молодость, был он командиром строгим,

невозмутимо сдержанным и глубоко справедливым. И, надо полагать, не случайно именно на его корабле «держал свой флаг» командир звена старший лейтенант Миклашевский. Сейчас они стояли рядом на ходовом мостике, изредка поднося бинокли к глазам и тихо переговариваясь: «Видимости почти никакой». — «Не рассвело ж еще как следует». — «Да и туман, хоть глаз коли!»

Озеро сонно дышало. Павший под утро туман плотно слоился над затихшей гладью воды. Корабли малым ходом, будто на ощупь, двигались сквозь густой туман вдоль заросшего хвойным лесом южного побережья острова Коневец. И оттого, что скалистые берега его закрывал туман, казалось, хвойный лес повис и слегка колышется между небом и землей; и еще казалось, что остров этот для того и образовался здесь, чтобы надежно прикрывать и защищать от всех ветров и ненужных глаз главную базу немецко-финско-итальянской флотилии в Сортанлахти. Наверное, так подумалось. И лейтенант Пустынников, провожая глазами постепенно отдалявшийся, как бы уплывавший по воздуху коневецкий бор, глухо проговорил куда-то в пространство: «Да, неплохо обосновались фашисты, лучшего прикрытия не найдешь». — «Очень даже неплохо, закрыты со всех сторон, — подтвердил Миклашевский. — Удобнейшая засада, весьма удобная и коварная, черт побери! — выругался потихоньку. — Тут, брат, ухо держи востро и зри в оба», — добавил упреждающе, глянув сбоку на молодого, едва ли не юного командира МО-175, стоявшего у переговорной трубы.

Справа, тускло поблескивая, возвышался укрепленный на деревянной подставке-нактоузе, как на постаменте, главный судовой компас. Корабли все тем же малым ходом двигались вдоль лесистого побережья, плотно затянутого сизой наволочью; туманной сыростью тянуло на мостик снизу, от воды, и в этой сумрачной и плывучей тишине лицо лейтенанта казалось неясным слепком, вырубленным из серо-зеленого камня; впрочем, скоро туман рассеялся, частью поднявшись вверх, а частью припав к воде, незаметно развиднелось, и лицо лейтенанта вмиг обрело привычный свой облик; он был необыкновенно красив, лейтенант Пустынников, нет, не утонченностью «греческого

профиля», а той неброской славянской открытостью, обаяние которой не сразу и определишь — откуда оно исходит? Высок, белокур, точеный прямой нос, а глаза неожиданно строгие, не-улыбчиво острые. И опрятность, подтянутость лейтенанта всегда налицо, даже в самые трудные и неподходящие моменты лейтенант Вадим Пустынников, командир «морского охотника» МО-175, выглядит молодцом, свеж, строг и по-военному респектабелен; кажется, надень лейтенант на себя некую хлами-ду, этакую ношеную-переношенную, задрипанную шинель — и она враз обретет на нем форму отменную, будто с иголки, в которой хоть сейчас на парад. Миклашевский, все так же сб-оку глянув на лейтенанта, улыбнулся про себя и подумал: «Небось, до войны у Вадима не было отбоя от девчонок...»

И в этот миг труба ожила, зазуммерила, слегка вибрируя, и снизу отрывисто, но отчетливо донеслось: «Товарищ лейте-нант... товарищ командир! — это на случай, наверное, если у тру-бы окажется Миклашевский. — Сигнальщики докладывают: пря-мо на нас, контркурсом движутся корабли противника». — «Что за корабли, много их?» — спросил Пустынников. «Много, това-рищ лейтенант, одних только «зибелей» больше десятка да семь сторожевых катеров...» — «Добро, — сказал лейтенант с каким-то жестким, почти железным спокойствием. — Продолжайте вести наблюдение. И без паники, без паники, товарищи!» Повернул-ся к Миклашевскому, но тот, поднеся бинокль к глазам, и сам уже видел — многочисленный отряд немецких кораблей был на короткой дистанции. Туман рассеялся, небо чистое над притих-шей Ладогой — и теперь корабли, держа средний ход, отчетливо приближались, не меняя ни скорости, ни галса. Миклашевский вскинул глаза на Пустынникова: «Ну что, командир, примем бой?» — спросил так, вроде советуясь, а по лицу видно было — для себя уже все решил. «Примем, товарищ старший лейтенант! Другого решения и я не вижу», — ответил Пустынников.

Это согласие и единство двух командиров и предопределило все дальнейшие действия. Команды последовали одна за дру-гой: «Боевая тревога! Орудия к бою! Полный вперед! Огонь по противнику!» Машины работали с перегрузкой. Катер МО-175,

вздрагивая от этой бешеной скачки всеми шпангоутами и надстройками, казалось, летел над какой-то пропастью — все звуки, всплески глушились грохотом носовой пушки, посылавшей снаряд за снарядом в сторону вражеских кораблей. А там почему-то молчали, как будто опешив от столь невиданной и бессмысленной дерзости «морского охотника», похожего на маленькую рыбку, отчаянно бросившуюся в разверзнутую пасть акулю; но, скорее всего, «зибеля», хорошо вооруженные и бронированные, просто-напросто выжидали момент, подпуская поближе этого безрассудного одиночку, чтобы враз и наверняка уничтожить, разбить его вдребезги, не оставив следа на поверхности. Да и заминка была недолгой, какие-то считанные секунды, которых, впрочем, хватило Миклашевскому, чтобы приказать радистам передать в штаб флотилии открытым текстом последний свой рапорт: «Вступили в бой с превосходящими силами противника». Потом успел еще связаться с командиром МО-214 и велел ему сойти с кильватера и поставить дымовую завесу, что Богданов и сделал незамедлительно. Тем временем головной «зибель», развернувшись на левом галсе и развернув носовое орудие, ударил с ходу — и первым же снарядом попал в штурманскую рубку.

Удар был тяжелым, снаряд пробил рубку насквозь, сорвав дверь и швырнув ее за борт, будто спичечную коробку. Взрывная волна, достав мостик, подхватила Миклашевского, он и глазом моргнуть не успел, как был выброшен и по какой-то невыносимой параболе полетел вниз, на мокрую и ходившую ходунном палубу, ударился со всего маха, не ощутив боли, и долго лежал, потеряв себя... Хотя это «долго» измерялось всего лишь несколькими секундами. Когда очнулся, с трудом разлепив глаза, почувствовал чугунную тяжесть во всем теле и нескончаемый гул в ушах, ничего другого не замечал и не слышал, но сразу же вспомнил и осознал — что с ним и где он находится. «Надо вернуться на мостик... надо!» — вдруг зашепел, внутренне напрягаясь. В это время опять рвануло, теперь уже в носовой части. Однако МО-175 оставался еще на ходу, двигался в лоб головному «зибелю» и даже вел огонь из двух своих пушек. «Надо вернуться на мостик, — мысленно повторил Миклашевский. — Там

Пустынников один... Надо вернуться!» Это его подтолкнуло. Он снова поднялся, преодолевая саднящую боль в спине, сделал два-три укороченных шага, потом еще два-три, чувствуя, что ноги целы и руки при нем, шел, как пьяный, шатаясь, его бросало из стороны в сторону, но это скорее от бортовой качки, вызванной взрывами... Теперь для него главное: подняться на мостик, встать рядом с Пустынниковым, а это значит — и всю ответственность переложить на себя. Так будет правильнее!

Миклашевский упорно шел, двигался, насколько хватало сил, и был уже близок к цели, когда один из снарядов, посланных немцами «зибелями», попал в кормовой отсек, потом другой угодил туда же, рвануло так, что катер, как щепку, подбросило, сбив с курса, и пламя вмиг охватило корму... Катер начал сбавлять ход. «А вот это не надо! — громко, как ему показалось, проговорил Миклашевский, взойдя, наконец, на мостик и еще не видя лейтенанта, но явно к нему обращаясь: — Нельзя, командир, сбавлять ход! Сейчас только полный впе...» И не договорил, осекся, увидев навзничь и с неловко запрокинутой головой лежавшего лейтенанта Пустынникова — лица не видно, сплошная кровавая рана. Неподалеку валялся сорванный с основания и чуть ли не в щепки разбитый нактоуз, картушка компаса вся в крови лежала рядом — вот ею могло и ударить, изуродовать лицо лейтенанта. Он был мертв. Миклашевский сразу это понял, едва взглянув на него, однако на всякий случай приблизился и наклонился над ним: «Вадим, что же ты?» Жгучий ком сдавил горло, но это была секундная слабость, которую он тут же преодолел, и, кажется, мигом забыл о Пустынникове. Обошел его, искоса глянув на картушку лежавшего рядом компаса, и встал к переговорной трубе, мало надеясь на связь: «Рулевое?!» — позвал негромко. И тотчас снизу, словно только и ждали этого голоса, откликнулся механик Радостев: «Так точно, товарищ старший лейтенант! А мы пытались связаться с командиром, но лейтенант не отвечает...» — «Лейтенант убит, — чуть помедлив, сказал Миклашевский. — Что там у вас, почему резко сбавили ход?» — «Рулевое управление вышло из строя, товарищ старший лейтенант, — доложил механик. — Мы пытались наладить, но пока безрезультатно». —

«Пытайтесь еще, сделайте все возможное», – приказал Миклашевский. А что они могли сделать – ничего возможного уже не осталось...

Раздался еще один взрыв, крупнокалиберный снаряд угодил в рулевую рубку, связь оборвалась – никто больше не отвечал. И морской охотник МО-175, потеряв ход окончательно, быстро стал погружаться в воду. Немецкие «зибеля» продолжали его добывать, хотя на нем и без того не оставалось живого места. Миклашевский видел это своими глазами – видел, как уходил из жизни корабль. Вода поднималась все выше и выше, уже внахлест заливая палубу. Но никакой паники, никакого страха не замечалось – никто не метался по палубе в поисках спасительной «соломинки» и не бросался за борт в минуты отчаяния, все уцелевшие в этом пекле оставались на своих местах, продолжая нести боевую вахту. «Ну что ж, будем стоять до последнего, как и положено командиру корабля», – мысленно приказал он себе – и оставался на мостике до последней секунды.

Пламя выхлестывало из кормового отсека – некому было его тушить. А из трубы корабельной валил угольно-черный дым – кочегары и машинисты не прекращали работу, как будто собираясь надолго и прочно обосноваться под водой, где-нибудь на двухсотметровой глубине родной Ладоги. И Миклашевский хорошо видел с мостика, как, презрев опасность, продолжают вести огонь по вражеским кораблям из кормовой «сорокапятки» командир орудия старшина второй статьи Лященко, богатырского роста парень, единственный из всего расчета оставшийся в живых, и второй радист матрос Громов, числившийся по боевому расписанию заряжающим, но он был тяжело ранен и подавать снаряды не мог. «Из руки у меня торчали кости, – много позже вспоминал об этом Василий Громов. – Неподалеку от меня лежал весь в крови сигнальщик Михайлов, по боевому расчету он был вторым наводчиком...» Вот и пришлось старшине второй статьи Лященко быть и командиром орудия, и заряжающим, и наводчиком, но стрельбу он не прекращал до тех пор, пока палуба не ушла из-под ног; вода, будто на качелях, подхватила их, отнесла в сторону и оставила на плаву – спасайтесь, если можете!

Они лишь глазами успели проводить свой корабль. Мелькнули и мигом исчезли надстройки, ходовой командирский мостик, дымившая из последних сил труба — и над водой остался лишь и долго еще клубился густой и непереносимо горький угольно-черный дым.

Потом и дым рассеялся. И к месту гибели «морского охотника» МО-175 подошел головной «зибель». Спешно спустили шлюпку и выволокли из воды трех русских моряков, чудом уцелевших в этой немыслимой мясорубке, едва живых, но цепко державшихся за обломок деревянного нактоуза, непонятно откуда здесь взявшегося... Пленных подняли на борт — это были старшина второй статьи Лященко, второй радист матрос Громов и старший лейтенант Миклашевский, которого поначалу немцы сочли командиром потопленного корабля... Недаром сам начальник оперативного штаба «Форе-Ост» подполковник Зибель проявил интерес к столь важному «языку» — накануне решающей операции.

Второй же «морской охотник», МО-214, как и приказано было, под прикрытием дымовой завесы ушел из-под огня и часу в первом пополудни вернулся в бухту Морье. Там и было доложено командиру Осиновецкой военно-морской базы Нефедову о героической гибели катера МО-175, вступившего в бой с более чем двадцатью кораблями противника. Нефедов долго молчал, будто выдержав траурную паузу, затем спросил: «А Миклашевский? Что с ним?» — «Командир звена находился на борту погибшего МО-175, — глухо сказал Богданов, отвернулся и добавил еще тише: — Они рядом с Пустынниковым были на мостике до конца...» Однако многие подробности оказались скрытыми от глаз лейтенанта Богданова. Он видел лишь общую картину короткого боя и гибели «морского охотника» МО-175 — и не знал того, что после первых же залпов немецких «зибелей» воздушной волной сбросило с мостика на палубу старшего лейтенанта Миклашевского, но он нашел в себе силы подняться снова на мостик, где и обнаружил убитого лейтенанта Пустынникова. И уже один оставался там до последней секунды... Вот этих

и других немаловажных подробностей лейтенант Богданов не видел. Да и не мог видеть — все это скрыто было от его глаз. Но и на базе Осиновца, и в штабе флотилии в Новой Ладоге доклад лейтенанта Богданова сочли очевидным и не подлежащим сомнению — на том и поставили точку. И в тот же день подготовили поименный список всей команды катера МО-175, заполнили бланки похоронных извещений и отправили по адресам погибших, не зная о том, что трое из этого печального списка остались живы, взяты в плен и доставлены в Сортанлахти, где находилась главная база немецкой флотилии и где старшего лейтенанта Миклашевского допрашивал сам начальник оперативного штаба «Форе-Ост» подполковник Зибель...

Однако на этом потери не кончились. Вскоре погиб один из лучших сторожевых кораблей Ладожской военной флотилии — «Пурга». Сначала сторожевик врасплох напоролся на рейдовый отряд немецких «зибелей», его взяли в клещи, он отбивался небезуспешно, мог, пользуясь скоростным преимуществом, уйти — и уже уходил, прорвавшись сквозь плотный огонь, но был настигнут двумя звеньями «юнкерсов», не оставивших «Пурге» никаких шансов... Гибель двух кораблей в столь короткое время заставила командование Ладожской военной флотилии срочно предпринимать ответные меры. Командующий созвал экстренное совещание, на котором четко изложил свою позицию: «Сегодня мы видим и понимаем, как наращивает и активизирует свои силы противник, — упреждающе говорил Чероков. — Пример тому наши потери. Немцы вкупе с итальянцами и финнами создали здесь, на Ладогe, под носом у нас, свою флотилию — планы у них и силы весьма и весьма серьезные. Поэтому каждый должен знать: впереди ждут нас тяжелые испытания. И это не пустые слова, товарищи командиры, я вас не запугиваю. Но хочу вам доложить, мы располагаем совершенно точными сведениями: противник готовит и в ближайшее время намерен осуществить очень крупную операцию под кодовым названием «Бразиль». Задача этой операции нам тоже ясна: разгром нашей флотилии, овладение всеми ключевыми коммуникациям

и на Ладоге, что, в случае успеха, позволит фашистам замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда и обречь блокадный город на верную гибель». И, похоже, сам по себе возник вопрос: «Когда же собираются немцы провести операцию «Бразиль»? — «Вот-вот, — дважды кивнул Чероков, — и я задаю себе этот вопрос, но ответа не знаю. Это для нас — за семью печатями. Одно ясно: операция «Бразиль» неизбежна. И случиться она может в любой день, в любой час и в любом районе Ладоги. Как мне кажется, это может быть и остров Сухо, — чуть помедлив, предположил командующий, но не стал объяснять, зачем немцам нужен этот крошечный островок. — Поэтому и наша готовность к этой неизбежной атаке должна быть постоянной, чтобы в любой момент и на любой удар ответить двойным, а то и тройным ударом». Но, даже произнося столь пафосные слова о двойных и тройных ударах, Чероков обходился, что называется, без восклицательных знаков.

Впрочем, за год пребывания Виктора Сергеевича на флотилии здесь успели привыкнуть к его манере говорить мягко и сдержанно, не повышая голоса даже тогда, когда он кому-то за что-то выговаривал или кого-то отчитывал за тот ли иной неверный шаг, а то и грубый просчет, который повлек или мог повлечь за собой потери недопустимые. Даже в такие минуты Чероков оставался невозмутимо спокойным и мягким. Правду говоря, поначалу, когда он только появился и чуточку показал себя на флотилии, далеко не всем офицерам нравилась эта «кисейная» мягкость командующего. Иным казалось, что идет она, эта ровность, вразрез с некоей годами, десятилетиями (а то и столетиями!) выработанной и сложившейся воинской парадигмой, когда командир того или иного ранга может и гаркнуть, и кулаком по столу хрястнуть, а то и за наган-револьвер схватиться: «Расстреляю к чертовой матери, если не выполните!» Ну, это, конечно, крайность несусветная, но есть же что-то среднее, равновесное... Оказалось, есть! И вскоре было замечено и отмечено теми же «философски» настроенными офицерами, что командующий столь же спокойно и мягко, не допуская излишних дебатов, мог отдавать самые жесткие и суровые приказы, мог, не повышая

голоса, поставить на место любого, кто сорвался, зарвался или выпрягся из оглобель, мог быть непреклонным и мягким одновременно, что казалось невероятным в самый тяжелый период войны, когда вопрос — быть или не быть? — ставился напрямую и не звучал голословно.

Была середина октября 1942 года. Погода на Ладоге улеглась. Надолго ли? Утрами густой и тяжелый туман расплывался над водой, казалось, толщу его никакой оптикой и акустикой не пронять — видимость нулевая. Но, глядишь, часам к десяти небо открылось, посветлело — и линия горизонта как на ладони. Когда совещание у командующего закончилось, день уже занялся и силу набрал, было около двенадцати.

И надо ж такому случиться: именно в тот день и буквально в те же часы и минуты, 16 октября, в Сортанлахти начальник оперативного штаба «Форе-Ост» подполковник Зибель провел свою летучку, на которой окончательно утверждался план операции «Бразиль» по высадке десанта на остров Сухо. Заметив некое удивление в глазах командира отряда итальянских торпедных катеров капитана третьего ранга Бьянкини, Зибель подтвердил: именно так, внезапная и молниеносная высадка десанта на остров Сухо. «Вам что-то неясно, господин Бьянкини?» — глянул на итальянца в упор. «Нет, почему же, все ясно, — спокойно ответил Бьянкини. — Я только подумал: остров Сухо находится слишком близко от главной базы русской флотилии. Это не осложнит операцию?» — «Это нам только на руку! — кратко и с вызовом бросил Зибель. — И давайте запомним: внезапность и решимость — двойная тяга успеха. А в успехе операции «Бразиль» я нисколько не сомневаюсь. Да, у нас достаточно опыта и сил для решения этой задачи. Повторяю: внезапная высадка десанта, уничтожение маяка, островной батареи и всего гарнизона — это первое. А затем вход наших кораблей в створ Волховской губы — и полное перекрытие главной коммуникации русских...» Хотя всех без исключения интересовало, когда же, в какой день и час начнется операция, подполковник и слова об этом не проронил. Должно быть, и сам не знал еще точной

даты и времени отправки десантно-штурмового отряда, в состав которого входили немецкие «зибеля», финские тральщики и сторожевики, торпедные катера итальянцев – всего около 30 боевых единиц, имевших на своих бортах более двадцати дальнобойных морских пушек, 150 орудий среднего и малого калибра, не говоря уже о пулеметах и автоматах.

Теперь оставалось только ждать, надеяться и уповать на свои силы. А выжидание затянулось. Но это не значило, что люди сидели сложа руки и ждали у моря погоды. Добро, мол, пожаловать, господа фашисты, к нашим кисельным берегам и молочным рекам! Нет, моряки были начеку – и Ладожская флотилия жила в ритме повышенной боевой готовности. Дозорные корабли четко и круглосуточно несли службу, патрулируя в самых опасных местах. Продолжала работать с полной нагрузкой главная и единственная водная коммуникация, Дорога жизни, по которой шли и шли из Новой Ладоги в Осиновец, днем и ночью, несмотря на бомбежки, обстрелы и штормовую погоду, конвои с продовольствием, оружием и людьми.

«Враг не мог примириться с тем, что буквально у него под носом действовала мощная водная коммуникация, снабжавшая осажденный Ленинград. Он делал все возможное, чтобы уничтожить корабли Ладожской флотилии...» – спустя много лет вспоминал один из участников тех событий. Особенно тяжело дались последние дни второй декады октября 1942 года. Ладожцы уже знали о том, что фашисты готовят какую-то крупную и решающую операцию под странным кодовым названием «Бразиль». Острые на язык матросы перекодировали ее в «борзиль», а потом и вовсе по-русски просто, без всяких затей обозвали «борзятником». Ну, мол, и где же ваши «борзятники», что-то притихли, небось, передумали наступать? И кто-то, сердито покуривая, едко посмеивался: «Ага, жди, открывай рот шире! Передумают они тебе, – сделал еще пару затяжек, выпустил дым и бросил окурочок в железный обрез. – Нет уж, братцы, правильно говорят: два медведя не уживутся в одной берлоге». – «Погоди погоди, – встрял в разговор только что подошедший радист Иван Соколюк, – это кто же второй поселился у нас на Ладоге,

что за «медведь» объявился в нашей «берлоге», скажи мне, товарищ сигнальщик?» — спросил он довольно резко, встав рядом со своим нечаянным оппонентом. «Так немец, конечно, кто же еще». — «А мы его звали, приглашали в свою «берлогу», этого немца, как он оказался на Ладогe?» — наступал Соколюк. «Да ладно, Иван, ты же знаешь...» — отбивался сигнальщик. «Какой я тебе Иван!» — повернулся к нему Соколюк. «Виноват, товарищ старшина первой статьи», — поправился тот, и оба разом засмеялись, подталкивая друг друга плечами.

Скупое осеннее солнце прогрело палубу. Табачным дымком тянуло от железного обреза с окурками. Тральщик ТЩ-100 стоял на рейде милях в трех-четыре от Новой Ладогe, и свободные от вахты матросы с удовольствием отводили душу на баке, покуривая неспешно и судача о том и сем; справа по соседству, совсем близко бросил якорь сторожевой катер МО-171 — и там тоже достаточнолюдно на баке, можно переговариваться с ними, особо не напрягая голоса. Впрочем, тесное это соседство отнюдь не случайно — оба катера, ТЩ-100 и МО-171, составляют патрульное звено. Сегодня, ближе к вечеру, им предстояло выйти в открытые воды и патрулировать близ острова Сухо. И сегодня же, 21 октября, рано утром командующий флотилией Чероков отбыл из Новой Ладогe в Осиновец — там назрело немало вопросов с переходом водной коммуникации на зимний режим.

А здесь, в Новой Ладогe на главной базе флотилии, в этот же день, 21 октября 1942 года, проходили штабные учения на тему крайне острую и давно назревшую: «Отражение десанта противника на побережье Ладогe». Руководил учениями начальник штаба флотилии капитан первого ранга Кудрявцев. Штабные офицеры постарались и очень серьезно отнеслись к этим сложнейшим тренировкам, проходившим в условиях близких, исключительно близких к реальной обстановке. Отрабатывалось немало тактических новинок — ходов и выходов, как в шахматах, из той или иной ситуации. Закончились учения поздно вечером. А потом разбор учений, плюсы-минусы — отбой сыграли только под утро. И еще одно совпадение: в этот же день, 21 октября, командующий объединенными силами на Ладожском

озере генерал-полковник Келлер связался лично с оперативным штабом «Форе-Ост» и приказал немедленно начинать операцию «Бразиль». Немедленно! «Вы готовы, подполковник?» — спросил он Зибеля, и тот, ничуть не колеблясь, ответил: «Завтра утром, генерал, 22 октября 1942 года, остров Сухо будет нашим». Другого исхода он и в мыслях не допускал! Подполковник слишком верил, возможно, даже излишне уверовал в огневую мощь, броневую защиту и надежную плавучесть своих «зибелей»...

А остров Сухо? Между прочим, явление это рукотворное, не природой и временем созданное, а руками человеческими и в самый кратчайший срок, по указке Петра Великого, искусными расчетами умных гидрологов (это в 17-то веке!), усилиями и жертвами невероятными... Вот с тех давних пор и стоит он на Ладоге, остров Сухо, как часовой и хранитель покоя у восточного побережья самого крупного европейского озера. Между тем «петровский» остров весьма невелик, 90 метров в длину и 60 в ширину, а это значит — в два с лишним раза короче всякого легкого крейсера, не говоря уже о тяжелых крейсерах и линкорах. Но, как говорится, мал золотник да дорог! А в пору военную стратегическая значимость острова и вовсе необычайно велика. На него опиралась главная база флотилии, на нем держалась основная водная коммуникация (Дорога жизни), без которой Ленинграду не устоять. Вот что такое Сухо! Здесь, на острове, работал один из важнейших ладожских маяков. И здесь же, на острове, квартировал гарнизон, состоявший из 90 моряков различных профессий. Острые на язык матросы посмеивались: вот, мол, каждому островитянину досталось по одному метру — держись за них зубами! Но тогда они еще не знали, что наступит момент, когда по-настоящему придется зубами держаться за каждый метр. Шел второй год войны, а у них тишь да гладь, будто и нет войны, а единственная трехствольная 100-миллиметровая батарея поставлена лишь для острастки. Это много лет спустя участники тех событий свидетельствовали: «Батарея острова Сухо занимала важное место на пути следования кораблей по Дороге жизни и прикрывала вход в Волховскую губу к главной

базе флотилии. Спокойно, по-будничному протекала жизнь и служба на острове. Многие из моряков гарнизона даже просили отправить их на фронт. Однако вскоре и здесь закипит бой...»

И бой закипел!

Нападение было внезапным. Пользуясь плохой видимостью, немецкие «зибеля» крались сквозь мгlistый туман, серые и бесшумные, как водяные крысы; выныривали один за другим из редющей тьмы, ломая кильватер, и спешно расходились по фронту, держа курс на остров Сухо. Немного посветлело, контуры «зибелей» обозначились четче — и в тот миг, когда их обнаружили, засекли с дозорного тральщика ТЩ-100, находившегося милях в трех юго-восточнее Сухо, десантные корабли противника уже перестроились, развернув орудия, и открыли залповый огонь по острову. Били расчетливо, наверняка, мишень была близко, в каких-нибудь двадцати кабельтовых — и первые же снаряды с головного «зибеля» угодили в цель, вдребезги разнеся антенное устройство островной радиостанции, а следом разрушили дальномерный пост...

Гарнизон Сухо остался без связи. Суховцы не успели даже в штаб Охраны водного района (ОВР) сообщить о нападении немцев на остров. Позже рассказывали оставшиеся в живых участники той схватки, что тогда, после потери связи, положение гарнизона казалось безнадежным. Они ведь не знали, что командир дозорного тральщика ТЩ-100 старший лейтенант Каргин, обнаружив противника, открытым текстом уже передал в эфир донесение: «Немцы высаживают десант на остров Сухо, веду бой». По внутренней корабельной связи прозвучала команда: «Всем стоять по местам, приготовиться к бою!» Тральщик содрогнулся, набирая ход, а справа от него, чуть приотстав, двинулся второй дозорный катер, МО-171, угрожающе повернув и нацелив стволы орудий в сторону противника. Катера шли согласованно и решительно. Старший лейтенант Каргин, поднявшись на мостик (привычное место командира), хорошо видел и прочитывал каждый маневр своего соседа, но в то же время глаз не спускал с десантных судов противника, которые, развернувшись дугой и приблизившись к берегу, продолжали бить по

острову теперь уже не ураганно-залповым, а расчетливо беглым, фланкирующим огнем. Тем временем от десантной баржи, опасно приблизившейся к берегу, отделилось несколько самоходных и распашных шлюпок, набитых людьми, а вдогон за ними, как бы второй волной, двигались резиновые надувные лодки — и тоже с людьми, вооруженными, что называется, до зубов: ручные пулеметы, автоматы, взрывчатка, мины, гранаты — всего вдосталь и даже с избытком! Наверное, с расчетом не на девяносто, а на девять сотен человек...

Однако высадка десанта не вышла внезапной — и предполагаемой легкости тоже не получилось. Защитники острова встретили их дружным винтовочным и пулеметным огнем, жгли так, что некоторые фашистские десантники не успевали выскокить из шлюпок и резиновых лодок, там же падали, оседая на дно, будто в готовые могилы, либо, не достигнув берега, уходили в воду со всем своим оружейным скарбом... Но остановить десант невозможно! Их много, очень много... И они, не считаясь с потерями, лезли и лезли на берег, цепляясь за камни, вползая в некие расщелины, закоулки и готовясь к новым броскам. Сухо оказался отрезанным, и теперь там было тесно — два, а то и три человека чуть ли не на каждом метре! Немцы готовились высадить и еще одну группу десантников. Отряд кораблей фашистской флотилии, изогнувшись дугой, взял остров в клещи, но в целях предосторожности (чтобы не побить своих) прекратил обстрел и перенес огонь на два патруля русских, которые полным ходом двигались прямо на них. Вот безумцы! Затем сманеврировали, приблизившись к юго-восточному побережью острова, резко сбросили ход и вдруг на какое-то время пропали из вида — однако стрельбу из своего «укрытия» не прекратили. Немцам знаком этот прием русских — прут в лоб там, где можно вполне обойтись без риска, и немцы ждали только момента, чтобы наказать этих безумцев, отправив к рыбам в гости... Десятки орудийных стволов держали их на прицеле. Таков сценарий, родившийся и сверстанный в недрах оперативного штаба «Форе-Ост»: уничтожить все корабли русской флотилии и полностью овладеть Ладогой!





Но события ранним утром 22 октября 1942 года развивались по двум сценариям. И оба эти сценария, как по сговору, осуществлялись одновременно — совпадение было потрясающим. Представьте себе: одни, в Сортанлахти, готовятся к высадке десанта на остров Сухо, к захвату основной коммуникации и полному разгрому Ладожской военной флотилии; другие, в Новой Ладоге, в этот же день проводят штабные учения по важнейшей теме: «Отражение десанта противника на побережье Ладожского озера». Каково?! Одни ранним утром 22 октября подняли якоря и мощным отрядом (около тридцати боевых единиц) взяли курс на остров Сухо; другие в это же время, закончив штабные учения, только-только легли в постель и мигом уснули... «Такое совпадение не обошлось без курьеза», — признавались потом участники тех событий. Как только донесение командира дозорного тральщика ТЩ-100 старшего лейтенанта Каргина о высадке немецкого десанта на остров Сухо было выловлено из эфира и попало в штаб флотилии, немедленно приказали разбудить начальника оперативного отдела капитан второго ранга Теумина. Тот спал после учений крепко, но проснулся сразу, едва раздался звонок. Ему зачитали шифровку. Он помедлил секунду-другую и сказал сухо: «Не морочьте мне голову запоздалой вводной. Это ни к чему, учение уже кончилось. Дайте поспать».

Но спать ему не дали. Между прочим, не приняли всерьез шифровку и на некоторых кораблях, сочтя ее отголоском только что завершившихся учений, а на канлодке «Шексна» и вовсе подняли на смех связистов, уличив их в глупом розыгрыше. Увы, многие, внезапно выдернутые из глубокого сна, никак не могли понять и поверить, что там, где кончались учения, начиналась жестокая реальность войны. Минутное замешательство могло обойтись дорого, если бы вовремя его не пресекли. Когда об этой (действительно глупой) заминке доложили начальнику штаба флотилии капитану первого ранга Кудрявцеву, имевшему шифровки донесений не только старшего лейтенанта Каргина, но и береговых постов наблюдения, он лишь удивленно вскинул брови и тихо сказал: «Какой еще розыгрыш?!» И вдруг голос его сорвался, но тут же выровнялся и окреп. «Боевая тревога... по всей флотилии боевая

тревога!» — объявил он, принимая на себя руководство предстоящим боем. И уже минуту спустя вся флотилия была на ногах.

Начштаба тотчас связался с Чероковым и доложил обстановку — командующий в это время находился в Осиновце. «Немедленно высылайте корабли к месту боя», — приказал он, ничуть не колеблясь. «Виктор Сергеевич, корабли уже вышли», — ответил Кудрявцев, не уточняя, откуда и в каком составе к месту боя вышли корабли — они с полуслова понимали друг друга. «Добро, — сказал командующий, — ждите подкрепление. Отсюда к острову Сухо тоже выходят корабли...» И так, с двух направлений к месту боя уже устремились отряды кораблей — от восточного берега, с главной базы Ладужской флотилии, под командованием капитана третьего ранга Куриата вышли четыре сторожевых катера, три боевых тральщика и канонерская лодка «Нора»; от западного побережья, из Осиновца, где находился в то время командующий флотилией, двинулись полным ходом канонерки «Вира» и «Селемджа», два бронекатера, два сторожевика и два торпедных катера, командовал этим отрядом капитан второго ранга Озаровский. Но даже при всей самой полной выкладке машин идти кораблям до острова Сухо не меньше двух часов. Никак не меньше! И все это время бешеный штурм вражеской армады придется сдерживать, принимая огонь на себя, двум дозорным катерам и уже далеко не полному гарнизону — там, на острове Сухо, убитых и раненых гораздо больше, чем уцелевших под огнем и в рукопашных схватках с немецкими десантниками...

Между тем события развивались стремительно. Прошло не больше (скорее меньше) полутора часов с момента объявленной боевой готовности, как в Новую Ладогу, на командный пункт флотилии, неожиданно и без всякого упреждения нагрянули, будто с неба свалились (позже выяснится — именно с неба, на военном самолете), командующий Балтийским флотом вице-адмирал Трибуц, командующий морской авиацией генерал-лейтенант Самохин и командующий Ладужской военной флотилией капитан первого ранга Чероков. Сразу три командующих — это показалось излишком! Но и в то же время совмест-

ное их появление подтверждало всю чрезвычайную сложность создавшейся обстановки. «Упрощать не будем, положение действительно очень серьезное, — сказал вице-адмирал, выслушав краткий доклад начштаба флотилии Кудрявцева. И посмотрел на Самохина: — Теперь вся надежда на четкость и слаженность действий нашей морской авиации». — «Не только морской, Владимир Филиппович, — уточнил Самохин. — Рядом и совместно с эскадрилей морских штурмовиков будет работать одно из лучших авиасоединений Ленинградского фронта, командир там опытный летчик, настоящий ас полковник Морозов». — «Так я и не ставлю под сомнение опыт и боевую выучку сухопутных авиаторов, — сказал Трибуц. — Но у них же нет навыков различать типы кораблей, вот что меня беспокоит — не ударят они по своим?» — «Не ударят, товарищ адмирал, — заверил Самохин. — Это мы учили. Чтобы избежать ненужных накладок, ведущими каждого звена штурмовиков назначили морских летчиков». — «Правильно! Вот это я и хотел услышать», — кивнул Трибуц и повернулся к только что подошедшему Кудрявцеву. «Шифровка, товарищ адмирал, — доложил начштаба. — Донесение командира дозорного тральщика старшего лейтенанта Каргина». — «Как они там, патрульные катера, держатся?» — не дослушав, спросил Трибуц. «Держатся, товарищ адмирал... По крайней мере, Каргин не жалуется». — «А что в донесении?» — «Каргин говорит, что немцы пытались высадить на остров подкрепление, но кабельтовых в четырех-пяти от берега десантная баржа села на риф. Другая баржа хотела помочь — но тоже засела...» — «Вот и пусть посидят! Не знаешь броду — не лезь в воду, — жестко откомментировал Трибуц и распорядился: — Скажите Каргину, подмога вот-вот, с минуты на минуту, подойдет к ним и прикроет с воздуха. Так, генерал?» — перевел взгляд на Самохина. «Точно так, — подтвердил Самохин. — Авиация уже на подлете».

Рассвет наступал медленно, можно сказать, с помехами. Едва туман рассеялся, как один из дозорных катеров поставил дымовую завесу — и все вокруг заволокло, видимость пропала, будто перед глазами задернули тяжелую серую ширму; под

прикрытием этой «ширмы» оба катера (ТЩ-100 и МО-171), маневрируя, спешно развернулись и ушли из-под прямого огня, прижимаясь к юго-восточному берегу острова. Оттуда доносились винтовочные выстрелы и пулеметная трескотня – гарнизон Сухо продолжал драться за каждый метр... Но связи с островом не было, никаких донесений оттуда не поступало, приходилось лишь догадываться – что там происходит? Единственной ниточкой оставалась радиосвязь дозорного тральщика ТЩ-100 с командным пунктом флотилии и штабом Охраны водного района. А если и эта ниточка оборвется, опасались не без оснований и в штабе ОВР, где постоянный контакт с корабельным радистом поддерживал сам флагманский связист капитан-лейтенант Солодовников, и на командном пункте флотилии, где в это время находились три командующих – вице-адмирал Трибуц, генерал-лейтенант Самохин и капитан первого ранга Чероков.

Тем временем дозорные катера, отдышавшись в каменном закутке и притупив бдительность немецких «зибелей», с новой силой вздули котлы и двинули полным ходом в сторону противника, сокращая дистанцию и открывая пальбу из всех своих кормовых и носовых «сорокапятков»... Такие маневры крайне опасны, малейшая оплошность либо промедление – и можешь угодить под прямое накрытие. Тяжелые вражеские батареи уже работали вовсю, перехватив инициативу и грозя в щепки разнести маленькие посудины... Взрывной волной тральщик подбрасывает вверх, потом обрушивает вниз и ставит на воду, кипящие валы захлестывают палубу, смывая с нее все, что плохо лежит и должным образом не закреплено, не принайтовлено, осколки снарядов бьют в пристройки и улетают к ходовому мостику, где все это время неотлучно стоит командир тральщика старший лейтенант Каргин. Вода вокруг кипит, взрывается – и можно только удивляться, что и на этот раз оба катера уцелели, остались на плаву. Больше того, успели вовремя отгородиться дымовой завесой и, маневрируя, уйти из-под прямого огня. Однако тихоходному тральщику (бывшему до войны буксирному пароходу) трудно давались такие маневры, очень трудно. Каргин это чувствовал. И понимал: надо менять тактику, иначе долго

не выстоять. Батареи «зибелей» бьют все яростнее и опаснее, к тому же корабли противника, поломав дугу, выстраиваются во фронт и начинают движение в обход острова, явно держа курс на Волховскую губу, откуда рукой подать и до тылов Волховского фронта... «Мерецков уже знает наверняка о начавшейся операции «Бразиль» и со своей стороны предпринимает какие-то меры. Что ж, и немцев можно понять — они придерживаются своего плана. А мы?» — чуть ли не вслух произносит Каргин. И вызывает радиорубку: «Соколюк, связь как?» — «Связь в порядке, товарищ старший лейтенант, — отвечает радист. — Хотя во время обстрела дважды осколками повредило проводку. Но обрывы найдены — и все исправлено». — «Добро, Соколюк, — принимает к сведению Каргин. И приказывает: — Свяжись со штабом ОВР и передай срочно: «Ведем маневренные бои, отвлекаем огонь на себя. Противник держит курс на Волховскую губу».

Донесение тотчас было передано в штаб Охраны водного района, квартировавший в деревне Криница, неподалеку от Новой Ладоги. Принял радиограмму сам флагманский связист капитан-лейтенант Солодовников и тут же «перестучал» ее на командный пункт флотилии. Шифровку вручили вице-адмиралу Трибуцу, он ее внимательно прочел и передал генералу Самохину, шумно выдохнув: «Ну что ж, как говорится, ни пуха и ни пера!» — произнес жестко и с явным подтекстом. Впрочем, все, кто рядом с ним находился, поняли безошибочно, что имеет в виду командующий Краснознаменным Балтийским флотом Владимир Филиппович Трибуц: надо во что бы то ни стало остановить противника, в пух и прах разгромить хваленую эскадру фашистских «зибелей», чтобы впредь неповадно им было вторгаться в чужие воды! А других задач в этот день, 22 октября 1942 года, и не ставили перед моряками Ладожской военной флотилии.

День только начинался — было без трех минут девять утра. И в это же время (вернее, тремя минутами позже — ровно в 9.00) радист дозорного тральщика ТЩ-100 старшина первой статьи Иван Соколюк, несколько часов кряду не снимавший наушников и не выпускавший из рук ключ передатчика, вдруг обнаружил

в эфире, опытным ухом уловил весьма характерный шум. И сразу же догадался: самолеты! А потом и увидел: наши, советские штурмовики большими звеньями шли от западного побережья на довольно незначительной высоте. И теперь было ясно: начинается вторая, самая главная стадия боя! Самолеты упреждающе пронесли над островом Сухо, как бы приветствуя и подбадривая его защитников и одним своим появлением внушая страх и смятение фашистским десантникам, оказавшимся там не к месту. «Пользуясь этим, защитники острова, возглавляемые старшим лейтенантом Гусевым, уже четырежды раненым к этому времени, и военинженером третьего ранга Мельницким, пошли в атаку. Противник был отброшен к западной части острова, прижат к урезу воды и начал поспешную высадку в шлюпки», — рассказывали позже участники тех событий. Схватка была столь скоротечной и горячечной, что вместе с поспешной высадкой в шлюпки уложилась в двадцать минут. Но куда могли уйти на утлых своих посудинках бежавшие с острова захватчики? Тогда об этом думать не приходилось. Шлюпки с лихорадочной суетливостью отрывались от берега и, набирая скорость, уходили подальше, в сторону своих кораблей, накрытых уже с воздуха советскими штурмовиками; и некуда было деться — вдогон убежавшим прицельно били из автоматов и винтовок защитники острова, беспощадно укладывая беглецов на дно шлюпок. Здесь не до жалости! Но и там, куда устремились оставшиеся в живых десантники, никто их не ждал, не до них было — там, кабельтовых в шести-семи от острова, такое творилось, что, как говорится, не приведи господь! Свист падающих бомб, тяжелые взрывы, грохот, вода и небо перемешались с огнем... Сбитые с панталыку немецкие «зибеля» с несвойственной им суетливостью метались в воде, будто попавшие в сети громадные рыбыны; зенитные установки твякнули раз-другой, неуверенно огрызаясь, и смолкли внезапно, сметенные взрывной волной, словно и не было их на палубе. Штурмовики поочередно заходили звеньями и, не давая опомниться, поражали цель. Три или четыре десантные баржи, охваченные огнем и густым удушающим дымом, уже потеряли ход и медленно погружались — никакого спасения! Люди сгорали

заживо, а те, кто мог, спасаясь от огня и дыма, бросались в бурлящую воду, волны тут же подхватывали их, накрывая либо вынося на пенистый гребень, а потом швыряя обратно вниз, под борт гибнущего судна, где вмиг все решалось — вода никого не щадила!

Спасатели же в тот момент и сами нуждались в спасении. Наконец, в половине десятого к месту боевых действий подошел отряд кораблей из Новой Ладogi. Четыре сторожевых катера, три боевых тральщика и канонерская лодка «Нора», на которой держал свой флаг командир Охраны водного района главной базы капитан третьего ранга Курият, сменивший на этом посту основателя и первого командира ОВР Ладожской военной флотилии каперанга Клевенского, недавно (и весьма неожиданно) отозванного и срочно отбывшего к новому месту службы. Куда — никто толком не знал.

Итак, начиналась третья стадия боя — завершающая. Отряд кораблей под командованием Куриата, обойдя Сухо, оставил за кормой (как бы прикрывая) северо-западное побережье острова и решительно вышел на ударную позицию, сократив дистанцию до предела и почти с полного хода открыв сокрушительный залповый огонь из всех своих бортовых орудий по фашистским десантным судам, и без того уже изрядно потрепанным и вконец измочаленным тяжелой бомбардировкой «ильюшинских» штурмовиков... Немецкие «зибеля» спешно отодвигались, зло и беспорядочно отстреливаясь хваленными своими дальнобойными пушками 88-го калибра, и уходили, уходили подальше, теперь уже, как видно, и не помышляя о захвате острова Сухо, об уничтожении основной Ладожской водной коммуникации (Дороги жизни), чтобы замкнуть, наконец, второе кольцо вокруг Ленинграда, затянуть потуже петлю и душить блокадный город, а вслед за ним и всю страну, всю Россию треклятую... Однако теперь не до того, теперь бы фашистским «зибелям», дай бог, вырваться из той петли, в которой они оказались. И дорога у них одна (дорогой жизни ее не назовешь), один лишь узкий фарватер, на него они и нацелились. И уже близки были к цели...

Но именно в это время, в эти минуты и подоспел из Осиновца второй отряд ладожских кораблей под командованием

кавторанга Озаровского: канонерские лодки «Вира» и «Селемджа», два бронекатера, два сторожевика и два торпедных катера. Командиры отрядов быстро и согласованно развернули и поставили корабли таким порядком, что у немцев, зажатых в клещи, остался один только узкий проход, курсом на северо-запад, и тот насквозь простреливался... Вот в этой ловушке ладожские корабли и довершили разгром немецкой флотилии. И день этот, 22 октября 1942 года, оказался черным для начальника оперативного штаба «Форе-Ост» подполковника Зибеля. Его детище, его любимые «зибеля», на которых в свое время готовился он форсировать Ла-Манш, здесь, на Ладоге, были наголову разбиты, сокрушены и потоплены сторожевыми катерами и канонерками русских. Такого позорного исхода подполковник не ожидал! Добил Зибеля генерал-полковник Келлер. Нет, командующий не разнес его в пух и прах за бездарно проведенную и по всем статьям проигранную операцию «Бразиль», не журил его и не корил, а всего лишь мягко напомнил: «Ну вот, а вы уверяли, что к утру остров Сухо будет нашим. — И спросил: — На что вы надеялись, подполковник?» Отвечать было нечего. Впрочем, около десяти десантных судов сумели-таки вырваться из клещей, устроенных русскими кораблями, и вернуться на базу, в Сортанлахти. И это все, что осталось от вчерашней флотилии — охвостье.

«Вражеский десантный отряд, понеся большие потери, спешно начал отходить, — вспоминали участники тех событий. — Наши корабли и авиация преследовали противника до наступления темноты — и не впустую. Канонерские лодки «Вира» и «Селемджа» подбили еще одну десантную баржу, а две баржи были подожжены ударами с воздуха». Похоже, осколками бомб продырявило трюмы с горючим — и тяжелые красно-черные столбы (пламя и дым) долго висели над Ладогой... Зрелище жуткое! Подполковник Зибель был потрясен.

А командир отряда итальянских торпедных катеров капитан третьего ранга Бьянкини, видевший все это своими глазами, хотя и не спешил с оценками, но в докладе, представленном оперативному штабу «Форе-Ост», признавался: «Операция против острова Сухо обошлась нам очень дорого».

Зато всегда сдержанные и нордически холодные финны на этот раз не скрывали своих эмоций — и результат операции «Бразиль» назвали катастрофическим. Никто с ними не спорил — факты сами за себя говорили.

Меж тем связи с островом Сухо все еще не было. Что с гарнизоном, как там островитяне обходятся после столь беспощадной, жестокой схватки с фашистскими десантниками? Глухое молчанье — и какая-то стылая, выжидательная тишина. Каргин, хотя и понимал, что в этом пекле наладить связь непросто, однако раз за разом обращался к радисту: «Ну что, Соколюк, не появилась связь с островом?» Старшина первой статьи Иван Соколюк, услышав голос командира, внутренне подтягивался, поправляя наушники, которые, казалось, срослись с головой, будто кожа и волосы, и отвечал четко: «Никак нет, товарищ старший лейтенант, не появилась. Да и не может она враз появиться, у них там, наверное, все антенное хозяйство разрушено...»

Наконец, уже где-то за полдень, когда остатки вражеского десанта, вырвавшись из тугих клещей, драпанули в сторону Сортанлахты, Каргин приказал подойти к острову. Приблизились с юго-западной стороны. В это время сигнальщики доложили: «Семафор с острова, товарищ старший лейтенант! Семафорят флажками. Срочно необходим борт для доставки на сушу, в главную базу, тяжелораненых и убитых...» Каргин ни секунды не медлил. Тральщик ТЩ-100, минуя отвесные скалы, зашел с восточной стороны и причалил к низкому шхерному берегу. Мигом сбросили сходни. Каргин машинально отметил: 12 часов 50 минут. Затем спустился с мостика и прошел в корму, где уже началась эвакуация раненых моряков. Крайне тяжелых, лежащих, что называется, транспортировали на плащ-палатках и самодельных брезентовых носилках, другим помогали взойти на палубу, держа их под руки; те, кто был на своих ногах, обходились, как могли, да еще и сами старались кому-то помочь, поддержать своего товарища, брата... Что ж, круговая порука и взаимовыручка — это по-братски! Потом приняли на борт самый печальный груз (туго запеленатые в темно-серую парусину

тела погибших защитников Сухо), и тральщик медленно отчалил от острова. Пордевший гарнизон, построившись в две шеренги, неподвижно и долго смотрел вслед с каменистого берега, провожая своих товарищей...

Среди раненых находился и командир Суховского гарнизона старший лейтенант Гусев. Давно с ним знакомый, Каргин сразу и не узнал его, когда тот последним и без чьей-либо помощи поднялся на палубу и подошел к нему — лица на нем не было, все сплошь упрятано в бинты, наружу только глаза да губы, так что видеть и говорить он вполне мог. «Не узнаешь?» — спросил он тихо, но внятно. И Каргин, то ли догадавшись, то ли по голосу определил: «Гусев? Вот теперь узнаю». Коснулся его руки, левая была перебинтована и висела на подвязке. Каргин предложил ему свою каюту, пояснив: «Идти нам часа три, там тебе будет удобнее». Но Гусев решительно отказался: «Нет, я вместе со всеми», — на том и расстались.

Тральщик ТЩ-100, держа курс на главную базу, двигался полным ходом — котлам некогда отдышаться! Но иначе нельзя. На борту десятки тяжелораненых, которым нужна срочная помощь, кому-то и неотложная операция... Время дорого, каждая минута — на вес жизни! А впереди семнадцать добрых миль — три часа ходу, не меньше. Ах, как медленно, очень медленно движется тральщик! — вздыхает Каргин, трогая ручки машинного телеграфа, чтобы перевести их на «самый полный». Но тральщик и без того идет на всех парах — котельные машинисты и кочегары выжимают из старых, изношенных машин все, что можно. Хотя давно известно: корабли, как и всякие машины, имеют свои возможности, свой «полный», свыше которого (больше того, что тебе дадено) не осилишь и не потянешь. Ну, не хватает силы тральщику, к тому же изрядно побитому, израненному «зибелевскими» снарядами, нет у него той скорости, того «полного» хода, который хотелось бы сегодня иметь. «А вот с этим я не согласен», — вдруг сам себе говорит Каргин. Слегка повернув голову, он видит, как левобортный сигнальщик, старательно двигая рогатой стереотрубой, обшаривает линию горизонта и время от време-

ни докладывает, что «слева по траверсу все чисто»; и правобортный сигнальщик, как бы дублируя своего напарника, держится так же уверенно и спокойно — горизонт чист! «Ну вот, а ты говоришь, что свыше того, что тебе дадено, нельзя осилить и потянуть, — мысленно продолжает Каргин. — Ошибаешься! Если бы ТЩ-100 не сделал того, что сделал сегодня, не шли б мы сейчас по тихой воде курсом на главную базу». Убедительно доказал, похоже, и сам собою остался доволен.

Да только ли собой! Коротко глянул опять на сигнальщика, перевел взгляд на другого — послушные им стереотрубы рогато мотались из стороны в сторону, словно бодливые горные архары, отслеживающие своего противника: «Слева на траверзе горизонт чист», — докладывал левобортный сигнальщик. И тут же, не мешкая, вторил другой: «Справа по курсу все чисто, товарищ старший лейтенант!» — «Добро», — отзывался Каргин, на всякий случай прикладываясь к биноклю. А Ладога и впрямь была в этот час удивительно спокойной. Небо выпросталось из-под взлохмаченных кучевых облаков, по-осеннему блеклое, ветер сник до пределов «легкий», как говорят гидрологи, волны нет, вода едва лишь тронута мелкой рябью. И тишина несусветная — уши закладывает! Как будто и не было недавних бомбежек, тяжелых орудийных ударов, огня и дыма, в которых корчился и трещал металл, сгорали люди и в мгновение ока уходили под воду вместе с людьми десантные «зибеля»... И вдруг — тишина! Бой закончился. Остатки разгромленной фашистской флотилии «Форе-Ост», преследуемые ладожскими кораблями, убежали в сторону спасительной Сортанлахты, забыв, наверное, о том, зачем приходили сюда и что потеряли возле острова Сухо... Между тем радист Соколюк уже вторично «достучался» до штаба Охраны водного района, на этот раз ответил сам флагманский связист капитан-лейтенант Солодовников: «Полный порядок! Вас будут ждать на пирсе в Новой Ладоге». Кто будет ждать — об этом ни слова.

Все шло своим чередом. Около четырех пополудни обозначился берег, завиднелись, будто вырастая из воды, прибрежные строения, потом еще полчаса ходу. Наконец, тральщик, дрожа всем корпусом, приблизился к основному пирсу главной базы,

а там уже все береговые службы – наготове. Пока причаливали, швартовались, пока подавали и крепили трап, Каргин успел разглядеть несколько санитарных машин и одну крытую, под брезентовым тентом. И тут же увидел небольшую кучку военных, доселе незаметно державшихся в стороне, но как только трап был подан, группа тотчас, как по команде, зашагала по пирсу, направляясь к еще не успевшему отдышаться и замершему у стенки причала тральщику ТЩ-100. Возглавляли группу два человека, шедших чуть впереди, как бы наособицу, одного из которых Каргин сразу и безошибочно опознал – командующий Ладожской военной флотилией капитан первого ранга Виктор Сергеевич Чероков. А кто шел рядом с ним – было неясно. И лишь когда они подошли ближе и остановились, живо о чем-то разговаривая, Каргин ахнул от удивления: вот растяпа, как же он мог не угадать человека, которого видел не раз и знал в лицо, хотя и не имел с ним никаких личных встреч, аудиенций – нос не дорос! Это ж командующий Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Филиппович Трибуц. Позор! – мысленно укорил он себя, как будто промашка эта роняла его командирскую честь. И теперь уже, долго не размышляя и действуя по наитию, Каргин быстро сошел по трапу и твердо двинулся в сторону двух командующих, за спиной которых стояло рангом пониже штабное начальство.

Присутствие здесь самого командующего Балтийским флотом явилось для Каргина полной неожиданностью – никто не упреждал его о прибытии в Новую Ладогу вице-адмирала. И сейчас, увидев его, Каргин вдруг понял и как бы другим аршином соизмерил всю значимость сегодняшней операции в районе Сухо. Было 16 часов 45 минут. В этот момент, дробно стуча по трапу ботинками, взошли на палубу тральщика матросы санитарной (совокупно и похоронной) команды, держа в руках пустые носилки. «Эвакуация раненых и вынос погибших займет минут пятнадцать», – вскользь подумал Каргин, приблизившись к двум командующим и коротко доложив: «Товарищ адмирал, дозорный катер ТЩ-100, завершив боевую задачу, прибыл к месту назначения. Командир корабля старший лейтенант Каргин».

— «Добро, — кивнул Трибуц. — Задачу свою, командир, выполнили вы отменно. Больше того: действия вашего корабля от начала и до конца операции — выше всяких похвал!» Каргин полагал, что командующие поднимутся на борт корабля. Однако адмирал принял другое решение: на борт катера ТЩ-100 командующим не следует подниматься, дабы своим присутствием не отвлекать экипаж от исполнения завершающей фазы нелегкой сегодняшней миссии.

Тем временем на палубе тральщика появились и прошествовали друг за другом в корму, осторожно ступили на трап матросы, держа в руках носилки с тяжелоранеными. И тут же на пирс, поближе к трапу, незамедлительно подали санитарные машины, готовые мигом принять пострадавших — причал опухло карболкой. Все делалось быстро и слаженно, как на смотре, перед глазами двух командующих, хотя в действительности никому и в голову не приходило создавать некую показуху — не тот случай! Еще не ушли с пирса фургоны с тяжелоранеными, а верхнюю палубу тральщика уже заполнила самая многочисленная группа тех, кто не нуждался в носилках, мог сам передвигаться, что и делали легкораненые довольно усердно, хотя иных, излишне бодрившихся и рьяных, приходилось подстраховывать, а кого-то и под руки брать... Так или иначе, но «взвод» раненых, пестрый от белых бинтов, тщился даже соблюсти некий строй и чуть ли не парадным шагом пройти мимо адмирала, который, по донесениям «палубного радио», будет встречать их не как раненых и увечных, а как победителей. Они и чувствовали себя победителями! И чувство это придавало им сил.

Хотя достался острову Сухо самый тяжелый и главный удар фашистских захватчиков. Представьте себе каменный островок размером всего лишь в полгектара, на котором уместились и главный маяк на Дороге жизни (вот он-то, маяк Сухо, и не давал покоя немцам!), и дальнобойная батарея, и гарнизон в девяносто человек, включавший комендоров, сигнальщиков, дальномерщиков, радистов, телеграфистов, интендантов, коков, хлебопеков, медиков и прочих других спецов, жизненно важных и необходимых в любой боевой части. И вот на этот каменный

пятак туманным утром, 22 октября 1942 года, подошедшая скрытно и незаметно армада десантных судов (около тридцати единиц) фашистской флотилии «Форе-Ост» с короткой дистанции прямой наводкой обрушила сотни снарядов... Казалось, моста живого не осталось — воздух трещал и содрогался от взрывов. Осколки разбитых камней разлетались по всему острову, бухались в воду, вздымая мощные гейзеры... И как только началась канонада, командир гарнизона (он же и командир батареи) старший лейтенант Гусев, в сопровождении связного матроса, поднялся на вышку маяка, где, можно сказать, открытый всем ветрам, размещался командный пост. Дежурный телеграфист был на своем месте. Гусев отдал приказ: открыть огонь по десантным судам противника! Ухнули в три жерла островные орудия, снаряды угодили в ближайшую справа баржу, пламя над нею вздернулось выше надстроек... «Цель поражена!» — доложили батарейцы командиру, но доклад оборвался в воздухе и не дошел до него. Прямое попадание вражеского снаряда разнесло вышку, повредило и вывело из строя антенну. Известить штаб флотилии о нападении противника не успели. Остров оглох. Телефонная связь с боевыми постами тоже оборвалась...

А Гусева ранило сразу двумя осколками — порвало щеку и скользко задело лоб, кровь заливала лицо. Связной матрос Саша Строганов, молодой, неискушенный в санитарных делах, пытался помочь командиру, неумело накладывая повязку, которая никак не хотела держаться. Слева от них, в двух шагах, лежал навзничь телеграфист Котов, весь в крови, и без движения... Гусев хотел посмотреть, что с ним, и уже шагнул к нему, зажимая рукой хлипкую повязку, в это время и появился на покалеченном мостике, будто с неба сошел, гарнизонный врач лейтенант медицинской службы Евгений Буневецкий. «Спокойно, спокойно», — приговаривал он, осматривая и обрабатывая каким-то раствором израненное лицо командира. Гусев глазами повел, указывая на лежавшего неподвижно телеграфиста: «Посмотреть надо, что с ним, может, помочь...» Лейтенант шагнул к навзничь лежавшему телеграфисту, присел на корточки, пальцами ощупал шею и тихо сказал: «Ему уже не поможешь». Затем быстро

и ловко наложил бинт на лицо Гусева, оставил только щелочки для глаз и рта. «Порядок, — все так же тихо, вполголоса произнес и упредин: — Повязка временная, потом заменим». Гусев хотел что-то сказать, может, поблагодарить доктора — и не успел. Грохот раздался невероятный, взрывная волна ударила сбоку, свет померк, показалось, вышка маяка надломилась и уходит из-под ног... Но уже в следующий миг, когда поутихло немного и пелена с глаз упала, Гусев повертел тяжелой, будто чугуновой головой и не обнаружил рядом доктора. Зато услышал связного: «Товарищ старший лейтенант, надо спускаться... здесь опасно». А где же доктор? — вскинулся Гусев и тут же увидел лежавшего чуть ли не голова к голове с телеграфистом лейтенанта Буневичского. Впрочем, от головы доктора осталось лишь какое-то смятое, бесформенное месиво... Гусева обдало холодом изнутри — страшно было смотреть. И не верилось — он же только что, минутой назад, разговаривал, перевязывал его и упредин: «Повязка временная, потом заменим». И все кончено!

Задерживаться здесь нельзя, горевать и печалиться — тоже некогда. Гусев повернулся, ощущая тяжесть в ногах, голова кружилась. «Спускаемся», — сказал он связному. Они спустились с покалеченной вышки, оставив там убитых доктора и телеграфиста. «На батарею?» — спросил Саша. «Третий дворик, — уточнил Гусев. — Там теперь будем держать свой флаг». И добавил с еще большей горечью, хотя выражение лица его не было видно под бинтами: «Переходим на ножное управление...» Это значило, что связному придется ножками бегать с приказами командира от одного боевого поста к другому — никакой иной связи на острове не осталось. И всем трем орудиям Суховской батареи, неделю назад поставленным в разных местах и пронумерованным по порядку («дворик орудия №1», «дворик орудия №2» и «дворик орудия №3»), придется действовать автономно, поскольку единое руководство огнем батареи «ножным способом» решить невозможно. Положение было крайне тяжелым, а в какой-то момент показалось и вовсе безнадежным.

Когда Гусев добрался до «третьего дворика», там от всего расчета остался только командир орудия старшина первой

статьи Мишуков, весь почерневший от копоти, дыма и пыли, он сам подносил снаряды, заряжал, наводил и вел огонь... Здесь Гусева достал еще один осколок — теперь уже в левую руку выше локтя. Подоспевший санинструктор Коинов быстро перевязал ему рану, сказав: «Порядок, товарищ старший лейтенант, потом поменяем повязку». Гусева поразили эти слова, почти точь-в-точь повторявшие фразу доктора Буневицкого, сказанную каких-нибудь полчаса назад. А санинструктор, еще ничего не подозревая, вдруг пожаловался, вопросительно глянув на Гусева: «Что-то я не вижу нигде нашего доктора, товарищ старший лейтенант?» Глаза Гусева остро блеснули из-под бинтов и тут же померкли, он отвернулся и глухо сказал: «Доктор на вышке. Он убит». Минуту спустя появился Строганов и доложил: начальник поста наблюдения старшина первой статьи Лысов погиб — прямым попаданием пост связи полностью разрушен. Связной, однако, в подробности не вдавался и умолчал о том, что старшину Лысова нашли среди развалин обезглавленным, голова отлетела далеко в сторону, санинструктор Толя Каинов бережно вернул ее на место, примотав бинтами к шее...

Но противнику и этого показалось мало. Около восьми утра появились «юнкерсы» и забросали остров фугасами — «обработали» чуть ли не каждый метр! И сразу же после налета, что называется, по горячим следам, на остров Сухо высадился десант. Теперь было не до пушек. Суховцы, кто держался еще на ногах, взяли в руки другое оружие — пошли в ход гранаты, винтовки и автоматы, то и дело сходились в рукопашную, хотя немцы явно избегали таких стычек, надеясь не спеша и малой кровью овладеть островом. Не удалось!

Сейчас, по прошествии нескольких часов после боя, находясь на борту дозорного тральщика, раненые суховцы жалели и поминали вслух погибших своих товарищей, сознавая и то, что каждый мог оказаться на их месте... Разговаривали между собой, еще сидя в кубрике на железных рундуках, рассуждали спокойно, без всяких истерик и паник. А что им паниковать? Остров Сухо они не отдали фашистам, а раны со временем заживут. Потом поднялись на палубу и двинулись к трапу вслед за

командиром гарнизона Гусевым, четырежды раненым, лица на нем нет, сплошь в бинтах, лишь рот да глаза наружу, идет, прихрамывая, но идет впереди, как и подобает настоящему командиру. Спустился на пирс, не выпуская из вида стоявших в непосредственной близости к трапу двух командующих, вдруг круто повернул. «Товарищ адмирал, группа раненых...» — начал было рапортовать. Трибуц шагнул к нему и мягко прервал: «Не надо, голубчик... не надо докладывать, мы все знаем. И восхищаемся несгибаемой стойкостью и мужеством вашего гарнизона, — высил голос адмирал и обращался теперь уже не только к Гусеву, но и к стоявшему в пяти от него шагах «взводу» раненых моряков. — Товарищи моряки! — не мог скрыть волнения. — Товарищи суховцы, вы сегодня совершили такое... Вы не только уберегли остров Сухо и спасли, защитили нашу главную коммуникацию на Ладоге, Дорогу жизни, вы Россию, Отечество свое защитили от фашистских захватчиков. Спасибо вам, товарищи!» — шумно выдохнул и вскинул руку, отдавая честь «взводу» раненых моряков, двинувшихся шатким, неровным строем к ожидавшим их санитарным машинам. А минуту спустя матросы медленно, с подчеркнуто строгой и печальной торжественностью, держа в руках носилки с телами погибших, спустились по трапу и прошли мимо застывшей в молчаливой неподвижности адмиральской свиты. Покойная тишина висела над пирсом. И запах карболки, тянувшийся от санитарных машин, был сейчас особенно ощутим.

«Это моя вина, товарищ адмирал», — вдруг глухо и неожиданно обронил Гусев, и слова его прозвучали явным диссонансом с тем, о чем только что горячо и с неподдельным волнением говорил командующий. «Что-что, какая вина?» — не понял Трибуц. «Вина в том, что гарнизон понес большие потери... что я, командир гарнизона, не смог как следует подготовить остров к обороне», — резко и беспощадно, словно хлеща себя розгами, сказал Гусев. «Постойте, постойте, — еще больше удивился и заинтересовался Трибуц. — Минуточку, — вскинул голову, махнув рукой в сторону ожидавших машин, и приказал: — Отправляйте раненых!» Повернулся снова к Гусеву. Хотел увидеть его лицо, но за бинтами лица

не видно, адмирал огорчился и, посмотрев ему в глаза, спросил: «Ну, так в чем же ваша вина, старший лейтенант? Хотелось бы знать». Гусев помедлил, слегка поморщившись, может, от тягучей боли в осколочной ране плеча, а может, от жгучей обиды на себя самого за свою нерасчетливость и негибкость, которые он излишне и часто преувеличивал. «Причин много, товарищ адмирал, пересчитывать — пальцев на одной руке не хватит», — ответил Гусев. «А вы не по пальцам считайте, а положитесь на память, — посоветовал адмирал, невольно отметив про себя, что вторая рука Гусева не действует, туго перебинтована и висит на подвязке. — Какую неподготовленность вменяете вы себе в вину? Конкретно». — «Есть конкретно, — восприняв последнее как приказ, ответил Гусев. — Во-первых, товарищ адмирал, командный пункт на верхней площадке маяка оказался без всякой защиты. Вот его и снесли сразу же, как только начался залповый обстрел с кораблей противника. Вторая неподготовленность — отсутствие системы противодесантной обороны, не успели мы ее построить. Отсюда и третье, и четвертое: не были заминированы основные подходы к острову, не были поставлены проволочные заграждения. Да что говорить, товарищ адмирал, на острове нет даже нормальных складов, хранилищ для боеприпасов...» — выложил все, ничего за пазухой не оставил.

Адмирал слушал, не перебивая, потом сказал: «Да, недочеты серьезные. Спасибо, старший лейтенант, за то, что не умолчал, напомнил об этом. Надеюсь, командующий взял уже на заметку? — повернулся к Черокову. — Как, Виктор Сергеевич, примем на свои плечи ответственность за эти серьезные упущения? А то ж старший лейтенант Гусев решил взвалить все на себя». — «Старший лейтенант правильно обозначил основные наши просчеты, — пояснил Чероков. — Фортификационная часть оборонительных сооружений на острове действительно никакая. Мы знали об этом. И срочно хотели исправить положение. Несколько дней назад штабом флотилии на остров Сухо был направлен военинженер третьего ранга Мельницкий, опытный специалист, но противник нас опередил...» — «После этой опережающей операции противник не скоро очухается и вряд ли быстро сумеет

восстановить свою флотилию», — сказал Трибуц, как бы ставя точку в положенном ей месте. «Флотилию «Форе-Ост» противник уже не восстановит», — внес поправку Чероков. «Вы так думаете?» — посмотрел на него Трибуц. «Уверен в этом, товарищ адмирал». На пирс в это время, прямо к трапу, подкатила «эмка», упредительно распахнув дверцу; адмирал тронул Гусева за плечо и помог усадить его в кабину, напутственно и мягко проговорив: «Держитесь, голубчик, выздоравливайте и возвращайтесь поскорее на остров Сухо. Дел у нас с вами, Иван Константинович, еще много впереди», — столь необычно и величально обратился к молодому офицеру, словно пренебрегая в эти секунды всеми писаными и неписаными морскими правилами. Сейчас адмиралом владело такое чувство, такая душевная теплота согревала его внутри, что он готов был не только молодых офицеров, но и каждого старшину, каждого матроса в отдельности называть по имени-отчеству. Они достойны того!

Эвакуация раненых заняла полчаса от силы. Пирс опустел. Остался только запах карболки, но и он вскоре развеялся. И тральщик ТЩ-100 еще засветло, получив разрешение, отвалил от причала и ушел на внешний рейд, находившийся в шести милях от главной базы. Туда же вскоре подтянулись и встали строго по диспозиции корабли ОВР (три тральщика, четыре сторожевика и канонерская лодка «Нора»), принимавшие участие в разгроме фашистской флотилии и вернувшиеся на рейд в полном составе. Другой отряд ладожских кораблей вернулся в Осиновец — и тоже без единой потери. Случай редкостный и невероятный! Назавтра, 23 октября 1942 года, ранним утром, когда на кораблях, отдохавших на рейде, прозвучал сигнал побудки, тотчас, ни секунды не мешкая, судовые радисты на полную мощность врубили динамики — и отчетливо узнаваемый спокойный и трубный голос диктора заполнил жилые и служебные отсеки, выплеснувшись на верхние палубы, на весь рейд, а может, и на всю акваторию Ладоги и дальше — на всю страну. «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сводку Совинформбюро, — краткая пауза и переход к самому

главному. Голос диктора Левитана торжествующе возвестил: — Вчера, 22 октября, до 30 десантных судов и катеров противника под прикрытием авиации пытались высадить десант на один из наших островов на Ладожском озере. Силами гарнизона острова, наших кораблей и авиации Краснознаменного Балтийского флота десант противника был разгромлен. В результате боя уничтожено 16 десантных судов противника и одно судно захвачено в плен. Наши корабли потерь не имеют».

Матросы ладожских судов, стоявших в то утро на базовых рейдах флотилии, слушали сводку Совинформбюро с особым вниманием и даже пристрастием — это же о них, о ладожских моряках, говорили, о вчерашней Суховской операции, которую большинство из них знали не понаслышке. Впрочем, остров Сухо в сводке не упоминался, вернее, называли его обезличенно — «один из наших островов на Ладожском озере». Жаль, конечно! — вздыхали матросы, задетые этой недоговоренностью, однако сошлись на том, что не назван остров Сухо, скорее, из соображений секретности. А вот вторая ошибка была и вовсе очевидной, потому и показалась особенно непростительной. Сказано было в сводке Совинформбюро, что «в результате боя уничтожено 16 десантных судов противника и одно судно захвачено в плен». Все верно, кроме последнего: захвачено в плен не одно судно, а два — десантная баржа с остатками экипажа и десантный катер «У-6», переоборудованный под плавучую ремонтную мастерскую, которую, судя по всему, немцы потащили к острову с дальним прицелом — надеялись обосноваться там надолго. Однако матросы народ отходчивый — и уже минутой-другой погода кто-то из них спохватился и укоротил недовольных: «Хлопцы, да вы почему заклинились на этих ошибках, разве в них дело?! Главное, фашистских «борзятников» расколошматили, ключья от них остались, а вы о каких-то ошибках...»

И, как бы подведя черту, два дня спустя, 25 октября 1942 года, газета «Правда» писала об этом событии: «В истории героической обороны Ленинграда навсегда останется подвиг Ладоги, трудовой и воинский подвиг ее моряков». Но, пожалуй, наиболее точно и глубоко оценил и определил значение этой победы чуть

позже известный в то время швейцарский ученый Юрг Мейстер (на него многие потом будут ссылаться): «Если бы летом 1942 года удалось заставить русских прекратить подвоз продовольствия через Ладожское озеро, то Ленинград, полностью окруженный со стороны суши, можно было бы взять, не принося при этом жертв. Но русские не допустили того, чтобы Ленинград заморили голодом и он попал в руки противника. Тем самым советская Ладожская флотилия внесла значительный вклад в коренное изменение хода войны на Востоке». Вот так — и не иначе! Оценят ли этот подвиг потомки? Или забудут и старательно вычеркнут из всех «святцев», как нередко бывает? Хотелось бы верить в лучшее...

* * *

Клевенский же в это время был уже далеко на востоке...
Весть о разгроме немецкой эскадры застала его за многие тысячи миль от Ладоги, на главной базе Северной Тихоокеанской флотилии, в Татарском проливе, соединявшем два моря, Охотское и Японское, куда занесло Михаила Сергеевича отнюдь не попутным ветром и, надо сказать, в места для него не чуждые. Здесь лет пятнадцать назад начинал он свою морскую карьеру вахтенным начальником сторожевого корабля «Воровский», затем флаг-секретарем дивизиона стареньких мониторов и, наконец (вершина юношеских мечтаний!), командиром минного заградителя, корабля по тем временам почти идеального, скоростного, хорошо вооруженного, погреба которого, пропахшие аммиачной селитрой, напичканы минами... Вот здесь, в Татарском проливе и в открытых водах Японского и Охотского морей, и был пройден счастливейший курс молодого командира.

Океан перед ним распахнулся — и понесли моряка соленые бейдевинды! Осенью тридцать девятого кавторанга Клевенского переводят на Балтику — начальником штаба Кронштадтской военно-морской базы. А весной 1941-го, буквально за месяц до начала войны, назначают командиром Лиепайской ВМБ.

Друзья прочили ему блистательную карьеру. Однако война внесла свои поправки. Читатель уже знает обо всех перипетиях в службе каперанга Клевенского. И вот он снова на Дальнем Востоке, в порту Советская Гавань, куда перевели его весной 1942 года. Случилось это внезапно и тихо, без всяких, что называется, шумовых эффектов. Многие на флотилии сразу и не заметили убытия каперанга Клевенского. И мало кто знал (скорее, и вовсе никто не знал), с какими чувствами покидал он Ладогу — об этом можно только догадываться. И в самом деле, трудно понять: зачем и почему командира Охраны водного района главной базы Ладожской флотилии в разгар боевых действий вдруг срывают и отправляют куда-то на край света, в глубокий тыл? Наверное, и сам Клевенский не до конца понимал — кому и зачем нужна такая передрыга? Но предписание уже на руках, а там все черным по белому сказано: капитан первого ранга Клевенский М.С. направляется в распоряжение штаба Северной Тихоокеанской флотилии. Правда, неясно — в качестве кого?

Ответ уклончив: решат на месте. Хотя Клевенский давно знал: такие решения, как правило, принимаются загодя и не с бухты-баракхты. Впрочем, знал он и другое: гадать на кофейной гуще не надо; солидный командный опыт, морская выучка (и, наконец, академия за плечами) позволяют ему занять любую ступеньку в рамках флотилии — и он к этому был готов. Однако не все от него зависело. Далеко не все! И это он знал хорошо, не раз испытывав на себе и держа в себе (не вынося, что называется, «сор из избы») чувство скрытой обиды, связанной... с теми же наградами списками, из которых фамилия каперанга всякий раз (вот уже трижды или четырежды кряду) на каком-то этапе с упорной последовательностью исчезала, а попросту говоря — изымалась, вычеркивалась! Почему? Догадаться нетрудно. И все-таки положение, как в шахматах, складывалось патовое. Представьте себе: командир Охраны водного района главной базы флотилии, капитан первого ранга Клевенский за целый год военных действий на Ладоге никак не был отмечен и не удостоился ни единой боевой награды — ни единой! В то время как многие матросы, старшины и офицеры ОВР награждались уже не раз, получая вполне заслу-

женные медали и ордена, кстати сказать, из рук самого командира ОВР. Строгий и сдержанный ритуал этот, овеянный некоей праздничной аурой, выливался иногда в маленькие нешумные торжества. Клевенский ценил такие минуты, понимая, как важно для человека испытать это чувство приподнятости, когда успех твой (ратный или трудовой) замечен и отмечен, и радовался вместе со всеми, забыв о том, что сам он, увы, оставался по сию пору обойденным. Разумеется, никто и никогда не заводил с ним разговоров об этом, сам же он и вовсе избегал излишне деликатной темы, сугубо личной и даже запретной, как он считал, так и держа в себе этот горький болезненный ком.

И только однажды, как бы нарушая некий негласный сговор, буквально за день до отбытия каперанга на Дальний Восток, неожиданно появился комиссар флотилии Фенин и крепко, прямотаки по-мужицки пожав и встряхнув ему руку, сказал с печальной ноткой в голосе: «Вот забежал попрощаться с хорошим человеком, которого ценю и уважаю глубоко и душевно. Да-да, Михаил Сергеевич, это так!» И как бы в подтверждение этих чувств еще раз стиснул и по-мужицки встряхнул руку Клевенского. «Говорю вам открыто. И еще для того, чтобы у вас при отъезде не сложилось другого мнения». Клевенский улыбнулся, не торопясь отнимать руки, тронутый столь доверчивой простотой и открытостью комиссара, и сказал твердо: «Могу вас заверить, Николай Дмитриевич, иного мнения у меня нет и, надеюсь, не будет». — «Вот это для меня важно, — кивнул Фенин. — А наградные оплошки, Михаил Сергеевич, которые касаются вас, считаю делом случайным и временным. Извините, что задеваю этот момент, но я думаю, Михаил Сергеевич, скоро все наладится и придет в норму. А вот моя вина перед вами — здесь сидит», — выразительно приложил руку к своей груди. «Да в чем же ваша вина?» — искренне удивился Клевенский. «А в том, что я как комиссар не смог поправить оплошность и отстоять справедливость. Хотя и пытался, но слабо, видать, пытался и с большим промедлением. Вот в том и вижу свою вину!» — жестко и с маху отрубил, не щадя самого себя. «Спасибо, Николай Дмитриевич, мне это особенно дорого слышать от вас, — сказал Клевенский. —

Только я не вижу в этой оплошности никакой вашей вины. Никакой вашей вины, Николай Дмитриевич, в этом нет!» — повторил он. И уже много дней спустя, где-то в пуржисто-заснеженном да-леке, между Обью и Енисеем, а может, подъезжая к Амуру, вдруг вспомнил этот короткий покаянный разговор с комиссаром Фениным и подумал, сказав сам себе: «Ну что, каперанг, выходит, снятая судимость, как шрам от зажившей раны, дает о себе знать? Дает! Значит, надо и к этому привыкать. А надо ли привыкать?» Спросил так, будто кто-то третий был рядом. Курьерский поезд прогрохотал через какой-то мост, оглашая протяжным свистом неоглядное пространство и унося каперанга все дальше и дальше, на восток, к Великому океану...

Советская Гавань встретила каперанга теплом — была середина марта. Клевенский, не теряя времени, в тот же день доложился командующему флотилией. Они оказались тезками. «Но не больше того», — как скажет потом Клевенский, посмеиваясь. Контр-адмирал Михаил Иванович Арапов был приветлив, но краток и сдержан, будто что-то скрывал и не договаривал. Задал пару ничего не значащих, проходных вопросов и круто повернул: «Ну что ж, Михаил Сергеевич, придется вам без раскачки браться за дело! Надеюсь, вы знаете, что большая, а точнее сказать, более подготовленная часть моряков-тихоокеанцев перебазируется в состав Северного флота — там сейчас положение тяжелое. Хотя и нам здесь нелегко, — тут же оговорился, как бы вводя Клевенского в курс дела, — приходится начинать все с нуля. Скрывать не буду, боевая подготовка на флотилии пока что не блещет, работы в этом направлении — край непочатый! Так что прибыли вы, товарищ капитан первого ранга, в самый нужный момент, выразительно посмотрел на Клевенского. — Между прочим, ждали мы вас с прицелом именно на 2-й отдел штаба. Как вы знаете, в обязанности 2-го отдела и входят задачи боевой подготовки. Вот эти задачи и предстоит вам решать. Но более конкретно ознакомит вас с обстановкой начальник штаба флотилии капитан второго ранга Котов. Он должен к вечеру вернуться на базу. Да, кстати, Михаил Сергеевич, — уже попрощав-

шись, чуть ли не вдогонку добавил Арапов, — вы назначаетесь не только начальником 2-го отдела, но и заместителем начальника штаба флотилии. Полагаю, это даст вам более широкий простор для работы». — «Благодарю за доверие, товарищ адмирал», — не дрогнув, что называется, ни единым мускулом на лице, спокойно ответил Клевенский. И, надо сказать, простор у него действительно появился обширный — от беспокойного, а зачастую и каверзного Татарского пролива до привередливо непредсказуемого и опасного в своих штормовых повадках Охотского моря, где, как правило, и проводились теперь учения кораблей Северной Тихоокеанской флотилии; правило же это с некоторых пор утвердил новый заместитель начальника штаба, сумевший круто изменить саму тактику тренировок, максимально приблизив ее к боевой обстановке — условия для этого были идеальные, а опыта каперангу не занимать. «Так у него ж не только опыт, но и академия за плечами!» — не скрывая восхищения своим заместителем, обронил однажды в разговоре с командующим начальник штаба флотилии кавторанг Котов. Контр-адмирал посмотрел на него, коротко усмехнувшись, и сказал после паузы, внося поправку: «Между прочим, капитан первого ранга Клевенский прибыл к нам на флотилию не из академии, а с Ладоги. А там, батенька, хватает огня! Так что опыт опыту — рознь».

Сам же Клевенский полагал, что задержится здесь недолго, ну от силы месяца три-четыре, а там, глядишь, снова на Ладогу, хотя дважды в одну и ту же воду ступить мудрено... Так решил про себя Клевенский и, можно сказать, не ошибся. Правда, здесь, в Татарском проливе, в порту Советская Гавань, каперанг пробыл не три-четыре месяца, как полагал, а больше года — и только осенью 1943-го, как всегда, внезапно был отозван и переведен... нет, не на Балтику и тем более не на Ладогу, а на Северный флот.

Поговаривали потом, что, де, прибывший на Северный флот М.С. Клевенский не очень был жалован командующим флотом контр-адмиралом А.Г. Головкин. Но что значит — не очень был жалован? Командующий каким-то способом ущемлял его, держал в черном теле, обходил в назначениях по службе? Никак нет! Такого не замечалось. Возможно, Арсений Григорьевич Головкин

и не имел за душой большого притяжения к каперангу Клевенскому, возможно, были и другие более глубокие корни, питавшие мнимую или явную неприязнь одного к другому, этого мы не знаем — слишком личная сфера; однако твердо можно сказать: личная сфера в данном случае никоим образом не коснулась Клевенского. Во всяком разе сам он этого не чувствовал. Да и некогда было, правду говоря, заниматься самокопанием... Тотчас по прибытии, едва каперанг переступил порог штаба флота, буквально в первые же минуты, без лишних рассусоливаний, его ознакомили с приказом о назначении командиром дивизиона так называемых истребителей подводных лодок. О, это ему знакомо! И Клевенский в тот же день проследовал к месту базирования кораблей-истребителей, которым уже назавтра предстоял выход в район Печенги — там, по сведениям «акваториальной» разведки, появились и свободно разгуливают новые вражеских субмарины. Надо их прощупать и дать понять — не они здесь хозяева!

Клевенский обосновался и держал свой флаг на минном заградителе, но продержался недолго — война не давала шибко засиживаться. И в марте сорок четвертого Клевенского вдруг перебросили из дивизиона истребителей подводных лодок в дивизион сторожевых кораблей — и тоже комдивом. Выходит, поменяли шило на мыло? Впрочем, контр-адмирал Головкин, предвидя этот вопрос, быстро снял всякие сомнения и догадки. «Ваше переназначение, Михаил Сергеевич, — упредил он Клевенского, — это не прихоть командующего. И, тем более, не случайность, — добавил с нажимом. — Отныне дивизион сторожевых кораблей Северного флота — на особом статусе. Что это значит? — как бы сам себя спросил и немедля ответил: — А это значит, что предстоят сложнейшие и важнейшие операции в Баренцевом море, по большей части — это переброска и высадка крупных десантных сил. Не будем забывать, Печенга все еще занята немцами, они там слишком пригрелись...» — «И что же их там пригревает?» — поинтересовался Клевенский. «Вода, — коротко бросил командующий. — Там же, близ Печенги, удобный незамерзающий порт, вот они и держатся за него всеми фибрами. Ну, — глянул на Клевенского, — теперь догадываетесь, какие задачи предстоит

решать дивизиону сторожевых кораблей, командовать которым доверено вам, товарищ капитан первого ранга?» — «Теперь догадываюсь, товарищ адмирал», — в тон командующему ответил Клевенский. «Добро, — кивнул Головки. И напомнил: — Оперативный отдел штаба флота разработал план основной операции. Ознакомьтесь с ним, внесите свои коррективы и действуйте по скоординированному варианту. Все остальное зависит от вас. Держите меня в курсе, — сухо и твердо сказал, не повышая голоса. — Желаю успеха!»

И началась подготовка. Никаких официальных кодов предстоящая операция не имела, но в штабе Северного флота кто-то в шутку ли всерьез предложил обозначить ее условно «Вихрь». Так и пошло в обиходном порядке, такая вот подоплека явно просматривалась: вихрь — это неуправляемый, ураганный напор, сметающий все на своем пути. Однако не будем перегружать текст излишними подробностями, скажем коротко: десантная операция «Вихрь», проведенная дивизионом сторожевых кораблей под командованием капитана первого ранга Клевенского, была хорошо подготовлена и блестяще выполнена. Вихревая атака стремительно высаженного на побережье Печенги морского десанта оказалась не одиночной, за ней, не давая врагу отдышки, последовала вторая волна еще более мощной атаки, а затем и третий удар почти без паузы, внезапно, будто с неба свалившихся или вынырнувших из глубин морских «черных дьяволов», довершил разгром фашистского гарнизона. «Трехзалповая» десантная операция всем своим яростным напором и ураганной силой напоминала крутые удары штормовых накатов Баренцева моря, которые смяли противника, смыли и вышвырнули вон из города, как ненужный балласт.

Как только операция завершилась, Клевенский тотчас, без малейшего промедления, связался с контр-адмиралом Головки и доложил о взятии Печенги. Командующий поблагодарил его за отлично выполненную боевую задачу, был он как всегда сух и краток, но на этот раз не сдержал своих чувств и заметно подтаявшим и потеплевшим голосом добавил: «Знаете, Михаил Сергеевич, событие это достойно самой высокой похвалы!» —

и прямо-таки угодил в точку. Назавтра п о х в а л а эта снова прозвучала, но теперь уже на другом уровне: приказом Верховного главнокомандования было отмечено «умелое и решительное руководство десантной операцией капитана первого ранга Клевенского, что способствовало разгрому крупных сил противника и освобождению города Печенга». Сообщение это продублировали, наверное, все радиостанции Советского Союза. Клевенский дважды прослушал текст приказа, при этом странное чувство испытал, — как будто и о нем говорилось, но по какому-то неведению допущен промах и теперь фамилию придется убирать; хотя, в сущности, каждое слово приказа соответствует истине — и фамилия каперанга, умело и решительно руководившего десантной операцией, и освобождение города Печенга в результате этой успешной операции... все правда!

Однако за три года войны Клевенский настолько свыкся со своим «изгойским» положением постоянного замалчивания и унижительно непонятной обойденности, что в первый момент после объявленного приказа Верховного главнокомандования, столь высоко оценившего действия морского десанта, показалось — фамилию каперанга Клевенского назвали случайно. Ну что подделаешь, если он приучен к тому, что из наградных списков (а к награждениям представляли Клевенского не раз) фамилия его на каком-то этапе неизменно, почти с маниакальной последовательностью выпадала, изымалась — как будто ее там и не было! Судите сами, за три года войны — ни одной награды... ни единой! И вдруг (нет, не вдруг, а после взятия Печенги) — приказ Верховного главнокомандования, в котором отмечались умелые и решительные действия капитана первого ранга Клевенского. Момент знаковый, а если точнее — будто некая указующая от-машка: мол, надо, товарищи, пора открыть шлюзы! Клевенский почувствовал это сразу, а вскоре и осознал: год 1944-й поистине стал для него поворотным!

Вслед за приказом Верховного главнокомандования появились наградные списки, и Клевенскому (как комдиву) предстояла самая, быть может, приятная часть наградной процедуры, ритуальной, можно сказать, — вручение орденов и медалей



матросам, старшинам и офицерам дивизиона. Сам же Клевенский не удивится тому, если в наградных списках фамилии его, как уже было не раз, не окажется — да он и готов был к такому обороту! Но, к вящему удивлению, на этот раз (впервые за три года войны) фамилия каперанга не «затерялась» в нетях, не была кем-то изъята, вычеркнута исподтишка, а четко значилась в наградных списках — капитан первого ранга Михаил Сергеевич Клевенский был удостоен ордена Красного Знамени. Разумеется, не о пресловутых шлюзах шла речь — имелась в виду сама обстановка, столь круто изменившая ход событий. Вскоре после взятия Печенги, где-то в середине октября, Клевенского назначили командиром вновь созданной военно-морской базы. «Вы освободили Печенгу, вам и укреплять, охранять ее от врагов», — напутствовал каперанга командующий флотом Арсений Григорьевич Головкин. Надо сказать, каперанг Клевенский и здесь проявил себя в полной мере, совмещая командование Печенгской ВМБ с высадкой десантов на побережья заливов Суоло-Вуоно и Арес-Вуоно, стратегическая важность которых на северном театре была неоспоримой. Речь тут шла не только о чьей-то личной заслуге, хотя и об этом грешно умолчать, поэтому, забегаая вперед, скажем: в оставшиеся пару месяцев 1944 года фамилия каперанга еще дважды оказывалась в наградных списках: Клевенский был удостоен второго ордена Красного Знамени, а затем и ордена Отечественной войны, который (по счастливой случайности) вручал ему нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов, находившийся в те дни как раз на Северном флоте и посетивший Печенгскую ВМБ.

Визит военно-морского наркома удачно совпал с награждением моряков Печенгской базы, среди которых значился и каперанг Клевенский, удостоенный здесь, на Северном флоте, трех орденов за полгода. Об этом, как бы между прочим, сообщил наркому контр-адмирал Головкин, для них Северный флот — святое дело. Кузнецов, просветлев лицом (он знал прелюдию всей этой истории, начиная с трагической Лиепайи 41-го и кончая героической Печенгой 44-го), повернулся к стоявшему перед ним каперангу Клевенскому, которому только что вручил орден Отечест-

венной войны, и сказал тихо, но четко: «Так держать, командир!» И, секунду помешкав, добавил мягче, как-то даже по-свойски: «Поздравляю, Михаил Сергеевич, ваш опыт флоту необходим». Случилось это вскоре после того, как, не заметив и сам, капитан первого ранга Клевенский перешагнул свое сорокалетие – дата не юбилейная, а все же круглая. Но не до юбилеев было тогда! Готовились новые высадки тактических десантов по зачистке и полному освобождению прибрежных районов близ Печенги, руководил этими операциями – не по приказу, а по долгу службы – командир все той же Печенгской ВМБ каперанг Клевенский. И хотя от прежнего арийского лоска отборных и самоуверенно-грозных подразделений вермахта к концу 44-го не осталось и следа, это не значило, что противника можно взять голыми руками или без особой к тому подготовки шапками закидать; давно известно – раненый зверь особо свиреп и опасен. Потому и не надеялись на авось, готовили тщательно, наособицу каждую операцию, исключая любое шапкозакидательство и всякий лихой вздор. Немцы из последних сил, если не сказать зубами, держались за побережья удобных заливов Суоло-Вуоно и Арес-Вуоно, приходилось, что называется, вместе с зубами отрывать их от нагретых камней и вышвыривать вон в студеные северные воды...

Кончался ноябрь 1944-го, шел четвертый год войны. А что же соседи, как держались они? Клевенский знал (радиосвязь исправно работала), что на Балтике в эти же дни десантные силы вновь сформированной (после более чем трехлетнего перерыва) Лиепайской военно-морской базы решительно оттеснили фашистскую группировку, зажав ее на Курляндском полуострове, будто загнали в узкую бутылку, оставив один лишь выход, – и немцы принуждены были, сложив оружие, воспользоваться этим «выходом». После чего стоявшие временно близ Паланги, в гавани Свента, корабли воссозданной недавно ВМБ подняли якоря и спокойно перебазировались в Лиепая. Ах, Лиепая! – отдалось в сердце. Клевенский в этот же день связался с командиром Лиепайской базы контр-адмиралом Кузнецовым (однофамильцем наркома) и поздравил его с новосельем,

он так и сказал: «Ну, командир, с новосельем вас!» — под словом «новоселье» имея в виду, наверное, и вновь созданную Лиепайскую ВМБ, и недавнее назначение Кузнецова командиром базы (третьим по счету после Клевенского), и, наконец, передислокацию кораблей ВМБ из гавани Свента в Лиепая — тоже ведь н о в о с е л ь е! Кузнецов посмеялся, вроде не соглашаясь: «Да что вы, Михаил Сергеевич, какое новоселье? Тут же все нами построено и нами обжито, вот мы и вернулись на старые наши квартиры...» Они давно и хорошо были знакомы и могли позволить себе в общении некую вольность. «Так это ж смахивает на Бородино, — в тон ему угодил Клевенский. — Что ж мы, на зимние квартиры, не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры... Так или не так?» — «Да нет, батенька, все так, — вдруг построжев, сказал Кузнецов. — Только на сей раз «чужих мундиров» порвали мы изрядно! — сказал без тени бахвальства, как о чем-то само собой разумеющемся. — Теперь занимаем вполне удобную диспозицию. А как Печенга?» — спросил коротко и как бы влет. «Печенга стоит твердо», — ответил Клевенский. Они как будто скоординировали действия двух флотов, Балтийского и Северного — показалось, Лиепая и Печенга сошлись в одной точке.

Круг замкнулся! И 1944 год действительно стал переломным. Напомним одно лишь январское событие, масштабность и значимость которого, безусловно, повлияли на весь дальнейший ход Второй мировой войны: полное снятие почти трехлетней ленинградской блокады. Полное!

Однако и то грех забывать — все предпосылки для столь мощного наступления созданы были в 1943-м, ровно год назад, морозным полднем 18 января, когда два фронта, Ленинградский и Волховский (при активной поддержке Ладожской военной флотилии), прорвали блокаду и встретились на левобережье Невы. «Операция по прорыву блокады имела большое военнополитическое значение, — говорили участники тех событий. — Отпала непосредственная угроза соединения немецких и финских войск восточнее Ладожского озера. Ленинград получил сухопутную связь со страной».

Правильно! Сухопутной связи Ленинград не имел три года. Но без внимания осажденный город никогда не оставался. Никогда! Дорога жизни все это время работала безотказно, зимой и летом, в лютые холода и шторма осенние, днем и ночью, с 8 сентября 1941 года и до полного снятия ленинградской блокады в январе 1944-го.

Итак, начало сорок третьего, первый разрыв блокадного кольца. Спешно восстанавливали, а большей частью заново прокладывали железнодорожные пути. Сроки невероятно сжатые! Там, где требовались долгие месяцы, военные дорожники управлялись в неделю-другую, а то и в считанные дни; и вскоре в недавно еще осажденный Ленинград прошли первые поезда. Началось регулярное движение.

Противнику это явно пришлось не по нутру. Да и то сказать: слишком близко, буквально под носом у него, в 8-9 километрах от линии фронта, пролежала новая магистраль. Преодолеть такое расстояние для авиации — плевое дело. Так что самолеты немецкие, взлетая с ближних «подскоков», мигом, как ястребы, настигали свою жертву... А задача у них одна: парализовать движение поездов по новой ветке, разрушить полотно железной дороги, сведя на нет все попытки и усилия русских удержать и защитить эту, безусловно, важнейшую магистраль...

А Ладога? О ней много тогда писали и говорили только в тонах превосходных. И в те дни, особенно незадолго до начала операции по прорыву блокады, как рассказывали потом участники тех событий, газета Ладожской военной флотилии «За Родину» в каждом своем номере публиковала письма и обращения к морякам флотилии из разных городов страны, печатала заметки, статьи и стихи известных поэтов, прозаиков, публицистов: Николая Тихонова, Ольги Берггольц, Ильи Эренбурга, Александра Прокофьева... «Близок час, когда вздохнет полной грудью Ленинград... И в тот радостный час одно только слово скажет город-победитель: “Ладога!” — писал Эренбург в коротком и жгучем памфлете. — Ленинград не забудет о тех, кто подносил ему свинец и хлеб. О тех, кто не дал вражескому кольцу сомкнуться. О доблестных моряках Ладоги».

Это были дни, когда благодаря прорыву блокады Ленинград, наконец, вздохнул полной грудью, получив сухопутную связь со всей страной.

А Ладога? Нет, Ладога не спешила закрывать водную коммуникацию, продолжая своим путем снабжать Ленинград всем необходимым, подвозить и, как сказано было, «подносить ему свинец и хлеб».

Навигацию 1943 года ладожцы открыли очень рано, еще в апреле, вскоре после того, как хозяин Ледовой дороги (он же командир Осиновецкой военно-морской базы) капитан первого ранга Нефедов приказом своим полностью отменил все автопроезды и перевозку любых грузов по изрядно подтаявшей и местами угрожающе осевшей трассе. Иными словами, Ледовая дорога, отработав свои пять месяцев, уступала фарватер ладожским кораблям. Но фарватер был еще весь во льдах — и вышедший из Осиновца курсом на Кобону первый конвой сразу же с ними столкнулся. Шлиссельбургская губа сплошь, по всей акватории, бугрилась торосами, открытой воды почти не просматривалось. Корабельные остряки, посмеиваясь, утешали друг друга: «Потерпите, братцы, скоро нас выведут на чистые воды...»

Потом не до шуток было! Льды не стояли на месте, как в зимнюю спячку, они ходили ходуном, то раздвигаясь в разные стороны и образуя некие полыньи, то снова сходясь и ударяясь тяжелыми лбами друг о друга, — ледяные искры летели в воздух... Салют! Иногда многотонные глыбы, сгрудившись, заходили с двух, а то и с трех сторон, зажимая корабль в такие объятия, что борта начинали трещать и машины в трюмах работали вхолостую — ни полным вперед, ни малым реверсом не было хода, корабль застревал прочно. Иногда бились часами, выдираясь из одной ловушки, потом попадали в другую, не менее жесткую; двигались медленно, что называется, в час по чайной ложке. Достаточно сказать: от Осиновца до Кобоны по чистой воде среднего ходу два часа, в этой же немислимой апрельской затирухе конвой затратил больше тридцати часов — к тому же не обошлось без потерь. Когда осталось до Кобоны всего ничего, рукой подать, транспорт «Висланди» оказался в таком зажиме, с такой

силой обрушились на него ледяные глыбы, что корпус старого судна не выдержал страшного давления и с треском стал рваться по швам, вода хлынула в машинное отделение, затопила трюмы... Спасти корабль не удалось. Он стремительно и на глазах у всех затонул. По счастливой случайности весь личный состав транспорта сумел вовремя сойти на лед и тут же был принят на борт другого судна.

Два дня спустя, полностью загрузившись и успев тем временем даже поставить где надо заплатки («залить царапины и раны», как говорили матросы), первый конвой вышел из Кобоны и взял курс на Осиновец. Обратный рейс оказался менее сложным — такого скопища льдов уже не было, торосы оставали на глазах и рушились, Шлиссельбургская же губа, словно в награду за упорство и вовсе уготовила кораблям чистый фарватер, отдельные льдины не шли в счет, они уже не были так опасны... Выйдя из Кобоны ранним утром, конвой прибыл в Осиновец поздним вечером, затратив на обратный переход вдвое меньше времени. А в Осиновце, из бухты Морье, уже готовился к выходу новый конвой. Весна набирала силы.

Добавила сил весна 1943 года и Ладожской флотилии, боевой состав которой пополнился двумя подводными лодками. Две «малютки» (М-77 и М-79) доставлены были из Ленинграда по Ириновской ветке Октябрьской железной дороги до конечной станции Ладожское Озеро — пятьдесят пять километров пути. Но какого пути! Перевозка подводных лодок на Ладогу была настоящим подвигом, рассказывали свидетели той немислимой операции. Поражало исключительно простое и в то же время весьма необычное инженерное решение. Представьте себе подводку, пусть и «малютку», установленную на платформу со специально оборудованным слипом (для спуска на воду). Габариты этого сооружения по высоте получились вдвое выше допустимого. И что делать? Выход нашли один, его и предложили: дабы необычный этот поезд прошел беспрепятственно, на всем маршруте его движения необходимо снять высоковольтные провода. Невероятно! Но другого пути не было — и пришлось-таки провода снимать... Что ж, выходит, овчинка стоит выделки! Не

забывают, шла война — и подлодки для Ладожской флотилии, безусловно, представляли мощное и незаменимое подкрепление. Ладога давно их ждала!

Однако возникла еще одна, не менее (а может, и более) сложная задача — и ее надо было срочно решать. Установленные на платформы подводные лодки М-77 и М-79 имели не только длину и высоту, но и, что немаловажно, такой вес, который создавал двойную (сверх всякой нормы!) нагрузку на каждую ось платформы. «Вести столь перегруженный состав не только опасно, а смерти подобно», — примерно в таком духе предостерег руководителей и спецов предстоящей операции опытный машинист, которому и выпало вести этот состав. Его спросили: «Но что же делать, Василий Алексеевич? Подлодки уже на платформах — и переправлять их на Ладогу в любом случае придется. Приказано». Машинист был опытный, со стажем и все понимал. «Значит, необходимо ехать, но аккуратненько, со скоростью минимальной», — сказал он спокойно. Его опять спросили: «Василий Алексеевич, а какая у паровоза минимальная скорость?» Он, помедлив, ответил: «Это от машиниста зависит, а не от паровоза».

Вот с этой минуты он и взял на себя всю ответственность, не простой машинист, а по всем ипостасям редкостный, Василий Алексеевич Еледин, и повел поезд (тоже редкостный) с той минимальной скоростью, которую счел нужной для полного антуража, как он сам говорил. Скорость была столь минимальной, что, кажется, достигла самой нижней черты — меньше уже невозможно; колеса паровика вращались еле-еле, движение поезда едва заметно... Иногда кто-нибудь из сопровождавших (а их в составе было немало) на ходу спускался и шел рядом умеренным шагом, легко обгоняя платформы с подлодками, как будто стоявшими на приколе где-нибудь в тихой воде... А скорость поезда оставалась все та же, от начала и до конечной станции: полтора километра в час! И это не прихоть машиниста Еледина, а строгий и верный расчет. Подлодки М-77 и М-79 благополучно были доставлены из Ленинграда на Ладогу за 36 часов и в тот же день спущены на воду. Специально оборудованные на плат-

формах слипы сработали безотказно — здесь промедление не допускалось! Поезд встречали командующий Ладожской флотилией контр-адмирал Чероков и чуть ли не все штабное начальство Осиновецкой военно-морской базы. Командующий лично поблагодарил машиниста за столь аккуратную и надежную доставку ценнейшего стратегического груза, на что машинист Василий Алексеевич Еледин, сдержав зевок (две ночи не спал человек), ответил просто: «Так это ж, товарищ адмирал, давно известно: тише едешь — дальше будешь».

Два дня было отпущено экипажам подводных лодок на отладку всех механизмов и «акклиматизацию», как шутили сами подводники, в пресном бассейне Ладоги. Впрочем, чуть позже они поймут: пресный бассейн Ладоги не уступает многим соленым морям, а иные из них и превосходит заметно по своим размерам. «Потому Ладога и не значится в морских логиях, что воды ее пресные, а по всем остальным статьям она и есть настоящее море!» — восхищались потом те же подводники, когда изрядно успели поплавать и понырять, погружаясь в пресные ладожские глубины, достигавшие двухсот метров с хорошим гаком. Особенно это было заметно в северо-восточной части ладожской акватории, где подлодки чувствовали себя, как рыбы в воде... Кстати сказать, для «малюток» М-77 и М-79 такое ч у в с т в о крайне важно, поскольку числились они по ведомству боевой разведки. Участники тех событий единодушны в своих утверждениях: «Подводные лодки оказали большую помощь в получении разведданных. Ведя скрытно разведку на коммуникациях противника, постоянно наблюдая за ним, высаживая на его берег разведчиков, подводники вносили огромный вклад в подготовку наступательных операций по освобождению Карелии». Но главная операция была еще впереди — и Ладожская флотилия готовилась к ней тщательно. Противник знал об этом, во всяком случае, догадывался, но где и когда ладожцы нанесут основной удар, скрывалось за семью печатями... Скорее всего, это будет на Свири.

Утратив былую активность на воде (теперь здесь, на Ладоге, безоговорочно и по праву хозяйничали ладожские корабли), не

сумев замкнуть второе кольцо и удержать блокаду на суше, немцы предприняли отчаянную попытку (полагаясь, как видно, всецело на силы небесные) наверстать упущенное массивными ударами с воздуха. Налеты фашистской авиации участились, более того, как временами казалось, превратились в непрерывный крошечный ад массивных и ожесточенных бомбежек западного побережья. Особенно доставалось в те майские дни сорок третьего года Осиновцу. Одна из самых важнейших баз Ладожской флотилии, узловая военно-морская база, связывавшая Ленинград с большой землей (официально – коммуникация 101, а проще и точнее – Дорога жизни) – 115 километров водной трассы от Новой Ладоги до Осиновца и 55 километров железнодорожного пути от станции Ладожское Озеро до Финляндского вокзала. Видимо, немцы поставили перед собой одну задачу: разбить в пух и прах, смешать с землей и водой, сжечь дотла эту базу, разрушить, прервать жизненно важную коммуникацию – и снова, теперь уже бесповоротно, замкнуть Ленинград. Ах, как им хотелось это сделать!

Может, поэтому (с каким-то дальним прицелом) они в тот памятный день, 24 мая 1943 года, и перенесли свой удар на близлежащую бухту Морье, где удобнейший рейд, новые хорошо оборудованные причалы, погреба и склады узловой базы. Бомбежки были нещадные, в несколько приемов. И в тот же день, 24 мая, Осиновец дважды попрощался со своим командиром (бывшим и оставшимся навсегда хозяином Ледовой дороги) каперангом Нефедовым. Так совпало: именно в тот день, двадцать четвертого мая сорок третьего года, командир Осиновецкой военно-морской базы капитан первого ранга Михаил Александрович Нефедов, получивший накануне приказ из штаба флота, передавал полномочия своему преемнику. Все было выяснено, утрясено, акт о сдаче дел готов и лежал на столе, оставалось его подписать – что и сделал Нефедов, секунду помедлив. И сказал, прислушиваясь к явственно доносившимся бомбовым взрывам и хлесткой долбежке береговых зениток в районе Морье: «Ну, вот такой музыкой и встречают нового командира, – глянул снизу вверх на высокого кавторанга и добавил с вялой усмешкой:

— А старого провожают...» Что ж, акт подписан, чемодан еще с вечера упакован, сегодня (да хоть сейчас!) можно и нужно отправляться в Кронштадт. Там ждет его новая должность — заместитель начальника штаба флота по тылу. Дело ему знакомое! Остальное — приложится.

И когда он уже совсем собрался попрощаться со своим премником и удалиться, в кабинет прямо-таки влетел адъютант и почти шепотом, с придыханием доложил: «Товарищ капитан первого ранга, в Морье горят склады...» — адъютант не знал еще, что Нефедов уже не командир базы, а, впрочем, это не имело значения. Кавторанг тоже изготовился к выходу, но Нефедов его остановил: «Нет-нет, вы оставайтесь, а я поеду. Мне обстановка более знакома». И вышел, не попрощавшись. Машина ждала его у входа, все та же (и не та) «эмка», совсем новая, недавно полученная. Зато шофер в ней восседал старый, как он сам говорил, «образца 41-го года». Вот с тех пор они и не расстаются, прошли вместе, что называется, все огни, ледовые трассы и сухопутно-лесные, местами разбитые в прах, исковерканные постоянными бомбежками пути-перепутья. Нефедов проворно втиснулся в кабину, но, как и всегда, не плюхнулся грузным своим корпусом на сиденье, а сел аккуратно и прямо, коротко бросив: «В Морье!» Шофер еще более коротко и привычно ответил: «Есть!» Развернул послушную «эмку» и дал газу в сторону лесной дороги, как бы мимоходом и прямо-таки по-свойски упредил: «Но там сейчас, товарищ капитан первого ранга, сущее пекло ...» — «Вот туда нам и надо! — оборвал его Нефедов. — А там, где не горит, и без нас обойдутся. Быстрее можешь?!»

Они уже подъезжали к Морье, они уже видели полыхавший склад (ветер не гасил, а раздувал пламя и волнами гнал навстречу дым), в это время совсем низко, на бредущем появился и прошел над ними «юнкерс», будто вынырнув из дымовой завесы, режущий свист сброшенной фугаски ударил в уши, машину слегка занесло на повороте, опытный шофер тотчас ее выправил, и тут же рвануло справа, чуть в стороне. «Промახнулся, негодяй!» — только и успел сказать Нефедов, боковое стекло хрястнуло, обжигаяще брызнув осколками, и Нефедов, не проронив больше

ни слова, как-то странно затих и обмяк, откинувшись на сиденье... Шофер по инерции еще гнал машину, скосив глаза на сидевшего недвижно каперанга, потом резко притормозил и остановился. И, кажется, само время в тот миг остановилось. Шофер наклонился, подавшись к Нефедову, но тот никак не реагировал. Все было кончено! Когда подошла другая машина, оказывается, спешившая вслед за ними, из нее стремительно вышел кавторанг, новый командир базы, полчаса назад заместивший Нефедова, а вскоре и медики подоспели – каперанга бережно перенесли в санитарный фургончик и срочно доставили в Осиневец. Там с ним и попрощались вторично. И было сказано о нем не однажды: «Мы потеряли такого человека, которого и через сто лет не стыдно будет помянуть». Но сколько таких потерь понесла Россия – не счесть...

А Ладога жила и работала неустанно. Конвои боевых кораблей, военных транспортов и барж с грузами денно и ночью двигались в сторону Ленинграда, обратно же шли с не менее ценным грузом, переправляя на восточный берег людей – стариков, женщин, детей, раненых бойцов и командиров... Недаром же эту водную коммуникацию называли Дорогой жизни, которую ладожские моряки за все годы войны ни разу не уступили противнику, держали твердо в своих руках этот важнейший фарватер... Обидно и странно, однако, что многие годы спустя память нас подвела – и мы почему-то Дорогу жизни стали отождествлять только с ледовой трассой и помним лишь легендарную полуторку, памятник ей поставили на Ладоге, который она заслужила, бесспорно. Но речь ведь идет о Дороге жизни, частью которой (отнюдь не большей) и являлась ледовая трасса. Между тем Дорога жизни все годы войны, извините за повтор, действовала бесперебойно – весной, летом, осенью и зимой. Вот и прикиньте: когда, в какой период могла существовать и работать ледовая трасса? Правильно: зимой, только зимой и по крепкому льду! Первую свою «навигацию» Ледовая дорога открыла 22 ноября 1941 года, а закрыла 24 апреля 1942-го, уже по теплу, когда подтаяли льды, то есть, работала (и работала героически!)

152 дня, ровно пять месяцев. Но в году, как известно, двенадцать месяцев — и что же выходит: остальные семь месяцев Дорога бездействовала?! Да нет, не совсем так, вернее, совсем не так, подсказывают очевидцы и участники тех давних событий. «День прибытия первого каравана барж с зерном для Ленинграда, 12 сентября 1941 года, советской исторической наукой считается датой начала действия Дороги жизни, — утверждают они, — а 22 ноября 1941 года — началом автомобильных перевозок по ледовой дороге».

Заметили? Первый конвой с зерном пришел 12 сентября 1941 года, лишь четыре дня спустя после взятия немцами (8 сентября) Шлиссельбурга, в тот же день и блокадное кольцо по суше вокруг Ленинграда замкнулось. Вот откуда вытекала Дорога жизни! И не надо тут копыя ломать, надо лишь помнить: Дорога жизни состояла из двух неравных частей, вернее сказать, из двух трасс, одна из которых, зимняя (30 километров длиной), шла от восточного берега, из Кобоны до деревни Кокорево, что на западном берегу, под боком Осиновца и конечной станции Ириновской ветки Октябрьской железной дороги Ладожское Озеро, другая же трасса, водная (115 километров), связывала главную базу Ладожской военной флотилии Новую Ладогу с тем же Осиновцем, одним из важнейших перевалочно-узловых пунктов, без которого невозможно представить себе Дорогу жизни, как немисливо отрывать и эти трассы одна от другой. Они — как две руки, только вопреки известной поговорке, правая знала, что делает левая, а левая всегда наготове была в нужный момент передать эстафету правой... Работу этих «двух рук» четко и постоянно координировали, хотя природа и вносила свои поправки. Справедливости ради, надо бы сказать, что основная тяжесть перевозок, безусловно, ложилась на Ладожскую флотилию, навигация которой продолжалась не семь, а все восемь месяцев — корабли весной выходили во льды и лишь ближе к зиме, иногда в декабре, когда льды становились сверхтяжелыми, пробивались на рейды Новой Ладоги и Осиновца. Но не будем стоять на своем, уподобляясь тому, кто твердит без конца: правая рука делает больше, чем левая... Обе р у к и, скажем так, были на

месте и достойно делали одно дело! Потому и Ленинград устоял, и Россия не дрогнула.

А Ладога? Ах, как хорошо, безыскусно, но как тепло и сердечно сказал о ней бывший в начале войны молодым лейтенантом, тяжело раненый в боях под Ленинградом, выживший и ставший после войны поэтом Леонид Хаустов:

*До сих пор мне это помнится,
Как пришлось нам познакомиться:
Пулей-дурую поцелованным,
Медиками загипсованным,
Лейтенантиком молоденьким
В тесном трюме парходика
Донесла меня ты досветла
На Большую землю – в госпиталь.
Эту память в сердце высечем:
Спасены тобою тысячи!
Для измученных блокадою
Ты была спасеньем, Ладога.
Под снарядами и бомбами
Ты творила дело доброе.
Потому с такою нежностью
Смотрим в даль твою безбрежную,
А в глазах слезинки радугой
От шального ветра Ладоги.*

Нет, не шальной, а ураганный ветер Ладоги, вздутый шквальным огнем дегтяревских ручных пулеметов, автоматов и лимоннок-гранат, донесло в тот горячий июньский день до реки Свирь, где на северном побережье редуты мощной вражеской группировки казались неприступными – это был крепкий замок, державший за собой всю Карелию... Отсюда в нужный момент противник готов был выйти и к восточному берегу Ладоги, чтобы встретиться там с отборными силами группы армий «Север» и замкнуть, наконец, окончательно и навсегда второе кольцо вокруг Ленинграда, забыв, наверное, о том, что не только в т о р о г о кольца нет, но и первое, сухопутное, давно прорвано и разъято... Да и ключ к карельскому «замку» ладожцы подобра-

ли надежный. Впервые, пожалуй, за весь военный период была столь тщательно подготовлена и проведена (под руководством командующего Ладожской военной флотилией контр-адмирала Виктора Сергеевича Черокова) самая крупная операция – Свирско-Петрозаводская, как официально ее называли. Десантные катера тихо и незаметно вошли из Ладоги в Свирь и, взяв курс на северо-западный берег, внезапно и стремительно форсировали реку двумя отрядами, с ходу нанесли двойной сокрушающе неотразимый удар, буквально смяв оборону и вызвав панику в рядах противника, а потом и обратив его в бегство, которое с натяжкой можно назвать спешным и неорганизованным отступлением... Эта десантная операция могла бы стать хорошим пособием для военно-морских училищ. Однако свидетельств о ней осталось немного. И все-таки есть одно весьма конкретное и убедительное свидетельство – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1944 года, который гласил: «За образцовое выполнение задания в боях с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании реки Свирь, прорыв сильно укрепленной обороны противника и проявленные при этом доблесть и мужество наградить Ладожскую военную флотилию орденом Красного Знамени». Газета ладожцев «За Родину» опубликовала указ под крупной шапкой: «Ладожская флотилия – Краснознаменная!» Отныне так и стала она называться официально: Краснознаменная Ладожская военная флотилия. Под этим Знаменем и ушла в историю, будучи вскоре расформированной в связи с отпавшей необходимостью держать на Ладоге военно-морские силы... Но задачу свою Краснознаменная Ладожская военная флотилия выполнила блестяще.

Рядом с Кузнецовым

В апреле 1945 года Балтика вновь поманила и позвала каперанга Клевенского. Как всегда, неожиданно и далеко не всегда объяснимо командир Печенгской военно-морской базы Михаил Сергеевич Клевенский переводится в Пиллау (ныне Балтийск)... начальником штаба ВМБ. Что, опять с понижением? — усмехался Клевенский. Он уже привык к этим перепадам. Однако здесь, в Пиллау, он и двух месяцев не пробыл. Странно, какие пружины сработали, совершая столь немислимый зигзаг? Только что вступил в должность (отнюдь для него не чуждую), едва встретил здесь, на Балтике, день Победы (нашей, общей, со слезами на глазах), как извещен был о новом назначении и переводе в Москву — начальником 7-го отдела Оперативного управления Главного Морского штаба. И, может быть, впервые подумалось, что в этом разе не обошлось без подсказки самого наркома, Николая Герасимовича Кузнецова, который так или иначе благоволил к нему; адмирал Пантелеев однажды прямо сказал: «За то, что сняли с вас судимость, благодарите Николая Герасимовича». Все! Сказано было — и запало в душу.

Но придавать этому особое значение не приходилось. Работа в штабе целиком захватила Клевенского. Седьмой отдел — это планирование развития флота, так он значился в штатном порядке. Сухо, казенно? И стиль какой-то суконный — планирование развития... А если вдуматься в парочку этих корявых, неловких слов? Что содержат они в себе и что за ними стоит? Война только закончилась, тяжелейшая, изнурительная, но флот нуждался не в отдыхе, а в развитии — корабли, как и люди, стареют, дряхлеют, утрачивая боевую и ходовую способность, а значит, на смену им должны приходиться новые, более совре-

менные и совершенные поколения. Адмирал флота Кузнецов не однажды, выступая на крупных штабных совещаниях, говорил о том, что создать мощный, хорошо сбалансированный флот, способный выполнять любые задачи в Мировом океане, можно только оснастив его новейшими подлодками, авианосцами и десантными кораблями. Тут, брат, не сухая казенщина, а настоящая поэзия — созидать и строить новый флот! Без планирования в таком деле и шагу нельзя шагнуть. Вот что такое 7-й отдел Оперативного управления Главного Морского штаба. Может, что-то здесь и преувеличено, приукрашено, не без того, но дело это живое, серьезное, потому и работалось Клевенскому легко, интересно. Возглавлял он отдел более двух лет, до августа 1947 года. Оставался бы, наверное, и дольше, по крайней мере, не было и намеков на какой-либо его перевод.

Но случилось невероятное! Как гром с ясного неба — Адмирал флота Кузнецов был снят с должности наркома ВМФ, а затем и разжалован... в контр-адмиралы, то есть до самой нижней ступени! Оказывается, причиной тому послужило письмо Сталину некоего офицера-изобретателя, доносившего о якобы имевших место случаях передачи Наркоматом ВМФ союзным державам чертежей нашего секретного торпедного оружия и секретных карт, как рассказывал адмирал Пантелеев. «Было назначено расследование. Я, будучи экспертом, писал акт, — вспоминал Юрий Александрович много лет спустя. — Подобная торпеда у союзников уже была, а карты представляли собой перепечатку со старых английских карт, переведенных на русский язык. Сталин приказал судить Кузнецова и трех адмиралов судом чести и Военного трибунала. Трех адмиралов заключили в тюрьму, а Н.Г. снизили в звании до контр-адмирала и послали служить на Дальний Восток заместителем по морской части к Р.Я. Малиновскому. Маршал считал его отличным моряком, очень образованным и прекрасным волевым адмиралом». Туда же, на Дальний Восток, чуть раньше был переведен и каперанг Клевенский, назначенный командиром Зея-Бурейской военно-морской базы Амурской флотилии. Нет, он никоим образом не был привязан к нашумевшему делу. Но, как говорится, лен мнут, а костра разлетается в разные стороны...

Тогда Главный Морской штаб под нажимом сложившихся обстоятельств вынужден был идти на крайние меры, чтобы хоть как-то сохранить лицо и не потерять достоинства.

Итак, снова Дальний Восток! Клевенский чуял, по опыту знал, что долго здесь не задержится; но, оказалось, приехал сюда, поближе к Тихому океану, надолго, больше того — навсегда. Два года с гаком Михаил Сергеевич командовал Зeya-Бурейской ВМБ, а в это время Николай Герасимович Кузнецов служил заместителем Главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-морским делам и, вполне возможно, не раз бывал на кораблях Краснознаменной Амурской флотилии. Но приходилось ли ему заглядывать на Зeya-Бурейскую ВМБ — неизвестно, хотя и не исключено. И скорее всего — бывал! Во всяком случае, знал, кто там командирствует. Этому есть доказательства. Но, по правде сказать, военмор Кузнецов чаще и охотнее бывал на 5-м (Тихоокеанском) флоте, нередко организовывал выходы в море, держа свой флаг на том или другом корабле, и плаванья эти были отнюдь не каботажными. «Милая Верочка! — писал он жене. — Вчера вернулся на Сахалин. Ходил морем на корабле и получил большое удовольствие. Встретился со многими флотскими людьми, и здесь я нашел исключительно теплый и дружеский прием. Чувствуется, что для многих мое новое звание роли не играет, поэтому охотнее называют меня по имени и отчеству, без звания. Мне кажется, что с флотскими людьми мне будет работать нетрудно. Очень хорошо меня встретили на корабле матросы. Ну, вот этому я рад больше всего, т. к. это я считаю плодом моей работы, невзирая на все события...»

А «все события» шли своим чередом. В конце ноября сорок девятого года командир Зeya-Бурейской ВМБ капитан первого ранга Клевенский был отозван в Хабаровск, в ставку Главнокомандующего войсками Дальнего Востока, на должность начальника оперативного отдела Морского управления, которое впрямую курировал Кузнецов. А это значило — работать отныне предстояло им вместе, можно сказать, в одной упряжке, настолько «выравнилось» их положение! По правде сказать, Клевенскому было приятно и лестно служить и работать рядом

с таким крупнейшим военмором, как Николай Герасимович Кузнецов, однако что касалось «выравнивания», тут вся душа его наполнялась протестом — настолько «выравнивание» это казалось противоестественным и жестоким. Но так или иначе (не было бы счастья, да несчастье помогло) разминуться теперь они не могли — и новое свое назначение Клевенский считал не случайным, а в чем-то даже необходимым, возможно, для какой-то глубокой внутренней скрепы, они ведь пусть и в несопоставимых мерах, на разных уровнях, но одинаково были пострадавшими. Впрочем, Клевенский и в другом отдавал себе отчет: нельзя сравнивать несравнимое! Все, что с ним произошло, давно уже позади, почти девять лет за плечами. Расправа же над единственным в стране Адмиралом флота (звание, равное маршальскому, присвоено Кузнецову в мае 1944 года), иначе Клевенский это не воспринимал, р а с п р а в а творилась сегодня, в настоящем, на глазах у всех, кому полагалось это видеть... А кому хотелось такое видеть?! Клевенский, когда впервые (после «всех событий» этих черных) увидел Кузнецова с погонами контр-адмирала на широких плечах, сердце екнуло от горчайшей обиды — и захотелось крикнуть, кого-то унять (а кого он мог унять, Сталина?): «Что ж вы делаете, — кричала его душа, — кого понизили, унизили, пытаетесь растоптать... И за что?!» Адмирала Кузнецова он глубоко уважал и ценил высоко, ставя его как флотоводца рядом с Макаровым (думается, и Степан Осипович не побрезговал бы таким соседством), а из нынешних адмиралов его и сравнить не с кем... Разве что с маршалом Жуковым, хотя иных военных историков, наверное, покоробит такое сравнение. А зря! Если брать самый первый этап войны, сравнение и вовсе окажется не в пользу Георгия Константиновича и других наших военачальников, занимавших ответственные посты.

Что и говорить, война застала всех нас врасплох и в некой праздной расслабленности — был воскресный день. Народ отдыхал, армия тоже пребывала в спокойном неведении: солдаты в увольнениях, многие командиры и политработники в заслуженных и очередных отпусках. Об этом немало сказано и написано, всем известно: фашистская Германия начала войну

без всякого объявления, вероломно напав на нашу страну. Кто ж мог знать, что именно в это воскресенье, 22 июня 1941 года, начнется война? Не знал этого и Генеральный штаб во главе с Георгием Константиновичем Жуковым, во всяком случае, к этому дню каких-либо конкретных упреждающих мер принято не было — нет, это не упрек, но факт. Однако далеко не всем известно, что среди высокопоставленных военных чинов нашелся тогда человек, который сделал этот решительный упреждающий шаг — Николай Герасимович Кузнецов. Вот его приказ № 87 от 21 июня 1941 года, подписанный в 23 часа 50 минут, то есть за 10 минут до начала 22 июня, приказ предельно краткий и твердый: «Военным советам Краснознаменного Балтийского флота, Северного флота, Черноморского флота, командующим Пинской и Дунайской флотилиями о переходе на повышенную боевую готовность. Немедленно перейти на оперативную готовность №1. Народный комиссар Военно-морского флота Союза ССР адмирал Кузнецов». Все, точка. «Согласно этой директиве наркома каждый в ВМФ от адмирала до краснофлотца знал, что ему надлежит делать», — вспоминал адмирал Капитанец. И можно себе представить, что это значило в тот момент! А значило то, что советский Военно-морской флот война не застала врасплох. Встретили моряки войну в оперативной готовности №1, то есть в самой повышенной боевой готовности. Клевенский помнит, как его, командира Лиепайской военно-морской базы, подняли в час ночи — это уже было 22 июня! — и вручили шифровку приказа, объявлявшего готовность №1. Они потом поражались чутью и оперативной расчетливости Николая Герасимовича. Такой приказ буквально за несколько часов до начала войны!

И вот еще один момент, связанный напрямую с адмиралом Кузнецовым. Война только начиналась, еще не закончился июль, а немцы уже бомбили Москву. Налеты, как правило, совершались ночью: сначала появлялись одиночные бомбовозы, затем большие группы стервятников пытались прорваться к Красной площади и сбросить бомбы на Кремль. Ах, как рвались они это сделать! Налеты были упорные, каждодневные, бомбежки тяжелые, разрушительные... Немцы тогда чувствовали себя хозяева-

ми и в небе, и на земле. И что можно было предпринять, чем ответить и как устоять перед фашистским напором? «Нам хотелось совершить ответный налет на Берлин», признавался потом Кузнецов. Этот замысел в то время — налет на Берлин! — выглядел, по меньшей мере, нереальным и сверхфантастическим. Но они всерьез подумывали и прикидывали, как это можно сделать. И нашли таки свой ход, обозначали свой «фарватер». «Однажды, развернув обзорную карту, мы вместе с В.А. Алафузовым обсуждали общее положение на фронтах, и особенно на морских театрах, — много лет спустя (уже будучи во вторичном «изгнании») вспоминал Кузнецов. — Положение было нелегким. Владимир Антонович циркулем примерил, как далеко можно посылать наши самолеты. Если стартовать с аэродрома на острове Эзель, тогда можно лететь до Кенигсберга и дальше. Это с нормальным запасом топлива по расчетам еще мирного времени. Ну а если взять предельный радиус действия, тогда и до Берлина можно достать! Правда, лететь придется над морем и, сбросив бомбы, немедленно возвращаться. Потеряют летчики в полете 20-30 минут — не дотянут до своих аэродромов. Было это в последние дни июля. И вот на очередном докладе Верховному главнокомандованию я разложил карту Балтийского моря, на которой остров Эзель и Берлин были соединены жирной линией. Бомбардировочный удар советских самолетов по Берлину имел большое политическое значение. Ведь именно в это время немцы уже трубили о разгроме нашей авиации. Ставка утвердила наше предложение. “Вы лично отвечаете за выполнение операции”, — было сказано мне на прощанье. В ночь с 4 на 5 августа пять самолетов произвели разведывательный полет на Берлин. Теперь все было ясно: полет труден, но возможен. В ночь на 7 августа самолеты поднялись в воздух. Их было 15. Берлин не был затемнен, зенитные орудия не стреляли. И только когда бомбы были сброшены, по нашим самолетам был открыт сильный огонь. Так летчики флотской авиации первыми совершили налет на Берлин. За первым налетом последовали и другие».

Трудно поверить, что такое могло быть в самом начале тяжелой войны, но факт остается фактом — это были первые шаги к великой Победе.

Весной пятидесятого Клевенский, назначенный заместителем командующего по оргвопросам, с легкой душой отбыл во Владивосток. Легкость эта объяснялась просто — командовал Тихоокеанским флотом Николай Герасимович Кузнецов. Выходит, сама судьба уготовила новый случай — служить и работать рядом с человеком, которому Клевенский обязан был многим. Командующий принял его (возможно, и не по статусу) в своем просторном кабинете с видом на залив Петра Великого и Русский остров, крепко пожал руку и, кивнув на окна, сказал: «Вот видите, океан тут у нас всегда на глазах, дремать не приходится. Скажу вам сразу: организационные вопросы сегодня на первом месте, — тут же перевел разговор в обыденно-строгое и серьезное русло. — Флот нуждается в немедленном укреплении, пополнении, а где-то и в коренной реконструкции, — говорил он. — Разве ж то дело, если флот имеет сегодня в своем флагманском составе всего лишь два легких крейсера — «Калинин» и «Каганович». Два «К», как говорят наши матросы. Для океанского флота явно недостаточно! Так что работа в этом плане предстоит большая и длительная... Вы как прибыли, налегке или семья с вами?» — спросил неожиданно. Клевенский, чуть замешкавшись (язык не повернулся обращаться к Кузнецову по званию — товарищ контр-адмирал), ответил просто, поскольку и вопрос был чисто семейный: «Никак нет, Николай Герасимович, пока один. Вот обоснуюсь, тогда и решим». — «А я вам советую шибко не временить, — сказал Кузнецов очень серьезно. И добавил, уже прощаясь: — Семья, Михаил Сергеевич, это надежный тыл». Николай Герасимович давно обеспечил себе этот прочный и верный тыл. Жена Вера Николаевна, как только появилась возможность, и дня не осталась в Москве, детей в охапку, как говорила она, и айда на самый Дальний Восток — еще в прошлом году приехала с двумя сыновьями к опальному своему Кузнецову.

Год 1950-й был обнадеживающим. Сама обстановка тому способствовала. Клевенский видел это не со стороны, а, что называется, тет-а-тет, все испытал на себе. Перевод его и прибытие во Владивосток совпали с праздничными торжествами — страна

отмечала пятую годовщину победы над фашистской Германией. Корабли в это утро, начищенные, надраенные на совесть и украшенные флагами расцветивания, выстроились по диспозиции в бухте Золотой Рог — на виду у всего города, набережные которого уже заполнены были до отказа празднично-пестрой, как бы тоже расцветенной публикой. Теплынь. Ясный безоблачный день. И синева, ослепительная синева залива Петра Великого с лихвой дополняла праздничную атмосферу.

Ровно в десять ноль-ноль командующий флотом Кузнецов на катере начал обходить парадный строй кораблей, перед каждым из них катер стопорил, командующий хорошо поставленным голосом приветствовал и поздравлял экипаж, стоявший в струночку на шканцах; ответное троекратное «Ура!» устремлялось вдогон и вмиг поглощалось пространством, а катер командующего тем временем уже приближался к флагманскому крейсеру «Каганович»... И никому в тот миг не приходило в голову, что впервые океанским флотом командует... контр-адмирал (звание явно не по статусу), никто этого не замечал, зато всех (можно в том не сомневаться — всех!) распирало чувство гордости: командует Тихоокеанским флотом с а м Кузнецов! Моряки любили его безоглядно, гордились им, считая самым крупнейшим, а может, и единственным советским адмиралом, которого с полным правом можно назвать выдающимся флотоводцем. Даже к бывшему почти восемь лет командующему 5-м (Тихоокеанским) флотом адмиралу Ивану Степановичу Юмашеву, назначенному министром ВМФ вместо разжалованного и донельзя пониженного в звании Кузнецова, не было столь пылкого и глубокого почитания. Вот уж поистине: не место красит человека! Отнюдь не место...

В этот юбилейный год чествовали и награждали тех, кто верно служил Отечеству на войне и в тылу, без которого невозможна была бы победа. И хочешь не хочешь, а наградные списки четко обозначали градацию, кто есть кто, начиная, как правило, с главной по своему статусу государственной награды — ордена Ленина. А следом за ним, как в кильватер, шли другие ордена —

Боевого и Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Красной Звезды, затем еще ниже и ниже, по ступенькам крутой, будто корабельный трап, статусной лестницы... И чем ниже статус награды — тем больше количество награжденных, что вполне оправдано. Самый же верхний наградной раздел (он же и самый малочисленный), этакий короткий список имен, по большей части хорошо известных на флоте, уважаемых и вполне достойных. Вот на этом небожительском «этаже» оказался и каперанг Клевенский. Михаил Сергеевич был награжден орденом Ленина, что явилось для него полной неожиданностью. Он мог представить себя в наградном списке где-нибудь на средних «этажах», мог и вовсе не попасть в эти списки — не от него это зависело. Да он и не ждал, не держал в мыслях никакой награды! Но случилось то, что случилось. Хотя дело не в случае. Все наградные бумаги на него готовили и оформляли в Хабаровске, в ставке Главнокомандующего войсками Дальнего Востока маршала Родиона Яковлевича Малиновского, заместителем которого был и до сих пор оставался командующий Тихоокеанским флотом Кузнецов. Потому и не вызывало сомнений — без вмешательства Николая Герасимовича тут явно не обошлось. Он был и оставался, несмотря ни на какие препоны, блюстителем высокой чести и справедливости офицерской, равно как и человеческой.

А вот Николай Герасимович в нынешнем случае никакой награды не удостоился. Никакой! Доискиваться причин смысла не было, причины давно известны — разжалованного и гонимого флотоводца кто же станет награждать?! Да и не в наградах суть, а в той жуткой калено-железной несправедливости, которой обложили человека и вот уже три года держат в черном теле, пытаясь согнуть его и сломать... Но Кузнецов оказался из некоей особой, сверхпрочной породы — не гнется и не ломается. Стоит прымо! И флотом командует. Разве этого мало?

Выходит, мало, если сам генсек и генералиссимус, что-то уразумев (три года для размышлений достаточно!), вдруг вспомнил и заговорил о нем — как раз и момент выпал удобный. В тот день Сталин принимал в своем кремлевском кабинете маршала Василевского — министр Вооруженных Сил побывал на Дальнем

Востоке, только что вернулся и не остыл еще от этой важной поездки. Сталин был не один. В кабинете за длинным заседательским столом уже находились несколько человек, приглашенных, должно быть, для пущей коллегиальности, а может, и по другой причине, — Молотов, Маленков, Берия, Хрущев, Микоян, Каганович... Политбюро чуть ли не в полном составе! «Ну, и как там, на Дальнем Востоке, чем пахнет?» — спросил Сталин, сразу обозначив направление разговора. «Порохом пахнет, Иосиф Виссарионович», — кратко ответил Василевский. «Порохом, говорите? — раздумчиво повторил Сталин и покачал головой. — А мне кажется, там уже не только порохом, а чем-то более опасным заряжено...» — «И надолго заряжено», — подал реплику Молотов. Тогда, весной пятьдесят первого, в кабинете Генсека все разговоры, как правило, начинались и заканчивались этой болезненно острой темой — слишком острой! Разраставшийся военный конфликт на Корейском полуострове напрямую касался интересов Советского Союза. А значит, интересы свои надо отстаивать! Даже если придется снова брать в руки оружие. И хотя СССР официально не являлся воюющей стороной, советские авиаторы (да и не только авиаторы) на «добровольных» началах уже принимали самое активное участие в боевых действиях. Вот так! Еще и от прошлой войны не успели отдышаться, а тут нате вам новую...

«Ожесточенные бои на Корейском полуострове, за 38-й параллелью, могут перерасти в масштабную войну. Там уже и сейчас несколько европейских стран, с позволения Совбеза ООН, сомкнулись с американцами. А наши бывшие союзники, с которыми братались мы на Эльбе, явно вознамерились склонить исход этой войны в свою пользу», — излагал свои доводы Василевский. «При этом хотят подмять под себя весь Корейский полуостров, от Севера и до Юга, — уточнил Сталин, заряжая трубку душистым табаком. — Но такой исход не в наших интересах. И тем более, не в интересах корейского народа». Произнес это раздельно и четко, закончив, наконец, табачное действие и раскурив трубку. Синий дымок заструился в воздухе, окутав лицо, скорее то было и не курение, а некий привычный и доставля-

ющий удовольствие ритуал. «А как военный министр находит общее состояние сухопутных и морских сил на Дальнем Востоке?» – повернул разговор Сталин в более конкретное русло. «Вполне удовлетворительное, товарищ Сталин, можно сказать, надежное, – доложил Василевский. – Действия сухопутных, морских и воздушных сил Дальнего Востока сейчас как никогда четко координируются. Об этом говорят и единые планы по проведению совместных оперативных учений, и боевая подготовка в войсках и на флоте. И что еще важно, как мне кажется, – после краткой паузы продолжал, – Главнокомандующий войсками Дальнего Востока маршал Малиновский и командующий Тихоокеанским флотом контр-адмирал Кузнецов поддерживают между собой теснейшую оперативную связь. Эти личные контакты и полное взаимопонимание командующих, несомненно, сказываются на боевом духе личного состава... Особенно хорошо это чувствуется на боевых кораблях. Там с приходом на океанский флот контр-адмирала Кузнецова повышенная готовность сделалась нормой повседневной службы. Плюс ко всему безусловный авторитет самого командующего...» – не удержался от персональной оценки, как бы подчеркнув свое личное отношение к Кузнецову.

Сталин сосредоточенно попыхивал трубкой, ни разу не ребив Василевского, выслушал, покивал одобрительно: «Правильно! Флот должен быть начеку. Там у них под боком война». И вдруг спросил, слегка понизив голос: «Так вы считаете, Кузнецов сейчас на своем месте?» Хотя ничего подобного Василевский не утверждал. И тут же, не дожидаясь ответа, Сталин спросил о другом, но теперь уже обращаясь ко всем, кто присутствовал в кабинете: «А вам не кажется, товарищи, что в свое время нами допущены были серьезные ошибки?» Возможно, излишне прямо спросил, поставив, что называется, вопрос ребром (попробуй сразу и столь же прямо на него ответить), потому и сидевшие за столом замешкались, не спешили с ответом, выжидательно затянув паузу. И тогда Хрущев, прерывая молчание, со всей своей простодушной отвагой заявил: «Товарищ Сталин, так ведь известно, что на ошибках учатся». Сталин медлительно

посмотрел на него, будто смерил взглядом. «Ты, Никита, хорошо пляшешь гопака», — сказал, усмехаясь из-под усов, наверное, вспомнил недавний кремлевский прием, где Никита Сергеевич, веселя передовиков сельского хозяйства, показал себя лихим плясуном. Помедлил еще, пыхнув раз-другой густо дымившей трубкой, и закруглил свою мысль: «А вот на ошибках учиться, товарищ Хрущев, не надо. Ошибки надо исправлять». Догадаться было нетрудно: Сталин уже принял решение. И вскоре стало известно об изрядной перетасовке министерских кадров ВМФ. Разжалованного три года назад Адмирала флота Кузнецова срочно отозвали с Дальнего Востока в Москву. Сталин принял его немедленно. И, кажется, первое, о чем спросил, облекая вопрос в шутку: «Скажите, товарищ Кузнецов, камни за пазухой у вас есть?» Хотя по сути своей вопрос не казался шутливым. «Такое оружие, Иосиф Виссарионович, не держу при себе», — вполне серьезно ответил Кузнецов.

Итак, весной 1951 года Кузнецов был полностью реабилитирован и снова назначен министром ВМФ. Адмирала Юмашева, замещавшего на этом посту Николая Герасимовича, пересадили в довольно мягкое кресло начальника Военно-морской академии, руководил которой до него вице-адмирал Пантелеев. А Юрию Александровичу Пантелееву приказано было отправляться во Владивосток и командовать Тихоокеанским флотом, куда он и прибыл в конце апреля. Здесь его многие знали, он был со многими хорошо знаком еще по военным годам — и с контр-адмиралами Касатоновым и Почупайло (первый возглавит штаб флота, второй — политуправление), и с капрангом Клевенским, бывшим летом 1941-го одним из его помощников в штабе Балтийского флота... Теперь Михаил Сергеевич Клевенский был назначен помощником командующего Тихоокеанским флотом по строевой части. А это значило — море забирало его целиком. И он был рад этому, жил этим! Походы, учения, стрельбы, проверки боеготовности кораблей... Лето прошумело, как единый вздох океанский. Октябрь настиг эскадру штормами в Охотском море, там в эту пору ураганы нередки, но на этот раз все обошлось — корабли во главе с флагманским крейсером

«Каганович» благополучно вернулись во Владивосток, и бухта Золотой Рог приняла их в свои объятия...

Год пятьдесят первый завершился — и не надо быть астрологом, чтобы назвать его обнадеживающим. Флот связывал все свои чаяния, прежде всего, с полным оправданием Кузнецова и его возвращением к руководству военно-морским министерством — и это произошло. Казалось, отныне и присно во веки веков только так и будет — справедливость на первом месте. Только так! Людям присуще верить в лучшее. И л у ч ш е е, как бы в награду за эту святую веру, иногда поворачивалось к ним лицом... Случайное совпадение или не случайное, но именно в канун великого праздника и дня своего рождения (8 ноября) каперанг Клевенский был пожалован в контр-адмиралы. Событие, прямо скажем, не рядовое. Тем более для офицера, прослужившего каперангом ровно двенадцать лет! И тут же, едва успел он поменять погоны, выпало срочно лететь в Москву — неотложное дело. Так что сразу после праздников контр-адмирал Михаил Сергеевич Клевенский явился в столицу — и напрямик (что называется, с корабля на бал) в Главный Морской штаб, знакомый и близкий ему, как дом родной, где прослужил он больше двух лет, возглавляя 7-й отдел Оперативного управления...

Но «балом» здесь и не пахло. Клевенский вскоре это почувствовал, а затем и понял из доверительных разговоров и вербальных встреч с людьми ему близкими и хорошо осведомленными, что появились, возникли вдруг и тянут свою линию довольно активные и влиятельные противники Кузнецова с его проектами и программой строительства и развития современного флота. Никаких официальных решений пока не было на этот счет, но известно, что новые «реформаторы» уже обращались к Сталину и убеждали его не растягивать реформы на десять лет, как предлагает Кузнецов, а проводить немедленно — и начать... с упразднения военно-морского министерства. Время не ждет! Сталин выслушал спокойно, сохраняя выдержку, ритуально попыхивал трубкой, дымя в сторону кузнецовских оппонентов, людей отнюдь не случайных, а довольно известных и узнаваемых, можно

сказать, с постоянной кремлевской пропиской... Потом спросил: «А вы знаете, сколько морей и океанов омывают берега Советского Союза? — И сам же ответил, вернее, напомнил о вполне очевидном факте: — Двенадцать морей и три океана. А вы предлагаете упразднить военно-морское министерство! Не с того начинать надо», — поставил точку. И, казалось, вопрос был решен. Но не тут-то было! Противники кузнецовской программы продолжали всячески ее умалывать, придерживаться и шпынять исподтишка, подвергать явному неприятию, остракизму, как сказали бы сегодня. Между тем программа Кузнецова предусматривала строительство атомных подводных лодок и оснащенных ракетным оружием надводных кораблей (это в начале 50-х годов!), авианосцев и современных десантных судов, одним словом — создание мощного сбалансированного флота, способного, по замыслу Адмирала, выполнять любые задачи в Мировом океане... Так что же их не устраивало в этой программе, противников Кузнецова? Похоже, кого-то сам Кузнецов и не устраивал, блестящий моряк, стратег, аналитик и образованнейший во всех других отношениях человек, между прочим, владевший в совершенстве четырьмя языками: английским, французским, испанским и немецким. В то время как иные противники его, «стратеги»-завистники и одним-то языком едва владели. Такая невеселая ситуация. И что дальше? «Все попытки военно-морского министра изменить неблагоприятную ситуацию в строительстве флота фактически оказались блокированы, — говорили участники и свидетели тех давних событий. — Это объяснялось тем, что Сталин все меньше занимался государственными делами, а у его ближнего окружения Кузнецов оставался, как и прежде, «притчей во языцех...»

И что же дальше?

Вот с этим вопросом и вернулся из Москвы Клевенский. Впрочем, флотские дела и заботы вскоре полностью захватили его — и думать теперь приходилось о другом. А в конце ноября он решил посетить Русский остров. Внезапный визит помощника командующего флотом по строевой части контр-адмирала Клевенского носил не столь инспекторский, сколь обычный

ознакомительный повод. Там, на острове (восемнадцать километров длиной и тринадцать шириной), размещались четыре спецшколы Учебного отряда Тихоокеанского флота – Школа оружия, Школа связи, Механическая и Объединенная школы... Недаром Русский остров называли кузницей морских кадров. Он и являлся таковым! Клевенский знал об этом, но одно дело знать, а другое – своими глазами увидеть и оценить, что они представляют собой, эти кузницы морских кадров. Разбросанные не без расчета по всему острову, школы существовали как бы сами по себе, на особицу, как отдельные воинские формирования, со своим командным и учебным составом, со своими программами, внутренним распорядком и даже традициями; наконец, каждая из них имела свой номерной адрес. Например, Школа оружия – это в/ч № 25162, коротко и ясно. Так что секрет оставался секретом, а «полевая почта» работала исправно. Пишите, милые подруги и друзья, не забывайте молодых курсантиков! Хотя вниманием островные школы не были обделены. Заглядывало сюда и высокое флотское начальство. Самое высшее! Бывал не раз адмирал Юмашев. А года полтора назад навещался Николай Герасимович Кузнецов, человек, безусловно, самый известный и уважаемый на всех российских флотах. Значит, Русский остров заслужил эту честь! Вот и в то утро, часу в десятом, развездной катер Клевенского, держа курс от Владивостока на зюйд-вест, стремительно пересек залив Петра Великого и с ходу подвалил к одному из причалов Русского острова, в районе Школы оружия – несколько минут ходу.

Однако внезапно не получилось. Едва Клевенский сошел с трапа и ступил на берег, как тут же был перехвачен и встречен по всей форме морского этикета командиром Учебного отряда капитаном первого ранга Шеркнисом и начальником Школы оружия полковником Айзенбергом. «Ну, товарищи, вас врасплох не застанешь! – улыбнулся Клевенский, пожимая им руки. – Что ж, не будем терять время, показывайте свое хозяйство». А показать было что! Школа оружия (как, впрочем, и все островные школы) имела хозяйство крепкое и хорошо обжитое, к тому же все здесь было компактно и удобно размещено: и двухэтажный

корпус казармы, находившийся в непосредственной близости от залива, и в какой-то сотне шагов от казармы белостенно выделялась столовая вместе с пекарней (там постоянно пахло сытным пшеничным хлебом), а чуть в стороне виднелась барачного типа санчасть и там же, неподалеку, притулившись глухой тыльной стеной к все еще зеленовшей сопке, стояла просторная баня, с высоко вздернутой над нею вытяжной трубой; зато матросский клуб (вкуче с кинозалом и библиотекой) и вовсе был рядом, располагаясь буквально в двадцати шагах от казармы, чуть ли не дверь в дверь... Рукой подать! И лишь одноэтажное многооконное здание учебного корпуса ампирно высилось несколько поодаль, на крутом взъеме каменистой сопки, откуда вид на бухту Золотой Рог открывался великолепный. Нет, осмотреть все в один день невозможно, такую задачу Клевенский и не ставил перед собой, однако, в учебный корпус решил заглянуть непременно. Хотя и был упрежден: учебный корпус готов принять курсантов, но пока пустует, занятия начнутся только после того, как новобранцы примут присягу и, подобно школярам, усядутся за парты. Сейчас же в коридорах, классах и кабинетах стояла гулкая и прохладная тишина, лишь иногда в открытые двери влетали резкие соленые сквозняки... Море дышало рядом.

Тем временем личный состав «учебки» (так по-свойски называли школу) осваивал плацы, один из которых находился неподалеку от учебного корпуса. Оттуда и доносились короткие и звучные команды старшины-инструктора: «Ножку... ножку держать!» Вдруг он увидел приблизившееся к плацу начальство и прямо-таки возопил: «Шире шаг! Равнение налево!» И сам в ногу со всеми зашагал. В тот миг, когда контр-адмирал Клевенский и сопровождавшие его каперанг Шеркнис и полковник Айзенберг появились вблизи, молодые курсантики такой шаг отчеканили — кажется, искры брызнули из-под матросских ботинок... «Ну что тут скажешь — молодцы!» — похвалил Клевенский. «Плохих не держим», — сказал каперанг Шеркнис, чуть ли не подмигнув начальнику школы. Полковник Айзенберг деликатно уточнил: «Всякие случаются. Но из плохих мы стараемся делать хороших». Клевенский одобрительно посмотрел на него:

«Вот эта стратегия верная». Полковник, указав глазами на маршировавший взвод, все с той же деликатной сдержанностью пояснил: «Будущие артиллерийские электрики. Корабельная интеллигенция! Отобраны для этого класса наиболее грамотные ребята. Сейчас у них курс молодого матроса. Вот и стараются, дабы ленточкой поскорее обзавестись...» — не без улыбки добавил. Действительно завтрашние артэлектрики ПУС (то бишь приборов управления стрельбой), облаченные в форму «три», щеголяли в бушлатах и бескозырках без ленточек, ибо ленточки с золотым тиснением букв «Тихоокеанский флот» выдадут им только после принятия присяги. Но даже и в таком «безленточном» виде взвод будущих корабельных спецов держался довольно браво, показал отменную строевую выучку и ко всему вдобавок, покидая плац, выдал на марше такую песню — дух занялся от нахлынувших чувств:

*Уходит вдаль широкая дорога,
Окутал сопки утренний туман.
И снова бухта Золотого Рога
Нас провожает в Тихий океан...*

И хотя до Тихого океана им еще плыть да плыть, зеленым матросикам в бескозырках без ленточек, но с песней они уже ладили и были с нею на «ты». Клевенского тронула встреча с ними, он вдруг, как в зеркале, увидел в этих красивых девятнадцатилетних мальчиках-мужах себя самого, вчерашнего и позавчерашнего, а в них, в этих курсантиках, уверенно и от всей души вознесших песню, легко угадал и разглядел тех, кому предстояло завтра и послезавтра не только ходить по морям и волнам, сквозь шторма, но и строить, создавать современный флот, красивый и мощный, хорошо сбалансированный и способный выполнять любые задачи и в Тихом, и в Мировом океане, как говорил об этом не раз Адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов. Это его проект — и мечта всей его жизни! И не только его жизни...

Позже Клевенский побывает во всех четырех школах Русско-го острова. И поймет, будет знать наперед, почему выпускники этих школ столь желанны и ожидаемы на всех боевых кораблях

флота и берут их туда, что называется, нарасхват. Да потому и нарасхват, что школа подготовки спецов корабельных на Русском острове подтвердила высокий свой уровень и ни разу в том не дала повода усомниться. Клевенский, бывая на кораблях, не однажды слышал от командиров: «О, ребята с острова Русского — это костяк боевых частей и служб корабельных! Из этих ребят, как правило, вырастают первоклассные спецы — опора и гордость нашего флота». Клевенский любил Русский остров. А что же тут удивительного! Русский остров — частица России. Это надо помнить и понимать.

Между тем оппоненты военно-морского министра Кузнецова продолжали, как дятлы, долбить потихоньку, тормозить и блокировать предложенную им программу развития флота, будто выжидая удобного момента, чтобы все повернуть и сделать по своим лекалам. И дождались! Момент оказался чрезвычайно удобным. Ранней весной 53-го года мир облетело известие: умер Сталин! Страна погрузилась в траур. Но события в эти дни разворачивались стремительно.

Представьте себе: 5 марта Сталин скончался, 9 марта похоронили его, поместив гроб с телом вождя в Мавзолею, а 16 марта (хорошо, что не в день похорон, а ровно неделю спустя) Министерство военно-морского флота приказало долго жить. Ах, как поспешно его упразднили! Хотя и пытались смягчить другой формулировкой, дескать, не упразднили, а слили с Министерством обороны. Однако адмиралтейский корпус, почти весь поголовно оказавшийся в стороне, крайне был удивлен поспешным и малограмотным решением, считая, что сделано это без малейшей оглядки на мнение моряков и в ущерб самому флоту. Слава богу, кое-какой порядок был соблюден. Кузнецова назначили Главнокомандующим ВМФ и первым заместителем министра обороны СССР, коим (уже вторично за последние четыре года) стал Николай Александрович Булганин. Василевского почетно понизили и оставили в первых замах; а еще одним (третьим по счету, «рабочим», как говорили, то есть, имевшим реальную власть на своем месте) первым заместителем утвердили Жукова,

кстати сказать, одного из главных инициаторов реорганизации военно-морского министерства...

И что же осталось от кузнецовской программы? А ничего не осталось! Программа впопыхах была отодвинута и тут же напрочь забыта, как будто ее и вовсе не существовало... Когда же, спустя какое-то время, добровольные ходатаи (таких было немало) попытались об этом напомнить, дескать, не пора ли, Никита Сергеевич, всерьез рассмотреть стратегически очень важную программу адмирала Кузнецова о строительстве и развитии наших военно-морских сил, Хрущев, прямо-таки взбелевившись, грубо пресек. «Что вы носитесь с этой программой, как с писаной торбой! — орал он. — Нам не нужны большие корабли! Не нужны линкоры! Нам нужен другой флот...» Ему вежливо подсказали, что программа Кузнецова как раз и предусматривает строительство другого, современного, хорошо сбалансированного флота. Хрущев пропустил это мимо ушей и, махнув рукой, сказал: «Все! Сначала надо навести порядок. Вот наведем порядок на флоте, тогда и посмотрим, какая программа больше всего нам подходит». Так начиналась хрущевская «реорганизация» советских военно-морских сил. Но это лишь первые шаги. Как говорится, то были только цветочки, а ягодки впереди. И «ягодок» этих предстояло вкусить немало...

«Поправка» старпома Ховрина

Бухта Золотой Рог и Владивосток, город океанских моряков, казалось, дремали, окутанные знойным июльским маревом, будто зыбким и ускользающим сновидением, где даже близкий и вполне реальный Русский остров виделся как во сне... Однако именно в эту сонную летнюю пору, когда жаром дышит металл, кораблям не давали излишне застаиваться – ни на рейдах, ни у стенок причальных, не говоря уже об открытых водах где-нибудь в районе Охотского моря... Там при выполнении любых тактических задач учебно-плановые тревоги становились неотъемлемой частью. И фанфарное их звучание, тревожно-ударное и обрывистое, неоднократно за время похода оглашало корабль, будоража людей и, словно ветром, сметая с палубы, выхватывая из кубриков, офицерских кают, всевозможных отсеков и... гальюнов, если в тот миг кто-либо там оказался. «Всем стоять по своим местам!» – команда знакомая, как дважды два. И не было на корабле ни одного человека, ни единого, который бы по боевому расписанию не имел своего поста.

Однако посты были разные – и здесь уставная рутина давала о себе знать... Ну, во-первых, большая и основная часть корабельного экипажа по зову трубы вихрем неслась, грохоча ботинками по железным трапам (кто вниз, а кто вверх!), и мигом занимала штатные боевые посты: боцманы на верхней палубе, комендоры в башнях у своих орудий, котельные и трюмные машинисты спускались в машинные отделения, сигнальщики поднимались на мостики, радисты и телеграфисты задраивались в тесных рубках и выполняли то, что необходимо им выполнять по штатному расписанию. Вот они-то, эти спецы из разных боевых частей (БЧ-1, БЧ-2, БЧ-3...), и составляли костяк всего экипажа, что называется, правили бал на корабле!

И все-таки, объективности ради, надо сказать: никакого бала без музыки не получится. А «музыку» на корабле создают не только боевые части, но и не в меньшей мере другие команды и службы корабельные: интендантская, медицинская, писарская, те же клубники, библиотекари, киномеханики, портные, сапожники, те же коки и хлебопеки... Попробуйте обойтись без них. Не выйдет! И ко всему вдобавок: тот же крейсер «Каганович» (как, впрочем, и все крейсера) по штатному расписанию имел на борту еще одну довольно особую, несколько даже обособленно-скрытую, полузагадочную редакционно-типографскую команду, которая аккуратненько раз в неделю, будто по щучьему велению, выпускала в свет самую настоящую двухполосную печатную газету под кратким и броским названием «Вперед!». Говорят, поначалу газету хотели назвать «Полный вперед!», но потом поняли, что этот «полный» слишком сужает и ограничивает суть названия-призыва: в самом деле, нельзя же действовать и жить лишь на полном ходу, исключая другие ходы и маневры... А вот «Вперед!» – это всеобъемлюще! И личный состав корабля буквально зачитывался газетой. Тираж ее расходился мгновенно. По крайней мере, не было на крейсере матроса и, тем более, офицера, который бы никогда не брал в руки и не читал газету «Вперед!». Это была своя, самая близкая и, наверное, самая доступная в мире газета! И еще было замечено: если зов трубы поднимал и гнал тех же комендоров и котельных машинистов, сигнальщиков и радистов на свои боевые посты, где работали они в штатном режиме, занимаясь привычным делом, то, совсем напротив, типографских наборщиков и верстальщиков, редакцию газеты «Вперед!» (в составе двух человек – редактора и ответсекретаря) сигнал тревоги нередко заставлял на своих рабочих местах и отрывал от нужных и нередко срочных дел в момент самый, можно сказать, неподходящий.

Как и в то утро, часу в одиннадцатом. Знакомый фанфарно-резкий сигнал ворвался в типографский отсек в тот момент, когда все три наборщика с верстатками в руках и в привычном порядке сидели за наборным столом: первым от входа, как всегда, старший матрос Виктор Кусков (в звании он повышен всего

лишь неделю назад), рядом с ним бесхитростный и вертлявый Антон Шмыга, а поближе к «редакционному углу» довольно вальяжно разместился Василек Зеленцов. Готовили очередной номер. Старшина типографский Миша Кужельников что-то там колдовал и наговаривал по-шамански подле своей любимой «американки», весь во власти неотразимых ее чар. Зеленцов, не отрываясь от работы, нет-нет да и поглядывал на сидевшего в «редакционном углу» старшину второй статьи Сергея Лепихина, получившего это звание тоже неделю назад; они переглядывались изредка, но перемигиваться и, паче того, разговаривать было некогда. Все внимание – работе. Зеленцов добирал верстатку. Сергей корпел над очередным газетным опусом, что-то перечеркивая крест-накрест и дописывая заново. Кужельников продолжал обихаживать «американку», мягкой ветошью протирая и без того блестящие металлические бока станины. Вот в этот момент типографский радиоприемник грохнул фанфарами – и низкий тягучий голос поспешно объявил: «Учебно-боевая тревога! Учебно-боевая тревога!»

– Ну... е-елки! – выругался Зеленцов, подхватываясь, как ужаленный, и отставляя недобранную верстатку. – Не дают работать.

Но тут не до рассуждений. Секунда – и все на ногах, другая секунда – и бескозырки на головах. Снаружи осатанело грохочет палуба. Еще секунда – и всех выносит за дверь. Последним выскакивает старшина Кужельников, плотно запирая типографский отсек. «Вперед!» – как призывает родная газета. Трое наборщиков бегут на подхват к комендорам (там их ждут, ненаглядных!), старшина Кужельников немедленно отбывает в распоряжение главного боцмана. А Лепихину и вовсе рукой подать до своего боевого поста №7. Проскочив между правобортным торпедным аппаратом и надстройкой спардека, Сергей одним махом пересекает шкафут и прямоком влетает в полубаковый (носовой) офицерский коридор, довольно широкий и хорошо освещенный: справа кают-компания, дальше по коридору каюты, но Сергею не надо туда – ему налево по коридорному «проулку», уходящему к трюмному люку. Стоп! Ориентируется

он мгновенно. Вот здесь, на крутом и узком изгибе, где-то посредине между офицерским коридором и трюмным люком, и находится боевой пост №7. А почему он седьмой, этого, наверное, и сам господь бог не ведает. Седьмой — и все, так было сказано Сергею, может быть, для наглядной конкретности. Состоял же оный пост из одной лишь металлической коробки, похожей на почтовый ящик, только чуть побольше размером, всегда плотно задраенной и под свинцовую пломбой; загадочное это устройство висело на переборке за спиной Сергея, на высоте поднятой руки, то есть запросто можно до нее дотянуться и потрогать. «А может, сорвать пломбу, вскрыть коробку и заглянуть внутрь — чем она там набита и каково ее назначение?» — усмехался Сергей про себя, впрочем, не пытаясь всерьез докопаться до сути. Один только раз, когда редактор Волков впервые привел его сюда (было это вскоре после перехода на крейсер) и указал место, где надлежит ему находиться во время учебно-боевых тревог, Сергей, вскинув глаза на висевшую перед ними коробку, спросил: «А что это такое, товарищ лейтенант? И каковы мои функции?» Лейтенант, чуть помедлив, кратенько пояснил: «Это боевой пост номер семь. А функции тут простейшие: прибежал, встал к этому химвлоку и жди отбоя тревоги. Ничего другого от тебя не потребуется». И все! Больше они к этой теме не возвращались. Да и химвлок не вызывал дотошного интереса, напоминающая о себе лишь в минуты учебных тревог.

Как и сегодня, когда по зову трубы Сергей примчался сюда и встал под химвлоком, висевшим на переборке за его спиной. Вот в этот миг и появился старпом, неизвестно откуда вывернувшись, и двинулся по коридору в сторону поста №7, стремительно приближаясь. Случилось это столь внезапно, что Сергей и растеряться не успел, мгновенно собрался и, вышагнув навстречу старпому, заученно-четко и с нужным пафосом доложил: «Товарищ капитан второго ранга, боевой пост номер семь к бою готов!» Отбарабанил, не заметив и тавтологии: боевой... к бою. Думается, и старпом этого не заметил. Однако что-то его задело, он, задержавшись всего лишь на секунду, как-то вскользь, но выразительно посмотрел на висевшую на переборке за спиной Сер-

гея опломбированную коробку, глянул на самого Сергея, кивнул неопределенно (то ли это означало «добро», смотри, мол, в оба, то ли что-то недоброе) и, ни слова не говоря, тем же твердым, стремительным шагом удалился по коридору в сторону трюмного люка. Сергей проводил его взглядом. Показалось, что старпом остался чем-то недоволен. Но чем? Впрочем, Сергей понимал: доклад его о полной готовности боевого поста номер семь к бою — это чистой воды фикция. Ничего он тут не готовит к бою, поскольку тут и готовить нечего — и в этом нет никакой его вины, он действовал строго по уставу. И если Сергей хорошо это понимал, то уж опытнейший старпом кавторанг Ховрин (завтрашний командир крейсера и послезавтрашний адмирал и командующий Черноморским флотом) и подавно все это видел насквозь. Но таких штатных и нештатных ситуаций на кораблях предостаточно. И что же теперь прикажете, менять устав корабельной службы? А почему бы и нет! — пришло в голову Сергея. И тут же вылетело из головы. Прозвучал весело и певуче радиосигнал: «Отбой учебно-боевой тревоги! Команде приготовиться к обеду!» Сергей вышел из офицерского коридора на шкафут — здесь было тесно и оживленно, как на каком-то городском перекрестке; свободные от вахты матросы сновали туда и сюда, ныряли в кубрик и тут же выныривали из люка, гремели обутками, взбегая по трапу на полубак и устремляясь к большому железному обреза, вокруг которого уже собрались и дымили всю курильщики.

Жизнь двигалась, как всегда, вперед.

А назавтра, ровно в полдень (под веселый звон корабельных склянок), заглянул в типографский отсек редактор. Наборщики только что закончили работу и, отставив верстатки в сторону, задвинули в стол кассовые ящики.

— Баста! — сказал Зеленцов и вскинул руки над головой. — Свободны, товарищи!..

Вот в этот момент и вошел лейтенант Волков.

— Ну, как тут идет служба? — поинтересовался, едва прикрыв за собою дверь.

Наборщики неспешно и вразнобой поднялись со своих мест, встречая начальство.

– Полный порядок, товарищ лейтенант! – ответил за всех Зеленцов.

Старшина Кужельников зыркнул на него осуждающе и, повернувшись к редактору, коротко доложил:

– Набор готов. Завтра с утра начнем верстку и к двенадцати ноль-ноль, точно по графику, отпечатаем весь тираж.

– Отшлепаем – и вперед! – уточнил Зеленцов. – Доставим газету «Вперед!» еще тепленькой в руки читателей.

– Добро, – кивнул редактор, сдержав улыбку. – А теперь прошу внимания. Есть интересная новость, – заинтриговал с ходу.

Наборщики придвинулись ближе, Сергей встал с ними рядом.

– И новость эта напрямую касается нас, – сказал редактор, чем еще больше обострил интерес, помедлил секунду и объявил: – Подписан приказ, который освобождает редакционно-типографскую команду от учебных тревог.

– Как освобождает? Почему? – спросили его чуть ли не хором.

Редактор был спокоен и, кажется, ему доставляло удовольствие сообщить эту действительно необычную новость. Такого на крейсере, а может, и на всем флоте, наверное, еще не случалось.

– Итак, прошу всех внимательно выслушать, чтобы потом не плутать в трех соснах, – сказал редактор упреждающе. И четко разъяснил, будто расставил вешки: – Первое, что требуется знать: по сигналу и объявлению учебно-боевой тревоги вы остаетесь на своих штатных местах, то есть здесь, в типографии. И где бы сигнал тревоги вас ни застал – в кубрике, на палубе, хоть под водой – вы мигом и всей командой летите сюда, в типографский отсек, дверь плотно запираете, иллюминатор задраиваете и занимаетесь своими газетными делами. Надеюсь, это понятно? Второе, – строго обвел всех взглядом. – Вот это зарубите себе на носу. Во время тревоги и до ее отбоя – никаких вылазок из отсека не предпринимать, никаких перебежек, хождений и блужданий по палубе. Любой, кто попытается это сделать, будет наказан со всей строгостью и на всю катушку, – угроза была не шутливой.

— Да ну-у, товарищ лейтенант, такого мы не допустим, — ото-звались дружно, в один голос. И это единство команды пуще всего обнадеживало.

— Вот и отлично! — сказал лейтенант. — И третье. Все, о чем я сейчас говорил, касается исключительно учебных, но не боевых тревог. Запомните. В случае же объявления боевой тревоги вам, как и всему личному составу крейсера, надлежит занимать посты согласно корабельному боевому расписанию.

— Ха! Товарищ лейтенант, а когда они бывают у нас, боевые тревоги? Что-то я не припомню, — съязвил Зеленцов.

— Так я и говорю: в с л у ч а е объявления боевой тревоги, — спокойно растолковал редактор. — А случаи, матрос Зеленцов, могут быть разные... Все! Продолжайте работу, — попрощался таким образом и, как всегда, неожиданно вышел, оставив команду, что называется, досматривать сны...

— Ну что, достукались, господа наборщики? — спросил с усмешкой старший матрос Кусков, когда редактор скрылся за дверью. — Теперь во время учебных тревог будете отсиживаться в своем бронированном закутке и дышать типографской краской, — говорил так, будто сам он к «господам наборщикам» не имел никакого отношения.

— Ха! — вскинулся Зеленцов. — Почему отсиживаться? Приказ гласит: во время учебных тревог мы находимся здесь, в типографии, и занимаемся своим прямым штатным делом. Слушать надо ухом, а не брюхом! — уел походя и неожиданно повернул: — А вообще-то все сделано по уму.

— Зеленцов! — резко вмешался старшина Кужельников. — Оставь свой зубоскальский тон. Приказ серьезный — и надо серьезно к нему отнестись.

— А разве я не серьезно говорю: приказ умный и своевременный...

— Тебя об этом не спрашивали. И ты должен знать: приказы не обсуждаются, а выполняются.

— Правильно! — без малейшей тени какого-то богохульства подтвердил Кусков, как бы поддержав старшину, но тут же

кинулся вдруг защищать своего неумного оппонента. — Только ведь жизнь выдает иногда такие кренделя — закачаешься.

— Какие еще кренделя? — глянул на него Кужельников. — Ты выражайся точнее, по-русски.

— Разные, Миша, кренделя, всякие, — миролюбиво и мягко ответил Кусков. — Вот мне, например, запал в душу недавний наш разговор о том, что никто не будет менять под нас, типографских наборщиков и метранпажей, устав корабельной службы...

— Это я говорю, — поспешно и твердо вставил Кужельников. — Это мои слова. И что же тут непонятного? Могу и сейчас повторить. Устав корабельный для тех, кто живет и служит на корабле, — закон. Будь они хоть трижды комендорами или коками, хлебопеками и даже метранпажами...

— Да это все понятно, как дважды два, — стоял на своем Кусков. — Никто в этом и не сомневается. Но редактор только что объявил нам приказ, который предусматривает ха-арошую поправочку. Вот в связи с этим и возникает вопрос.

— Никаких вопросов! — отрезал Кужельников. — Приказ получен — вот и выполняйте. А ты, Кусков, уметь свой пыл и не морочь головы другим.

— Есть не морочить головы, — ответил Кусков. И прибавил совсем по-домашнему: — Спасибо, Миша, за добрый совет.

— Носи на здоровье.

— Эх, ребятки, — протяжно и шумно вздохнул Зеленцов, переводя взгляд с одного на другого, — а мне бы очень хотелось знать, кому это в голову пришла такая замечательная поправочка... Может, кто-то подскажет?

— Могу подсказать, — вдруг объявил Сергей, загадочно усмехаясь. К нему разом все повернулись и узрились на него выжидающе. Он выдержал паузу, будто испытывая их терпенье, и спокойно сказал: — Старпом внес поправку.

— Кавторанг Ховрин?! Он что... докладывал тебе об этом?

— Нет, кавторанг не докладывал, это я ему доложил...

— Заливаешь! Как и о чем ты мог ему доложить?

И Сергей, понимая, что дальше умалчивать нет резона, вспомнил все по порядку, от начала и до конца: как он во вре-

мя тревоги стоял на своем посту №7, под химблоком, который для него, если правду сказать, что сундук за семью печатями, как появился в том коридоре старпом и он, Сергей Лепихин, по всей форме доложил ему о полной готовности к бою поста №7...

– Видели бы вы лицо кавторанга в тот момент, – сказал Сергей.

– А свое лицо в тот момент ты не видел? – спросил Зеленцов не без ехидства. Сергей ухмыльнулся:

– Слава богу, не видел... А вообще-то действовал я строго по уставу.

– Старпом злой был?

– Нет, злости в его лице я не заметил. Спокойно держался. А вот какое-то недовольство бросалось в глаза...

– И что он сказал?

– Ничего не сказал. Внимательно посмотрел и ушел.

– И все? А потом?

– А потом... На другой день зашел в типографию редактор и объявил нам приказ. Но это вы уже знаете.

– Выходит, это приказ старпома? – догадался, но все же спросил Антон Шмыга.

– Старпом таких приказов не отдает, – указал ему строго Кужельников. – Этим правом наделен только командир корабля. Тебе, матрос Шмыга, пора бы знать эту азбуку. И еще один момент, – добавил, чуть помедлив, – сейчас на крейсере «Каганович» держит свой флаг контр-адмирал Клевенский. А это что значит, по-вашему?

– Ха! Вопрос на засыпку салагам, – усмехнулся всезнающий Зеленцов. – Но я за них отвечу. Это значит, что в данный момент без ведома контр-адмирала Клевенского никакие решения на крейсере не принимаются. И все же, товарищ старшина, – скосил взгляд на Кужельникова, – мы забыли о человеке, без которого и разговора этого, и самого приказа не могло быть. Вы, наверное, уже догадались, кого я имею в виду? Правильно! – повернулся к Сергею. – Ведь если бы старшина второй статьи Лепихин не доложил кавторангу Ховрину о готовности к бою своего поста номер семь, так бы все и оставалось по-старому. Теперь же вон как повернулось... Виват и слава нашим героям!

— неожиданно и вполголоса возвестил. — А ты, матрос Шмыга, гордись, что живешь и служишь рядом с такими людьми, бери с них пример и во всем равняйся на них! — наказал «салаге», явно пародируя манеру старшины.

— А можно, Василь, я с тебя пример буду брать? — спросил Шмыга, прикидываясь простачком.

Однако и Зеленцов не из простачков:

— Разрешаю, товарищ Шмыга, — сказал он донельзя суровым тоном, — бери пример с меня, полагаю, тебе это крайне полезно...

Позубоскалили, как говорит старшина Кужельников, посмеялись негромко, но от души, сведя все к шутке, и тему эту закрыли в своем бронированном закутке, не вынося за пределы типографского отсека. Остался в памяти только приказ, вносивший довольно существенную поправку в привычный и давно обжитый распорядок. Хотя привыкнуть к новому правилу не составляло большого труда. Все было просто и ясно, как дважды два. Представьте себе: сигналы учебно-боевых тревог чаще всего заставляли типографов на своих рабочих местах, в типографии, но им не надо было, как прежде, бросать все дела, срываться и лететь сломя голову на подхват к боцманам или комендорам, теперь они по зову трубы плотно защелкивали дверь, задраивали иллюминатор — комар носа не подточит! — и усаживались за свой наборный стол, продолжали работать. «Нет, в самом деле, ведь не срывают же тех, кто несет в это время ту или иную вахту на корабле, все они остаются на своих боевых постах, даже коки и хлебопеки на камбузе», — вполголоса переговаривались между собой наборщики, не забывая при этом буковка за буковкой наполнять верстатки...

— А почему «даже» коки и хлебопеки? — подозрительно тихо спросил Зеленцов. — Они что, коки и хлебопеки, не такие же моряки, как, скажем, боцманы, комендоры или наши соседи торпедисты? Извините! Да они, коки и хлебопеки, такую работу проворачивают и в таких иногда тяжелейших условиях, что нам всем, вместе с комендорами и котельными машинистами, и во сне не виделось...

— А ты не загибаешь, Василь? — усомнился Шмыга.

— Насчет тяжелейших условий? Нет, Антоша, все как на духу, — мотнул головой Зеленцов. — Там работает мой земляк, Володя

Чернов, он до службы кулинарную ремеслуху окончил, а здесь его коком определили, так вот он говорил, что во время штормов камбуз превращается в сущий ад; там же у них котлы с хлебками и всяким жареным-пареным, все это надо не просто сохранить, уберечь, но и сварить, довести до кондиции... Они эти котлы, когда сильно штормит, как зеницу ока оберегают, задривают, как вон мы свой иллюминатор... Да я это все своими глазами видел, заглянул однажды ненароком — боже, что там творилось, жар, пар, крейсер наш с борта на борт кладет, волны палубу захлестывают, а на камбузе продолжают работать... Обед на носу, надо людей кормить, а это ж не пять и не десять гавриков, а почти тысяча ртов. Вот вам и «даже коки и хлебопеки»!

— Ну, хватит, перестань рвать душу, — не отрываясь от верстатки, чуть ли не взмолился Кусков, а в глазах чертенята скачут. — Меня аж слеза прошибла. Такую ты картинку нарисовал...

— Реальную. А ты какую бы хотел?

— Да нет, — замедленно произнес Кусков, поправляя литерку в строке, — насчет коков и хлебопек все ты правильно обосновал, никто с этим не спорит. А вот обиделся зря. Я ведь, когда говорил «даже коки и хлебопеки», как раз и в виду имел то, о чем ты сейчас толкуешь. Конечно, работать на камбузе не легче, а может, и поважнее, чем где-либо на корабле...

— Еще бы не поважнее! — подхватил Шмыга. — Попробуй-ка без жратвы остаться... Б-р-р!

Все засмеялись облегченно.

— Да, тебе, Антоша, было бы особенно тяжело, — еще не отойдя от смеха, сказал Зеленцов. — Ну, а ты-то почему не пошел в коки? В жратве бы сейчас купался... А чем занимаешься?

— Статью Сергея набираю. Петитом, — добавил, как будто вид шрифта был важнее самой статьи.

— Поди, опять о котельных машинистах? — спросил Кусков.

— Не-е, — мотнул головой Шмыга, — о трюмных... и немножко о боцманах.

— И зачем она тебе, эта статья... сидишь здесь, казнишься, пропах весь типографской краской, зачем?

— Не мне нужна, а нашей газете.

— А что такое наша газета? — терзали его с двух сторон. — Это же не жратва какая-нибудь...

— Конечно, не жратва, но все ее читают.

— И только? А что еще? — вконец запутали парня.

— А еще... это насчет газеты, — подал голос Сергей и встал, вышел из своего «редакционного угла», посмеиваясь: — Ну что вы пристали к Антону — зачем, почему да что такое газета? Он же вам объяснил: не жратва, но все ее читают. Правильно! А я вот, услышав это, вспомнил один примерчик. Живет в Приобске у нас хороший поэт, фронтовик, между прочим, Иван Фролов. Так вот у него есть стихотворение о газете «Правда», которое так и называется — «Правда». И есть в нем такие строчки: «Уж что без «Правды», что без хлеба, не проживешь, браток, и дня...» Ну, может, насчет «не проживешь и дня» Иван Ефимович и злоупотребил немножко гиперболой, такой грех за поэтами водится, но это же образ, да еще какой! К тому же подтекстом в самом названии «Правда» явно проходит другая, более глубокая мысль: правда настоящая, неподдельная, без всяких кавычек — вот что такое газета...

— Здорово! — восхитился Зеленцов. — Ну, что, товарищи наборщики, надеюсь, теперь вам все понятно? Газета — это хлеб, прожить без которого невозможно. Виват алтайскому поэту Ивану Фролову за такие слова! — воскликнул вполголоса и повернулся к Лепихину. — Слушай, а ты можешь переписать мне все стихотворение?

Сергей и ответить не успел — в этот миг ударили медным звоном фанфары, и высокий протяжный голос весело объявил: «Отбой учебно-боевой тревоги!»

— Отбой! — тут же бодро и весело продублировал Зеленцов и первым вскочил, отложив верстатку, отдраил и распахнул настольный иллюминатор.

Свежий воздух ворвался в типографский отсек, зашуршав бумагами на столе.

— А не пора ли нам, товарищи старшины и матросы, полубак навестить? — закинул удочку Зеленцов и выразительно посмотрел на Кужельникова... Не клюнул? Тот не спеша достал из

кармана часы (еще довоенной чеканки), щелкнул футлярчиком и, глянув на циферблат, скомандовал:

— Перекур! Пятнадцать минут.

И все-таки объективности ради надо сказать: не всегда учебно-боевые тревоги заставляли наших газетчиков за рабочим столом или, поймав где-нибудь на палубе либо в кубрике бездельно скучающими, подхватывали, уносили в типографию и усаживали за наборные кассы. Отнюдь не всегда! Бывало и так, что в момент учебной тревоги типографы корабельные оказывались свободными: текст очередного номера набран, полосы сверстаны и готовы к печати. Что им оставалось делать? Во исполнение приказа («поправка» старпома Ховрина вступила в силу) они защелкивали дверь на задвижку, иллюминатор задраивали и затихали в некоем святом ожидании... Шторма не было, крейсер слегка лишь покачивало, и вода за бортом убаюкивающе плескалась.

— Ребята, а где наши пробковые? — вдруг приходит кому-то в голову. Старшина Кужельников и глазом моргнуть не успел, как несколько пробковых матрасов, хорошо державших на воде, но не шибко ласкавших бока на железной палубе, уложены были рядышком, впритык один к другому, между наборным столом и печатной машиной «американка»... Старшине ничего другого и не осталось:

— Вырубить свет! — скомандовал он, будто выкинул белый флаг.

Вот с того раза и пошло. Как только труба позовет, кто-нибудь из наборщиков (чаще всех, конечно, Зеленцов) тут же и озаботится: «Хлопцы, а где наши пробковые?»

Ну, было, было такое и не однажды! Особенно в те часы, когда фанфары учебных тревог поднимали команду крейсера среди ночи и уносили со всех ног на боевые посты, типографы той же минутой влетали в свой типографский отсек (как, между прочим, и полагалось по новому распорядку), быстро задраивали иллюминатор и дверь, раскидывали пробковые матрасы и, вырубив свет, падали ниц вповалку, словно тугие снопы на ржаную стерню, тут же мгновенно затихая; да-да, случался такой грех, чего уж скрывать, прости господи и не суди строго...

Охотское море

Вечером, перед ужином, заглянул в типографию редактор и коротко известил: «Завтра утром выходим в море. Готовы?» Последнее было брошено походя, и старший матрос Кусков язвительно зацепился: «А что, товарищ лейтенант, если не готовы – на берегу оставите?»

Нет, на берегу никого не оставили!

Назавтра утром рано, едва горнисты сыграли зорю, флагман «Каганович» поднял якоря и спокойным крейсерским ходом двинулся в открытые воды Японского моря. Эскортом шли два эсминца – «Решительный» и «Ревучий» – и группа тральщиков и торпедных катеров. Дул слабый ветер, нагоняя и как бы утюжа и выравнивая длинные и ленивые волны, лишь кое-где бугрившиеся белыми барашками, будто мыльная пена после стирки... Видимость отличная. И «палубное радио» уже успело разнести по кораблю: эскадра держит курс на Татарский пролив! Ну что ж, Татарский пролив не худший район для любых тактических действий и маневров боевых кораблей – и ширина пролива в южной части больше трехсот километров (есть где развернуться!), и базы, порты по всему побережью материковому: Советская Гавань, Ванино, Углегорск, Лесогорск... Флагман «Каганович» бывал там нередко. Судя по всему, и на этот раз крейсер, выполнив все свои плановые задачи, круто развернется и, не заходя в Ванино или Советскую Гавань, ляжет обратным курсом – на Владивосток.

Впрочем, это всего лишь догадки матросов, которым командование (во главе с контр-адмиралом Клевенским – под его флагом шел крейсер) забыло доложить о своих оперативных планах. Вот и приходилось довольствоваться скухими сводками «палубного радио», а то и вовсе гадать на кофейной гуще...

Однако нельзя сказать, что наборщиков, сидевших с верстатками за своим оцинкованным длинным столом, шибко уж волновало и беспокоило, каким курсом и в какой район пойдет крейсер, какие задачи предстоит ему выполнять. Извините, но у типографов свои задачи – набрать и сверстать набранные материалы для очередного номера газеты «Вперед!». Вот этим они и были заняты, не отвлекаясь на посторонние разговоры, лишь изредка перебрасываясь короткими и как бы случайными репликами. И все же Зеленцов не выдержал, отложил верстатку, почти всклень, литерка к литерке, набитую шрифтом, и шумно выдохнул:

– А что, ребятки, схожу-ка я на улочку, посмотрю, какая там обстановка, о чем говорят мужички...

Поднялся из-за стола, бескозырку на голову кинул, никто его не останавливал – мало ли по какой надобе повело человека «на улочку», то бишь, на палубу, на волю, до ветру... Только вдогонку, когда он уже взялся за ручку двери, Кужельников упредил:

– Ну, ты смотри, шибко на улочке не задерживайся.

– И в переулках не заблудись, – ехидно добавил Кусков, не отрывая глаз от верстатки.

Дверь в это время распахнулась, не то Зеленцов открыл ее изнутри, не то редактор снаружи – они сошлись лицом к лицу, и Зеленцов проворно попятился, сделав два шага назад, а лейтенант, переступив комингс, вошел в отсек и шутливо сказал:

– Столкнулись на перепутье.

– Так это ж матрос Зеленцов собрался на улицу, – все с той же ехидцей пояснил Кусков. – Хотел посмотреть, что там творится, о чем говорят мужики...

– Даже так! А я только что с улицы, – улыбнулся редактор.

– Ну, и что там говорят мужики, товарищ лейтенант?

– Говорят, что скоро крейсер войдет в пролив Лаперуза.

– Как Лаперуза?! – удивились сразу все. – Разве не Татарский пролив?

– А зачем нам Татарский, – спокойно ответил редактор. – Нам же в Охотское море.

Тут пришлось почесать затылки, но все-таки Зеленцов нашелся:

– Товарищ лейтенант, а разве из Татарского пролива нельзя выйти в Охотское море?

– Почему нельзя, можно. Только шлепать придется в шесть раз дальше.

– Ого! – удивился Кусков. – Неужели в шесть раз?

– Ровно в шесть, – подтвердил лейтенант, – даже с небольшим хвостиком. Так что не пропустите переход через Лаперуза. Интересное зрелище! Слева по борту остров Сахалин, справа японский остров Хоккайдо...

– А что дальше?

– А дальше Охотское море. И учения по отработке тактических скоростей, – как бы попутно раскрыл цели сегодняшнего перехода.

– И стрельбы, наверное, будут?

– Нет, стрельбы не планировались.

– Эх, искупаться бы в Охотском море! – как всегда, перегнув палку, не к месту сказал Зеленцов. И Кусков тут же его осадил:

– Ну-у, кто про что, а вшивый про баню! Тебя другие вопросы не волнуют?

– Нет-нет, вопрос о купании вполне резонный, – заступился редактор, посмеиваясь. – А лично вам, Зеленцов, я разрешаю искупаться в Охотском море. Но знайте: водичка там сегодня плюс десять-одиннадцать градусов. Устраивает?

– Ничего себе! – изумился Зеленцов. – Десять градусов... Околеть можно. А в заливе Петра Великого такая благодать! – вздохнул мечтательно.

– А в заливе Петра Великого двадцать пять градусов, – подсказал Сергей. – Может, тебе вернуться, Василь, пока не поздно?

– Нет, останусь, – мотнул головой Зеленцов, как будто могло быть иначе. – Посмотрю на пролив Лаперуза и на остров Хоккайдо, – прямо-таки стихами заговорил, коротко и усмешливо подмигнув.

Однако ни пролива, ни острова рассмотреть им в этот день толком не удалось. Так сложилось. Редактор просветил их рядом и вскоре ушел. Наборщики поработали еще малость, до-

бирая верстатки; потом и Зеленцов улизнул-таки «на улицу», но скоро вернулся, шумно распахнув дверь отсека:

– Хлопцы, вы чего здесь сидите? Входим в пролив Лаперуза! И Хоккайда по правому борту...

А им и бежать далеко не надо, дверь типографии как раз выходит к правому борту: выскочил из отсека, отмерил два шага и коснулся рукой первой трубы правобортного торпедного аппарата... Здесь они и застряли. Глянули на полубак, но там и без них тесно, матросня окружила железный обрез – дым коромыслом! Курильщики и в такой момент не забывают о папиросах. И все сдвигаются, жмутся к правому борту, пытаюсь, наверное, разглядеть очертания скалистого побережья Хоккайдо... Увы, горизонт пока чист – вода и вода вокруг.

– Туманом, что ли, затянуло? Ничего не видно, – сказал Шмыга, глянув на Зеленцова. Тот, не поворачивая головы, тоном прожженного знатока пояснил:

– Не видно потому... что еще не дошли. Пролив только начинается...

Между тем крейсер действительно только входил в Лаперуза пролив, оторвавшись от теплых вод Японского моря, но простому глазу трудно определить, где эта грань, их разделяющая, вода и вода вокруг, от горизонта до горизонта, как будто весь мир состоит из воды! Да ведь и пролив Лаперуза – не узкое горлышко, сжатое скалистыми берегами российского Сахалина слева и японского Хоккайдо справа, как представлялось тому же матросу Шмыге, впервые сюда пришедшему. А здесь оказалось – Лаперуза пролив раскинулся вширь аж на двадцать три мили, иначе сказать, на сорок два километра с гаком. Простор неоглядный! Дуло несильно, два-три балла. Крейсер слегка покачивало, мелкая дрожь отдавалась изнутри, откуда-то снизу, скорость была приличной, наверное, близкой к «полному» – машины в трюмах работали с хорошей нагрузкой. Нос крейсера, казалось, летел над водой, орошая хлесткими брызгами воздух. А за кормой в это время, из-под мощных винтов, возникали и тут же оседали пенные буруны, оставляя позади четкую и прямую фарватерную борозду; и строго, как по линейке, след в след за

крейсером, двигались эскадренные миноносцы «Решительный» и «Резвый», заслоняя корпусами своими другие корабли...

Неожиданно появился старшина правобортной торпедной команды, подошел, приветственно взмахнув рукой:

— Салют газетчикам! — остановился рядом. — А я смотрю и думаю: кто это там окружил наш торпедный аппарат?

— И вправду, братцы-газетчики, — тут как тут оказался Зеленцов, подхватив с ходу, — а чего это мы протираем своими робами эти трубы? Пусть торпедисты сами заботятся и чистят свой аппарат, — говорил так, будто здесь и не было вовсе старшины первой статьи Гуляева, который отстраненно ухмылялся в щетиристо-рыжие усики.

— Нет-нет, — говорил Зеленцов, демонстративно обеими руками отталкиваясь от нестерпимо нагретой за день торпедной трубы, — вы, братцы, как хотите, а я на полубак. Чуете, дымком пахнет... Айда, Антоша, покурим, — обнял Шмыгу за плечи, — угощаю.

— Там сейчас не протолкнешься, — предостерег Гуляев. — Нет, вы посмотрите, что там творится... Столпотворение! Они ж, дуралии, ненароком и крен устроят на правый борт, — сказал, посмеиваясь, но с опаской в голосе.

И в тот же миг колокола громкого боя огласили корабль: «Учебно-боевая тревога! Учебно-боевая...»

Одна минута — и с верхней палубы, словно ветром, всех сдуло. Картинку эту наблюдали и с ходового мостика — там находилось главное командование не только флагманского крейсера, но и всей эскадры, шедшей в Охотское море под флагом контр-адмирала Клевенского. Адмирал стоял рядом с командиром крейсера каперангом Кондаковым, только что объявившим учебно-боевую тревогу.

— Ну, вот и навели порядок, — одобрительно кивнул Клевенский, прикладывая к глазам бинокль.

Вахтенный сигнальщик доложил: «Справа по борту Хоккайдо». Каперанг Кондаков связался с машинным отделением, коротко приказав: «Полный вперед!» Эсминцы шли с той же скоростью, что и флагман, соблюдая нужную дистанцию и строго держась фарватера. Вода, вспаханная форштевнями, разваливалась кипящими и брызжащими пластами...

Сигнал тревоги, как мы знаем, настиг типографов у правобортного торпедного аппарата, а это значит, через две-три секунды они уже были в своем типографском отсеке. Реакция четкая, не надо и на часы смотреть.

– Все на месте? – спросил старшина Кужельников. – Задраивайся!

И на это ушло не больше трех секунд. Но Зеленцов не мог скрыть своего огорчения:

– Эх, Антоша, не удалось нам с тобой покурить...

– И увидеть остров Хоккайдо тоже не удалось, – вставил шпильку старший матрос Кусков, усаживаясь за стол на свое привычное место. Шмыга явно расстроился:

– А что, разве мы его не увидим?

– Так мы ж задраились, как ты его увидишь.

– А может, скоро дадут отбой?

– Блажен, кто верует... Или так еще говорят: держи карман шире! И успокойся, – посоветовал Кусков. – Садись вон за стол, бери верстатку и вкальвай, ставь буковки в пустой паз. Да ставь безошибочно! Работа облагораживает человека, – говорил, усмехаясь. И сам вкальвал, не поднимая головы, вылавливал в кассах одну за другой нужные литерки и ставил, ставил в просвет верстатки – буква к букве, слово к слову, строка за строкой... Работа однообразная, утомительная.

Однако никто в этот раз и не заикнулся о пробковых матрасах. Делу время, потехе час! Они это знали и делали свое дело от души. Им было сказано: подготовить набор очередного номера газеты «Вперед!» к полудню – и они уложились точно. Да еще как! Только работу закончили, верстатки освободили и один за другим начали выходить из-за стола, тут и грянули фанфары, озвучив крейсер сверху донизу, от самых, можно сказать, верхних мостиков до самых нижних трюмов и глубоких пороховых погребов: «Отбой учебно-боевой тревоги! Отбой...»

– Ну, подгадали кстати! – возрадовался Зеленцов и – шапку в охапку – первым вылетел за дверь, а вслед за ним и Шмыга, извините, вышмыгнул.

– Побежали смотреть Хоккайду, – усмехнулся Кусков.

Но японский остров остался уже позади, по правому борту, и крейсер «Каганович», убавив ход, незаметно и как бы наощупь, будто через невидимый комингс, переступил из пролива Лаперуза в холодные воды Охотского моря.

— А что, братцы, здесь и вправду похолодало, — поеживались под сквозным норд-остом курильщики на полубаке.

— Да, прохватывает малость, — соглашались другие.

Третьи глубокомысленно увещевали:

— Так это вам не Желтое и не Японское море, где можно и в октябре купаться. Охотское-то море тут из них самое что ни на есть студеное.

— А когда ж ему нагреваться, если оно с октября по июнь лежит во льдах несусветных, — напомнил некто всезнающий.

— Неужто до июня во льдах?

— Как пить дать! Иногда и до середины июня держатся льды.

Море в этом районе было на удивленье спокойным. Эскадра двигалась средним ходом, держа курс на «ударные» рубежи. После обеда образовался некий промежуток — корабли продолжали идти все тем же прогулочным ходом, этак вперевалочку, не ломая фарватер; свободные от вахты моряки томились от безделья, но не роптали...

Зато типография в этот час жила деловым настроением — некогда расслабляться. Готовился к выпуску очередной номер газеты «Вперед!» И все было уже на мази.

— Ну, поехали! — скомандовал сам себе старшина Кужельников, запуская печатную машину, «американка» враз набрала обороты. Миша с ходу отшлепал три сигнальных оттиска, один из которых, еще тепленький и сырой, из рук в руки передал Сергею, другой пошел по рукам наборщиков, а третий, свернув аккуратно вдвое, он понес редактору — Кужельников всегда это делал сам, если по какой-то причине лейтенанта при сем не было в типографии.

Пробыл он у редактора недолго, минут через десять вернулся.

— Все! Правку вносим — и вперед, — весело объявил, как будто могло быть иначе.

Сергей сверил свои пометки с пометками редактора, некоторые из них дублировались, свел воедино, убрав повторы, и окончательно откорректированный экземпляр вручил Кужельникову.

Вот в этот момент и прозвучал (кажется, уже в третий раз сегодня!) сигнал учебной тревоги. Но типографов это вроде и не касалось, они как занимались сугубо газетной работой, так и продолжали, не взирая на зов трубы, оставаться в типографском отсеке и делать свое дело, отнюдь не морское, как думалось иногда. Быстро внесли правку, сверили еще раз – и айда! Тираж газеты «Вперед!» отпечатали, едва не уложившись в то время, которое длилось между объявлением и отбоем учебно-боевой тревоги, хотя и не помышляли ни о каких скоростных приемах и темпах. Работали, как всегда работают. Но старшине первой статьи Кужельникову, главному печатнику, отпустили парочку комплиментов: мол, Миша, газетные полосы печатаешь, будто блины печешь. Да еще и Зеленцов подлил масла в огонь:

– Так я ж давно говорю: газета наша – необходимый продукт на корабле... вроде хлеба.

– Ну, хватит, хватит чесать языки! Тоже мне остряки нашлись, – пресек их Кужельников, хотя и не строго, с усмешечкой. – А коли газета необходимый продукт, надо срочно доставить ее по назначению.

Последнее похоже было на приказ. Хотя наборщики и без того знали свои обязанности и без лишних напоминаний четко их выполняли; вот и теперь они быстренько разобрали стопки газет, расфасованных специально для кубриков, и сам Кужельников прихватил такую же стопку, чтобы, как принято было, из рук в руки передать старшине вестовой службы свежий номер газеты «Вперед!» для прямой доставки во все офицерские каюты. Таков корабельный этикет.

Однако в самый последний момент, когда Зеленцов, распахнув дверь, занес ногу, чтобы перешагнуть комингс и выйти на палубу, наступил его знакомый до боли, прямо-таки до коликов в животе фанфарный сигнал учебно-боевой тревоги – уже четвертый за день! Показалось, от внезапности Зеленцов на какую-

то долю секунды застыл у открытой двери, но тут же резко вскинулся и, сделав некий реверс, ввалился обратно в отсек.

— Антон, готовь пробковые... — успел вернуть и не договорил.

Четкий и властный голос, усиленный радиодинамиком, казался, заполнил собою весь типографский отсек: «Боевая тревога!» Никто в первый момент не поверил своим ушам (откуда ей взяться, боевой?), но командирски твердый и спокойный голос повторил еще дважды, не оставляя никаких сомнений: «Боевая тревога! Боевая тревога!»

— Ребята, что случилось... почему боевая? — засуетился Шмыга.

— Потому что... боевая! — остудил его старшина. — Дуй на свой пост! Потом разберешься.

И буквально за считанные секунды типография опустела. Кузьмичев, как всегда, выбежал последним, плотно закрыл дверь и, миновав правобортный торпедный аппарат, трусцой направился в сторону кормы; а Сергей чуть раньше проскочил мимо этих же торпедных труб только в сторону полубака и, пересекая шкафут, столкнулся с комендорским старшиной Войсуновским, соседом по кубрику. «Послушай, что случилось?» — просил на бегу. Войсуновский, тоже не останавливаясь, ткнул пальцем в небо: «Сейбры» пожаловали!» — и в следующий миг, единым махом одолев грохочущий железный трап, оказался уже на полубаке, спеша к своим башенным орудиям. Сергей же в то время влетел в полубаковый офицерский коридор, тут же повернул налево, пробежал еще несколько шагов коридорным проулком в сторону трюмного люка и встал на своем посту №7 спиной к висевшему на переборке хорошо запломбированному химблоку. Палуба под ногами слегка похаживала, иногда вздрагивала и резко передергивалась, наверное, от перегруза работавших в полную силу двух паротурбинных машин и двух мощных винтов, молотивших воду и двигавших крейсер в сто десять тысяч лошадиных сил! Волны хлестали в борта, били отвесно, шум снаружи доносился густой и протяжный.

Сергей напрягал слух, чтобы как-то отличить в этом шуме и выделить из него реактивный гул хваленых (и битых в свое



время советскими МИГаами) американских Ф-86 или, попросту говоря, «Сейбров». Старшина первой статьи Войсуновский бросил на ходу всего лишь два слова: «Сейбры пожаловали!» Хотя достаточно было бы и одного слова «Сейбры», чтобы понять: боевая тревога вызвана появлением в небе американских самолетов. Неймется янкам! Неужто забыли свой «черный четверг» (так они сами называли тот день, 12 апреля 1951 года), давно ли то было, чуть больше двух лет?

Однако, находясь на своем посту №7, глухо и прочно со всех сторон задраенному, Сергей пребывал в полном неведении: что там, снаружи, происходит, где «Сейбры», как они себя ведут и почему молчат корабельные пушки?

Эх, сейчас бы с мостика посмотреть! — возликовало желание. Но, увы, Сергей тут же себя охладил, посмеиваясь и жалея одновременно, что нет у него такой возможности. И ничего тут, братец, не попишешь... Всяк сверчок знай свой шесток!

Впрочем, на главном ходовом мостике и без него в этот миг было тесно. Пожалуй, только двое держались особняком, свободно выдвинувшись вперед и удобно расположившись подле командного пульта — это каперанг Кондаков, полноватый и невысокий, отчего рупор переговорной трубы находился как раз вровень с его подбородком, и стоявший справа от него довольно рослый контр-адмирал Клевенский, которому в случае необходимости что-то сказать в эту трубу пришлось бы резко наклониться. Но у него не было такой надобности, любые команды и приказания адмирал мог напрямую передавать стоявшему рядом командиру крейсера, что, разумеется, он и делал исправно, когда этого требовала ситуация. А ситуация складывалась весьма щекотливой, доведенной, можно сказать, до крайней точки. Своевременно запеленгованные, а вскоре появившиеся в зоне видимости три американских штурмовика Ф-86 несколько минут барражировали в отдалении, как будто размышляя, что дальше делать, а затем один из них круто повернул, отделившись от группы, и двинулся в сторону кораблей, маневрировал и пошел параллельно их курсу слева на довольно опасном расстоянии...

– Вот наглецы, что делают! – ругнулся изумленный наглостью «Сейбров» каперанг Кондаков, глянув на спокойно, как ему показалось, взиравшего на эту картину контр-адмирала.

– Нейтральные воды, – напомнил Клевенский. – Вот они и распоясались. Обычная провокация.

Между тем самолет, уходя вперед, ложился на левое крыло, круто разворачивался, некоторое время шел встречным курсом, затем снова разворачивался и двигался параллельно, как будто раскачивался на каких-то воздушных качелях. Маневр этот повторился уже трижды или четырежды. И столько же раз, как того хотелось многим, наглого «Сейбра» могли сбить корабельные зенитчики, державшие его на прицеле. Все к этому были готовы! Но команды открыть огонь на поражение не поступало. «Почему? – волновались зенитчики. – Они же сами лезут на рожон. Сколько можно терпеть эту наглость? Сбить его, уничтожить воздушного наглеца – и концы в воду!» Но команды не было. И на мостике нетерпение тоже возрастало. Клевенский, наверное, чувствовал это затылком, спиной, за которой, будто охраняя тыл, держались несколько офицеров: помощник командира крейсера капитан-лейтенант Коннов, два штабных оперативника, флаг-офицер, исполнявший обязанности адъютанта, начальник вахтенной службы. Коннов, слегка придвинувшись к нему, сказал что-то тихонько, лейтенант кивнул и быстро покинул мостик.

Пара вахтенных сигнальщиков (левобортный и правобортный, как их называли) все так же внимательно, каждый со своей точки, продолжали следить за маневрами «Сейбров» – что они еще могут выкинуть?

Штурмовик вызывающе низко, обойдя крейсер, промчался чуть в стороне и где-то впереди опять лег на левое крыло, чтобы сделать очередной разворот. Командир крейсера Кондаков, глядя на воздушные экзерциции «Сейбра», был сжат, как пружина.

– Михаил Сергеевич, это же предельная наглость, – сказал он, повернувшись и снизу вверх посмотрев на Клевенского. – Разрешите пугнуть?

– Не стоит, – секунду помедлил Клевенский. – Лишний шум. А за наглость, Михаил Алексеевич, как вы знаете, не судят,

наглость – черта характера. Нужны факты конкретных действий. «Сейбры» же, обратите внимание, – говорил, усмехаясь и, кажется, для большей убедительности приложив к глазам бинокль, – держатся во-она как аккуратненько, ходят прямо по краешку неба, но не срываются...

– Будем ждать, когда сорвутся?

– Будем ждать. И смотреть в оба! Спокойствие и выдержка, Михаил Алексеевич, это черта сильных. А вот когда янки сорвутся... когда, скажем, вот этот суетливый «Сейбр» опасно маневрирует и пойдет правым галсом, пересекая линию нашего курса, вот тогда, не теряя секунды, и начнем лупить его в хвост и в гриву... Надеюсь, артиллеристы крейсера не промахнутся!

– И я надеюсь, товарищ адмирал.

Однако л у п и т ь не пришлось. «Сейбры», так и не рискнув повернуть правым галсом, вдруг отпрянули и, мелькнув стреловидными крыльями, ушли в сторону, подальше от греха.

И в ту же секунду правобортный сигнальщик отрывисто весело доложил:

– Справа по борту патрульные МИГ-15! Идут курсом от Сахалина... двумя звеньями!

Так вот кто, оказывается, отпугнул «Сейбров». И, похоже, встреча с МИГами не входила в их планы, потому «Сейбры» и ретировались так спешно, уйдя курсом на главные Японские острова, там янки чувствовали и вели себя как дома.

И все же было такое ощущение – момент упущен и сделано что-то не то... Вернее, не сделано то, что в подобных случаях необходимо делать. А что нужно было сделать? Пугнуть наглцов зенитным огнем, как предлагал командир крейсера? Но контр-адмирал Клевенский (последнее слово оставалось за ним) принял другое решение.

Так или иначе, а наглые «Сейбры», не получив должного отпора, ушли безнаказанно. А может, спокойствие и холодная выдержка (о них контр-адмирал Клевенский упреждал командира) и явились тем отпором, который вмиг осадил и остудил горячих и суетливых американских Ф-86? Эти мысли враз прокрутились

и смешались в голове Кондакова. Но он ничего не сказал — оставил всю эту мешанину при себе.

Зато в кубриках после отбоя тревоги возбужденные и недовольные таким поворотом (особенно это заметно было в комендорском кубрике) матросы открыто и напрямую лепили:

— Ну что, профукали? Янки нахально крутились над нами, дразнили нас, а мы и не твякнули ни разу! — Увидели спустившегося в кубрик старшину Войсуновского и к нему: — Товарищ старшина первой статьи, а башни-то почему... как воды в рот набрали?

— Отставить пустые разговоры, — оборвал старшина. — Говорите коротко и толково: что вас интересует?

— Почему башни молчали?

— А вы что, первый день служите?

— Никак нет, второй год.

— Ну, так и знать пора: башенные крейсерские орудия по во-робьям не стреляют! Это во-первых. А во-вторых: команды открыть огонь по «Сейбрам» не было. Все, точка! Остальное — не вашего ума дело. Разойтись! Объявляется перекур, — завершил на веселой ноте.

Да и не было повода горевать или о чем-либо сожалеть. Погода стояла ровная, видимость отличная. Слабый ветер взбивал небольшие мыльные гребни и тут же мягко разглаживал, сдувая с них пену, качки почти никакой. Корабли, строго держась кильватера, вытянулись в линейку и шли обратным курсом на средних оборотах. Красота!

Инцидент же в нейтральных водах Охотского моря хотя и не пустяковый, но завершился, можно сказать, ничем: американские «Сейбры» явились внезапно. Покрутились туда-сюда с левого борта флагмана, как будто и не замечавшего их присутствия, и в конце концов ушли восвояси, как говорится, несолоно хлебавши.

Около шести вечера сигнальщики чуть ли не разом с обоих бортов мостика объявили: «Пролив Лаперуза!»

Теперь, на обратном ходу (из Охотского моря в Японское), таежные предгорья южного Сахалина проплывали справа, а слева,

у самого горизонта, будто покрытые темной гуашью, виднелись пологие неровно-скалистые северные берега одного из главных японских островов — Хоккайдо.

Крейсер, буровя мощным форштевнем воду, двигался как бы нехотя, вперевалку. Командир тотчас связался с машинным отделением и коротко приказал: «Добавить оборотов!»

Пошли веселее. И ветер тут же подхватил и потащил снизу, с полубака на мостик, клочья табачного дыма — курильщиков, как всегда в свободное время, собралось там изрядно. «А не пора ли противогазы надеть?» — посмеивался Клевенский. С полубака же вместе с папиросным дымом доносило обрывки разговоров, неосторожно оброненных фраз и отдельных слов, предназначенных не для посторонних ушей, но и не для тех, кто затыкает уши...

«Да тут, братцы, от Сахалина до Хоккайдо, через пролив Лаперуза, всего-то сорок три километра, — сказал кто-то из курильщиков густым, но ломким басом, кашлянул и добавил внушительно: — Эх, жаль, не взяли тогда Хоккайдо!» — «А что, могли взять?» — спросил кто-то с явным интересом. «Конечно, могли!» — «Почему же не взяли?» Тут последовала долгая пауза, и ломкий басок, наконец, ответил: «Сталин не разрешил». Встречно-боковой порыв налетевшего бейдевинда подхватил и смял конечное слово, но ответ и без того был понятен.

— Вот вам полнейшая информация, — повернулся Клевенский к стоявшему рядом командиру. — Курильщики наши все знают. Такого и по центральному радио не услышишь...

— Ну, все не все, а к истине они близки, — защитил своих Кондаков. — Мы ведь тогда, в августе сорок пятого, и в самом деле готовы были высадить десант хоть на Хоккайдо, хоть к черту на кулички... Такое у всех было настроение! Да и Порт-Артур с Халхин-Голом и Сахалином простить не могли...

Клевенский кивнул понимающе:

— Знаю. Хотя в то время находился далеко отсюда.

— Вы были тогда на Балтике?

— Нет, летом сорок пятого меня отозвали в Москву, назначив начальником 7-го отдела Оперативного управления Главного

Морского штаба. Так что кое-какие сведения с дальневосточных фронтов хотя и дозировано, в урезанном виде, но все же доходили и до нас, штабных оперативников, — говорил, посмеиваясь. — Но многое все же оставалось загадкой.

— Ну, для нас загадок тогда не было, — сказал Кондаков. — Задача перед нами стояла одна: полное освобождение Южного Сахалина и немедленная переброска стрелкового корпуса — а это три дивизии и полк усиления — через пролив Лаперуза, минуя северный берег Хоккайдо, напрямик на Курильские острова. 21 августа, глубокой ночью, можно сказать, уже под утро, мы, командиры десантных кораблей, получили шифрограмму Главкома Дальневосточных войск маршала Василевского, где черным по белому было сказано: «Немедленно — и ни в коем случае не позднее утра 21 августа — приступить к погрузке 87-го стрелкового корпуса с техвойсками, в предельно минимальные сроки сосредоточив его в районе порта Отомари и города Тойохара». Сейчас это порт Корсаков и город Южно-Сахалинск, — уточнил на всякий случай Кондаков.

Хотя контр-адмирал Клевенский, конечно же, хорошо знал эту подробность. Но оба они не знали тогда и знать не могли, что накануне, 20 августа 1945 года, Главком Дальневосточных войск маршал Василевский отправил шифрограмму по адресу: «Москва. Тов. Сталину. Копия: Генштаб, тов. Антонову», в которой доносил: «На острове Сахалин с утра 19. 8. 1945 г. японцы приступили к капитуляции своих войск, находящихся непосредственно перед нашим фронтом. За день капитулировало свыше трех тысяч японских солдат и офицеров пехотной дивизии, и наши войска к исходу дня продвинулись на юг до 28 километров. По нашим расчетам, остров Сахалин должен быть полностью освобожден не позднее вечера 21. 8. 1945 г. На Курильских островах до 19 августа продолжались упорные бои... В настоящее время я и командование Второго Дальневосточного фронта серьезно заняты подготовкой десантной операции на остров Хоккайдо. С Вашего разрешения морскую операцию здесь начнем немедленно после занятия южной части Сахалина. Ориентировочно 22. 8. 1945 г.»

Итак, к главной операции все было готово. Войска трех дивизий и техполка (корпус 87-й) уже были подтянуты и находились в порту Корсаков (тогда еще Отомари), ожидая погрузки; десантные корабли уже разогревали котлы, проверяя еще и еще раз надежность ходовых узлов, механизмов и буксировки громадных барж. Для координации совместных действий сухопутных и морских сил во время этой важнейшей операции в Корсаков прибыл не только командующий Тихоокеанским флотом адмирал Юмашев, но и нарком ВМФ Адмирал флота Кузнецов. Они заранее и определили боевой состав десантной эскадры, решив задействовать в предстоящей операции дивизион подводных лодок, флотскую авиацию и только лишь малые корабли: торпедные катера, сторожевики, морские охотники, тральщики и, разумеется, вспомогательные суда. Куда же без них!

Основной же состав, флагманский, скажем так, состав флота – крейсера «Каганович», «Калинин», десять эскадренных миноносцев – решено было запрятать где-нибудь в «незаезженных» бухтах, подальше от главной базы, но запрятать так, чтобы при надобности... поближе взять.

– Одним словом, к 20 августа японцы прекратили сопротивление на острове Сахалин, – сказал Кондаков.

– Которым «владели» они, как и Ляодунским полуостровом, вместе с Дальним и Порт-Артуром, ровно сорок лет, – вставил Клевенский.

– Да-да, – покивал Кондаков. – И не собирались их возвращать исконным хозяевам вплоть до капитуляции сорок пятого года. Но тут речь не о доброй воле! Если бы не события сорок пятого, они бы, хваткие самураи, не озаботились и еще сорок, а то и все сто сорок лет, чтобы вернуть награбленное, – продолжал развивать свои мысли каперанг Кондаков. – Что касается нас, моряков-тихоокеанцев, мы тогда, преисполненные решимости, считали высшей справедливостью вернуть России не только Южный Сахалин и Курильские острова, но и братьям-китайцам их Маньчжурию и Ляодунский полуостров вместе с Порт-Артуром. А если понадобится, высадить хороший десант и на острова

Хоккайдо... Говорят, там жили когда-то белокурые наши сородичи? — вопросительно-весело глянул на контр-адмирала.

— Айны? Или мохнатые курильцы, как их называли, — улыбнулся Клевенский. — Да-да, такие сведения до нас, оперативников Генштаба, доходили. Это ж за них, мохнатых курильцев, Екатерина Великая усердно молилась и хлопотала. И даже указ сочинила в защиту айнов.

— Неужто был такой указ? — удивился Кондаков.

— Говорят, был. Наверное, был, — посмеивался Клевенский. — Думаю, был.

— Значит, мы не зря рвались тогда, в августе сорок пятого, на Хоккайдо? — вроде полушутя, но с долей явного сожаления сказал Кондаков.

— Значит, не зря, — подтвердил Клевенский, поднося к глазам бинокль и с минуту разглядывая проплывающее слева каменистое побережье японского острова Хоккайдо.

Крейсер, подхлестываемый тугими накатами темно-зеленых вод Лаперуза, держал средний ход. Охотское море осталось позади. А справа...

— Справа на траверзе порт Корсаков! — опережающе доложил сигнальщик.

— А вот это уже наши берега, — сказал каперанг Кондаков и круто повернулся. — Михаил Сергеевич, а не пора ли нам к вечернему чаю?

— Как прикажет командир, я человек военный, — с вальяжной и чуточку напускной небрежностью отшутился Клевенский.

И ровно в девять вечера они спустились в кают-компанию, чтобы занять свои места во главе длинного и довольно широкого стола, за которым чин по чину восседало уже все свободное от вахты офицерство флагманского крейсера.

— Прошу вас, товарищи! — тоном доброго и хлебосольного хозяина произнес на правах старшего контр-адмирал Клевенский, приглашая к вечерней трапезе...

Тем временем и в кубриках матросы и старшины потчевались крутым горячим чаем вприкуску с рассыпчато-сдобным печеньем, но здесь все было проще и веселее, с шумными разговорами,

острыми подковырками и без всяких чопорно-ритуальных подверсток. Походная жизнь не отменяла корабельного распорядка. И в 23.00, как всегда, прозвучала команда «отбой», верхний свет разом выключился, лишь приглушенно-синеватым пятном горела под самым люком забранная решеткой лампа. Что в эту ночь снилось матросам? Холодные воды Охотского моря... Наглые американские «Сейбры»... Пролив Лаперуза и остров Хоккайдо, до которого крейсерского хода каких-нибудь полчаса. Но скорее ничего им не снилось — и матросы спали без задних ног.

Шел уже второй час ночи 17 августа 1953 года, когда крейсер «Каганович», светясь и помигивая ходовыми огнями, вернулся в залив Петра Великого и здесь, на внешнем рейде, бросил якоря. Остальные корабли удалились в бухту Золотой Рог и, выдохнув там остатки пара, встали к прохладной бетонной стене девятнадцатого причала.

Владивосток еще спал.

Утром, едва горнисты сыграли побудку, контр-адмирал Клевенский по давней командирской привычке пометил в рабочем блокноте: «17.08.53. Завершился переход группы кораблей во главе с крейсером «К-ч» из Японского моря через пролив Лаперуза в Охотское море и обратно. Все задачи по отработке тактических скоростей успешно выполнены. Что касается «Сейбров», они не значились в наших планах...» И больше ни слова о «Сейбрах».

Но цифру 17 давайте запомним. Хотя и не в ней суть.

Морские узлы

Однако в глазах старшины второй статьи Сережи Лепихина, ответсекретаря газеты «Вперед!», все это выглядело несколько иначе. И переход из Японского моря в Охотское через пролив Лаперуза, и не какие-нибудь учебно-тренировочные экзерсисы, а самый brutальный и вовсе не гостевой визит американских «Сейбров», нагло и провоцирующе шнырявших в опасной близости от крейсера... И при этом – железная выдержка контр-адмирала Клевенского, не допустившего, кажется, в столь нешуточной ситуации ни одного опрометчивого шага. Ни одного! А ведь он отвечал за маневры не только крейсера «Каганович», на котором держал свой флаг, но и вкуче за действия всех кораблей, принимавших участие в этом походе. Так думал Сергей. И прикидывал в уме, будто вымеряя своим аршином, как здорово было бы описать этот поход со всеми деталями и подробностями, начиная с пролива Лаперуза и кончая вполне реальными американскими штурмовиками...

Но, увы и ах, это всего лишь подспудная мысль, если хотите, тайное желание Сережи Лепихина. Хотя на самом деле он знал наперед – никакого описания со всеми деталями и подробностями не получится. Никакого пролива Лаперуза и Охотского моря, никаких американских «Сейбров» и, тем более, флагманского крейсера «Каганович» и в помине не будет! Не положено. А что же делать и как писать? Очень просто. Охотское море? Пишите: открытое море, а если хотите – открытые воды. Крейсер «Каганович»? Вот вам шифрочка: корабль Н. И ни слова больше! Итак: «Рано утром корабль Н. снялся с якорей и вышел из бухты Д. в открытое море...» Все просто и ясно. Ну, а если над кораблем Н. появились американские «Сейбры»? Нет-нет, «Сейбров»

и вовсе не должно быть. Но они были! Это их проблемы, а ваша задача — обойтись без них. Как? Очень просто. Пишите: «Над кораблями чистое небо». Вот и все! Можете ставить точку.

Веселенький разговор! — усмехнулся Сергей своим мыслям, настигшим его в тот момент, когда рейсовый катер приткнулся носом к стенке причала; вот с этим беспорядком в голове и сошел Сережа Лепихин по только что сброшенному трапу на берег, который, как показалось, качнулся под ногами...

Владивосток опанхнул жаром. И сразу подумалось: там, на рейде, на открытой воде, гораздо прохладнее, ветерком обдувает со всех сторон, а здесь, в городской тесноте — несусветное пекло. Сопки вокруг (на них и стоит Владивосток) млели и слегка дымились, будто пригорая на каменной жаровне... И это в конце августа! А что будет в сентябре? А в сентябре наденем бушлаты, форма четыре, — усмехнулся Сергей, двигаясь по довольно крутой мощеной диагонали в сторону Ленинской (бывшей Светланской) улицы, которую никак не минуешь. Две-три минуты — и вышел на главную портовую магистраль. А теперь куда — налево или направо? — спросил для порядка, хотя давно и все у него расписано. И путь у Сергея один: Посьетская. Но не в редакцию «Боевой вахты», куда сегодня нет надобности заходить, а чуть подальше — там, в полусотне шагов от редакции, приманчиво затаился узкий проулок, быстро свернуть в него и, отшагав еще метров полста, уткнуться в угол продолговато-кирпичного одноэтажного строения, похожего не то на барак, но точнее, на казарму военную (таких строений в достатке на Русском острове), не то на некий пороховой склад, только с вполне нормальными и даже приветливо-веселыми голубыми окнами.

Вот в этом приземистом и веселом краснокирпичном «особняке» и поселилась Рита, обретя, наконец, долгожданную и во всех отношениях полную свободу, хозяйка отдельной квартиры — как хоч, так и живу!

Теперь и Сергей чувствовал себя здесь как дома, в этой маленькой и уютной комнатке, обихоженной и прибранной умелыми и ласковыми руками Риты, деликатность которой казалась немислимой. Рита никогда, например, не спрашивала, где и на

каком корабле он служит. Никогда! Он помалкивал, а Рита не домогалась.

Но сегодня Сергей решил твердо – скажет об этом, непременно скажет! Они же близкие люди, очень близкие – как бы заранее перед кем-то оправдывался. Одно беспокоило: а вдруг Риты не окажется дома? Она же не знает, что Сергей сегодня объявится. Прошлый раз, перед уходом на корабль, он сказал ей, что в субботу будет, как штык! А в субботу ранним утром, крейсер поднял якоря и лег курсом на пролив Лаперуза, потом в Охотское море... Вернулись во Владивосток уже глубокой ночью, почти через сутки.

Так что все это время жила Рита в полном неведении, а Сергей не мог ее предупредить. Вот и переживал теперь, беспокоился. В субботу Рита ждала его и не дождалась. И сегодня не знает, придет он или не придет? Подвигнутый этими мыслями, Сергей наддал ходу, торопился, боясь не застать ее вовсе. Но Рита была дома.

Сергей вошел в коридор коммунального обиталища, привычно повернул к знакомой двери, затаив дух, и руку уже протянул, чтобы постучать (как в сказке: «Сим-сим, открой дверь!») – и дверь, словно сама по себе, отворилась, рука его повисла в воздухе. А лицо Риты в дверном проеме показалось излишне спокойным и необычно строгим, даже холодно-отстраненным. «Проходи», – сказала она сдержанно и каким-то чужим голосом, чутьчку сторонясь. И Сергей понял: обиделась. Но не стал торопить события. Сдержался и не бросился к ней как всегда, хотя внутри все клокотало от такого желания, лишь слегка привлек ее и поцеловал в подставленную щеку. Они постояли друг против друга, и Сергей первым заговорил:

– Рита, извини, обещал и не пришел... Не смог. Поверь, не от меня это зависело.

– Я знаю, – кивнула она, явно что-то недоговаривая.

Сергей внимательно посмотрел на нее: что она может знать? Потом окажется – все знала! Однако на всякий случай он уточнил:

– Задержался вот... а ты, наверное, ждала меня в субботу?

– Нет, в субботу я тебя не ждала, – отчетливо и сухо сказала Рита, как будто в тупик его завела.

Сергей насторожился, ничего не понимая:

– Как не ждала... почему?

– Да потому, Сережа, что знала: крейсер ваш ушел в море, – спокойно ответила, глядя ему в глаза.

Сергей ошарашен был до предела:

– Какой крейсер... с чего ты взяла?

– Крейсер «Каганович», – сказала она, как отрубилась, поражая своей осведомленностью. Откуда ей это известно?! – бешено и обжигающе прокрутилось в голове изрядно подрастерявшегося Сергея.

– Кто тебе доложил, кто сказал? – беспомощно он допытывался.

– Сережа, так ты сам и сказал.

– Когда я тебе говорил? Что-то не помню.

– А ты вспомни. Неужто забыл? Помнишь, когда я уезжала в отпуск к маме в Новосибирск, ты мне открытку присылал. Она у меня до сих пор хранится, – добавила, как бы упреждая о чем-то его уличающем, но Сергей не придавал этому никакого значения.

– Открытку помню, но там не было ни одного слова о крейсерах.

– Зато есть обратный адрес, и я назубок его знаю, – враз и на все находила она ответ, – в.ч. 40001.

– Ну и что? – усмехнулся Сергей, пытаясь, что называется, сухим выйти из воды. – Любая воинская часть имеет свой почтовый номер, это же адрес и больше ничего.

– Вот-вот! – тотчас поколебала его Рита еще более веским и явно бесспорным доводом. – Потому и удалось мне вычислить, что в/ч 40001 – это и есть адрес крейсера «Каганович». Так? Или не так, Сережа? – шагнула к нему, приблизилась и встала лицом к лицу.

Тому и отступить некуда, и спорить незачем – все так и есть, как она сказала! Сергей и вовсе растерялся. Но почему, почему и откуда... откуда ей досконально и все известно?! – поспешно и лихорадочно, едва ли не панически пытал он себя, доискиваясь и ничего не мог понять. Ничего! Наверное, в тот миг и охватил его страх – постыдное чувство слабости. Надо было преодолеть

его, это чувство, подавить в себе, не выпуская наружу... А что потом? Сергей вскинул голову и прямо перед собой увидел глаза Риты — она спокойно смотрела на него и улыбалась:

— Испугался, Сережа, да? — спросила тихо и мягко, скорее даже с неким повинным сочувствием. И вдруг рывком подалась к нему, прижалась тесно, коснувшись губами его щеки, и все так же ровно и мягко проговорила: — Ну, пожалуйста, прости меня, дурочку, за то, что напугала тебя... Городила тут всякую несусветную чепуху. Прости, Сережа, — голову приклонила к его плечу и, засмеявшись, спросила: — А ты, наверное, подумал, что я шпионка или какая-нибудь диверсантка? Неужто, Сережа, мог ты подумать так обо мне? Ужас!

— Ни о чем таком я не думал, некогда было думать, — буркнул он с облегчением, и вправду с души будто гиря свалилась. — Оглушила ты меня своими загадками и вычислениями, вот и полезло в голову: как докопалась ты до таких секретов, как удалось тебе все это вычислить?! Мне и сейчас непонятно.

— Ой, Сережа, да ничего я не вычисляла, и загадок моих тут нет никаких, — сказала она вполне серьезно.

— А как же адрес? Ты же все точно определила.

— Ну, это не моя заслуга... и не моя вина, — улыбнулась Рита обезоруживающе, они снова были близки и проверяли друг друга самое тайное. — Правду я говорю, Сережа. Все вышло случайно и просто. Работает в нашем ателье хорошая женщина, главная наша закройщица, Надежда Петровна, опытная и добрая, всем готова помочь. Мы ее называем «наша мама». Вот она-то и раскусила эту загадку. А было как? Помню, я только вернулась из отпуска, пришла на работу, и мы с Надеждой Петровной, улучив свободную минутку, разговорились. Она интересовалась, как я съездила, как отдохнула, как встретили меня родные... А я хотела показать ей наши семейные карточки и вместе с ними выронила на стол твою открытку... Гляжу, а Надежда Петровна так и уткнулась в нее глазами, потом повернулась ко мне и спрашивает: а откуда у тебя этот адрес? А что, говорю, что-то не так? Нет, все так, отвечает, но это адрес моего мужа. Вот тут и меня захватило. Как, говорю,

выходит, ваш муж и мой знакомый служат в одной части!? Она посмеивается: насчет частей не знаю, а вот что на одном корабле — это точно. И я к ней лисочкой подкатываюсь: корабль, говорю... а что за корабль, Надежда Петровна, если не секрет? Она мне строго так и с веселой оглядкой: милая, секретов от жен не бывает, не должно быть! А ты что, не знаешь, где находится твой суженый, или он об этом не говорил тебе? Так мы ж, Надежда Петровна, пока не женаты, оправдалась я с ходу. Она посмеялась: ну, тогда простим твоему жениху такое серьезное умолчанье. Но я скажу тебе по секрету, и пальцем тычет в открыточку, что в.ч. 40001 — это крейсер «Каганович». Усекла? Теперь знай. А я еще выведала у нее, мол, ваш муж, Надежда Петровна, наверное, офицер? Нет, говорит, мой муж старый сверхсрочник, по званию мичман. Вот так, Сережа, все и разъяснилось. Ну, теперь ты убедился, что никакая я не шпионка? — смешливо сощурилась.

— Да-а, фантастика! Нарочно не придумашь. Знаешь, Рита, — помедлив, сказал Сергей, — а ведь я хотел сегодня, как на духу, открыться тебе: где служу, на каком корабле. А ты уже и без меня все знаешь. Жаль, конечно!

— Нет, правда, хотел открыться?! — прямо-таки вспылала Рита. — Правда, Сережа?

— Конечно, правда. Готов поклясться хоть на крови.

— Ой, нет, крови не надо! — замахала руками. — Лучше дай я тебя поцелую...

И понесло их, как на качелях. Потом, когда они немного утихомирились и сидели рядышком, Сергей, вдруг что-то вспомнив, спросил:

— Послушай, Рита, а как фамилия вашей закройщицы?

— Лапердина, — ничего не подозревая, ответила Рита.

Сергей так и повалился с кушетки — шутя, разумеется, мол, держите меня, а то упаду! Рита, все еще ничего не понимая, тормошила его за плечо:

— Что, что с тобой, Сережа? Что тебя рассмешило?

Он оборвал смех, легко поднялся и сел рядом с нею, пере-спросив:

– Значит, говоришь, фамилия вашей закройщицы Лапердина? Ничего себе поворотик! Не-ет, такой поворот и во сне не приснится...

– Да что с тобой, Сережа, что тебя так удивляет? – смотрела она на него с выжидательным нетерпением.

– А то, Рита, что муж вашей закройщицы Надежды Петровны, мичман Лапердин, это главный боцман нашего крейсера, – сказал он уже без всякого смеха и более чем серьезно. – Опытнейший моряк. И, кстати, изобретатель бассейна для топориков...

– Для каких топориков? – не поняла Рита.

– Ну, это уже из другой оперы, – спохватился Сергей. – А вообще-то спроси у Надежды Петровны, она тебе выложит все и со всеми подробностями, – посоветовал с подковыркой.

Впрочем, история эта, едва развернувшись, тут же и угасла – другие, более важные события нахлынули, как морской прибой, и отодвинули, захлестнули ее полностью. И даже сами они, Сергей и Рита, будто по какому-то молчаливому сговору, никогда больше не вспоминали об этом случае – был он, а может, и не было его...

Испытательный срок

Но история, как известно, на том и держится — ей подавай только факты. Что ж, не будем и мы уклоняться от этих правил. Итак...

Шел и подходил к концу 1953 год, суровый (смерть Сталина) и напряженный, будто некий испытательный срок для всего советского народа. Страна, раскинувшаяся на одной шестой части земного шара и омываемая тремя океанами и двенадцатью морями, училась и привыкала жить без войны, без великих потерь и без Сталина. Ну, и как удастся? — спрашивали друг друга и немало тому удивлялись, что жизнь не стоит на месте, а продолжается... Да и год 53-й завершал свой круг без каких-либо особых потрясений.

А каков Никита Хрущев?! Оценивать не спешили, присматривались к нему — нет, кормчим он еще не стал, рано, однако кормило власти уже держал в руках и вроде бы изо всех сил старался навести порядок в стране. Вон как прижал самого Берия, этого «прихвостня и наймита буржуазного», обвиняя его во всех смертных грехах. Мол, такого поганца, негодяя и зверя в человеческом обличье и расстрелять мало!

Ну как этому не поверить? Верили.

И мало кому приходило тогда в голову, что Хрущев и Берия — одного поля ягоды. Их борьба за власть напоминала перетягивание каната — Никита Сергеевич на себя тянул, а Лаврентий Павлович на себя; но каждый из них решал одну и ту же задачу — быть Первым. Примитивно? Да. Но правил в той борьбе не существовало... К тому же Берия допустил явный тактический промах, выступив на одном из важнейших, прямо-таки основополагающих (по дележу портфелей) заседаний Президиума ЦК с предложением (подготовленным совместно с Маленковым), которое сразу же вызвало бурю негодований и отшатнуло от

них решающее большинство членов Президиума. «Берия и Маленков внесли предложение отменить принятое при Сталине решение о строительстве социализма в Германской Демократической Республике, — много лет спустя вспоминал об этом невероятном факте Хрущев. — Они зачитали соответствующий документ, но не дали его нам в руки, хотя у Берии имелся письменный текст. Он и зачитал его от себя и от имени Маленкова. Первым взял слово Молотов. Он решительно выступил против такого предложения и хорошо аргументировал свои возражения. Я радовался, что Молотов выступает так смело и обоснованно. Он говорил, что мы не можем пойти на это; что тут будет сдача позиций; что отказаться от построения социализма в ГДР — значит дезориентировать партийные силы... Я полностью был согласен с Молотовым и тотчас попросил слова... После меня выступил Булганин, который сидел рядом со мной. Потом выступили остальные члены Президиума. И Первухин, и Сабуров, и Каганович высказались против предложения... Тогда Берия с Маленковым отозвали свой документ. Мы даже не голосовали и не заносили в протокол результаты обсуждения. Вроде бы вопроса такого не было. Тут была уловка».

И не одна! А множество уловок — и с обеих сторон. Теперь борьба велась, что называется, не на жизнь, а насмерть — куда качнется маятник и кто кого одолеет!

Никита Сергеевич признавался: «Я не раз говорил Маленкову: “Неужели ты не видишь, куда клонится дело? Мы идем к катастрофе. Берия подобрал для нас ножи”. Маленков мне: “Ну, а что делать? Я вижу, но как поступить?” Я ему: “Надо сопротивляться хотя бы в такой форме: ты видишь, что вопросы, которые ставит Берия, часто носят антипартийную направленность. Надо не принимать их, а возражать”. — “Ты хочешь, чтобы я остался один? Но я не хочу”. — “Почему ты думаешь, что останешься один, если начнешь возражать? Ты и я — уже двое. Булганин, я уверен, мыслит так же, потому что я не один раз обменивался с ним мнениями. Другие тоже пойдут с нами...”»

И другие действительно встали на их сторону — Молотов, Булганин, Каганович, Ворошилов, Микоян, Сабуров, Первухин...

Хотя Ворошилов вскоре заколебался, но это уже ничего не меняло. «Мы видели, что Берия стал форсировать события. Он уже чувствовал себя над членами Президиума, важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство, — вспоминал Хрущев. — Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно срочно действовать... Прежде всего нужно освободить Берию от обязанностей члена Президиума ЦК, заместителя Председателя Совета Министров СССР и от поста министра внутренних дел. Но Молотов сказал, что этого недостаточно: Берия очень опасен, и надо пойти на более крайние меры».

Наверное, будь Сталин жив, он бы, ритуально попыхав трубкой, спросил: «Вяче, а ты не торопишься со своим решением?» Однако Хрущев все правильно понял, предложив Берию задержать... для следствия. И более того, привлечь к этому военных.

Позже Хрущев разъяснял: «Я говорил «задержать» потому, что у нас прямых криминальных обвинений в его адрес не было... В отношении провокационного поведения Берии все у нас было основано на интуиции, — явно проговаривался Никита Сергеевич. — А по интуитивным мотивам человека арестовать невозможно. Почему мы привлекли военных? Высказывались такие соображения, что если мы решили задержать Берию, то не вызовет ли он чекистов, охрану, которая была подчинена ему, и не прикажет ли нас самих изолировать? Мы оказались бы бессильны, потому что в Кремле находилось большое количество вооруженных и подготовленных людей Берии. Потому и решено было привлечь к делу военных.

Вначале мы поручили арест Берии Москаленко с пятью генералами. Он и те пятеро товарищей должны были иметь оружие, а их с оружием должен был провести в Кремль Булганин. В то время военные, приходя в Кремль, сдавали оружие в комендантуре. Накануне заседания к группе Москаленко присоединились маршал Жуков и еще несколько человек. В кабинет вошли человек 10 или более того. И Маленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову: «Предлагаю вам как Председатель Совета Министров СССР задержать Берию». Жуков скомандовал Берии: «Руки вверх!» Москаленко и другие обнажили оружие, считая, что

Берия может пойти на какую-то провокацию. Берия рванулся к своему портфелю, который лежал на подоконнике у него за спиной. Я схватил Берию за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если оно лежало в портфеле. Потом проверили: никакого оружия там не было, ни в портфеле, ни в карманах. Он просто сделал какое-то рефлекторное движение».

Однако рефлекторное это движение не спасло Берию. Он был арестован. А куда его девать? Вначале поместили в здание Совета Министров, рядом с кабинетом Маленкова. Комфортно, прямо-таки через стенку можно перестукиваться... И «перестукинулись» разочек – хотя стук раздался лишь с одной стороны. Берии в то время разрешили иметь авторучку и в досталь бумаги, дабы мог он писать объяснения, заявления и прочие эпистолы. А он, прежде всего, сочинил записку Маленкову: «Егор, ты же меня знаешь, мы же друзья, зачем ты поверил Хрущеву? Это он тебя подбил...» – и так далее. Но Георгий Максимилианович, как воды в рот набрал, не ответил своему «другу».

Потом комфортности поубавилось. Берию неожиданно (и под строгой секретностью) перевезли на командный пункт Московского военного округа, где и взял над ним «опекунство» командующий этим округом маршал Москаленко, поместив Лаврентия Павловича в бомбоубежище. Там – надежнее!

А что дальше? А дальше на всякий случай освободили от занимаемой должности Генерального прокурора СССР Сафонова, опасаясь, что Григорий Николаевич не сможет «объективно» провести следствие, и вместо него назначили опытного и авторитетнейшего юриста (бывшего государственного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе) Романа Андреевича Руденко – знали, кого залучить и за чью спину можно спрятаться!..

«Когда Руденко стал допрашивать Берию, перед нами раскрылся ужасный человек, зверь, который не имел ничего святого. У него не было не только коммунистического, а и вообще человеческого морального облика. А уж о его преступлениях и говорить нечего, сколько он загубил честных людей!» – читаем в «Воспоминаниях» Никиты Сергеевича Хрущева. Как было сказано когда-то, в совсем недавние времена: нет человека –

нет проблемы. Хотя и это не бесспорно. Жизнь не стоит на месте, время движется и порождает новые вопросы... Кстати сказать, вскоре после этого отнюдь не рядового события («нет человека — нет проблемы») многие из тех, кто помогал Никите Сергеевичу тянуть лямку (канат!) и вытянуть до отметки «Первый», вдруг окажутся в немилости (Молотов, Каганович, Маленков и прикннувшийся к ним Шепилов). С ними Первый обойдется неласково, но вполне лояльно, обезоружив «партийных ренегатов»... без единого выстрела: все останутся живы, здоровы и свободны... от своих портфелей. Но это случится позже.

А пока Никита Сергеевич, хорошо усвоив сталинскую формулировку «кадры решают все», озабочен был пересмотром, а где надо перетряской и расстановкой партийных сил, наподобие разнокалиберных черно-белых фигур на шахматной доске, где от малейшего недосмотра можешь запросто вляпаться в какую-нибудь ловушку, а то и получить хо-ороший мат. Нет, правильно сказано: кадры решают все! Так что смотреть надо в оба. Кадры должны быть чистыми и прямыми, без каких-либо право-левых колебаний, как это случилось с Берией, который, видите ли, захотел отменить строительство социализма в отдельно взятой демократической стране... Теперь он ничего не отменит!

Никита Сергеевич мог быть доволен тем, что в самый трудный момент — после смерти Вождя — вновь избранный Президиум (вместо сталинского Политбюро) ЦК партии занял твердую и принципиальную позицию в отстаивании и укреплении норм партийной дисциплины и решении неотложных и важнейших, первоочередных для страны задач. И тут, надо признать, рука Первого секретаря ЦК партии чувствовалась во всем. Хотя Никита Сергеевич был противником всякого излишнего величания. Он даже название должности Генерального секретаря счел нескромным и взял себе сан более простой и доступный — Первый. Анастас Иванович Микоян выказал тогда, на том закрытом совещании в узком кругу, несогласие и попытался отстоять «Генерального», объяснив это тем, что-де «Генеральный» в стране один, а «первых» на уровне республиканских, краевых, областных и районных парторганизаций — масса. На что Ники-

та Сергеевич, насмехаясь, ответил: вот, мол, и хорошо, значит, будем работать с массами. И настоял на своем! Ему и в самом деле чуждо было всякое величание, внешне он выглядел этаким свояком, рубашка нараспашку, доступен и прост. Впрочем, последнее качество было присуще ему органически — хотя иная простота хуже воровства, как говорят массы. Но с этим ничего не поделаешь — каков есть, таким и принимайте. И приняли...

Однако властвовать Никита Сергеевич любил и делал это частую спонтанно и грубо, не считаясь ни с кем и ни с чем; что ж, лес рубят, щепки летят — и «щепки» действительно полетели... Это было видно и простым глазом.

Прошло всего лишь десять дней после смерти Сталина, а точнее сказать, 15 марта 1953 года, как на срочно созванной сессии Верховного Совета СССР был отстранен от должности Председателя Президиума Николай Михайлович Шверник, в сущности, Глава государства, вместо него избрали Ворошилова. Нет-нет, Шверника не обидели, не выгнали взащей, а перевели на ВЦСПС. Назавтра Первый секретарь ЦК партии Хрущев позвал его к себе и поблагодарил сердечно за самоотверженную и добросовестную работу, сказав напоследок: «А теперь, Николай Михайлович, вас ждут не менее интересные и важные дела. Профсоюзы должны занять свое надлежащее место, и ваш богатейший опыт, безусловно, там пригодится. Вы ведь в свое время уже возглавляли ВЦСПС? Так что вам и карты в руки! А я как коммунист коммунисту желаю вам успеха, ленинской твердости и принципиальности. Партия вам доверяет, дорогой Николай Михайлович», — обнял его и чуть ли не прослезился.

А потом, когда Шверник ушел, повернулся к сидевшему в кабинете Булганину и спросил:

— Ну, как находите?

— По-моему, все достойно, — пожал плечами Булганин. — И Николай Михайлович держится мужественно...

— Нам сегодня, Николай Александрович, не мужество, а единство важнее, — перебил его Хрущев. — Без этого не устоять. Ну, а как там адмирал Кузнецов? Как он относится к слиянию Министерства ВМФ с Министерством обороны? — вдруг без всякого

перехода спросил, что, впрочем, не застало Булганина врасплох, министр обороны явился к Первому по этому же поводу.

– Адмирал Кузнецов спокойно к этому относится, с пониманием, – сдержанно он ответил.

– Ладно, – кивнул Хрущев, насупившись, – а то ж Георгий Константинович все уши мне прожужжал насчет слияния двух министерств. И правильно сделал! Единство, а не разброд – вот что для нас важно, – еще раз подтвердил Никита Сергеевич.

И три дня спустя Министерство ВМФ было упразднено и слито с Министерством обороны СССР, что выглядело вполне логично. Хотя высшее морское офицерство потихоньку роптало, считая эту «передислокацию» не на пользу флоту. Бывшего министра ВМФ Адмирала флота Кузнецова перевели в статус Главнокомандующего. А первым заместителем министра обороны СССР вскоре назначили Жукова, ему и предстояло курировать Военно-морской флот. Что ж, верно сказано: кадры решают все! Однако не многие знали, что маршал Жуков, говоря мягко, к морякам относился прохладно.

Крымская карта

Осенью 1953 года Хрущев слетал ненадолго в Крым. Сюда столь спешно завлекла его крайняя необходимость, о которой он пока не распространялся... Надо было все на месте решить, уладить и тогда уже ставить точку. Но вместо точки возник вопрос, отнюдь не пустячный – речь шла о судьбе Крыма, о завтрашнем его дне. И тут выяснилось, что крымские руководители не имели на этот счет единого мнения, больше того, резко расходились во взглядах. Председатель облисполкома Полянский с недавних пор, что называется, спал и во снах видел, как два ближайших соседа, Украина и Крым, смыкаются воедино... Первый секретарь обкома партии Титов сказал ему сразу и твердо: «В этом деле, Дмитрий Степанович, я не твой сторонник, здесь я тебя никогда не поддержу! И еще запомни: Крым не наша с тобой вотчина, чтобы так потребительски к этому относиться». Словом, разошлись они круто и бесповоротно – и это ничего хорошего не сулило. Ждать, когда сойдутся «врукопашную», тоже не хотелось, и Никита Сергеевич, уже имея к тому времени свое твердое мнение, решил вмешаться лично и навести там должный порядок. Больше всего он опасался разброда внутри партии, особо во властных ее рядах, всячески и чаще всего беспощадно с этим боролся – и тогда без «рукопашной» не обходилось. А что прикажете делать?

Прилетел в Симферополь Никита Сергеевич рано утром. И немало был удивлен. В аэропорту поджидали его и, как ни в чем не бывало, встретили два «враждующих» столпа крымского полуострова – первый секретарь обкома партии Павел Иванович Титов, спокойный, обстоятельный и немногословный человек (Хрущев его недолюбливал), и председатель

облисполкома Дмитрий Степанович Полянский, молодой, энергичный и умный, к нему Никита Сергеевич питал особые чувства, доверял ему и возлагал на него большие надежды. Причиной тому Донбасс, который сближал их и прямо-таки роднил. Здесь, в большом селе Славяносербск, на берегу чудного Днепра, 7 ноября 1917 года (можно сказать, под залп крейсера «Аврора»), родился Дмитрий Полянский. И в эти же дни того же семнадцатого года в шахтерской Юзовке (ныне Донецк) вчерашний слесарь Никита Хрущев возглавил Совет руднично-заводских комитетов профсоюза... О, когда это было!

Вот с той поры и двинулись их пути навстречу друг другу, сошлись и, наконец, пересеклись буквально полтора года назад, когда Дмитрий Степанович Полянский, уже хлебнувший партийного лиха, стал председателем Крымского облисполкома. Но суть не в его назначении, суть в судьбе Крыма, которому грозило переименование... Да-да, именно так ставился вопрос! Никита Сергеевич (в то время уже секретарь МК и ЦК партии) впервые услышал об этом от самого Сталина. Разговор был доверительный, в привычном и узком составе: Молотов, Ворошилов, Каганович, Маленков, Берия, Хрущев, Микоян, Булганин, Сабуров... Основной вопрос был уже обговорен, решен, ждали заключительной команды хозяина: свободны, товарищи! Но Сталин почему-то медлил. Сидел за своим столом, ритуально попыхивал неизменной трубкой, потом встал, обошел стол, как бы выдвигаясь на авансцену, и вдруг спросил, обращаясь ко всем сразу: «Крым хорошо знаете? Бывали там все?» Вопрос показался излишним. Но дальше и вовсе — как гром с ясного неба: «А как вы смотрите, товарищи, если Крыму вернуть его изначальное, историческое название — Таврида?» Никто из сидевших за длинным столом, будто враз онемев от неожиданности, и рта не посмел открыть, сказать было нечего. Возникла пауза. Сталин вернулся на свое место и сел за стол, неспешно покурявая. Потом отложил трубку, дымящим чубуком на край пепельницы, поднял голову и тихо сказал: «Понимаю, вопрос трудный, сразу не ответишь. И не надо сразу отвечать, — резонно добавил. — А вот подумать стоит. Нет-нет, товарищи, это не моя прихоть, это идея

первого секретаря Крымского обкома партии Павла Ивановича Титова, — упреждающе сказал. — Он был у меня недавно. Очень интересный человек, с большим опытом и хороший знаток, патриот своего края. Он мне много говорил о возможностях Крыма, о перспективах и планах его развития. И высказал пожелание: вернуть Крыму его изначальное, историческое название. Таврида, говорит, это история наша со времен екатерининских, это корни российского Крыма, обрывать их нельзя... Вот такое внес предложение Павел Иванович Титов. И я полагаю, товарищи, от этой идеи не следует нам отмахиваться».

Молотов, первым очнувшись, живо заметил: «Товарищ Сталин, так ведь было уже такое переименование. Если не ошибаюсь, весной 1918 года», — напомнил Вячеслав Михайлович. Сталин согласно покивал: «Да, Вяче, — так называл он Молотова в минуты расслабленного добродушия, — ты не ошибаешься: весной 1918 года в Крыму была провозглашена Таврическая Советская Республика. Хорошее название, но продержалось оно недолго. Тяжелое было время. Гражданская война, разруха, неразбериха... Вот и осталось все втуне, не довели дело до конца. А сегодня снова возникла эта мысль — и, как видите, не на пустом месте. Предложение Павла Ивановича Титова, мне кажется, не лишено серьезных обоснований. А вы как считаете? Подумайте».

Разговор этот состоялся в конце 1952 года. А три месяца спустя неожиданно умер Сталин. И вскоре многие планы его были пересмотрены либо подверглись жестокой ревизии. Что касается исторической подоплеки Крыма, Никита Сергеевич взял это дело под личный контроль и довел его до конца, однако все повернул по-своему, не считаясь ни с кем и ни с чем, даже с кузькиной матерью...

И вполне могло показаться, приезд Хрущева в Крым был зряшной прогулкой — ничего всерьез он не решил. Хотел уладить и снизить накал опасных противоборств между первым секретарем обкома партии Титовым и председателем облисполкома Полянским, но еще больше его обострил. Встречался с ними с глазу на глаз (втроем и один на один), спрашивал прямо: «Вы что, в разных партиях состоите — никакого единства! Как же вы

собираетесь дальше работать?» Перед отъездом еще раз поговорил с Титовым, спросил его напоследок: «Ты мне вот что скажи, Павел Иванович, на кой черт понадобилось тебе тащить эту «царскую Тавриду» в нашу советскую действительность? Ты же с вопросом о переименовании Крыма даже к Сталину обращался, — не без упрёка напомнил. И давил напрямую: — Зачем?» Титов, хотя и понял — Хрущев его не поддержит, ответил спокойно: «Таврида, Никита Сергеевич, это наша история. А нынешний год, между прочим, юбилейный для нас: 170 лет назад Крым был присоединен к России». — «Ну, молодец! — усмехнулся Хрущев. — Экая дальнорочность, — едко заметил. — А вблизи от себя, в двух шагах ничего не видишь... Почему Полянского не поддержал? Ты здесь, в Крыму, можно сказать, главное лицо, первый секретарь обкома, опытный партийный работник, а с молодым председателем облисполкома не мог поладить, найти общий язык. Позор!» — «Никита Сергеевич, я не хочу оправдываться, это не в моем стиле, в чем виноват, в том и виноват, каюсь, — сказал Титов. — Но я хочу объяснить. Мы же с Полянским рядом в обкоме работали, он был вторым секретарем. А потом, когда понадобилось, лично я рекомендовал его на пост председателя облисполкома и не жалею об этом. Дмитрия Степановича как руководителя и организатора я ценю и всегда поддерживаю. Но вот реформаторские его замашки, которые вдруг в нем проклюнулись, считаю ошибочными и опасными. Об этом я ему прямо сказал, тут мы с ним общего языка не находим, это действительно так. Причины, если надо, я готов изложить на бумаге...» — «Не надо! На кой ляд мне твои изложения, я и так все вижу, не слепой, — одернул его Хрущев и, чуть смягчив тон, пообещал: — Ладно, разберемся». Помедлил еще и пожал ему руку.

Это была последняя их встреча.

Вечером Никита Сергеевич, попросив не устраивать никаких протоколно-торжественных проводов, тихонько отбыл в Москву. Уехал ни с чем? Ну, не скажите! Крым не остался без внимания. Не прошло и недели, как пришло «решение ЦК», враз все перевернувшее. Исправно проработавший несколько лет кряду первый секретарь Крымского обкома партии Павел Иванович Титов неожиданно был освобожден (кажется, «по состоя-

нию здоровья», на которое он вроде не жаловался), а место его занял Дмитрий Степанович Полянский, молодой, энергичный и, безусловно, перспективный руководитель (вскоре он станет председателем Совета Министров РСФСР).

Никита Сергеевич поздравил Полянского и душевно с ним побеседовал с глазу на глаз (и не в кремлевском кабинете, а на Старой площади, где размещался ЦК). Здесь и приняли поистине историческое решение: не откладывать в долгий ящик, а вплотную заняться вопросом объединения Крыма и Украины. «Думаю, двух месяцев хватит на раскачку, – сказал Никита Сергеевич. – Будем осуществлять! Обком готов к этому? С киевскими товарищами все уже обговорено – они двумя руками «за».

И слов на ветер не бросали – осуществили задуманное в самый кратчайший срок. Внезапно, исподтишка, без каких-либо предварительных обсуждений, широких опросов, не говоря уже о каком-либо референдуме (см. Конституцию СССР, ст. 5), который дал бы исчерпывающий и четкий ответ на вопрос: хотя ли граждане Российской Федеративной Республики (самой крупнейшей и мощной из всех пятнадцати республик Советского Союза) отдать Крым Украине? Можете не сомневаться, ответ был бы однозначным: нет!

Однако российский народ не спросили об этом, его просто напросто проигнорировали, обошли, надули и сделали то, что сделали. Зачем?

19 февраля 1954 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов подписал Указ, надиктованный, разумеется, хрущевскими идеологическими помощниками: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

Это почему, на каком основании?! Здесь же все шито белыми нитками! Ну, во-первых: что это за «общность экономики»

Крыма и Украины, из какого кваса она образовалась, эта общность, если Крымская область целиком и полностью черпала ресурсы из российского республиканского бюджета? Второе: «хозяйственные и культурные связи». Разве Российская Федерация и Крым не имели таких связей? И третий, не менее весомый, но еще более странный повод для воссоединения — «территориальная близость». Очнитесь, вчерашние товарищи и сегодняшние господа, о чем речь?! Да, конечно, «близость» тут налицо, это не требует доказательств. Но позвольте вам заметить: Российская Федеративная Республика граничила не только ведь с Украиной (взгляните на карту СССР), но и с подавляющим большинством других союзных республик. И что же прикажете? Сочинить еще десяток таких указов и действовать по принципу — б е р и все, что б л и з к о лежит, хотя и не тебе принадлежит, так что ли? Выходит, что так!

Однако, сотворив эту «филькину грамоту» (а точнее сказать, заложив мину замедленного действия — не с нее ли начался развал государства?), организаторы и вдохновители сей невиданно поспешной и безответственной (если не преступной) акции вдруг в какой-то момент как будто оторопели, опомнились от своих же курьерских действий, резко притормозив... И паузу выдержали довольно длительную — почти три недели! Хотя указы, как правило, публиковались чуть ли не в день их подписания; на этот же раз подписанный 19 февраля 1954 года Указ «О передаче Крымской области в состав Украины» опубликован был в «Ведомостях Верховного Совета СССР» лишь 9 марта. Между тем 5 марта исполнился год со дня смерти Сталина. Всего лишь один год! Не с этой ли датой связана столь странная и значительная пауза?

Впрочем, подобные детали уже не имели большого значения, дело было сделано: крымскую карту разыграли! А результаты этой поспешной сделки спустя шестьдесят лет дадут о себе знать, громко аукнувшись и прокатившись эхом по всему черному белому свету...

Но тогда, весной 1954 года, мало кого удивляло, что «дарение» российского Крыма Украине (щедрый жест Никиты Хрущева) воспринималось н а р о д о м излишне спокойно и даже безразлично. Ну, подарили и подарили, какая, мол, разница,

Украина же не чужая страна, а наше единое, общее государство – Советский Союз. Тогда никому и в голову не могло прийти, что спустя всего лишь тридцать семь лет Советский Союз рухнет, развалится на пятнадцать разнородных частей, из которых поспешно начнут лепить подобия неких «суверенных» мутантов, раскрасив обломки в разные цвета... О, такое и в дурном сне привидеться не могло! А если бы кого-то и озарили тогда, обуяли подобные мысли, его бы подняли на смех или, больше того, сочли сумасшедшим. Ибо вера в «союз нерушимый», в свое великое государство, была прочнее любого гранита. И это имело под собой почву. А может, все-таки заблуждались? Что ж, и такое могло быть. Человеку присуще заблуждаться, хотя заблуждение – не самый тяжкий грех человеческий.

И все же странным казалось, что даже на кораблях, где «палубное радио» позволяло себе некую вольницу, даже на флагмане Тихоокеанского флота крейсере «Каганович» полное небрежение к столь серьезному событию обозначилось явно; тему эту всячески обходили стороной, окружив глухим умолчанием, нигде о ней ни гу-гу, словно ее и вовсе не существовало. Помалкивало в тряпочку и «палубное радио». И даже самая скрытная и загадочная на крейсере типографская команда (дверь отсека которой никогда не была открытой) лишь однажды коснулась крымской темы, да и то случайно, как бы походя, к тому же сведя ее к шутовскому розыгрышу.

А вышло так. Прибежал как-то с «улицы» (читай: с полубака) Зеленцов и, едва переступив комингс и закрыв за собою дверь, негромко и с придыханием доложил:

– Ребята, слушайте все! Есть новость. Готовят списки старшин и матросов, призванных с Украины...

– Это зачем такие списки? – вздернул, как попавший на крючок ерш, и замер в ожидании Антон Шмыга. Зеленцов, пряча ухмылку, прошел на свое место и деловито расположился, взяв в руки верстатку и выдвинув наборные кассы.

– Как это зачем, неужто неясно? – глянул на Шмыгу все с той же деловитой серьезностью. – Крым вам подарили? Да еще как!

Черноморский флот рядом, можно сказать, под рукой. Вот отныне и будете там служить. А то тащат вас аж с одного конца страны до другого, за одиннадцать тысяч верст, до самого Тихого океана... Такие деньжищи ухлопывают! А там вы пешком сможете добираться до дома...

— Да ладно тебе заливать, — отмахнулся Антон, ожидая, как всегда, со стороны Зеленцова какого-нибудь подвоха, пусть и веселого, необходимого — Зеленцов незлой человек. Но сейчас он держался невозмутимо и даже строго.

— Что, не веришь? — говорил он, выуживая из наборных ячеек нужные литерки и проворно, почти не глядя, усаживая, вставляя их в проем верстатки — буква к букве, слово к слову, строка за строкой. — А я, между прочим, своими ушами слышал, как боцман об этом говорил. Вот, говорит, отправят на днях списки, а вслед за ними и тех, кого призывали с Украины. Не веришь? А ты спроси мичмана Лапердина, он тебе слово в слово все подтвердит. Так что майские праздники готовься, Антоша, встречать на Черноморском флоте. Ты что, не рад? — глянул на Антона, тот рассеянно помалкивал.

— Да хватит, Василь, разводить бодягу, — сказал, наконец, — оставь свои розыгрыши.

— Вот чудак-человек, а зачем мне тебя разыгрывать?!

— Нет-нет, Антон, переход с одного флота на другой дело серьезное, — подал голос и Виктор Кусков, самый сдержанный и спокойный в типографской команде. — Главное, будь готов ко всему, чтобы никакая передислокация не застала тебя врасплох. Кстати, у меня запасная верстатка лежит в столе, новенькая, смазка еще не просохла, — продолжал после паузы, мягко включаясь в игру, — так что имей в виду: если случится переход на Черное море, я тебе эту верстаточку подарю, думаю, она тебе пригодится. Мало ли как там, в Севастополе, может, этих верстаток нехватка, а ты явишься со своей и пряником за наборный стол...

— Отставить! — выдвинулся из-за железного остова «американки» старшина Кужельников. — Это кто же здесь вознамерился разбазаривать корабельное имущество?

— Так это ж наше общее дело, — посмеивался Виктор.

И Зеленцов тут как тут:

— Ребята, товарищи наборщики, вы зря копы ломаете!

— Это почему же зря?

— Да потому, что никакие верстатки на Черном море матросу Шмыге не понадобятся, — ничуть не смущаясь, объявил Зеленцов и ошарашил всех неожиданным поворотом: — А дело в том, дорогие мои, что моряков, прибывших из Владивостока на главную базу Черноморского флота, ждут вспомогательные суда, других кораблей для них не найдено...

— Ого! — удивились и не поверили остальные, чуть ли не хором сказав: — Ну-ну, ври дальше.

— А чего мне врать? — обиделся Зеленцов. — Вы и сами знаете: никаких типографий на вспомогательных посудинах не бывает, нет их там и в помине. Вот и кумекайте: а зачем же в таком разе Антону тащить с Тихого океана, аж из залива Петра Великого на Черное море, новенькую верстатку, зачем?

— Выходит, полный бред, — вздохнул протяжно Виктор Кусков и повернулся к сидевшему рядом Шмыге. — Ну, и как же ты, Антон, собираешься выходить из этой ситуации?

А тому хоть бы хны:

— Да очень просто, — говорит он и улыбается во весь рот. — Никуда, братцы, я не уйду, останусь здесь, на крейсере, до окончания своего флотского срока. Если вы не против? — глянул хитренько на Виктора и тут же обернулся к Зеленцову. — А то ж Василь захотел спихнуть меня на Черное море...

— Да ты что, Антоша! Нет-нет, я уже передумал, отрекся от этой недоброй затеи, — во всеулышанье объявил Зеленцов, разыграв некую клоунаду, что видно было и по его невинным глазам. — Конечно, здесь оставайся, — сказал он твердо, вроде бы отговаривая молодого матроса от неверного шага. Зачем, мол, тебе какое-то Черное, Белое, Желтое или даже Красное море? Будем вместе служить славному нашему Тихоокеанскому флоту. «Будем!» — слаженно повторили они и нарочито клятвенно приобнялись, не выпуская из рук верстаток и не скрывая при этом явного своего балагурства.

Как видите, крымские события не стали предметом серьезных разговоров и споров на крейсере — пусть и в «закрытом режиме», матросы умели это делать, не вынося сор из избы... Однако события крымские (далеко не шутейные!) прошли мимо, незаметно отступили, словно туманом подернувшись, а потом и вовсе сошла на нет. Никто на флагманском крейсере «Каганович» не вспоминал о них, не вел разговоров досужих — ни в жилых палубах, с темными зевами настезь распахнутых люков, ни в служебных помещениях и отсеках, ни в трюмах машинных либо на ходовых мостиках, ни даже на полубаке, где постоянно дым коромыслом висел над железным обрезом... Крейсер курил нещадно — и помалкивал, держа язык за зубами!

«Значит, не о чем рассуждать и спорить, — подумал однажды Сергей Лепихин, как бы оправдывая это глухое молчанье. И тут же усомнился: — А разве мир замыкается только на крейсере «Каганович»? Нет, не только и даже не столько на нем», — сам себе возразил, скорее почувствовал кожей, всем своим существом, живо сбегая по трапу с легким фибровым чемоданчиком в левой руке (правая, как всегда, свободна) на прогретый майским солнцем пологий берег девятнадцатого причала — и сразу вольной волюшкой пахнуло в лицо.

Сергей уезжал в отпуск! Впереди 54 дня, почти два месяца полной свободы. Кого-то может смутить столь немислимый отпуск — как, мол, почему? А вас, милостивые государи, не смущает срок службы флотской, снисходительно улыбнется Сергей. Пять лет от звонка до звонка! Вот эта пятилетка и скрашена двумя отпусками. Один из них Сергей уже использовал, съездив домой, в Приобье, другой только что назревал... И не какой-нибудь куций, краткосрочный, а самый что ни на есть полновесный, 30-дневный, морской отпуск — без учета дороги. И это еще не все! Устав предусматривал поощрительные отпускные добавки матросам и старшинам всех без исключения боевых частей, подразделений и служб корабельных. Так что и ответсекретарь газеты «Вперед!» старшина второй статьи Сережа Лепихин с полным правом воспользовался пятью наградными днями редактора лейтенанта Волкова, да семь

дней положил в отпускную «копилку» замполит крейсера капитан третьего ранга Зеленин. Вот с этим запасом Сережа и двинул к себе на родину – шесть суток в одну сторону и шесть в обратную.

Началась же дорога с новой песенки, которая настигла поезд уже вскоре, где-то между Уссурийском и самым дальневосточным российско-китайским озером Ханка (с одного берега виден другой), и сопровождала вплоть до Приобска – почти семь тысяч километров.

«Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я», – доносилось из радиодинамиков и перронных громкоговорителей, звучала и летела вослед ухотившему курьерскому, напоминая о новых событиях, развернувшихся в стране весной нынешнего года. Простые, неприязательные слова легко запоминались, и к вечеру чуть ли не весь вагон знал песенку наизусть. И теперь то и дело кто-нибудь из пассажиров напевал ее вполголоса, мурлыкал себе под нос, глядя в распахнутую ширь за окном, наверное, и сам готов, не откладывая на потом, прямо с поезда ринуться куда-нибудь в обширные Кулундинские степи и сесть за рычаги трактора...

Разумеется, все уже знали: песенка эта, маршево-призывная и зажигательная – дух захватывает! – написана неспроста, а специально к началу освоения целинных и залежных земель и посвящена молодым покорителям, первопроходцам необъятных сибирских просторов. «Ну Никита, ну Хрущев, опять взбудоражил народ!» – говорили, посмеиваясь.

Едем мы, друзья, в дальние края...

Сергей не знал еще тогда, кто сочинил эту песню, ему и в голову не могло прийти, что буквально полтора года спустя он демобилизуется, вернется в Приобск, начнет работать в краевой молодежной газете и однажды увидит в редакции жердисто-длинного и худющего парня в очках. «Кто это?» – заинтересуется. «А ты что, не знаком с ним? Он частый гость у нас, – ответят ему и растолкуют: – Это же Эдмунд Иодковский, московский поэт, автор песни «Едем мы, друзья, в дальние края...» – «Так он

и музыку сам пишет?» – восхитится Сергей. «Нет, музыку сочинил Ваню Мурадели».

Однако не будем опережать события – все это еще впереди.

А тогда, в отпуске, Сергей немало подивился тому, что здесь, «во глубине сибирских руд» (ползуновско-демидовских руд, между прочим, к коим и ровесница Ивана Ивановича Ползунова Екатерина Вторая Алексеевна приложила свою царственную ручку), в Приобске, где, казалось, все знакомо и обжито, Сергей к большому своему удивлению обнаружил весьма и весьма зримые перемены.

Ну, во-первых, окончательно перебравшиеся из деревни в город родители обзавелись наконец-то собственным домом на улице Катунской, 24. Но где эта улица, где этот дом? Сергей представлял себе смутно. Хотя и отец, и старший брат в письмах объясняли, как от вокзала добраться до Катунской. Оказалось, надежнее всего пешочком, своим ходом, через виадук над станционными путями, затем по улице Путейской, справа останется маслозавод (там в былые годы у заводской проходной можно было разжиться свежим подсолнечным, льняным и даже малосъедобным хлопковым жмыхом), а дальше все прямо и прямо, никуда не сворачивая, нет, не на край света, конечно, но не так и близко, на самую западную окраину Приобска – туда городской транспорт пока не заглядывал. Если шлепать хорошим «крейсерским» ходом, понадобится не меньше, а может, и больше полчаса, но тогдашний Сергей Лепихин ходоком был отменным и уложился в двадцать минут...

Он шел все по той же Путейской, тянувшейся чуть ли не от станционного виадука, минуя одну за другой пересекавшие ее улицы, переулки ли с озерными и речными названиями: Пойменная, Луговая, Телецкая, потом пошли Чарышская, Бийская, Катунская... Стоп! Словно тугим бейдевиндом обдало лицо. Сергей резко сбавил ход и повернул направо, двинувшись потихоньку и выискивая глазами номер 24... Вот он! И калитка уже нараспашку. Наверное, младшие сестренки, Лиза и Даша, узрели его морскую форму издалека, пока он шел от угла до дома, и вихрем вынеслись из ограды навстречу... И старший брат Вадим

стоял уже подле калитки, держа за руку своего первенца Колю, а у того в другой руке голубой, как майское небо, надутый шар, он им размахивал-размахивал и задел ненароком калитку, шар лопнул с таким треском, что в ушах отдалось... Оцепеневший от испуга Коля несколько секунд стоял недвижно, потом вдруг заблажил во всю моченьку и на всю Катунскую, сорвался и с ревом убежал во двор...

— Вот видишь, каким салютом встречаем тебя, — сдержанно посмеивался Вадим, обнимая Сергея.

И они вместе вошли в ограду. А там, в глубине двора, у крыльца дома, словно в карауле, нетерпеливо ждали их еще трое — мама, отец и милая Тая, жена брата, державшая на руках Колю, который вмиг успокоился и теперь живо и весело одаривал всех своей лучезарной улыбкой... Было воскресенье, выходной день, все были дома. Ослепительно синее небо празднично сияло над ними. И суматошной радостью первых минут встречи все были охвачены. Вошли в дом, прошли в горницу, а там, в уголочке, в подвесной зыбке, почивал еще один богатырь — Ильюша. «Илья Муромец», — уточнил не без гордости Вадим, подмигнув Сергею. Вот, мол, с кого надо брать пример! И вправду: Вадиму двадцать семь, Тае и вовсе лишь двадцать два года, а у них уже два сына — семья. Сергей не удержался от похвалы: «Ну, ребята, вы настоящие ударники! Молодцы». Вадим польщенно улыбнулся: «Наше дело правое, конечно, но все же настоящей ударницей является у нас бабушка, — глянул на мать. — Оба парня — у нее на руках. Да еще и весь дом на ней — стирка, уборка, завтраки да обеды-ужины... Целый день, как белка в колесе! Без нее нам пришлось бы туго», — отдал должное матери. Но она живенько отмахнулась: «Ладно, шибко не перехваливай, не такая уж я ударница. Мне вон девчонки, — указала глазами на Дашку с Лизой, — помогают во всем: и в доме прибрать, навести порядок и с богатырями нашими, когда надо, потешиться, поводить... Чего там! — как бы подвела черту, расщедрившись и не умаляя ничьих заслуг, при этом то и дело поглядывая на Сергея, словно докладывая ему о семейном ладе. — В этом доме, кого ни возьми, все труженики», — добавила строго, без всякой усмешки, скорее с некой даже горделивой ноткой. И не кривила душой — все так и было.

Судите сами. Трое из семьи – рабочий класс. Отец служит в охране завода геологоразведочного оборудования, Вадим старочник перворазрядный на «Трансмаше» (чаще и проще завод называют 77-й, бывший военный, он и сейчас, по словам брата, не гнушается военных заказов), а Тая крановщица в литейном (самом горячем) цехе Приобского котельного завода. Все три эти предприятия, что называется, на слуху не только в Приобье, но и далеко за его пределами – приобские котлы, например, поставляют и за рубеж... Об этом Тая как бы мимоходом и не без гордости обронила в обрывочном разговоре. Вадим сощурился и погрозил ей пальцем: «Ну-ну, расхвасталась! Да наш «Трансмаш» и не такое поставляет... не чета вашим котлам!» Отец лишь крикнул и ничего не сказал, хотя продукция завода ГРО ценилась не меньше, а может, и больше, на вес золота, но он ведь охранник ГРО, оттого, наверное, и держал язык за зубами...

Потом и сестрички приспели, прилипли к Сергею со своими что, как да почему, казалось, не будет конца вопросам и разговорам. Но тут вмешалась мать и решительно пресекла эти докучливые разговоры: «Дев-чон-ки! – весело и распевно прикрикнула откуда-то из закутка. – Дайте гостю отдохнуть и оглядеться. Займитесь своими делами. – И уже более ровно и буднично: – Тая, оставь Колю с Дашуткой, а мы с тобой кухней займемся...»

Командирский тон матери тронул Сергея: «Прямо как на крейсере перед выходом в море, – улыбнулся он. – Всем стоять по местам, с якоря сниматься!»

И, улучив момент, подошел к брату:

– А не пора ли нам перекурить?

– Так ты ж вроде не курил? – удивился Вадим. – Неужто втянула эта зараза?

– Да нет, не втянула, – поспешил Сергей откреститься от заразы. – Но за компанию подышу дымком, а заодно посмотрим и ваше имение. Хвались!

– Ну, хвалиться пока нечем, – сказал Вадим. – Имение наше лишь в зачине. А вот планы обширные, – добавил, смеиваясь, когда вышли из дома и остановились посреди двора. – Видишь? – кивнул в сторону дощатого сарайчика, у торцевой стены кото-

рого, вплотную к ней прислонившись, белела довольно внушительная пирамида силикатного кирпича.

– Что это? – заинтересовался Сергей.

– Дом, – коротко и однозначно ответил Вадим. – Будущий, разумеется.

– А этот что... не годится?

– Почему не годится, сойдет и этот, пока не построим новый. Да ты глянь, глянь хорошенько, пройдишь как-нибудь по Катунской и посмотри, – махнул рукой вдоль улицы. – На ней же сплошь времянки, вроде вот этой нашей избы: стены из горбылей наспех сколочены, шлаком засыпаны, крыши толью кое-как покрыты... Временное жильё.

– Но ведь и без него нельзя, без этого жилья?

– Конечно, нельзя, – подтвердил Вадим. – Времянки – самый надежный выход. Да мы на эти времянки, что на иконы, молиться должны! – вырвалось у него. – А вот годика через два-три картина тут поменяется, другие дома поднимутся, – мечтательно заверил и даже прищурился, наверное, сам для себя рисуя будущий вид Катунской. – Знаешь, – помедлив, сказал, – у нас ведь не просто поселок, а прямо-таки живая карта Приобья. Вот и наша Катунская соседствует с Бийской, будто две реки, Бия да Катунь, спешат друг другу навстречу, сливаются и образуют могучую Обь, которая, тут начинаясь, неподалеку от Бийска, пересекает всю Сибирь до самого Ледовитого океана... Вот мы какие! – засмеялся и руками развел, как бы винась за свое излишнее фантазерство.

– В таком разе вам надо улицу Путейскую переименовать в Обскую, чтоб картина была полной, – шутливо заметил Сергей. И Вадим в тон ему поддакнул:

– Да-да, об этом стоит подумать. Между прочим, поселку нашему уже официально присвоено название – Мирный.

– Хорошее название, – похвалил Сергей. – Мирные люди, поселок Мирный...

– Рабочий поселок, – уточнил Вадим. – Здесь же сплошь и напропалую одни работяги селятся: трансмашевцы, котельщики, станкостроители, меланжисты... Заводчане, одним словом! Такие вот, брат, дела, – обнял Сергея одной рукой за плечи

и слегка потормошил, придвинув к себе. — Как видишь, и мы дурака не валяем, трудимся в поте лица, можно сказать, свою целину осваиваем... А что! — весело глянул. — Нынешней весной по призыву партии, правительства и самого Никиты Сергеевича целинники-добровольцы вдоль и поперек перепахали да засеяли всю Кулундинскую степь. Теперь там «жеребенка в траве» не увидишь... Зато хлебом завалимся осенью! — говорил, посмеиваясь и чуть растягивая слова. — Ну, а мы, заводчане, чем хуже — такой несусветный пустырь без всяких призывов застраиваем. Вон погляди, и наш фундамент уже наготове, — подвел Сергея к месту, где вот-вот развернется великая стройка. — А что, свой дом — это та же крепость.

— Да-а! — не скрыл удивления Сергей, разглядывая обширную квадратуру будущего жилища, замкнутого со всех четырех сторон фундаментным основанием. — Просторный будет дом.

— Нормальный, — не поддержал излишних восторгов Вадим. — При нашем семействе можно б и попросторнее. Но, как говорится, не сразу Москва строилась! Нормальный дом, — нажимисто повторил, как бы обозначив свои возможности.

Подошел отец, заметно прихрамывая:

— Планируете?

— Пап, что у тебя с ногой? — спросил Сергей, только сейчас заметив отцовскую хромоту. Отец не сразу ответил:

— Да с ногой-то ничего, — поморщился, — бедро мозжит...

— Бедро?

— Ну да, старый осколок опять зашевелился... вот уляжется — и боль стихнет. Пустяки.

— Ничего себе — пустяки! Хирурги что, не могут найти и удалить осколок?! — возмутился Сергей.

— Хирурги все могут, — буркнул отец. — Надо, конечно, удалить, надо, чтоб нутро не мозолил, — перечить не стал, но враз отстранился от этого разговора: — Ну, что тут у нас? — бросил в пространство, проведя ладонью по бетонной основе, пошлепал сверху, как бы приминая раствор, и остался доволен: — Хорошо схватился! Можно фундамент и расчехлять, убирать доски, пусть ветерком обдувает...

— А чего ждать! Пора начинать кладку, — таким прорабским тоном распорядился Вадим. Отец покивал согласно:

— Если не будет дождя, в следующий выходной можно и зачин делать. Пора. Май уже на исходе.

— Мне отпуск обещают, — помедлив, сказал Вадим, — я уже и в завкоме договорился, — достал из кармана довольно примятую пачку, вытряхнул папиросу, покатал ее в пальцах, продул мундштук, протянул пачку отцу, тот аккуратно вынул одну папироску для себя и глянул на Сергея:

— Ты, похоже, так и не привык к этой гадости?

— А зачем ему привыкать! — опередил Вадим. — Привыкнуть легко, а вот отвыкать — не один канат порвешь... черта с два! — чиркнул спичкой по коробку, дал отцу прикурить, поднес огарок, обжигая пальцы, к своей папиросе, струйки пахучего дыма потекли вверх, растворяясь в воздухе. «И дым отечества нам сладок и приятен», — улыбнулся Сергей. И вдруг ощутил такую легкость в себе, такое острое чувство близости к отцу и старшему брату, какое случается невзначай и помнится потом долгие годы, а может, и всю жизнь... Он и запомнил навек, зарубив не только в памяти, но и в душе — как сидели они тогда рядышком на прочной основе бетонного фундамента и говорили, мечтали о доме, которого еще не было... Иногда отвлекались и рассуждали о чем-то и вовсе далеком, не связанном с их личными сиюминутными планами.

— Ох, и много еще придется тут застраивать, — озаботился Сергей, как будто ему самому предстояло участвовать в этих нелегких и затяжных работах. — Вон какое огромное поле между вашим поселком и лесом! Да здесь вполне разместится еще один такой же поселок Мирный...

— Ну, это уже не наша забота, — уклончиво отозвался отец. А Вадим, неспешно докурив папиросу, высказался без всяких обиняков:

— Так все это поле и не придется застраивать, — коротко пояснил. — Тут, рядом с нами, бок о бок, пристроится две или три улицы, а дальше к лесу двигаться некуда — там кладбище.

Сергей изумленно глянул на брата:

– Кладбище? Какое кладбище?

– Японское, – спокойно, как о чем-то простом и обыденном сказал Вадим. – Здесь же, в Приобске, после войны было много пленных самураев. А ты что, не знал об этом?

– О кладбище впервые слышу. А вот пленных японцев видел и даже общался, разговаривал с ними...

– Да ты что?! – теперь и Вадиму приспело время удивляться. – Как и где мог ты с ними общаться да еще и разговаривать? Интересно, на каком языке вы с японцем балакали? Ты шутишь, наверно.

– Никаких шуток! У меня, между прочим, и свидетель имеется, он не даст соврать, – весело объявил и повернулся к отцу. – Пап, ты ж помнишь, осенью сорок шестого у нас в Боровом пленных японцев содержали, с месяц, наверно. А потом увезли куда-то.

– Конечно, помню, – подтвердил отец, не колеблясь. – А вот зачем их привозили в Боровое – не знаю.

– Так они ж дрова пилили всю осень, – подсказал Сергей.

– Ну, дрова пилили они для себя. Холодно уже было, – уточнил отец. – Кто ж за них будет пилить? А так ни-ни... к другим работам их не привлекали. Не положено! – Чуть помедлил и досказал: – Мы разговорили однажды начальника охраны, считай, приперли его к стене: мол, зачем вы притащили сюда такую ораву пленных самураев и держите их тут, в деревне, у всех на виду, мозоля глаза? Как будто от него, охранника (пусть и главного), это зависело... А он отделался шуткой: так здесь же, говорит, кругом сосновые леса, целительный воздух, вот пленные самураи и проходят у вас, в Боровом, курс лечения, хвойные ванны принимают... Смеялся, конечно. А что он еще мог сказать?

Сергей улыбнулся и вдруг, зажмурив глаза, вспомнил другое: они-то, мальчишки, напротив, были тогда очень довольны негаданным этим соседством! И уже вскоре вполне освоились и знали в лицо чуть ли не всех охранников, хотя тянуло их больше к пленным японцам, различать которых было почти невозможно – все они казались на одно лицо. Впрочем, и встречи, общения, если можно так сказать, случались в одном лишь месте – на ле-

содворе, за старой лесоконторой, где шла распилка дров... Спасибо охранникам, они этому не препятствовали. А временами казалось — и поощряли; возможно, была у них и такая установка. Однако зоркости и бдительности никто из них не терял, все они видели, слышали и понимали, конечно: это же так интересно сойтись лицом к лицу с теми, кого вчера еще знал только по наслышке да по песне, звучавшей как упреждение: «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки...»

Вот и перешли! И оказались тут, за семь тысяч верст от своих японских берегов, в глубоком сибирском селе Боровом, дышали целебным хвойным воздухом и пилили дрова сосновые. Но как пилили! Это надо видеть своими глазами. Они же, боровские мальчишки, когда впервые увидели японцев за этим простейшим занятием, ахнули от удивления и схватились за животы. И кто-то из них, давясь от смеха, кажется, Ленька Бутырин, прямо-таки простонал: «Гля, ребята, чо они вытворяют! Елки-моталки, кто же так пилит?!» — «Японцы так пилят, — неслышно встав за их спинами, весело доложил охранник, — им так удобнее». Сказал таким тоном, будто охранял не только самих пленных, но и самурайские их свечки, а может, и прихоти. В глазах же мальчишек все это выглядело до смешного нелепо, словно опрокинуто было и поставлено с ног на голову. Они-то, сибирские мальчишки (которым было в то время по тринадцать-четырнадцать лет), знали толк в пилке дров, за годы войны не один десяток кубов перепилили и покололи — сосновых, березовых, осиновых и даже липовых, как говорится, медовых...

А тут, смотря, картинка такая — хоть сейчас в «Крокодил» помещай! Представьте себе: посреди обширного двора, заваленного сосновыми бревнами, стоят козлы, на них уже готовый к распилу лежит трехаршинный сосновый кругляк, а по обе стороны козел восседают два пильщика. Стоп, как это пильщики могут в о с с е д а т ь? — спросите вы. А вот так: подкатили поближе, поставили на попа две довольно толстые чурки и уселись на них по разные стороны козел, как на лесные пни, ухватились двумя руками за ручки пилы и заширкали по бревну, пытаясь сделать надрез; но зубья пилы никак не хотели врезаться, пила

со скрежетом отскакивала то влево, то вправо, сосновая шелуха брызгала во все стороны...

Минуту-другую мучились, но все же после долгих усилий удалось сделать надрез, они перевели дух и стали пилить спокойнее и живее, янтарно-золотистые опилки сыпались им под ноги... Казалось, все наладилось и пошло, как по маслу, и они уже были близки к тому, чтобы отпилить, наконец, эту треклятую первую чурку... Но тут случилась новая неувязка, пилу стало зажимать – и чем дальше, тем хуже. А потом и вовсе зажало так, что ни туда и ни сюда. Пильщики подергали ее, подергали и опустили руки, не зная, что делать – пила застряла намертво. Появились еще двое, находившиеся тут, наверное, в качестве вспомогательного резерва, а может, и сменщиков... Попытались высвободить пилу – тоже не удалось. Поговорили между собой, поглядывались, ища поддержки, охранника рядом не было...

И тогда Сергей, перемигнувшись со своим одноклассником и закадычным дружкой Ленькой Бутыриным, коротко предложил: «Поможем?» Ленька без всяких яких согласился: «А почему бы и не помочь – ситуация ясная». Подошли к растерянным пильщикам. «Ну чо, забуксовало?» – сочувственно поинтересовался Ленька. Японцы быстро что-то сказали, разводя руками, и даже раскланялись, на что Ленька ответил кивком головы и успокоил: «Ничего страшного, поможем. Сделаем все, как полагается». Сергей тем временем осмотрел место происшествия и объявил: «Да, заклинило основательно! Придется клин клином вышибать. Лень, ты спроси японцев – топор у них есть?» Ленька четкими и выразительными жестами обозначил вопрос, японцы без слов его поняли и беспомощно-виновато улыбнулись: дескать, чего нет, того нет! Кто ж им доверит топор? Вернулся охранник, посмотрел, поцокал языком, но топора и у него не было... Зачем охраннику топор? Ленька спросил: «А кто же тут колет дрова? Вон какую гору наворотили!» Охранник строго ответил: «Колка дров – не наше дело, этим лесхоз занимается».

Однако минуты две погода, будто по мановению волшебной палочки, явился топор, да-да, явился – вот он! Кто-то из мальчишек сбегал к себе домой, буквально через дорогу, и передал

топор из рук в руки Леньке Бутырину: «На, орудуй!» Ленька, по-слонив указательный палец, провел им по лезвию топора – сойдет! Выбрал из вороха уже наколотых дров наиболее прямое (без сучка и задоринки) сосновое полено, поставил его на чурку, служившую сиденьем пильщику-самураю, и в два счета расколол, расщепил на несколько ровных дощечек; тут же, на чурке, быстренько обтесал, заострил с одного конца каждую дощечку – и клинья готовы! Сергей облюбовал один, пощупал пальцами заостренный конец: «Бриться можно». – «А у тебя что, борода уже отросла?» – усмехнулся Ленька. Сергей нацелил клин в прорезь бревна: «Вколачивай! И не рассусоливай, а то и у тебя борода отрастет». Ленька обушком топора аккуратненько постучал сверху по клину, загоняя его в паз, потом смаху еще раз-другой ударил посильнее, чтобы вошел туже... Хорош! И, не теряя времени, бревно продвинули вперед. «Вот так надо! – сказал Ленька японцам, внимательно следившим за каждым их шагом, и рукой показал на козлы. – Видите, конец бревна чуточку обвисает? А это значит – зажима не будет. Не должно быть! Ну что, Серега, покажем, как надо пилить?»

Они живо и несколько даже демонстративно, напоказ японцам, откатили в сторону чурки-сиденья, чтобы те не мешали работать, и разом взялись за пилу, слегка подергав ее туда-сюда, пила двинулась помаленьку, но без задержек, потом все свободнее, веселее, с тонким зудящим звоном... Пошла! Японцы незаметно придвинулись ближе, удивленно ловили глазами всякое ловкое их движение – надо же, безусые мальчишки, а все умеют. Они пилили ровно и безостановочно. Верхний надрез бревна заметно стал расширяться, все больше и больше, клин ослабел и вскоре за ненадобностью сам по себе вылетел из расщелины, конец бревна резко накренился, но Ленька, не переставая правой рукой пилить, левой вовремя попридержал его, чтобы чурка не расщепилась – и чурка ухнула вниз, под козлы, отпав от бревна точно по срезу... Годится! – сказали они чуть ли не разом. И без всяких лишних пауз, перенесли пилу от конца бревна сантиметров на тридцать-сорок для следующего запила, махом сделали хороший надрез – пила, будто почуввав твердые руки,

работала безотказно. Пара минут – и вторая чурка отлетела вниз, глухо стукнувшись о первую и прижавшись к ней корявым боком. А Ленька и Сергей уже наметили третий надрез. Но вдруг остановились, и Ленька сказал: «А чего это мы с тобой размахались? Давай-ка на пару с японцами – вон их четверо, ждут не дождутся своей очереди...» И выразительно помаячил одному из них, стоявшему ближе, указав рукой на Сергея: мол, принимай от него эстафету! Японец, мигом сообразив, чего от него хотят, придвинулся ближе и с готовностью обхватил двумя ладонями ручку пилы. Сергей с любопытством смотрел на него: худощав, желтолиц, невысокого роста (чуть выше Сергея и гораздо ниже Леньки) и молчалив, как рыба в Охотском море, близ Хоккайдо... «Нет, нет, так не годится! – сказал Сергей, отрицательно помотав головой, взял его левую ладонь (так берут иногда первоклассника за руку, помогая ему вывести трудные буквы в тетради), отнял от ручки пилы и перенес на бревно, лежавшее перед ними на козлах: – Вот так надо! – прижал его ладонь своей ладонью. – Может, у вас в Японии иначе пилят? А здесь, у нас в Сибири, иначе нельзя. Все понял?» – «Сё... понё...» – очень серьезно и старательно повторил японец, наверное, вовсе не понимая значения этих слов.

И тогда Сергей, желая вполне утолить свое любопытство, постучал себя пальцем в грудь и сказал: «Меня зовут Сергей... Сергей... Сер-гей». И, указав этим же пальцем в грудь японца, спросил: «А как тебя зовут?» Японец вдруг улыбнулся, закивал и, ткнув пальцем себя в грудь, внятно ответил: «Таяма». – «Ну, вот и познакомились, – засмеялся Ленька. И скомандовал: – Кончай перекур! Сереге, посторонись. Тронулись». И потянул пилу на себя. Таяма тому не препятствовал, хотя иногда срывался и дергал туда-сюда, усердно давил на пилу. «Таяма, держи ровнее!» – подсказывал Ленька, забывая о том, что подсказки его улетают в воздух. Спыхватился и, усмехаясь, мысленно сам себя заверил: ничего, мол, научится и без моих подсказок, умение – дело наживное...

Вот в этот момент и появился на лесхозовском дворе начальник охраны (возможно, должность его называлась иначе,

но здесь, в Боровом, иначе его не называли – начальник охраны и точка), появился он неожиданно, высокий, по-офицерски подтянутый, заметил, наверное, необычное оживление на дровяной площадке и заглянул. «Итак! – чуть помедлив и понаблюдав за пильщиками, сказал он густым командирским голосом. – Показательный урок?» Подбежавший охранник поспешно доложил: «Так точно, товарищ старший лейтенант, пилу заклинило намертво... Вот хлопцы на добровольных началах и вызвались помочь». – «И преподали нам хороший урок! – живо и с некой скрытой усмешкой заметил старший лейтенант. – А если бы хлопцев не было рядом, тогда что? Молодцы, ребята, – похвалил, – спасибо вам за поддержку. Но вы особо тут не торчите и попусту время не убивайте. Надеюсь, у вас и своих уроков хватает?» – спросил строго. И как в воду смотрел – все последующие дни, чуть ли не до конца недели, боровские старшекласники буквально по макушку были загружены уроками, вздохнуть некогда, не говоря уже о праздных шатаниях. Да к тому же новое объявление: завтра, 11 октября 1946 года, в связи с выездом на уборочно-полевые работы занятия в старших классах отменяются. А на какое время – ни слова. Будьте готовы – всегда готовы!

Назавтра утром по дороге к школе, мимоходом, что называется, Сергей и Ленька успели еще забежать в лесхоз и, застав там своих «подопечных» за работой, от души порадовались – урок не прошел даром! Японцы пилили по всем правилам, держа пилу в одной руке, другая рука твердо лежала на бревне, как бы для равновесия, а чурок для сиденья, как это было недавно, и вовсе не видно. Сергей и Ленька не удержались и разом показали два больших пальца. Молодцы! Японцы поняли этот знак, заулыбались, сделали передышку. Ах, как хотелось поговорить! Пошли в ход всевозможные жесты, но их явно не хватало. Таяма больше всех старался. Тыча пальцем себе в грудь, четко (и прямо таки по-русски) твердил: «Таяма», затем указал на своего напарника: «Акаги», отыскал глазами третьего, стоявшего чуть в стороне, построжел и, снизив голос до полупшепота, сказал: «Миёси». И показал большой палец, как это делали мальчишки. Что это значило? И что двигало им в минуты этой искренней

и душевной открытости? Возможно, желание уберечь, сохранить свое имя, себя самого, а может, после всех пережитых (и не пережитых еще до конца) бед и страданий – стремление и попытка найти общий язык?

Это же так хорошо, когда люди понимают друг друга...

Сергей и Ленька на этот раз долго не задержались, жестами объяснили, что спешат, некогда, мол, рассусоливать, японцы кивали понимающе, а Таяма даже рукой отсалютовал на прощанье, дескать, занимайтесь, ребята, своими делами, а мы вас подождем... И никто, наверное, не знал тогда и не мог предположить, что встреча эта для них – последняя.

Сергей и Ленька в то утро вместе со своими одноклассниками укатили на темно-зеленом «Студебеккере» на самый дальний полевой стан колхоза «Правда», где и пробыли до конца недели, занимаясь отнюдь не пустячным делом: докапывали картошку и сахарную свеклу, но главным образом работали на току; там, под соломенным навесом обширной риги, провеивали на громоздких «клептонах» (крутили вдвоем рукоятку) и самых маленьких веялках-«ветрогонах» сорную пшеницу – грохот стоял невообразимый... И пыль столбом! Охвостье и всякая половамякина летели в одну сторону, а чистое зерно, как рассыпное золото, наполняло другой ворох. И никто не увиливал от монотонно тяжелой и пыльной работы, старались вовсю; учителя, не жалея рук, находились рядом с учениками и вкалывали со всеми наравне. Хотя ни шиша им за эту работу не причиталось, все строилось на шефских началах. Спасибо и за то, что на полевом стане работала столовая – и ребята не голодали. А трехразовое питание по тем временам и вовсе казалось роскошью – шел к концу 46-й год, еще ведь и хлебные карточки не отменили в стране. Словом, поработали хорошо – и не были обделены вниманием со стороны бригадного пищеблока. Да и благодарность от самого председателя колхоза «Правда» товарища Пирожкова оказалась не лишней.

Вернулись в Боровое (пятнадцать километров туда и столь же обратно) лишь поздним воскресным вечером. Ехали на том же развеселом и безотказном «Студебеккере», и мальчишки, пе-

реиначив на ходу известный киношный припевчик, горланили от всей души: «Америка России подарила вездеход...»

А наутро снова уроки. И Сергей, шагая в школу, как всегда, попутно приостановился у дома Бутыриных, присвистнул в два пальца, дав о себе знать, и Ленька тут как тут, не заставил себя долго ждать. «Привет!» — пожали друг другу руки. И двинули вдоль деревни своим неизменным, хоженным-перехоженным путем, негромко переговариваясь.

Стояло благодатное утро срединной осени. Прохладно было, но не зябко, а ночью даже снежной крупы подсыпало. «Так сегодня ж покрова! Вот первый зазимок и накрыл землю», — брякнул Ленька. «Что еще за покрова?» — не понял Сергей. «Как что... праздник верующих». — «А ты что, верующий?!» — удивился Сергей и показушно-пугливо даже отшатнулся от него, как от прокаженного. Ленька засмеялся: «Во брехун! Да не я верующий, а бабка наша верующая, она и просветила меня насчет покрова. Послушай, — вдруг узрел что-то другое, — тебе не кажется, что лесхозовский двор опустел? А ну айда, посмотрим, чего это они заспались...» Круто повернули, сделав хороший крюк, и уперлись в жердяную ограду, изумленно и разом воскликнув: «Ого! Ты погляди, какой тут порядок навели самураи!» Это первое, что пришло им в голову. Двор действительно был чист: ни единого бревна нигде не валялось, ни одного бросового полена, даже сосновой коры и опилок не видно, все под метелку прибрано. Они глазам своим не поверили. Вошли в ограду — тишь да гладь, приблизились к двум поленницам, сложенным одна к другой вдоль бревенчатого сарая, даже руками (русский глазам не верит) пощупали, усмехаясь: натурально — дрова! А вот и козлы стоят, отдыхают, братцы...

И в это время совсем близко раздался протяжный и насмешливо-строгий возглас: «А кто ж это спозаранку шастает по чужим дворам?» Они вздрогнули от неожиданности, но сразу узнали лесхозовского сторожа (он же по совместительству дворник, а когда надо и весовщик-кладовщик, одним словом, мастер на все руки) и приветливо с ним поздоровались: «Доброе утро, дядя Афанасий». Он, выйдя навстречу, вполне покладисто и мирно

констатировал: «Доброе, доброе. А вы-то чего ни свет ни заря шастаете здесь, на казенном подворье? — хитрил немножко. — Или потеряли чего-то, ищите?» Они в ответ мотнули головами: «Да нет, дядя Афанасий, ничего мы не теряли. Смотрим вот, как тут японцы поработали, вон какой порядок везде навели». Афанасий, глядя на них, ухмылялся: «Ага, в самый раз навели порядок! Кто б им, японцам, такую работу доверил? Они б ее и за месяц не сделали... Да и нет их уже здесь, в Боровом, японцев-то ваших», — помешкал и вдруг объявил. Сергей и Ленька остолбенело воззрились на него: «Как это нет? Они же здесь были...» — «Были да сплыли, — небрежно сказал сторож, как о чем-то для него пустяшном. — Увезли их еще позавчера утром. А вы-то как не углядели, проспали, что ли?» — насмешливо удивился. «Не было нас в Боровом, — буркнул Сергей, — три дня работали на «правдинской» дальней пашне, зерно провеивали... А куда их увезли, не знаете?» — как будто готов был немедленно кинуться на розыски двух известных ему самураев, которых они с Ленькой научили пилить дрова, Таямы и Акаги. «Нет, не знаю, — спокойно сронил Афанасий, ладя себе самокрутку из газетного обрывка, поспешил языком, заклеил, в нос шибануло острой пряностью свежего самосада. — Не знаю, — сказал еще раз. — Но, думаю, дальше Приобска не увезут. А что это вы, друзья мои, враз скуксились? Японцев жалко, что ли? — напрямую спросил. — Вот дуралей! Это же наши враги, вчера они еще всю палили в нас из своих оружий, а сегодня вы уши развесили и учите их дрова пилить. Во как повернулось, бляха-муха!» — качал головой, удивляясь. «Да ладно тебе, дядя Афанасий, — вяло отмахнулись Сергей и Ленька, направляясь к выходу. — Кто старое помянет — тому глаз вон», — припугнули с натужной шутивостью. «А кто старое забудет, — крикнул он им вдогонку, — тот без обоих глаз окажется! Поняли?» — «Поняли, дядя Афанасий», — ответили они весело, уже выйдя из ограды, и дружески помахали ему руками.

Казалось, на миг Сергей закрыл глаза — и все в нем собралось, увязалось в тугой клубок, мгновенно высветив прошлое, и пронеслось, размоталось в памяти, уложившись в считанные

секунды. Как будто не восемь лет назад, а вчера все это происходило... Сергей открыл глаза и посмотрел на брата, сидевшего рядом, плечом к плечу, и не спеша, взасос дотягивавшего жгучую папиросу. Сергея подмывало рассказать о своем «видении» (хотя это не сон, а явь натуральная), но он почему-то заколебался. Вадим докурил, наконец, папиросу, смял пальцами окурок и бросил в песок под ноги, придавив каблуком. Сказал, посмеиваясь:

— Везет тебе на встречи с японцами, — сказал так, будто разговор между ними и вовсе не прерывался. — То ты с пленными самураями якшался, дрова с ними пилил, а потом, пять лет спустя, выпало служить на японском эсминце...

— Не пять, а шесть лет спустя, — уточнил Сергей. — Первый год я служил на Русском острове и только потом угодил на бывший японский эсминец «Хацудзакура». Между прочим, в нашей эскадре числился он, как и все вспомогательные корабли, безмянным и, разумеется, безоружным — под номером 26. Но и это еще не все, — весело глянул на брата. — Прошу запомнить: главная база Тихоокеанского флота находится во Владивостоке... на Японском море.

— О! — удивился Вадим. — Вот этого я не учел. Выходит, у вас там кругом Японское море?

— Выходит, что так. Да и сама Япония не за семью морями — когда проходишь пролив Лаперуза, можно, как утверждают наши боцманы, веслом коснуться острова Хоккайдо, — сказал, смеясь и плечом в плечо слегка подталкивая брата. — Вот так и живем.

— Рука об руку, — добавил Вадим.

— Насчет рук не знаю, а вот глаз друг с друга не спускаем.

— Вот-вот! — как будто поймав его на слове, подал голос все это время молчавший отец. — И правильно, смотреть надо в оба! Враги тоже не дремлют. А нам бы такую зоркость не мешало иметь не только на самых дальних рубежах и границах, но и внутри своего государства, — неожиданно повернул разговор.

— И что это значит, что ты имеешь в виду? — не понял Сергей.

Вадим, ухмыляясь (наверное, слышал уже не раз эти отцовские сетования), опережающе пояснил:

— Отец не может простить Хрущеву передачу Крыма Украине.
— А ты считаешь правильным, когда свою страну начинают рвать изнутри? — вздернулся отец, наверное, слишком близко к сердцу принимая случившееся.

— Ого! Это что-то новое... рвать страну изнутри, — покачал головой Вадим. — А тебе не кажется, отец, что сгоряча ты слишком перебарщиваешь?

— Нет, не кажется — говорю все как есть.

— И кто ж ее рвет, нашу страну, изнутри?

— А те самые, кто, ни с кем и ни с чем не считаясь, отсебятину прут и решения через пень-колоду принимают...

— Да почему же через пень-колоду? Решение принято на самом высшем уровне. Указ вышел, подписан Ворошиловым...

— Клименту Ефремовичу сказали — вот он и подмахнул. А кого спросили об этом? Меня не спрашивали, тебя, других, кто имеет право голоса, тоже не спрашивали. Вот и получается: дышло вышло — да не туда!

Вадим даже поморщился от какого-то внутреннего бессилия перед этой отцовской упертостью:

— Да тебе-то зачем все это? — сказал он. — Ну, мы знаем: ты воевал в тех местах, был ранен...

— Нет, в Крыму я не воевал, но был рядом, — поправил отец.
— Наш плацдарм Мысхако, сейчас его называют Малой землей, находился южнее Новороссийска, вот эту твердыню мы и за-слоняли с левого фланга. Десантный отряд наш под командованием майора Куникова занял Мысхако еще зимой сорок третьего и держал его несколько месяцев, так и не уступив врагу, вплоть до подхода основных сил... Да, многих фашистов испу-пали мы тогда в Черном море! Но и наших десантников полегло изрядно, Малая земля насквозь пропитана кровью... В одном из последних боев потеряли мы и командира своего, майора Цезаря Львовича Куникова... Ему посмертно присвоено звание Героя.

— Ну вот, это и есть главное — в такой войне победили! — ска-зал Сергей не без патетики. — Так стоит ли сейчас ломать копья на этих мелочах — Крым здесь или Крым там?

– Это не мелочи, это жизнь, – стоял на своем отец, будто и не уходил никуда с Мысхако.

– Пап, ничего же страшного не случилось, – безуспешно пытался Сергей убедить отца в обратном. – Крым никуда не делся, как стоял сотни лет, так и стоит на своем полуострове. Его ж не в Америку передали.

– Но мину хорошую заложили под него, – жестко и тихо сказал отец, будто пряча концы в воду, и заморгал-заморгал глазами – контузия и через десять лет давала знать о себе.

– Какую мину, кто заложил? – не удержался Вадим.

– Мину замедленного действия.

– Какого еще замедленного, чего ты городишь, отец? Может, хватит этих ненужных разговоров! У нас вон и своих дел – только рукава засучивай... Дом надо строить.

– Правильно, – неожиданно и спокойно согласился отец. – Дом для семьи – это главное. Так что нельзя нам отсиживаться... Да вон и мать, кажется, идет нас разыскивать, – воспрянул и вовсе, повеселел, оживился и встал с нагретого фундамента, словно встречая строгого командира. А мать, держа внука за руку, еще издали окликнула их, позвала негромко и чуточку нараспев:

– Эй, мужички наши, чего это вы уединились? Кончайте свое заседание. Вас уже заждались. И стол накрыли. Пошли обедать, – скомандовала. Отец бесперечно шагнул к ней, как и должно старому солдату, подхватил внука на руки и направился к дому, прихрамывая. А мать задержалась еще на секунду, подождав сыновей, и сказала им тихо, но строго:

– Ребятки, я вас прошу: не травите отца неприятными разговорами, нельзя ему волноваться...

– Так мы ж и не делаем этого, – пожал плечами Вадим. – Отец сам заговорил о Крыме. Как его остановить?

– А вы уходите от этих разговоров, – подсказала мать. – И отца вводите от них подальше.

– Мам, а ты что... слышала наш разговор? – спросил Сергей.

– Да зачем мне подслушивать вас, у отца и без того на лице все написано. Он же как разволнуется, у него и тик начинается,

дергаются щеки, и моргает так, будто сор угодил в глаза. Разве я не вижу!

Они успокоили мать, пообещав быть впредь осторожнее в разговорах с отцом. И все же Сергей подумал: вот сейчас сидут они за стол, выпьют по рюмке-другой (без этого ж не обойдется!), и отец под хмельком опять разволнуется и вернется к прежнему разговору. Однако на этот раз интуиция подвела Сергея — ничего подобного не случилось.

Отца как будто подменили. Выпив, он заметно повеселел, оживился, стал разговорчивым, но, как ни странно, за все это время ни слова не проронил о плацдарме Мысхако и Крыме, боль за судьбу которого сидела в нем, как давний осколок под ребрами, но ближе к сердцу... Что удержало отца? Возможно, смилив наконец-то свою солдатскую гордыню, он выкинул всякие смутные мысли из головы, хотя скорее не выкинул, а запрятал подальше и глубже в себе, чтобы не омрачать сегодняшнего застолья — пусть всем будет хорошо. Это было в характере отца — и тут он душой не кривил. Оттого и день получился светлым и праздничным — сын приехал на побывку! Поговорить было о чем...

Несколько раз покидали застолье и выходили во двор, на свежий воздух — отдохнуть, размяться, помечтать вслух о новом доме, фундамент для которого уже готов. «Осталось дело за малым! — смеялся Вадим. — Выложить стены, поставить стропила и крышу на них возвести». — «А крыша какая будет?» — спросила Тая. Он все так же посмеивался: «Круглой будет, шатровой, без всяких фронтонов, со всех сторон крытой». — «Значит, и дом будет круглый? Ура!» — не сдержала восторга Даша. И Коля, стоявший рядом с бабушкой, еще звонче, во всю моченьку подхватил: «Ула!» Бабушка взяла его за плечи и прижала к себе: «Тихо, тихо, соседей перепугаешь...»

Сосед справа, копавшийся в своем палисаде, выпрямился и подал голос:

— Это что там за митинг, по какому случаю?

Отец помахал ему рукой:

– Заходи, Семеныч, покурим!

Семеныч не заставил себя уговаривать. Опираясь на толстый суковатый костыль, живенько прихрамал к соседям. Отец угостил его папиросой и сам закурил, окутав лицо дымом.

– Ну, я гляжу, у вас тут все на мази, можно и кладку начинать, – сказал сосед одобрительно. – Хорошо схватилось?

– Пойдем, поглядишь, – предложил отец.

И они, оба прихрамывая, пошли рядышком, раскачиваясь, как два маятника, один влево, другой вправо... Вернулись таким же манером. Мать, глядя на них, протяжно вздохнула:

– Ох, мужики-фронтовики, и когда ж вы перестанете хромать?! Девять лет как война кончилась, а вы все хромаете и хромаете... – говорила, вроде шутя, со смешком, а голос печальный.

– Значит, девяти лет, Тонечка, нам не хватило, чтоб твердо встать на ноги, – бодрился Семеныч. – Но мы ж, фронтовики, не сдаемся, вон какой поселок зачали – и построим его, вот увидишь! Хотя, конечно, война пометила нас надолго, а может, и на всю жизнь...

– Вот именно, – поддержал отец. – Война эта следов оставила столько и таких следов, что они и через лет сто, наверное, будут еще сказываться...

– Так ведь для России это не впервой, – тотчас выправился Семеныч.

Отец улыбнулся и положил ему руку на плечо:

– Вот именно! И на этом поставим точку. А теперь айда за стол, от штрафной тебе, фронтовой побратим, сегодня ну никак не отвертеться...

Где-то под вечер застолье, пресытившись, поутихло, а потом и вовсе распалось, Сергей тихонечко упредил мать, чтоб не теряли его: «Пойду, прогуляюсь, посмотрю окрестности поселка Мирного». И выскользнул за дверь. Затем вышел из ограды, прошел до угла Катунской, повернул направо и вскоре утонул в густых зарослях высоченного бурьяна – брести по нему неудобно. Но все же, пройдя еще немного, Сергей обнаружил тропинку, довольно торную, хорошо натопанную, которая, судя по всему,

и вела вглубь обширного пустыря — где-то там в этих буйных зарослях и скрыто японское кладбище. Почему Сергея так неудержимо тянуло туда, он не смог бы толком сказать. Одно знал: он должен там побывать и все увидеть своими глазами. Но что он мог там увидеть?

Июньские травы шуршали вокруг, тропа была твердой, почти как асфальт, и шла, не виляя; Сергей, двумя руками раздвигая нависавшие над ней будылья буро-зеленой гибкой поросли, будто плыл размашистыми саженками по крутым волнам, и чем дальше уплывал, тем увереннее становились его движения... Он прошел, наверное, уже метров двести, когда заметил, что заросли здесь пониже, погуще, стояли ровнее, дорожка вскоре и вовсе открылась. И Сергей, пройдя еще немного, вдруг увидел прямо перед собой подобие некоего рва, пересекавшего тропку. А точнее сказать, дорожка пролегла через этот неглубокий и малозаметный ров, ухотивший в стороны от нее — налево и направо, теряясь в густых непролазных зарослях; и теперь было ясно — это и есть огорожа японского кладбища. Никаких других путеводных знаков не бросалось в глаза. Лишь там, где дорожка пересекала ров, площадка была явно расширена, хорошо натоптана и как бы обозначала вход на эту печальную территорию. Сергей, невольно сдержав дыхание, перешагнул эту черту, прошел еще несколько шагов и справа, а потом и слева увидел низкие, почти бесформенные холмики, местами осевшие, как будто раздавленные и густо заросшие сорняками — безымянные могилы пленных японцев...

Сергей подошел ближе. Холмиков было много, очень много, они теснились, располагаясь буквально в полуметре один от другого, как будто и там, за пределами бытия, люди со своей неизжитой тоской по родине и родным хотели быть ближе друг к другу. Кто они, эти люди, наши враги? Да, конечно, коли взяты в плен с оружием. А может, они были славными, порядочными и любящими семьянинами, сроду не помышлявшими ни о какой войне? Но пришел час, их призвали, дали в руки оружие и приказали — защищай Родину. И они ее защищали! Кто прав и кто виноват? Для них этот вопрос теперь уже не стоял.

Холмики, холмики, затянутые лапушником и пыреем, рядом еще холмики, похожие на грядки, густо заросшие огородной спаржей. Чуть поодаль, в промежутках между этими холмиками, буйно и дерзко цвел репейник, а рядом, нависая над ним, кустился невесть откуда и каким ветром занесенный сюда конопляник. Запах от него исходил опьяняющий.

Сергей двигался по тропе, взглядывая налево-направо, но нигде не видел ни единого столбика или хотя бы колышка с дощечкой, указывающей, кто и когда здесь захоронен... Ничего этого не было. На всем видимом пространстве одна и та же картина – сплошные заросли дикого травостоя.

Идти дальше незачем. Сергей остановился. И вдруг поймал себя на мысли: а где же сейчас Таяма? Странно, Сергею хотелось, чтобы Таяма, с которым восемь лет назад пилили они дрова, выжил и вернулся к себе на родину. Может, так и было – и Таяма жил сейчас припеваючи где-нибудь на Хоккайдо или даже в самом Токио. А может, Таяма здесь и остался, на этой чужой для него земле, под каким-то из этих заросших спаржей и пыреем осевших бугров...

Внутри что-то торкнуло, Сергей вздрогнул и не то сам себя спросил, не то услышал некий сторонний голос: «Так ты что, врагов жалеешь?» И сразу не смог ответить. Круто развернулся и пошел обратно, в сторону хорошо видного отсюда поселка Мирный; достиг растоптанной заградительной канавы, преодолел ее в три шага и, глубоко вздохнув, подумал, а может и вслух сказал: «Нет, я не врагов, а людей жалею... лю-дей!»

Дорожка была прямая, он шел по ней, уверенно раздвигая руками густые травы, будто плыл по зыбкой воде. Вспомнил залив Петра Великого и улыбнулся: там сейчас вовсю купаются, если крейсер стоит на рейде; а если стоит у стенки – забудь о купанье.

Так он думал, себе улыбаясь, и вдруг увидел шедшего навстречу брата. Вадим шел, точно так же отводя руками хлесткие жгуты переспевших зарослей.

– Ты что это, брат, в самоволку подался? – громко и весело выкрикнул.



— Какая самоволка, я ж матери все сказал.

— Так мать мне и доложила: ушел, говорит, окрестности изучать, — посмеивался Вадим, вплотную приблизившись. — Вот я и догадался, какие «окрестности» поманили тебя. Ну, и что ты там увидел?

— А что там увидишь, — ответил Сергей. — Сплошной бурьян! Все заброшено. Почти никаких признаков кладбища...

— Да?! — удивленно и без всякой усмешки посмотрел на него Вадим. — А ты думал, там стоят гранитные обелиски?

— Нет, я так не думал. И все-таки...

— И все-таки... японское кладбище сохранилось, — твердо сказал Вадим. — Оно даже обнесено заградительной канавой. Заметил?

— Конечно. Дважды перешагивал через нее. Дорожка там торная...

— Ну, вот, а говоришь, бурьян высокий! Бурьян можно выкопать — остальное все на виду. Лично я уверен, есть и списки всех захороненных, лежат где-нибудь в архивах военных, — говорил он уже на ходу, двигаясь чуть впереди, Сергей держался за ним в кильватер. — Кстати, мы пленных не жгли в газовых камерах, — резко бросил Вадим, — у нас и камер таких не было... — добавил не очень уверенно. Трава, расходясь длинной волной, шуршала загадочно. — А ты знаешь, сколько наших солдат, офицеров и самых мирных, ни в чем не повинных людей за годы войны бесследно исчезло, сгорело в фашистских печах и газовых камерах? — круто обернулся и встал рядом с братом. — Миллионы и миллионы! (Вадим знал, что говорил, почти семь лет тянул он солдатскую лямку: ушел на фронт в конце 44-го, имея за плечами неполных восемнадцать, и вернулся домой лишь летом 51-го; последние три года служил в группе советских войск в Германии). Город Потсдам знаешь? — вдруг спросил, озадачив Сергея.

— Ну, не сказать, что знаю, но слышал о нем. Потсдамская конференция, кажется, проходила в сорок пятом, после войны... Позже ты служил там?

— Нет, в Потсдаме я не служил, наша часть в другом городке размещалась, неподалеку от Берлина, — уточнил Вадим. — Но

в Потсдаме бывать приходилось. Впрочем, все это рядом — Берлин, Потсдам, Заксенхаузен...

— Заксенхаузен?! Так это ж...

— Да-да, — подтвердил Вадим, — тот самый Заксенхаузен, гитлеровский концлагерь, фабрика смерти близ Потсдама. Я видел его приземистые, до жути мрачные и в то время уже пустые, безлюдные строения, окруженные великолепной природой — озера, луга, зеленые рощи, полноводная река Хафель течет в Эльбу — и благодатной, как говорили сами немцы, веймарской тишиной... Она, эта «фабрика смерти», как бы отдыхала от безумной своей работы, но хорошо сохранилась, стояла невредимой и, казалось, в любую минуту готова вновь завертеть все свои жернова, разжечь печи и пустить в небо тяжелый смердящий дым... — он сделал паузу, и Сергей невольно повел носом, словно ощутив тяжелый дух «фабричного» дыма. — У меня до сих пор холодит внутри от этой мысли, — признался Вадим. — Больше ста тысяч узников уничтожены там за годы войны. Больше ста тысяч! Страшно подумать. Цифра нас оглушила.

— Сто тысяч? — изумился Сергей. — Это же целый город!

— Да-да, и немаленький город. Но когда мы узнали о том, что в ряду многих фашистских концлагерей Заксенхаузен далеко не самый жестокий — в Майданеке, например, за это же время уничтожено полтора миллиона человек, а в Освенциме свыше четырех миллионов сгорели в его печах, бесследно исчезнув вместе с тяжелым дымом... И это только в трех концлагерях! А их по Европе были десятки, если не сотни... Так вот когда мы узнали об этом, — глухо и тихо подытожил Вадим, — нам уже не надо было объяснять — что такое фашизм. Мы знали его в лицо, — сказал он, выходя из высокой травы на ровное и открытое место. Бурьян кончился, и дорожка, вырвавшись на свободу, мигом раздвоилась и разбежалась в разные стороны. Открылся и поселок Мирный, светясь белым шифером крыш — как на ладони. Густой и сладкий запах сирени стоял в воздухе, в поселке, наверное, не было ни одного палисадника, где бы ни нашлось места этой лилово-сиреневой благодати... «Как тут хорошо!» — окатило вдруг Сергея необъяснимо нежное чувство. И Вадим,

будто уловив его настроение, объявил спокойно, легко и даже весело:

— Вот мы и подошли к главному, — что никак не вязалось с его недавним тоном.

Сергею показалось, брат хочет сказать еще что-то о фашизме, но Вадим к этой теме больше не вернулся — как будто и в помине ее не было. Они свернули на правый развилок, пошли рядом, то и дело касаясь друг друга, и Сергей, чуть выждав, спросил:

— А что главное? Хотя я догадываюсь, — тут же упредил, не стал ждать ответа. — Главное: построить свой дом, свою улицу, свой поселок... — как метки расставил. — Да он, ваш Мирный, и сегодня не портит городского пейзажа! — добавил с улыбкой.

— Правильно, — согласно кивал Вадим. — А вот годика через два наш Мирный станет... украшением этого пейзажа. И не только наш Мирный, — сказал и, круто повернувшись, остановился, махнув рукой в сторону: — Посмотри туда, — проследил за взглядом Сергея. — Что видишь?

— Вижу заводские трубы, целый лес черных заводских труб!

— Да, там же Заводской район, — подтвердил Вадим. — «Трансмаш», рядом котельный, чуть в стороне станкостроительный. А ты смотри левее. Там одним концом упирается в заводские кварталы, а другим концом уходит на северо-запад Приобска большая улица, она так и называется — Северо-Западная. Вот туда и смотри, на северо-запад. Что теперь видишь?

— Зрю в оба, — ответил Сергей. — Вижу три, нет четыре белокирпичных пятиэтажных дома. Абсолютно одинаковых, будто четыре близнеца.

— Все верно. Дома похожи, потому что однотипные.

— Понятно. Это как у нас два тихоокеанских крейсера, «Калинин» и «Каганович», тоже однотипные, — сопоставил Сергей. — Послушай, а ведь полтора года назад, когда я приезжал в первый отпуск, домов этих вроде не было... — вопросительно глянул на брата.

— Дома эти заложили прошлым летом, — сказал Вадим. — И вот, как видишь, четыре «близнеца» уже родились. Поточный метод! Нет-нет, это не моя выдумка, насчет поточного метода. Это

Никита Сергеевич сказал на одном из совещаний: строительство таких однотипных пятиэтажек надо поставить на поток и вести полным ходом, чтобы в самый короткий срок решить важнейшую, можно сказать, вопиющую проблему жилья в стране... Вот потому пятиэтажки эти, дома-близнята, и окрестили «хрущевками». Между прочим, новый рабочий поселок у нас в Приобске так и называли – Поток.

– А что, название великолепное! – одобрил Сергей. – Точнее не придумаешь.

– Кстати, два из четырех домов уже готовы, – сказал Вадим. – Там и наши трансмашевцы справили новоселье, у одного счастливого я побывал в гостях. Хорошая квартирка, со всеми удобствами. Правда, прихожка малюсенькая, не развернешься, и туалет с ванной совмещены. Но, думаю, со временем планировку поправят. А так все здорово! Надо отдать должное, Хрущев в этом деле не промахнулся, и люди за это ему благодарны...

– Слушай! – воспрянул Сергей, повернувшись к брату. – Так, может, и вам на Потоке, в одной из этих «хрущевок», дадут квартиру?

– Нет, нам не дадут, – покачал головой Вадим. – Мы в списках не значимся.

– Почему?

– Да потому, что имеем собственный дом.

– Но это же временка...

– Хм, временка, – усмехнулся Вадим, – такого обозначения нет нигде, ни в каких реестрах. Есть дом – и точка. Дощато-насыпной он или глинобитный – это не имеет значения. Дом стоит? Стоит. Вы в нем прописаны? Так точно. Жить в нем можно? Вполне. Вот и живите! Это первый посыл, – говорил он бодро, без тени сожаления или какого-либо уныния, скорее даже с веселой живинкой в голосе. – А второй посыл, – глянул сбоку на брата, – ну, это тебе известно: мы ж фундамент заложили под новый дом! Вот-вот начнем кладку. А там, глядишь, пойдет как по маслу – и через годик-другой возведем собственные хоромы. Как раз к твоему возвращению, – добавил многозначительно.

Они прошли краем поселка, обогнув угол, и ступили на улицу Катунскую. А там их уже поджидали! И первым от калитки, увидев отца, кинулся им навстречу Коля, побежал, семена изо всех сил, как могут бегать лишь люди в неполных три года...

— А вот это третий... самый главный наш посыл! — засмеялся Вадим, выставляя обе руки навстречу сыну, подхватил его на ходу и вознес над собой, будто на качелях: — Полетим, Никола?

— По...тим! — захлебнулся Коля от восторга, бесстрашно взлетая над отцовской головой. Дух захватывало, а ему все нипочем. — Ессё по...тим! — нетерпеливо вскрикивал он, болтая ногами в воздухе. — Ессё!

И они долетели до самой калитки, мягко там приземлившись.

Отпуск незаметно поубавился, не успел Сергей оглянуться, а две недели уже позади! А чем занимался? Съездил к тетке, старшей материной сестре, в деревню Сорочий Лог, дней пять пробыл. Смotalся потом на пару дней в Боровое — своих там почти никого не осталось. Собрались человек шесть съехавшихся на каникулы одноклассников, остальных будто ветром разнесло в разные стороны. Позже кое-кого видел в Приобске, но все это случайно, впопыхах, на бегу. Ну, как ты? Отлично! А ты? Да тоже ничего. Ну, бывай, мне тут позарез...

А главное: настроился помочь отцу и брату начать кладку дома. Ждал с нетерпением этих работ — руки чесались, что называется. И вдруг Вадим объявил: с кладкой придется повременить. Оказывается, «Трансмаш» получил какой-то очень важный и срочный заказ, так что в ближайшие две-три недели Вадиму предстояло работать без выходных. Отпуск его тоже сдвинули на середину июля.

— Ба! А мой отпуск к середине месяца тью-тью, — пригорюнился Сергей, — и я не позже четырнадцатого июля, как штык, должен быть на крейсере.

— Да что ты переживаешь, — успокоил его Вадим, — построим мы дом, никуда он от нас не денется. А ты приехал в отпуск — и гуляй, отдыхай себе на здоровье.

Вот и вся недолга.

Очнулся Сергей, можно сказать, на ходу, когда все отпускные события остались уже позади. Теперь предстояло скоротать дорожный остаток, шесть тягучих и утомительно однообразных суток в спальном вагоне скорого поезда, катившего из Сибири на самый Дальний Восток...

Приобск проводил Сергея тепло и солнечно. А ближе к Енисею сверкнули молнии, отсалютовал встречный гром и хлынул дождь вперемешку с градом. Поезд с гулом летел сквозь грозовые разряды, под ливнем, крупный белый град нещадно хлестал в стекла вагона; потом, уже за Байкалом, стихло, гроза отступила, прояснилось — и над бесконечной сибирской тайгой расплекалось горячее летнее солнце.

На одной из остановок Сергей сбегал и купил байкальского омуляка «с душком», щедро на столике разложил. Сосед достал свои запасы, подсел еще кто-то третий — и пошел пир горой... Ах, как хорошо жить на белом свете! — ликовал сосед, смакуя душистого омуляка. И впрямь хорошо... Ничто не предвещало беды. Поезд весело мчал их к намеченной цели.

Менялась погода, менялся пейзаж, менялись часовые пояса... Ни в одной стране земного шара, ни в одной, кроме России, нет столь громадных пространств и такой невероятной временной разницы! — подумал Сергей. И вдруг ощутил, как укол, острейшее нетерпение и желание поскорее вернуться на крейсер, в свою газетную команду (ребята, наверное, заждались), к своим привычным редакционным делам (как там редактор один управляется?), пальцы рук уже начинали потихоньку зудеть, соскучившись по перу и бумаге...

И такое чувство овладело Сергеем: будто съездил он в гости, повидал родных и знакомых, а теперь — возвращался домой. Домой! — выстукивали колеса. Что ж, это правда: там, где живет, служит, работает человек, и есть его дом. А как иначе?

14 июля 1954 года, нежарким, но приветливо ясным полднем, поезд прибыл во Владивосток. И Сергей, легко расставшись со своими соседями, вышмыгнул из вагона на перрон, затем на главную улицу и столь же легко, без всяких сложностей добрался до девятнадцатого причала. Здесь все знакомо до мелочей. Окинул

взглядом строгий порядок стоявших вдоль стенки кораблей — крейсера своего не увидел. Значит, флагман стоит на внешнем рейде по траверсу Русского острова, решил Сергей, отправляясь к дальнему, запасному пирсу, куда ежечасно подходят рейсовые катера. Ждать долго не пришлось. Минут десять спустя подвалил катерок, аккуратно приткнулся к пирсу, по трапу на берег сошли несколько человек, а среди них знакомый старшина торпедистов Гуляев, можно сказать, ближайший сосед. Увидел Сергея, шагнул навстречу, оживляясь:

— Привет отпускникам!

— Увы, уже не отпускник, — посмеивался Сергей. — Статус утрачен.

— Тоже верно, — посочувствовал торпедист. — А что там, в Сибири — небось, целинный хлеб собрали и снег уже выпал?

— Хлеб убирать еще рано, а в Сибири жара несусветная, — в тон ему пояснил Сергей. — Ну, а вы как тут, на крейсерах?

— Полный порядок, — доложил Гуляев. — Наш трехтрубный торпедный аппарат стоит на том же правом борту, а ваш типографский отсек тоже на своем месте, рядышком, глаза в глаза с нами. Так что не разминемся. Ну, будь!

Встряхнули еще раз друг другу руки. И разошлись — торпедист в город заспешил, а Сергей взошел на палубу катера; увидел двух явно скучавших молодых лейтенантов из БЧ-2, артиллеристы негромко разговаривали, бубнили себе что-то под нос, не замечая стоявшего в двух шагах Сергея. Подошли еще несколько человек. И катер, будто спохватившись, глухо загудел, слегка содрогаясь и реверсуя помалу, двинулся от причала, круто развернулся и побежал поперек залива Петра Великого, набирая хороший ход, потом резко изменил галс... Проплыли справа по борту живописные берега Русского острова, а слева по курсу тотчас обозначился великолепный профиль крейсера «Каганович». Душа Сергея сжалась и екнула, как будто крейсер он видел впервые и впервые готовился подняться на его палубу...

День был ясный, безветренный. Недвижно стояли на воде чальные бочки, так же недвижно, словно мраморные изваяния, сидели на них ленивые сонные чайки. Пахло морем.

И чем быстрее рейсовый катер приближался к флагману, заходя с правого борта, тем большее нетерпение охватывало Сергея: еще минут пять-шесть – и быть ему дома! Он видел, как дежурные боцманы аккуратненько сопроводили запасной трап сверху вниз, будто с неба спустили многоступенчатую лестницу, и в тот же миг рейсовый катер мягко припал к нему – тютелька в тютельку. Сергей пропустил вперед двух лейтенантов, уходивших вверх небожительно неспешно, и вслед за ними поднялся на палубу крейсера, двинувшись правым бортом в сторону шкафута, до самого торпедного аппарата. Привычно коснулся ближней трубы и, сделав два шага налево, остановился на миг у плотно закрытой, как всегда, двери. Сердце в груди бухало, словно в бочке. Сергей взялся рукой за железную скобу, слегка нажал ее и потянул на себя – дверь беззвучно, как будто сама по себе, отворилась, дохнув в лицо знакомым запахом типографской краски... И Сергей, еще не переступив коминга и не выпустив из руки чемодана, произнес негромко, но весело:

– Разрешите доложить!

Сидевшие за наборным столом разом вскинулись, отложили верстатки и, как по команде, шагнули к нему – Виктор Кусков, Антон Шмыга, Василь Зеленцов... по ранжиру.

– О-о! – будто в трубу прогудели, приветно улыбаясь и удивляясь одновременно, от души пожимая и тряся ему руку, похлопывая по плечам: – А ты загорел, Серега! И лицо у тебя округлилось. А мы ждали тебя только завтра...

– Сбились со счета?

– Ну да, Зеленцов просчитался, – хитро подмигивал и посмеивался Виктор Кусков. – А как там мой родной Искитим, ты ж проезжал мимо? – спросил как бы между прочим, заглядывая Сергею в глаза. – Стоит на том же месте?

– Неколебимо стоит, – заверил Сергей. – И привет тебе шлет. Интересует: как там, на крейсере, мой землячок? Отлично, горю, служит старший матрос Кусков, можете им гордиться.

– Спасибо за такую характеристику.

– А в Искитиме пробыл я целых двадцать минут, – добавил Сергей. – Успел за это время и по перрону пройти, и купить

у милых бабушек полдюжины вкуснейших пирожков с капустой и картошкой...

— Вот-вот! — подхватил Зеленцов. — Теперь понятно, отчего округлились у тебя щеки...

Дружно посмеялись, радуясь встрече. Дверь в этот миг распахнулась — и вошел Кужельников, чуть не столкнувшись с кучей малой.

— Что это за сабантуй устроили вы тут? — открыл было рот, но увидел Сергея, все понял и внешне остался спокойным, подчеркнуто безразличным.

— Ну, с прибытием, — не сказал, а выдал из себя, однако счел нужным поинтересоваться: — Как отдохнул?

— Устал чертовски, — пожаловался Сергей, заговорщицки переглядываясь с Зеленцовым.

— Устал... от чего?

— От безделья. Обленился изрядно.

— Ну, это дело поправимое, — буркнул Кужельников, проходя к своей любимой «американке». Это было в его духе, а «дух» свой Миша умел держать взаперти.

— Вот и я на это надеюсь. Ладно, ребята, — сказал Сергей, улыбаясь каким-то своим мыслям, — работайте, а я спущусь в кубрик. А потом... Кстати, редактор на корабле?

— Был здесь.

— Пойду, доложусь.

Лейтенант был приветлив. И краток — вопросов пустых не задавал. Сказал только как о само собой разумеющемся: «Итак, отдохнул хорошо, теперь впрягайся в работу». И уже вдогонку: «Да, и вот еще что: нам дают четвертого наборщика, положен по штатному расписанию. Между прочим, парень с Русского острова, из Школы оружия, и тоже артэлектрик». Заинтриговал, что называется.

Впрочем, Сергей и без того был хорошо настроен. Он вышел из каюты редактора и бодро зашагал к выходу на шкафут, но, не дойдя до двери, повернул направо и уже другим коридором двинул в сторону своего боевого поста №7 — вдруг захотелось посмо-

треть: жив ли курилка? Жив! Металлическая коробка, похожая на почтовый ящик, со всеми пломбами, висела на прежнем месте. Сергей дотянулся до нее и даже коснулся пальцами округло-продолговатой, как пуля, свинцовой пломбы. Полный порядок! Ну что ж, будем впрягаться в работу, вспомнил слова лейтенанта и улыбнулся, заряжая себя оптимизмом: «Раззудись плечо, размахнись рука... А где наше стило?» Будто кто-то его подтолкнул.

И наутро, 15 июля, после долгой (почти двухмесячной) отлучки старшина второй статьи Сережа Лепихин уже занял свое обжитое место в «редакционном углу» типографского отсека, удобно расположился, придвинул к себе пачку довольно плотно слежавшихся бумаг:

– Ну, и как тут у нас? – негромко спросил. – Паутина, небось, завелась...

– Да ты что, Сергей! – вмиг отреагировал Зеленцов. – Бумага твоих, ей-ей, мы не трогали, но пыль с них сдували...

– Да? – глянул на него Сергей. – Да-да, теперь вижу: полный порядок!

Покивал минуту спустя, перелистывая старые свои записки и явно что-то отыскивая.

– Спасибо, ребята, что бы я делал без вас... Нет, в самом деле, без всяких шуток, – сказал он и вдруг осекся, найдя, наверное, то, что искал. – Ага, вот это мне и надо! – обрадовался и вслух, как стихи, выразительно прочитал: «БЧ-5, братья-близнецы Климовы, оба котельные машинисты, оба спецы первого класса, отличники боевой подготовки, оба старшие матросы...»

– И все? – удивился Антон Шмыга. – Так о чем тут писать?

– Не горюй, Антоша, остальное доищется, – пообещал Сергей.

Посмеялись от души, и Зеленцов похлопал Антона по плечу:

– Ну, ты и юморист, Шмыга, тебе бы в цирке работать, а ты за наборным столом сидишь.

– Так это у него временное занятие, – подсказал Виктор Кусков.

А Сергей, загоревшись уже и не откладывая на после, в этот же день сгонял в кубрик котельщиков, разыскал братьев Кли-

мовых и познакомился с ними накоротке. Братья оказались настолько разными, непохожими один на другого, что в какой-то момент, разговаривая с ними, Сергей усомнился: да близнецы ли они?! Один высокий, другой на полголовы ниже, один шатен, другой блондин, один спокойный, медлительный и немногословный, другой как будто весь из пружин и за словом в карман не лезет... И даже в курении братья категорически разошлись: один смолит всюю, а другой на дух табак не принимает. «Ну, дайте вы, ребята, — сказал им Сергей, смеясь, — я думал, братья-близнецы, как две капли похожи, а вы...» — «А мы такие-сякие и разные, — ответил «пружинистый» Климов, тоже смеясь. — Что, не подходим?» — «Наоборот! Это же здорово, что вы разные», — сказал Сергей. И предложил встретиться еще разочек, в более свободное для них время. Сговорились на послезавтра, 17 июля. И Сергей вышел из кубрика котельщиков окрыленным, не замечая, что впрягся уже в работу; и что корабельная служба не исподволь и враскачку, как ожидалось, а с ходу и разом втянула его в свою крутую и давно наезженную орбиту.

Последний шаг

Лето 1954 года достигло вершины и покатило вниз. 16 июля день был спокойный, безоблачный, не предвещавший каких-либо перемен – обычный рабочий день, расписанный по часам и минутам. Впрочем, и типография не выпадала из общего корабельного ряда, хотя жила и работала строго по своему внутреннему распорядку. А иначе – газету не сделаешь. Сразу после завтрака старшина первой статьи Кужельников запустил печатную машину и мигом отшлепал, тиснув три экземпляра корректурных полос. Один экземпляр тут же, из рук в руки, вручил Сергею, другой для пущей важности оставил при себе, а третий, свернув аккуратным рулончиком, отнес в каюту редактора.

Все шло своим чередом. Наборщики заняли свои места, вооружившись верстатками. Сергей примостился за этим же столом, в «редакционном углу», положил перед собой еще тепленькую, влажноватую корректурную полосу и, вдыхая привычный запах типографской краски, углубился в читку, точнее, вычитку очередного номера (самой лучшей в мире) газеты «Вперед!», потратив на это часа полтора. Потом, чуть погода, явился редактор с готовой своей корректурой – и они, встав рядышком, сверили и свели воедино обе правки. Полный лад! Редактор был в хорошем настроении и не скрывал этого:

– Итак, с рутинной покончено! Теперь слово за вами, – сказал он, передавая Кужельникову общую правку. – Ждем сигнальные к шестнадцати ноль-ноль. Успеете?

– Постараемся, товарищ лейтенант.

– Постарайтесь, – кивнул редактор и, как всегда, оборвав на полуслове, неожиданно вышел. Что ж, все остальное и без слов понятно.

– Правку внести до обеда, – распорядился Кужельников.

– Сказано – сделано, – ответил за всех старший матрос Кусков.

И работа пошла! А перед обедом, радуя слух, корабельное радио объявило: «Команде приготовиться к купанию».

Все в этот день ладилось как никогда. И купание было великолепным. Вода в заливе Петра Великого отменно хороша, где-то ближе к 30 градусам Цельсия, плавать в такой воде одно удовольствие, не хочется из нее выходить. Да к тому же полный штиль, вода неподвижна, прозрачна, с оттенком ультрамарина... Кажется, не ты держишься на воде, а вода тебя держит. После такого купания и будничной обед показался невероятной роскошью. Борщ – чудо, на второе картофельное пюре с добрым куском красно-рассыпчатой ароматной горбуши – объеденье! Не говоря уже о компоте...

А потом – тихий час. Но тут и сказать нечего! Коснулся головой подушки – и нет тебя, уплыл куда-то за пределы вселенной и, наверное, не вернулся бы никогда, если бы не свисток дневального. «Подъем!» – заблажил он весело, словно вознамерился поднять не кубрик комендорский, а саму вселенную.

Славным выдался этот безоблачный день, 16 июля, все шло как по маслу. В половине шестнадцатого Сергей прибежал в типографию, а там, на столе наборном, лежат еще тепленькие, только что отпечатанные сигнальные экземпляры, в сущности, готовой уже к выходу газеты «Вперед!». Осталось внимательно просмотреть ее, сверить правку и ждать, когда редактор подпишет свое короткое резюме: «В печать». Но за этим дело не станет. Редактор вскоре зайдет, поставит свою витиевато-размашистую подпись и скажет: «Тираж отпечатать завтра утром». Впрочем, это не приказ, а скорее констатация, поскольку выход очередного номера газеты «Вперед!» предусмотрен графиком именно завтра, 17 июля. А график ни при каких обстоятельствах срывать нельзя. Даже если с неба посыплются камни...

Вот в этот момент и объявился Василь Зеленцов (только что с полубака), весь пропахший табачным дымом, и с ходу выложил:

– Ребята, похоже, завтра выходим в море.

– Это откуда у тебя такие сведения? – поинтересовался Кусков.

– Весь корабль об этом говорит.

– А кораблю откуда знать?

– Только что прибыл на крейсер Клевенский.

– Ну, и что? Он часто у нас бывает. Контр-адмирал держит на крейсере свой флаг, чему же тут удивляться.

– Есть чему, – загадочно произнес Зеленцов, прошел и сел на свое место спиной к столу. – Антоша, подскажи, сколько там на твоих серебряных? – спросил Шмыгу, хотя у самого на руке часы. Тот быстро глянул и ответил:

– Через двадцать минут ужин.

– Во! Точнее не скажешь, – засмеялся Кусков. – И что дальше?

– А дальше ты мне скажи: можешь ли ты припомнить, когда адмирал являлся на крейсер так поздно, чуть ли не глядя на ночь? – спросил его Зеленцов.

– Нет, не помню. И что это значит?

– Так это ж понятно: коли адмирал так поздно явился на крейсер, значит, завтра утром или в крайнем случае в первой половине дня поднимем якоря – и айда через Лаперузу в Охотское.

– Ну, дорогой, это всего лишь твои догадки.

– Спорим?!

– Отставить споры, – вмешался Кужельников. – И хватит болтать. Правильно вон Шмыга подсказывает: через двадцать минут ужин.

– Теперь уже через пятнадцать, – уточнил Кусков, глянув на свои часы.

– Тем более. Кто сегодня бачкует? Отправляйтесь в кубрик и готовьтесь к ужину, – распорядился старшина. – Остальное без вас решится.

И как будто в воду глядел.

Остальное, непредвиденное и самое страшное, р е ш и л о с ь без них, глубокой ночью, когда весь (почти тысячный!) экипаж

флагманского крейсера «Каганович» крепко спал и не ведал еще никакой беды, не видел ее и во сне; и даже тогда, когда горнисты сыграли звонкую утреннюю зорю, никто ничего еще не знал и помыслить не мог о случившемся.

Сергей помнит, что в первый момент после пробудки, прибирая постель, он подумал: а вот сейчас, вслед за этим, сыграют другую музыку и объявят, как всегда, громко и весело: «Всем стоять по местам, с якоря сниматься!» И крейсер, запустив обе турбинные установки, двинется в море. Наверное, многие в то утро так думали и ожидали такого поворота. Но вместо этого по трапу четко простучали чьи-то ботинки, кто-то сбегал с палубы в кубрик и с ходу, не переводя духа, выпалил эти два жутких слова, будто в упор ударил дуплетом:

– Клевенский застрелился.

Никто этому не поверил. Никто! Это было немислимо. Как застрелился? Кто это видел?

– Вестовые видели, – сказано было твердо. – Они первыми и в каюту флагмана вошли.

– А где он сейчас?

– Кто?

– Адмирал.

– Его еще ночью на катере переправили в город.

– Он жив? – с робкой надеждой кто-то спросил.

– Нет. Он умер сразу... в своей каюте.

И все! Большого добиться не удалось. Вдруг все замкнулись, никто ничего не знал – глухая стена. Сергей попытался хоть что-то выведать у редактора, но для лейтенанта разговор этот был в тягость.

– Товарищ лейтенант, что случилось с Клевенским? И как это произошло? – спросил Сергей, выбрав момент.

– Сегодня ночью контр-адмирал Клевенский умер в своей каюте, – с большим промедленьем и с явною неохотой ответил редактор. – Вот все, что я знаю. А как произошло, это мне неизвестно.

– Извините, товарищ лейтенант, но я спрашиваю потому, что утром, сразу после пробудки, кто-то спустился в наш кубрик

и с ходу, не переводя духа, объявил: «Клевенский застрелился». И никаких колебаний, никаких сомнений в его голосе я не услышал. Застрелился — и все.

— А что ты хочешь от меня услышать? Чтобы я подтвердил это? — довольно жестко и холодно спросил лейтенант, стараясь замять неприятный и ненужный разговор. — Но я не могу подтвердить. Потому что никаких выстрелов не слышал. — И, помедлив, добавил: — Ты же знаешь, моя каюта от флагманской далеко. Вот здесь и поставим точку! — говорил, не глядя Сергею в глаза.

И стало понятно: истинную причину смерти контр-адмирала Клевенского зачем-то решили (кто решил?) скрыть от матросов, от всего личного состава крейсера «Каганович», а может, и всего флота...

Хотя как это сделать, если ранним утром, 17 июля 1954 года, сразу после пробудки, когда экипаж флагманского крейсера был на ногах, все уже знали: «Клевенский застрелился!» И ничто более, никакие особые доводы не могли опровергнуть этого факта, убедить в чем-то другом и, тем более, утаить или даже «подменить» непоправимо трагический этот шаг. «Вестовые не будут врать, — говорили между собой матросы и были правы. — А зачем вестовые стали бы врать?» — вот это и была, что называется, голая правда.

И тогда как бы сам по себе возник самотек, сильно похожий на игру в прятки: матросы знали одно, командование знало то и другое, но вело себя так, будто ничего не знало, не ведало, потому и хранило молчание. Никаких объявлений, разъяснений, никакой мало-мальски толковой информации (даже крейсеровская газета «Вперед!» не могла отозваться на это печальное событие — кто бы ей разрешил?) — глухая стена.

А сказать было что! Но как об этом скажешь? И где тут граница между правдой и умолчаньем? Да и надо ли «голую» правду обнажать до конца?

Мало кто знал, что буквально в канун этих жутких событий контр-адмирал Клевенский слетал в Москву. Пробыл там недолго, решая какие-то вопросы (на что уполномочен) в Главном

Морском штабе, где у него было немало друзей и близких знакомых. Чем его там обогатили, обнадежили или, наоборот, повергли в уныние предвестием новой грозы, нависшей над флотом российским? И, как бы между прочим, остороженько поведали о том, что Никита Сергеевич вдруг, закусив удила, вознамерился сам лично заняться флотом и навести там порядок... И наведет... тень на плетень! Готовый же проект «Обновление и строительство сбалансированного современного флота», выношенный годами и представленный морским Главкомом Адмиралом флота Кузнецовым, и в расчет не примет! Вот что обидно...

А может, и не было таких разговоров, держалось все в уме? Одно теперь известно: вскоре по приезде из Москвы, 16 июля, вечером, контр-адмирал Михаил Сергеевич Клевенский прибыл на флагманский крейсер «Каганович», стоявший на внешнем рейде залива Петра Великого, и в сопровождении командира корабля проследовал в свою каюту. И все! Остальное покрыто мраком. Зато понятно стало, почему именно в е ч е р о м Клевенский поднялся на борт крейсера. Адмирал хотел быть и остался до конца на своем боевом корабле. Стояла глубокая ночь, 17 июля 1954 года...

Три дня спустя после этого невыносимо тяжелого трагического исхода кто-то из наборщиков, кажется, Виктор Кусков, спросил зашедшего в типографию редактора:

— Ну что, товарищ лейтенант, похоронили Клевенского?

— Похоронили.

— На Морском кладбище? — но это уже встрял Зеленцов.

— Для адмирала теперь любое кладбище — «морское», — помедлив, сухо и загадочно ответил лейтенант, явно чего-то не договаривая.

Но Сергею крепко запало в голову: контр-адмирал Клевенский похоронен на Морском кладбище Владивостока. Так считал он многие годы.

А было не так...

И лишь тринадцать лет спустя недоговоренность редактора внезапно раскрылась — и стала понятной странная ее подоплека. Однажды ясным и теплым сентябрьским днем 1967 года Сергей

Лепихин, учившийся в то время на Высших литературных курсах в Москве, с группой своих сотоварищей (слушателей по тем временам, безусловно, элитарного ВЛК), загодя сговорившись, отправились на Ваганьковское кладбище, чтобы поклониться могиле великого русского поэта...

Добрались без всяких помех.

Солнце к полудню рассиялось вовсю. Червлёным золотом горели столетние тополя. Редкие высокие облака, будто цветные аппликации, недвижно висели в небе. Горьковатый запах, растворённый в воздухе, слегка кружил головы... И на всем тут лежала печать незыблемой вечности, необратимости и умиротворения. Разговаривая вполголоса, группа приблизилась к могиле поэта и тотчас увидела подле нее маленькую женщину, скромно одетую, в легком сером плащике и с какой-то светлой печалью не только в глазах, но и в каждом своем движении. Появление группы довольно молодых и достаточно представительных людей, кажется, ничуть ее не смутило и не удивило, она посмотрела на них внимательно-благодарно и мягко улыбнулась. Они объяснили, кто и откуда, уже догадавшись, что перед ними одна из сестер Есенина. Думали, Сашенька... Александра Александровна, но оказалось — Катенька... Екатерина Александровна. Обе сестры жили тогда в Москве. Она доверчиво посмотрела на них, словно догадываясь о чем-то сокровенном, и вдруг попросила: «Почитайте Сережины стихи. Он очень любил слушать...»

И они, поддавшись обаянию этой милой и скромной женщины, охотно отозвались на ее просьбу. Голос (уже тогда считавшегося основоположником и тончайшим лириком мансийской литературы) тридцатилетнего Ювана Шесталова распевно и мягко прозвучал над могилой Есенина:

*Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня...*

И хабаровский поэт Михаил Асламов, опережая Ювана (съехались поэты и прозаики на ВЛК со всего Союза), мигом подхватил есенинские слова:

*Белый ангел этой полночью
Моего увел коня...*

Читали много и с упоением. Души оттаяли и распахнулись на встречу добру. Потом, когда направились к выходу, Юван вдруг притормозил и сказал: «А давайте пройдем к могиле Вероники Тушновой. Здесь совсем недалеко, по этому же порядку... Похоронили ее два года назад. Прекрасная поэтесса! И красивейшая женщина...» — говорил он о ней, как о живой, двигаясь мимо чьих-то могил и памятников. Остальные держались за ним и вскоре остановились, увидев простенький обелиск на довольно прибранной и ухоженной могиле Вероники Тушновой.

Постояли молча. Потом кто-то вздохнул и тихонечко, нараспев повторил: «Белый ангел этой полночью Моего увел коня... — и еще глубже вздохнул: — Она была совсем еще не старой, Вероника Тушнова, жить бы да жить...» И опять молчанье, глубокое и печальное. «А сосед у нее надежный, он в обиду ее не даст», — вдруг сказал Михаил Асламов, все оживились, задвигались. И Сергей Лепихин, обернувшись, прямо перед собой, справа от могилы Вероники Тушновой, увидел массивный гранитный постамент с бюстом военного (их памятники стояли рядышком, бок о бок), и первое, что бросалось в глаза — фамилия, крупно и рельефно высеченная на темно-серой плоскости тяжелого гранита: КЛЕВЕНСКИЙ. Сергей оторопело замер, не веря своим глазам. Неужто однофамилец? Взглянул снова на бюст — точная копия контр-адмирала Клевенского! И не только фамилия, но имя, отчество, звание, даты рождения и смерти — все совпадало, не говоря уже о портретном сходстве. «Ребята, — сказал Сергей, изрядно волнуясь и не отводя глаз от бюста Клевенского, — это же наш адмирал, он держал свой флаг на крейсере...» И очень коротко, сбивчиво поведал о том, кто он такой, Михаил Сергеевич Клевенский, почему держал флаг на крейсере, как внезапно оборвалась жизнь адмирала...

А вот как оказался он здесь, на Ваганьковском, это долго еще оставалось для Сергея загадкой. И только позже он понял, что никакой тут загадки нет — Клевенский был коренной москвич, любил Москву, потому и похоронен здесь.

Но почему тогда, в те дни, сотворили из этого столь немислимую тайну? Сергей помнил, какой плотной, почти непроглядной

завесой умолчанья был окружен крейсер «Каганович», где помощник командующего Тихоокеанским флотом по строевой части контр-адмирал Клевенский чувствовал себя, как дома, держал на крейсере свой флаг и провел последние часы жизни.

Истина как бы позволила вплотную приблизиться к себе, но полностью так и не открылась. Много лет спустя, будет сказано о Клевенском: «Единственный советский адмирал, принявший смерть на борту боевого корабля». Единственный! Вот и все... Адмиралу было сорок девять лет. Приближался первый его юбилей – пятидесятилетие (8 ноября 1954 года), дата круглая, прости до которой оставалось всего лишь три с половиной месяца. И вдруг разом все обрывается. Необъяснимо!

Возможно, Клевенский, только что вернувшийся из Москвы, знал и предвидел нечто такое, чего не знали другие, какую-то непомерную тяжесть тащил в себе и даже, вполне вероятно, к чему-то внутренне был готов...

Однако последний шаг контр-адмирала Клевенского так и остался загадкой.

Сдача Порт-Артура

Но время не делает остановок, летит себе и летит с неизменной скоростью. Не успели оглянуться, а лето уже позади. Приспела осень с холодными и сырыми муссонами, тянувшими с ближних и дальних берегов... Личный состав флота приодели в форму «четыре», утеплив бушлатами, хотя октябрь только-только начинался, до перехода на зимнюю форму было еще далеко.

Вот в это прохладное время и поступила на крейсер сверхважная весть, тотчас (по приказу командира) объявленная во всех боевых частях, командах и службах, не остались в стороне и корабельные газетчики – они-то, люди оперативные, узнали об этом чуть ли не первыми.

Утром, вскоре после завтрака заглянул в типографию редактор. Наборщики уже заняли свои места, выдвинув кассы со шрифтами и б1держа в руках пустые пока верстатки; Сергей, сидя в «редакционном углу», что-то строчил, шурша пером по бумаге; а старшина Кужельников, как всегда озабоченно-хмурый, топтался подле «американки», готовя, миленькую, к новым трудам и свершениям...

Редактор вошел в отсек, все разом поднялись, приветствуя начальство – привычный воинский ритуал, вроде разминки.

– Ну, как служба? – спросил редактор.

– Полный порядок, товарищ лейтенант.

– Моряк спит, а служба идет, – не преминул добавить Зеленцов, переиначив солдатскую поговорку.

– Надеюсь, моряк Зеленцов уже проснулся?

– Так точно, товарищ лейтенант, проснулся как штык!

– Не как штык, а как верстатка, – поправил его Кусков.

Посмеялись – тоже разминка и хороший настрой с утра.

— А теперь внимание — известие исключительно важное, — сказал редактор таким тоном, что все разом подтянулись и замерли в ожидании чего-то исключительно важного. Но редактор, наверное, для пушей значимости, излишне затянул паузу, и Зеленцов, не выдержав, прямо-таки с театральной приподнятостью спросил:

— Что, товарищ лейтенант, к нам едет ревизор?

— Цыц! — рыкнул на него Кужельников. — Прикуси язык.

(Знал бы старшина, что через два десятка лет Василек станет не просто актером, а заслуженным артистом республики).

Однако лейтенант не выказал недовольства:

— Бери выше, Зеленцов, — сказал он спокойно, сохраняя все тот же тон, загадочно строгий и разжигающий нетерпение. — В первой половине октября к нам, на Тихоокеанский флот, прибывает правительственная делегация во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым.

— Ого! — дружно выдохнули наборщики. — Ничего себе, «ревизор»...

— И это еще не все, — сказал редактор. — Хрущев намерен побывать на одном из кораблей, сходить в море и лично присутствовать и наблюдать с командирского мостика артиллерийские стрельбы...

— И что это за корабль? — спросили разом.

— А вы не догадываетесь? — заинтриговал еще больше редактор. — Принимать столь высоких гостей по статусу положено только флагману.

— Так это ж наш крейсер!

— Правильно. Значит, нашему крейсеру и положено быть наготове к приему высоких гостей.

— Товарищ лейтенант, а когда прибывает Хрущев?

— Точной даты пока нет. Дело в том, что сначала Хрущев отправляется в Китай, — пояснил редактор. — Сколько там продлится его визит, нам неизвестно. А вот на обратном пути он заедет во Владивосток. Но об этом сообщает дополнительно. Так что будьте начеку, — добавил многозначительно, — и постарайтесь типографию содержать в полном порядке.

— А что, Хрущев может и в типографию зайти?

— А почему нет, вполне возможно, — сказал редактор, пряча усмешку. — Пойдет Никита Сергеевич по кораблю, остановится, скажем, подле правобортного торпедного аппарата, увидит дверь напротив и заинтересуется: а что там, за этой дверью? И зайдет! Этого нельзя исключать. Надеюсь, теперь все понятно? Добро. Продолжайте работать, — на этой будничной ноте и закончил редактор утреннюю летучку.

Но события назревали далеко не будничные.

Началом тому послужила поездка в Китай осенью 1954 года большой и довольно представительной делегации во главе с Хрущевым. Сопровождали Никиту Сергеевича заместитель председателя Совмина СССР и министр торговли Микоян, председатель ВЦСПС Шверник, первый секретарь МГК партии Фурцева, министр обороны Булганин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Шелепин, Главком войсками Дальнего Востока Маршал Советского Союза Малиновский, Главком ВМФ Адмирал флота Кузнецов...

Что ж, состав делегации выглядел вполне солидно и основательно, хотя более изощренный взгляд мог бы заметить и явный пробел — в таком обширном составе не нашлось места министру иностранных дел Молотову. А жаль! Вячеслав Михайлович, опытейший дипломат, в любом случае не испортил бы обедни, напротив, смог бы помочь Хрущеву лучше разобраться в довольно сложных хитросплетениях международной обстановки, а если надо и остеречь его от излишне резких и опрометчивых шагов, которых сгоряча Никита Сергеевич наделал уже порядком...

Но что-то у них не заладилось! И Молотов был отстранен от этой важнейшей поездки. Видимо, Хрущев опасался, что здесь, в пекинских переговорах, Молотов ему не помощник. Причины же этих опасений немногим были известны: Молотов, равно как Маленков и Каганович, далеко не всегда одобрявшие пылкие реформаторские замашки Хрущева, подверглись высочайшей немилости — портфелей пока не лишились, но отодвинуты были наглядно.

Впрочем, сам Никита Сергеевич по прибытии в Пекин держался уверенно и бодро. «Встретили нас очень радушно, — де-

лился первыми впечатлениями. — Да и мы были очень рады побывать на китайской земле...» Однако вскоре — после двух-трех встреч и доверительных бесед с Мао — заметно потускнел и сжался, как пружина, готовая в любую минуту сорваться. «Знаешь, Анастас, — говорил Микояну, — боюсь, конфликта с Мао не избежать». Так все складывалось. «Мы любезно обнимались и целовались с Мао, плавали вместе в бассейне, болтали по разным вопросам, душа в душу проводили все время, — горевал Никита Сергеевич, излагая позже причины неизбежного конфликта. — Отдельные же вопросы, которые возникали и вставляли перед нами, настораживали... Политика — это вообще игра. И Мао проводил свою политику, вел свою игру... А потом грянул все же конфликт. Когда Мао стал вести явно неправильную политическую линию и выдвинул лозунг “Пусть расцветают сто цветов”, он при встрече со мной спрашивал: “Товарищ Хрущев, как вы смотрите на “Сто цветов”?” Я отвечаю: “Товарищ Мао Цзэдун, мы просто такого не понимаем”. Конечно, мы не публиковали своего мнения по этому вопросу. Мао я сказал: “Мы этого не понимаем. Потому что цветы существуют разные: полезные и противные, просто вредные”. Мао согласился, что нам это не подходит. (Похоже, с улыбкой отметил Никита Сергеевич, дескать, вот как мы поставили человека на место, осталось хлопнуть его по плечу и снисходительно похвалить.) Он человек умный и сам понимал, что раз мы ничего не публикуем в данной связи, значит, мы не согласны».

А с чем нужно соглашаться или не соглашаться? Трудно понять. Судя по всему, Хрущеву и невдомек было, что в этом вопросе (восток — дело тонкое!) он порядком опростоволосился. Мао, действительно, умный и с глубокой подкладкой человек, призывал Никиту Сергеевича отнюдь не цветоводством заниматься, а совместно, в содружестве строить и укреплять «стоцветный» миропорядок на Земле... Знать бы тогда Никите Сергеевичу, что спустя каких-нибудь полсотни лет, уже в XXI веке, российский президент Путин во всеуслышание провозгласит свое кредо: мир должен быть многополярным! А разве не такая же идея лежала в основе «Ста цветов»? Но Хрущев не понял, не

сумел ее разглядеть (слишком «по-азиатски» сказано!) и поссорился с Мао на этой почве изрядно. Правда, и Мао впоследствии не выдержит и довольно основательно растопчет этот «стоцветный букет»... Но об этом лучше знают сами китайцы.

Позже Никита Сергеевич, посмеявшись над «Ста цветами», не без издевки вспоминал: «И вдруг Мао выдвигает новую идею: в пять лет догнать Америку. Начал у себя организовывать коммуны, создавать бытовые домны-самовары... Тут уж встали принципиальные вопросы направления дальнейшего развития страны. Мы не могли идти за Китаем, — твердо обосновал. И добавил не без обиды: — А теперь философ Юдин все сваливает на личности...»

Разумеется, «личностью» этой был сам Хрущев, а «философ Юдин» в то время являлся советским послом в Китае и по долгу службы внимательно следил за довольно поспешным, порою излишне горячим и нервным переговорным процессом. Горячностью-спешкой во многом грешил Хрущев, рубил сплеча. Павлу Федоровичу Юдину в какой-то момент показалось, что Никита Сергеевич задался целью раз и навсегда порвать старые связи двух государств, переведя отношения на некие новые рельсы. И не скрывал этого, говорил прямо: «После смерти Сталина мы ликвидировали все неравноправные договоры». Но неужто все договоры послевоенного («сталинского») периода оказались **н е р а в н о п р а в н ы м и ?**

Особенно болезненно-остро шли переговоры о статусе Порт-Артура и Дальнего, славная история которых неизменно связана с российским флотом. И хотя Никита Сергеевич уверял: «Особых вопросов к Пекину у нас нет, кроме общих проблем обороны», вопрос о Порт-Артуре пришлось поставить ребром. Советские войска и флот незамедлительно должны и будут выведены из Порт-Артура во Владивосток. Мао Цзэдун упорно с этим не соглашался: «Товарищ Хрущев, зачем же такая спешка? А договор! Он же заключен на тридцать лет, аж до 75-го года, и предусматривает наши взаимные интересы. А вы его рвете в одностороннем порядке, оставляя нас один на один с большими проблемами...»

Хрущева задел и покоробили эти слова, особенно тон, каким они сказаны были, но он сдержался и продолжал стоять на

своём: «Больших проблем, товарищ Мао Цзэдун, мы здесь не видим. Да их здесь и нет», — убежденно добавил. «Сегодня нет, а завтра появятся, — не уступал Мао. — Американцы увидят, что вы оставили Порт-Артур, и создадут эти проблемы. Янки уже прочно в Южной Корее обосновались, там у них крепкая база. А это совсем рядом. Желтое море тесное...» — «Вот там пусть и остаются! — отрубил Хрущев. — А в Порт-Артур они не полезут». — «Вы уверены?» — спросил Мао. «Абсолютно уверен. Хотя черт его знает? — вдруг почесал затылок и, снизу вверх посмотрев на Мао, признался: — Когда с американцами дело имеешь, никакого ручательства быть не может, это у них в крови — всех покорять, всем диктовать, это у них с сорок пятого года, особенно разожгла их атомная бомба, вот они и хорохорятся до сих пор... Но такая политика недолговечна. А вы, товарищ Мао Цзэдун, не сомневайтесь, мы оставляем вас на Ляодуне не с пустыми руками — все движимое и недвижимое вам передаем. Это первое. А второе: если вдруг янки заекозят и пойдут на какую-то провокацию, мы ж тут рядом, во Владивостоке, и немедленно выступим вам на помощь. Защитим — будьте уверены, у нас есть чем ответить и мы умеем это делать...»

Вот здесь и прервем диалог, дадим слово Никите Сергеевичу: «Так мы договорились и поручили нашим представителям приступить к оформлению договора о выводе советских войск из Порт-Артура», — заключил он аккуратно, уложив свое резюме буквально в две строки.

И в тот же день распорядился поделить делегацию на две группы, одна из которых может вернуться в Москву, а другая, состоявшая из пяти человек (Хрущев, Микоян, Булганин, Малиновский, Кузнецов), отправится в Порт-Артур, а затем поездом во Владивосток. Поездом? Да-да, но это позже.

А 12 октября 1954 года прибыли на южную оконечность Ляодунского полуострова в Желтом море. Порт-Артур встретил их настороженно и хмуро. Низко над Саперной горой, будто зацепившись за ее вершину, висела тяжелая серая туча. Глухо шумели и клокотали, схлестываясь, холодные непроглядно-свинцовые воды Ляодунского и Западно-Корейского заливов, омывая западный и восточный берега полуострова...

Было далеко за полдень, когда порт-артурское начальство во главе с генерал-полковником Швецовым, поеживаясь на сквозном ветерке, тянувшем от Саперной горы, оживилось и потихоньку двинулось навстречу Хрущеву, как только он вышел из вагона. Отстав на полшага, сопровождали его Микоян, Булганин, Малиновский и Кузнецов. Столь солидного представительства Порт-Артур еще не знал! И, кажется, возгордился немножко.

Взахлеб ударила медь встречного марша. Швецов, как и положено, отрапортовал и представился Первому секретарю ЦК. Хрущев пожал ему руку и что-то сказал. Одет был Никита Сергеевич хоть и по сезону, но как-то немножко пестро и небрежно: светло-серые брюки и черное длиннополое пальто, заметно обвисшее, будто с чужого плеча, белый (или почти белый) шарф и темно-серая шляпа, низко сдвинутая на брови. Но вряд ли кто-то из встречавших обратил взор на эти мелочи, всех занимал другой вопрос: с чем пожаловал Никита Сергеевич и что ждет порт-артурцев? Ведь просто так, для прогулки, вряд ли он поехал бы сюда, на край света, да еще прихватив заодно министра обороны и Главнокомандующего ВМФ. Ясно было: грядут какие-то перемены! А какие? Придется до завтра подождать.

Высоких гостей, не держа на холоде, усадили в две легковушки и мигом доставили в Алексеевский дворец — там все готово к приему.

А по городу разнеслось: Хрущев приехал! И разговоры, разговоры на Квантуне, всевозможные гадания, предположения — в частях и подразделениях почти стотысячной 39-й армии, в авиакорпусе, на боевых кораблях военно-морской базы, в самом Порт-Артуре, а это уже не одна сотня тысяч — армейцы, авиаторы, моряки и, наконец, многочисленные офицерские семьи... Не будем говорить о китайцах, проживающих и работающих здесь, на Квантуне, постоянно, хотя им тоже любопытно — зачем явился Хрущев?

Ждали чего-то невозможного. И, как всегда, в таких случаях лишены были всякой информации. Связь одна — слухи.

Вот назавтра утром и принесли ласточки на хвостах: «Только что в своей резиденции (в Алексеевском дворце) Хрущев созвал

срочное и чрезвычайно важное совещание, на котором присутствует лишь самое высокое командование Порт-Артура». Все так и было. Разве что с Алексеевским дворцом ласточки, пролетая мимо, что-то напутали.

Тем не менее, ровно в десять ноль-ноль 13 октября (несчастливое число!) 1954 года началось это совещание.

Хрущев, нахмуренно-строгий и нахохлившийся, слегка откинувшись в кресле и расстегнув пиджак, единолично восседал в торце стола. Справа и чуть поодаль, боком к нему сидели Микоян и Булганин, рядом с министром обороны устроились генералы Швецов и Пенионожко, а слева от Хрущева и так же чуть поодаль и боком к нему – Маршал Малиновский и Адмирал флота Кузнецов.

Хрущев, не поднимая головы и ни на кого не глядя, кивнул:

– Начнем?!

Швецов быстро встал:

– Разрешите доложить сегодняшнюю обстановку и положение наших войск на театре Квантуна, – сказал он спокойно, держа под рукой на столе листки, должно быть, с тезисами доклада, подготовленного специально к приезду Хрущева, чтобы ввести его в курс дела. И, не заглядывая в эти листки, сразу же перешел к характеристике военно-морской базы, можно сказать, головной части всего боевого состава. Генерал-полковник Швецов командовал 39-й армией, которую принял еще зимой сорок первого под Москвой, дошел с нею до Кенигсберга, а в августе сорок пятого, пройдя с боями через Большой Хинган, 39-я армия с ходу взяла Порт-Артур, освободив его после сорокалетней оккупации, и встала здесь, на Квантуне, крепким заслоном. Василий Иванович Швецов знал назубок этот округ, любил Порт-Артур, служил ему истово и верно, как и всегда он служил, и требовал от других такой же самоотдачи и верности. Он полагал всерьез, что Первому секретарю ЦК, главе государства, знать это интересно и важно, потому и старался сосредоточить его на главном.

Хрущев сидел неподвижно, облокотившись на стол, то ли слушал внимательно, то ли углубленно молчал, думая о другом и сумрачно глядя перед собой, лицо его все больше мрачнело.

Один из участников этого совещания, начальник Особого отдела Порт-артурского гарнизона Белоусов, потом утверждал: «С начала доклада Швецова, командующего 39-й армией, не прошло и трех минут, как Хрущев с силой ударил ладонью по столу и буквально заорал:

– Хватит болтать! Ты мне лучше скажи, зачем вы здесь стоите?

Вся наша порт-артурская группа (назовем ее так) насторожилась, рассказывал генерал Белоусов. Командующий, будучи человеком степенным и уважительным, как-то недоверчиво посмотрел на Хрущева и спокойно ответил:

– Для защиты дальневосточных рубежей нашей Родины».

Что ж, скажем так: генерал Швецов был великолепен! А Хрущев в этот миг, извините, чуть ли не рвал на себе рубаху:

– Это политика царская... империалистическая! – кричал он, казалось, раздирая в клочья это жгучее, ненавистное слово, и бушевал, бушевал невесть по какой причине.

Но скажите, а что же в том царского, империалистического, если человек готов защищать и защищает рубежи своей Родины? И вовсе непонятно было, за что Никита Сергеевич так люто невзлюбил и так зло, беспощадно взъелся на столь заслуженного, умудренного опытом, блестящего генерала? Сцена вышла ужасная, безобразная. Стыдно было слушать и видеть ее со стороны. И никто не решался остановить, утихомирить хама, боясь, наверное, последствий еще более отвратительных и тяжелых. Но это ж происходило не где-то на базарной площади, а на совещании, что называется, самого что ни на есть высшего уровня. Куда же еще выше?!

Возможно, и сам Хрущев почувствовал это и сбавил немного тон, смягчил голос. Но ненадолго.

– А кого же и от кого собираетесь вы здесь защищать? – язвительно он спросил и не стал ждать ответа, а пошел напрямую и вдруг опять сорвался: – Ты мне лучше скажи, – это его подчеркнуто пренебрежительное тыканье действительно было отвратительным, но он то ли не замечал этого, то ли не хотел уступать какой-то своей позиции. – Ты мне лучше скажи, – говорил

с нажимом, — сколько надо времени, чтобы здесь, в Порт-Артуре, не осталось ни одного вашего солдата... и даже вашего духа? — говорил он как с некой п р о т и в н о й стороной — вашего. А почему не нашего?

— Наш дух, Никита Сергеевич, останется здесь навсегда, — сказал Швецов. — Поручкой тому Русское кладбище в пятнадцать тысяч могил у подножия Саперной горы. Там немало старых крестов православных, немало и пирамидок с красными звездами...

— Кладбище никуда не денется, — сухо обронил Хрущев и, вскинув голову, напомнил: — Так сколько месяцев, командарм, надо, чтобы убраться отсюда?

— Три-четыре месяца, — подумав, сказал Швецов.

Сидевший рядом генерал-лейтенант Пенионожко вскинулся:

— Мало! Такая передислокация потребует полгода, не меньше.

— Даю вам пять месяцев, — расщедрился Хрущев и даже встал от волнения, отодвинув кресло, живо туда-сюда прошел, вернулся, придвинул кресло обратно к столу, держась обеими руками за спинку.

— И чтобы по истечении этого срока никого из вас здесь не осталось, — рубил сплеча. — Никого! А насчет передислокации зря волнуетесь, — попутно заметил, успокоившись малость и чуточку подобрев. — Все недвижимое и много движимого останется здесь, на месте. Вот и давайте подумаем и решим: что будем продавать китайцам, а что так отдавать... или хотя бы за какой-нибудь бесценнок?

Сел снова, облокотившись на стол. Сказал твердо:

— Мне думается, все то, что построено здесь, на Квантуне, русским царем, нами, в том числе и японцами — казармы, склады, дома, водохранилища и тому подобное, отдать китайцам бесплатно. А то, что мы завезли сюда из нашей страны, продать.

— Разрешите вопрос, — опять вмешался Пенионожко. — Если я правильно понял, все дорогостоящее отдаем за так, а всякую мелочевку продаем?

— Да, вы правильно поняли, Александр Михайлович, — вежливо успокоил его Булганин, опередив Хрущева. И разъяснил: — Все вооружение, всю технику и боеприпасы будем продавать.

– Всю боевую технику нельзя продавать, – решительно возразил Малиновский и повернулся к Хрущеву: – Никита Сергеевич, здесь, на Квантуне, у нас есть один полк с новыми танками Т-52 и одна эскадрилья с новейшими истребителями-перехватчиками. Этого продавать нельзя! Все это я, с вашего разрешения, заберу к себе в округ.

– Не возражаю, – кивнул Хрущев.

– Такая же ситуация и у моряков, – подсказал Кузнецов. И тут же, пользуясь случаем, изложил свою просьбу: – Здесь, в Порт-Артуре, базируется дивизион быстроходных и дорогостоящих бронекатеров. Считаю разумным сохранить дивизион и перевести его во Владивосток.

– Продать, – коротко бросил Хрущев, будто концы отрубил, даже не взглянув на Кузнецова.

И все стало ясно: сегодня морякам лучше помолчать, ибо услышанными быть в этот раз им вряд ли доведется. Так сложилось... Разумеется, Адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов хорошо это почувствовал, оценил и больше уже за все оставшееся время недолгого совещания не совался со своими предложениями, советами и, тем более, просьбами.

– А что делать с теми снарядами и трехдюймовыми пушками, которые завезены сюда еще к началу первой русско-японской войны? – спросил Швецов. Ответил сидевший рядом Булганин:

– Василий Иванович, ну не потащим же мы с Квантуна эти старые трехдюймовки, тут и вопроса нет.

– А что ждет 39-ю армию, Николай Александрович? – тихо между собой, как будто рядом никого не было, переговаривались озабоченный командарм и спокойно-вежливый министр обороны. – Это ведь не сто и не тысяча человек, а больше ста тысяч личного состава вместе с офицерскими семьями...

Хрущев немедленно вмешался:

– Снаряды и царские пушки оставьте здесь, – распорядился. – Что касается вашей армии, решим позже. Но я думаю, 39-ю будем расформировывать...

– А зачем армию расформировывать, Никита Сергеевич, какой смысл? – изумился генерал-лейтенант Пенионожко.

– Все! Точка, – оборвал его Хрущев. – Вопрос этот снимается.

– А вот с ценами надо определиться, – не спросил, а напомнил Анастас Иванович Микоян, зампред Совмина и министр торговли – уж он-то знал что почему! – Можно что-то и по себестоимости продать, – дал совет. И сразу оговорился: – Но здесь мы столкнемся с большими трудностями.

– Например? – глянул сбоку Булганин.

– Например, себестоимость танка тянет на все 400-500 тысяч рублей, а самолет-истребитель и вовсе вдвое дороже... Пойдут на такую цену китайцы?

– Уверен, что не пойдут, – ответил Булганин. – Да и денег таких у них нет.

– Вот-вот! И с этим надо считаться. Значит, берем в руки преЙскурант...

– Анастас, ты не спеши, – остановил его Хрущев. – Есть же, наверно, и третий вариант?

– Есть и третий, – не моргнув, ответил Микоян. – Это договорная цена. Вариант самый гибкий, но и самый невыгодный для одной из сторон... – аккуратно предупредил.

– Ничего, как-нибудь сговоримся, – буркнул Хрущев, обведя взглядом присутствующих. – Всем все понятно, товарищи? Вопросы больше нет? Комиссию по передаче имущества создадите в рабочем порядке. Желаю успеха!

Совещание прошло за такими плотно закрытыми дверями, что, казалось, и комар носа не подточит. И все же к вечеру этого (несчастливого!) дня, 13 октября 1954 года, вся подноготная вскрылась как бы сама по себе. «Случилось так, что мне пришлось стать участником второй сдачи Порт-Артура, – рассказывал много позже бывший в тот переломный момент начальником судоремонтных мастерских бригады торпедных катеров старший лейтенант Виталий Гришин. – Если первую сдачу трусливо устроил царский генерал Стессель, за что впоследствии судом приговорен был к смертной казни, но помилован царем, то вторую сдачу Порт-Артура (спустя пятьдесят лет) совершил Никита Хрущев – и никто за это с него не спросил...»

Приезд Первого секретаря ЦК на Ляодунский полуостров осенью 1954 года наделал много шума. Правительственная свита была довольно большая. Высоких гостей разместили в Алексеевском дворце. И Порт-Артур замер в ожидании. Что-то будет? Какие-то важные переговоры, решения... А какие переговоры, какие решения? Никто ничего не знал, все предположения строились на догадках. Ждали официальных объявлений, а их не было, все держалось и происходило в строгой секретности.

И вдруг ситуация разом прояснилась. «После обеда кто-то из судоремонтников принес газету “Порт-артуровец” и со словами: “Посмотрите, что творится!” – пустил ее по рукам, – рассказывал Гришин, уже будучи в отставке и живя в родном Владивостоке, где окончил когда-то судостроительный техникум. – Смотрю и глазам не верю, – говорил он. – Прямо через всю полосу жирным и крупным шрифтом напечатано: “Совместное советско-китайское коммюнике о выводе воинских частей СССР из военно-морской базы Порт-Артура”. А дальше и читать не надо – все ясно. Так вот, оказывается, зачем прибыл на Ляодун Никита Сергеевич! Но ведь существует тридцатилетний договор, заключенный в 1945 году, никто ж его не отменял?! Неужто Мао настоял на этом? – гадали мы. Потом дошло до нас и стало известно, что все наоборот: Мао Цзе-Дун был против такого решения, считал его преждевременным и ошибочным, но Хрущев, как всегда, закусил удила и попер не в ту сторону... Вот и все. И прощай, Порт-Артур! Для нас – это гром с ясного неба. Чувство полной неожиданности и растерянности охватило тогда каждого порт-артурца. Это было похоже на удар в спину. Или даже предательство. Как и с Крымом, который уплыл из России, по той же хрущевской прихоти... – добавил угрюмо. – А с Порт-Артуром жаль было расставаться, как будто рвали мы что-то по живому, с мясом и кровью. Это ж не просто временная база, а нечто гораздо большее... история наша. И хотя мы всегда знали и помнили, что территория эта китайская, но чувствовали себя, служили и жили здесь – как на родной земле, как у себя дома. Россия ведь никогда не захватывала этот важнейший морской порт, а находилась в нем с давних пор по договоренности

с Китаем, строила этот порт, укрепляла и охраняла его во все времена. Между прочим, здесь, в ляодунских водах, в 1904 году, защищая Порт-Артур, погиб адмирал Степан Осипович Макаров... Это надо помнить, — последнее произнес он с пафосом, но очень тихо. Помедлил, задумавшись, и вдруг спросил: — А знаете, что первое делал каждый из нас, молодых офицеров, оказавшись на Ляодуне? — и сам же, не мешкая, ответил: — Прежде всего, разыскивал роман Степанова “Порт-Артур”. Это была наша настольная книга, — лицо его просияло и оживилось. — Я роман этот раньше читал, а потом чуть ли не каждый день просматривал, перелистывал, что-то заново перечитывал... Представляете, тысяча двести страниц! Да-да, именно столько — и не просто книжных страничек, а тысяча двести страниц нашей порт-артурской истории... морской эпопеи, — добавил весомо и со значением, — в ней русский характер, русская судьба и русская трагедия. — Помолчал секунду-другую, выдержав паузу, и вдруг опять спросил, как будто не его спрашивают, а он берет интервью у этого дотошного и довольно-таки молодого еще человека: — А помните концовку романа о Порт-Артуре, заключительные слова на последней странице? — И, не ожидая ответа, чуть приглушенным голосом, тихо и ровно, без всяких запинок прочитал, скорее нараспев произнес — так молитву творят:

“На сигнальной мачте, возвышавшейся на Золотой горе, опустился русский военный флаг и взвился японский.

Грохот салюта потряс воздух.

Артурская эпопея окончилась”».

Интонируя голосом, он как бы отметил и расставил абзацы там, где им положено стоять, точно боевым кораблям на открытых рейдах. И глаза его влажно блеснули, он отвернулся и глухо сказал: «Вот и нам довелось завершить “артурскую эпопею” и спустить свой флаг, но теперь уже навсегда!»

После отъезда на родину советской правительственной делегации, буквально через три дня, в Порт-Артур пожаловала китайская делегация (и тоже правительственная) во главе с членом Политбюро КПК и министром обороны Китая Пэн Дэ-Хуаем, а также знаменитым писателем, академиком Го Мо-Жо и самой

известной женщиной в Поднебесной Сун Цин-Лин, общественной деятельницей и вдовой великого Сунь Ят-Сена, вождя революции и первого президента Китайской республики.

И в тот же день, не поленившись после дороги, все трое отправились в одну из лучших артурских воинских частей, где приветствовал их командарм 39-й армии генерал-полковник Михаил Артемьевич Швецов. Встречали гостей, как и положено, со всеми почестями и с открытой душой, показывая без утайки все, что можно было показать, вплоть до солдатских казарм, удивлявших своим отменным порядком. А потом был «солдатский» обед – и тоже отменный!

Растроганный Пэн Дэ-Хуай не удержался и произнес этакий искрометный спич, душевно поблагодарив советских воинов за многолетнюю и достойную службу по защите ляодунских побережий и вод и постоянное укрепление славного Льюйшуня, который для российских моряков и солдат был и останется навсегда Порт-Артуром...

Затем, еще больше расчувствовавшись, достал из кармана френча тускло блеснувшую в руке медаль и показал ее всем, держа чуть на отлете перед собой: «Эта награда учреждена в честь нашей дружбы, – сказал торжественно и с расстановкой. – Медаль так и называется: «Китайско-Советская дружба». И я с удовольствием и глубокой признательностью вручаю эту медаль нашему боевому товарищу генералу Швецову, который первым со своей выдающейся 39-й армией в августе 1945 года вошел сюда и верой-правдой служит здесь вот уже больше девяти лет...» При этих словах сидевший напротив командарм поднялся, Пэн Дэ-Хуай приколот к его кителю медаль, и они, подавшись через стол друг к другу, крепко по-братски обнялись. Церемониал получился неожиданным и, может, чуточку даже неуместным, но, честное слово, в высшей степени искренним и справедливым.

Особенно после недавней, никем еще не забытой и до безобразия грубой хрущевской выволочки, когда Никита Сергеевич, оборвав командарма на полуслове, орал: «Хватит болтать! Даю вам пять месяцев. И чтобы по истечении этого срока и духа

вашего здесь не было...» Как будто 39-я армия не освобождала Ляодунский полуостров вместе с портами Дальний и Порт-Артур, а вошла сюда, ворвалась непрошено и захватнически... Стыдно было и обидно за самого Хрущева. Как он, первое лицо государства, мог позволить себе такое?! Да еще вдобавок принять скоропалительное решение о расформировании 39-й армии. Зачем, почему?

Объяснять же он категорически ничего не хотел и никаких доводов не принимал в расчет, стоял на своем, как скала непреступная. «Расформировать!» — и точка. Вот уж поистине, как говорят, шлея угодила под хвост...

И ничего не поделаешь!

Потому и случившийся вскоре приезд на Ляодун министра обороны Китая, встреча с ним, короткая речь его на обеденном рауте произвели впечатление совершенно противоположное тому, что оставил после себя Никита Сергеевич... Увы!

Пэн Дэ-Хуай говорил о том же, но совсем другим тоном и смысл в словах его был другим, и веяло от них теплотой, добротой, а не хамством — слова благодарности и уважения, что не могло не тронуть Швецова. И командарм сказал в ответ не без волнения: «Почетная эта награда принадлежит не столько мне, сколько всей 39-й армии, всему гарнизону порт-артурскому, морякам и летчикам, — помедлил и, улыбнувшись, напомнил: — Давно ведь известно: генерал без армии — ничто! Благодарю вас, товарищ Пэн, за столь высокую оценку нашего воинского труда».

А вскоре медалями «Китайско-Советская дружба» был награжден почти весь личный состав Порт-артурского гарнизона. Надо отдать должное, китайцы с обожанием относились к советским воинам — и это не пустые слова. Генерал Белоусов (начальник Особого управления, «контрразведчик», как он сам называл себя) рассказывал позже: «Китайцы окружили нас, советских военнослужащих, необыкновенным вниманием и заботой, особенно со стороны местных жителей, хотя и до этих событий отношения у нас с ними складывались очень доверительные. В то же время наши воинские части пополнились китайским «наличным составом». В течение двух месяцев мы терпеливо и до-

бросовестно обучали их всему, что знали и умели сами. Кстати сказать, китайцы полностью скопировали наше штатное воинское расписание и схему руководства. Одновременно с этим шла «продажа» воинского имущества и оборудования...» Слово про д а ж а Михаил Артемьевич взял в кавычки не случайно. Предприятие по купле-продаже на договорных началах (при полном отсутствии каких-либо приблизительных, ориентировочных, пусть заниженных, мизерных или попросту символических цен) обернулось непредвиденной сложностью, превратив эту важнейшую работу, где каждый юань был на счету, в некий запутанный базарный торг и бумажную волокиту. Приходилось подолгу согласовывать, пересогласовывать и снова уравновешивать ту или иную стоимость не только, скажем, тяжелого вооружения либо техники боевой, но и самых простейших «палочек-выручалочек»: тех же солдатских кроватей, вешалок, умывальников, чашек, ложек-поварешек, причиндалов не менее важных, чем оружие и боеприпасы.

Но более всего отнимала времени, усложняла и тормозила дела нескончаемо нарастающая и беспредельно разбухшая бумажная канитель, от которой никуда не денешься. Ведь каждый предмет (будь то подводная лодка или танк, вешалка или умывальник) надлежало самым тщательным образом оформить, сделать опись в накладном листе да еще и в шести экземплярах! А зачем такое количество накладных, из какой инструкции это взято? Никто толком объяснить не мог. Осторожно сослались на китайскую сторону, мол, они предложили. «Возможно, и они, это их дело. Но с нашей стороны такого больше не должно быть, — сказал командарм, быстро во всем разобравшись. — Мы тут развели не только базар, но и цирк базарный, — сказал он так, будто за промах этот и на себя брал вину. — Цирк отменяется! — И это уже был приказ: — Отныне все, что положено, передаем по спискам в двух экземплярах. Один оставляем себе, другой отдаем китайцам. А те сами решат, сколько экземпляров им надо. Все! И никаких юаней...» — особо предупредил. Думается, решение это (насчет юаней) генерал-полковник Швецов не самолично принял, но согласовал его загодя по своим каналам. Вот с того момента,

освободившись от непомерно тягучих переговоров, бесконечных ценоутрясок и волокиты бумажной, работа враз оживилась, повеселела и пошла-понеслась налегке полным ходом.

«Закончилось тем, что только в нашем «ведомстве» китайцам бесплатно были отданы десятки торпедных катеров, шесть токарных и строгальных станков, столько же металлообрабатывающих, — рассказывал один из участников тех порт-артурских событий осени 1954 года. — Одним словом, мы оставили буквально все, начиная с подводных лодок, танков, казарм, боезапасов и заканчивая подушками, кружками, ложками...

А потом было торжественное построение, где мы, командиры подразделений и руководители различных военных предприятий и служб, передали ключи от своих заведений китайским коллегам. Моим преемником оказался молодой и подтянуто строгий офицер Ван Хайлун, с ним как-то сразу мы сошлись, подружились, а потом обменялись адресами и несколько лет переписывались, вплоть до начала, так называемой, китайской культурной революции...»

Но в тот миг, когда над плацем, где выстроились советские подразделения, а напротив, лицом к лицу, по стойке «смирно» замерли ляодунские части китайской армии, торжественно и мощно ударили знакомые аккорды и под звуки гимна нашей страны медленно стали спускать военно-морской флаг Советского Союза, у многих из стоявших в строю дух перехватило и в глазах пощипывало... И тут же был поднят китайский стяг. Все как положено!

Вечером, встретившись со своим преемником, старший лейтенант Гришин (теперь уже бывший начальник судоремонтных мастерских) поинтересовался:

— Скажи, Ван, а ты что чувствовал, когда мы свой флаг спустили, а вы свой подняли?

Ван улыбчиво сощурился:

— Тебе правду сказать?

— Правду и только правду.

— Знаешь, Виталь, — серьезно сказал он, — у меня здесь вот жгалось, — постучал кулаком по груди. — И я не выдержал, уро-

нил слезу... — Помолчал и добавил, вздохнув: — Жаль только, что вы так скоро решили уйти из Люйшуня. Зачем так скоро?

«Да разве это мы решили, Ван... За нас все решили другие», — не сказал, но подумал с горечью Гришин, уже наладившись, решительно повернув и зашагав к старому Порт-Артуру. Потянуло туда, душа не на месте. А там все, как и прежде, как год и два года назад, когда он только что прибыл сюда, на Ляодун, и все-му удивлялся, блуждая по этим узким и низкорослым улочкам... И вспоминал, тоскуя о них потом, через годы и годы.

«Старый Порт-Артур был тогда небольшим, в основном одно-двухэтажным деревянным городком, но при этом довольно чистым. Благодаря стараниям китайской полиции, — мысленно уточнил и записал, не надеясь на память. — Наши армейские части стояли в большинстве своем в «новом» городе, где можно было увидеть современные каменные здания. Каждого, кто прибывал на Ляодунский полуостров из Советского Союза, помимо восточной экзотики — велорикш, водки со змеями, соломенных циновок, поражало изобилие товаров и лавочек, последние размещались на каждом шагу. Правда, цены тоже поражали. Большинству китайцев весь этот богатый ассортимент был совершенно недоступен. Народ жил очень бедно. Что касается нас, советских военнослужащих, мы после стольких послевоенных голодных лет отъедались. Зарплата была довольно высокая. К слову, я в то время получал 4 миллиона юаней в месяц. А когда приехал в Порт-Артур, для подъемных понадобился чемодан. В Китае в те годы была страшная инфляция — счет шел на миллионы... При этом надо сказать, что двери в домах никогда не запирались, даже если в доме, как у меня, хранились нередко довольно крупные суммы денег. За два года, что довелось мне провести в Порт-Артуре, не было ни одного случая воровства. Китайский закон за воровство карал нещадно...» — так вспоминал и рассказывал Гришин много лет спустя.

И так он думал в тот давний вечер, мерно вышагивая по узеньким улицам старого Порт-Артура, столь узеньким, что, кажется, вскинь руки по сторонам — и коснешься пальцами слева и справа деревянных строений. «Да, китайский закон очень

суров, но, мне кажется, дело не только в законе, но и в людях», — так думал тогда, в тот памятный вечер, старший лейтенант Виталий Гришин, шагая по улочке, носившей название под стать его настроению и мыслям — Честная. Кстати сказать, улицы здесь, как и люди, предпочитали добрые, светлые имена — и сами они, улицы и люди, как бы изнутри светились сплошной добротой и приветливостью. Встречные полицейские дружелюбно кивали Гришину — нихао, нихао — привет, мол, привет! Незнакомые прохожие любезно кивали и улыбались ему — сесе, дорогой, сесе... спа-си-бо тебе! — нередко переходили на русский. А продавцы всевозможных ларьков и лавок (пуцзы), завидев его, гостеприимно распахивали входные двери, энергичными жестами зазывая русского офицера, но тут все как на ладони — и товар налицо...

Иногда Гришин заходил в то или иное торговое заведение и непременно покупал какую-нибудь безделушку, доставляя себе удовольствие, а продавцу радость и хоть маленькую, но все же выручку. Порт-артурские лавочники (впрочем, наверное, как и все торговцы мира) умели ценить всякую малость, понимая, что без маленького юаня не будет и миллиона большого.

Наконец, улица Честная отпустила Гришина, одевив его добрым своим настроением, и он, свернув в едва заметный, но давно знакомый проулок, беспрепятственно вышел на улицу Сверкающих лучей, а затем (и таким же способом) оказался на улице Утренней, приземистой и узкой, как и другие улочки. Цзе — двум велорикшам негде разминуться, а их тут ездило много. Однако в тесноте — не в обиде. Этот закон в старом Порт-Артуре, кажется, действовал безотказно.

Зато четвертая улица в этом ряду, улица Победы, разительным образом отличалась от всех других — широкая, просторная, прямоком уходящая к центру. Что интересно и, наверное, не случайно — многие из побывавших здесь или долго служивших на Ляодуне чаще всего вспоминают именно этот уголок старого Порт-Артура. Не составлял исключения и генерал Михаил Артемьевич Белоусов, бывший в то время начальником Особого управления («артурский контрразведчик», как он сам себя называл), много

лет спустя рассказывал: «Помню, как через неделю после приезда в часть меня, новичка, назначили начальником патруля. Это было моим первым знакомством со старым Порт-Артуром. С его узкими улочками, носившими самые лирические названия: улица Светящихся лучей, Утренняя, Честная. Одна из самых больших улиц была названа именем Победы. К слову, на ней я жил, недалеко от знаменитых Пяти углов. Здесь в просторном доме, принадлежавшем когда-то японскому врачу, у нас с женой Надеждой Ивановной родился сын Виталий («сеза», как называют китайцы новорожденных мальчиков), его мы зарегистрировали в городе Дальнем. А сейчас, годы и годы спустя, растет и взрослеет внучка Оксана, которая изучает китайский язык и уже не раз побывала в Поднебесной...

Но Порт-Артур для нас, русских, похоже, закрыт навсегда. Там теперь размещается главная база военно-морских сил Китая. И там же, у подножия Саперной горы, находится старое русское кладбище, с православными царскими крестами (несть им числа!) и красными советскими звездами. Здесь, в далекой чужой земле, нашли свой последний приют почти 15 тысяч наших советских воинов, чей путь отмечен храбростью и забвением...»

Вот-вот! — хотелось напомнить. А Хрущев повелел немедленно убираться из Порт-Артура и чтоб духа нашего здесь не осталось... Это как прикажете понимать? — не втихую роптали, а открыто говорили, пытая друг друга в те осенние дни 1954 года. По-хрущевски выходило: чтобы д у х а нашего здесь не осталось, надо не только убираться из Порт-Артура, но и память укоротить либо вовсе вырвать ее напрочь и бросить за борт, в Желтое море, как ненужный балласт... «Прощайте, товарищи, все по местам...» — так, что ли? Выходило именно то — что и пятьдесят лет назад...

Обида была большая. И не только у моряков и армейцев советской военно-морской базы на Ляодуне. Поспешное решение Никиты Хрущева — оставить Порт-Артур и уйти восвояси! — китайцы считали ошибочным и крайне опасным, невыгодным для обеих сторон. Мао Цзэ-Дун пытался убедить Никиту Сергеевича не делать этого преждевременного шага, но Хрущев стоял

на своем твердо. Возмущенные северокорейцы объявили «хрущевский шаг» предательским. А позже, не упуская времени, прислали в Москву ультимативно-жесткое и гневное письмо на имя Хрущева и Булганина (только что избранного Председателем Совмина), в котором, не особенно церемонясь и дипломатничая, обвиняли Советский Союз «в сознательном нарушении баланса сил на Дальнем Востоке и в потворствовании усилению роли США в регионе, присутствие которых и без того уже увеличилось и в Южной Корее, и в акватории Японского моря, как и в самой Японии». В связи с чем Пхеньян остерегал Москву и даже припугивал, что необдуманый и досрочный уход из Порт-Артура чреват и для самого СССР тяжелыми негативными последствиями...

Письмо это, разумеется, осталось втуне, его не публиковали. И знали о нем, помимо Хрущева с Булганиным, лишь немногие. Да и отнеслись к нему спокойно, без всякого интереса – пустая, мол, политическая болтовня. И зря так думали! Прогноз северокорейцев оказался пророческим.

«Похоже, тогдашние обитатели Кремля и советского Минобороны забыли о том, что освобождение и восстановление этих стратегически важных российских форпостов на Дальнем Востоке и в Финляндии обошлись в десятки тысяч погибших и пропавших без вести солдат и офицеров Красной Армии, – говорил один из участников и аналитиков тех событий. – Иначе как объяснить бездумную сдачу позиций и на северо-востоке Китая (Порт-Артур), и в Финляндии (Порккалла-Удд, аренда которого скреплена соглашениями с Хельсинки... аж на пятьдесят лет!), чем вызвано такое спешное отступление, почти бегство? И это в то время, когда военные базы США столь же спешно укреплялись и продолжали двигаться к советским границам...»

Один из полководцев Великой Отечественной войны, Главный маршал авиации А.Е. Голованов, узнав о хрущевской сдаче Порт-Артура, был ошарашен: «Как можно?! – в сердцах он воскликнул. – Сколько людей там погибло! – И как бы подвел черту: – Это начало конца...» Что он имел в виду, о каком «начале конца» говорил Александр Евгеньевич? Утрата стратегически важных рубежей на Дальнем Востоке? Падение престижа Советского

государства или даже полный провал и распад великой державы? Но такое в то время и в дурном сне не могло привидеться!

А между тем до начала конца (без всяких кавычек) оставалось всего лишь тридцать семь лет...

Сегодняшние аналитики гадают, пытаются заглянуть вглубь и вскрыть корни, причины случившейся катастрофы в конце XX века. Подключимся и мы к этой нетривиальной работе. В середине 1950-х были сделаны первые шаги по удалению СССР со стратегически важных территорий на Балтике и Дальнем Востоке. И сделало эти шаги само хрущевское руководство. Кто его подталкивал к этому? Впрямую – никто, утверждают аналитики ближайшей нашей истории, многие свидетели которой еще живы и хорошо помнят, как это было. Тогдашние президенты США Трумэн, а затем Эйзенхауэр и командующие американскими войсками на Дальнем Востоке Макартур и Риджуэй признавали, что именно советское военное присутствие не позволило разгромить Северную Корею и полностью овладеть полуостровом, чтобы потом, не переведа духа, вторгнуться в Китай – тут же подать рукой... Но тогда – сорвалось! Пришлось остановиться на той же 38-й параллели, как и прежде.

И вот появляется шанс – уходит Сталин, перед всем миром предстал насквозь «антисталинский» Хрущев. А почему бы с ним не попробовать «сварить кашу»? И попробовали...

Между прочим, когда в начале января 1953 года (Сталин был еще жив) британский премьер Черчилль и американский президент Трумэн встретились в Вашингтоне, первым пунктом в их переговорах был вопрос: каким образом убедить русских вывести военные базы из Китая, Финляндии и войска из Восточной Австрии... после ухода Сталина? Тут надо пояснить: британские, американские и западногерманские СМИ в то время всюю прогнозировали кончину Сталина в ближайшие месяцы или даже недели – и как в воду смотрели. Значит, имели на то какие-то веские основания?

Вот обе стороны в тех вашингтонских переговорах, Черчилль и Трумэн, опережая события, и решают: необходимо, прежде всего, дать понять послесталинскому руководству, что

сферы влияния СССР в Восточной Европе, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии сохранятся, пусть это его греет... А Запад тем временем снимет кое-какие санкции с Советского Союза, что будет способствовать экономическому развитию. Так что игра стоит свеч! — ухмылялись западные партнеры. Облапошить, надуть Россию, обвести ее вокруг пальца — извечная их мечта. И Запад, надо отдать ему должное, времени даром не терял: в мае 1953-го некоторые санкции ослабил, а некоторые пообещал вовсе снять в ближайшее время. «Вау! — ликующе возопили все те же британско-американские и западногерманские радио-газетные и прочие другие средства массовой информации, разнося по всему свету глобальную новость: западные страны протягивают руки Советам! Запад желает долгосрочного сотрудничества с новым послесталинским руководством Москвы! При этом советские интересы никак не будут ущемлены... А какие гарантии? Стопроцентные! — ответили твердо. Один только маленький нюансик, — оговорились все же, — пустяковое пожелание, если хотите, великодушная наша просьба: оградить советское государство от излишней сталинизации и политики ушедшего сталинского режима, вслед за которым надо бы вымести, как ненужный хлам, и все его постулаты и символы — это первое; и второе: неплохо было бы сократить, ослабить военное присутствие Советского Союза на Балтике и в Китае. А Запад в случае полного взаимопонимания уже вскоре, осенью 1954 года, откроет для СССР новые коммерческие кредитные линии в некоторых странах НАТО. Запад полон надежд на спокойное и взаимовыгодное содружество и процветание наших стран, готовых к совместной защите европейских и мировых ценностей...

Ну как не откликнуться на столь горячий призыв и посулы невероятные! И «молодое» советское руководство во главе с Хрущевым без особых раздумий пошло на эти «взаимовыгодные» (продиктованные Западом) встречные шаги, незамедлительно подтвердив их конкретными действиями: буквально с этого же, 1954-го, были приостановлены, а затем и запрещены издания и переиздания сталинских сочинений, как, впрочем, и любых произведений, посвященных Генсеку и Генералиссимусу. А еще

чуть погодя было упразднено Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, созданное вскоре после войны по инициативе Сталина, Молотова и Жданова. Бюро, в которое входили коммунистические и рабочие партии Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии, издавало газету «За прочный мир, за народную демократию!»

Газету тоже закрыли! Зачем? Похоже, понятие «народная демократия» никак не вписывалось в формат «европейских ценностей»... Тем не менее, процесс пошел! И, как утверждают многие аналитики, Запад предпринял новые просоветские шаги: закончилась французская агрессия против независимого Северного Вьетнама, гарантировался нейтралитет Австрии, но только в том разе, когда из восточной части этой страны будут выведены... иностранные войска, — последовал выразительный кивок в сторону СССР.

И Хрущев немедля взял под козырек. Советские войска из Австрии были выведены.

Тут же последовал ответный ход западных «шахматистов»: возобновляются прерванные еще в 1949 году репарационные платежи Советскому Союзу со стороны ФРГ, победителю от побежденных — нате вам, пользуйтесь, мол, нашей толерантной лояльностью! Как будто эти репарации могли возместить все неисчислимыя бедствия и утраты той беспощадной, опустошительно-варварской бойни, затеянной гитлеровской Германией в сорок первом году XX века... Однако толерантный Запад, предвидя этот нюанс, поспешил сделать опережающий ход, дабы не доводить «игру» до преждевременного мата: вслед за германскими репарациями наладились и пошли в рост поставки в Советский Союз различного западного оборудования по низким ценам... Мало того, почти одновременно, в том же году, был сделан еще один встречный шаг: Албания, тогдашний стратегически важный союзник СССР в Средиземноморье и Адриатике (там, в Албании, находилась одна из крупнейших советских военно-морских баз), так вот Албанию незамедлительно принимают в ООН. Что и говорить, жест широкий! Но если правде в глаза смотреть, толерантный Запад все ж таки убаюкал и, что называется, обвел вокруг пальца доверчивое хрущевское руководство,

надул самого Никиту Сергеевича, ибо все эти вышеупомянутые «льготы для СССР», как утверждают многие аналитики, ничто в сравнении с тем ущербом, который был нанесен государству необъяснимо поспешным и досрочным выводом советских войск из Порт-Артура и Дальнего, со всего Ляодунского полуострова. И закавыка тут не столько в интересах экономических, сугубо материальных, не в них суть. Обидно, как говорится, за державу и ее тогдашнего лидера, конфликтовавшего с Мао и выкинувшего такой демарш, после чего и возникли сначала обиды и недоверие, а затем и более серьезные трения между двумя (вчера еще дружественными и стратегически тесно связанными) государствами, зашедшими в столь гиблкую трясиину провальных своих отношений, из которой пришлось потом выбираться и выдираться больше тридцати лет кряду, набив за это время немало шишек и синяков...

Но тогда, осенью 1954-го, еще будучи в Порт-Артуре, Никита Сергеевич и слушать никого не хотел об ошибочности своего решения и твердил одно: «Что вы мне голову морочите сказками про американцев... Уйдем мы, и американцы уйдут».

Увы и ах! Никуда американцы не ушли. Напротив, с этого момента начали еще больше укреплять свои базы в Японии и Южной Корее, на Тайване и Филиппинах. Про Балтику тоже не забыли, усилив свое военное присутствие в Норвегии, попутно заглянули и надолго застряли в арктическом Шпицбергене, по соседству с Мурманском, затем вольготно расположились на балтийском побережье ФРГ, там они чувствовали себя как дома.

Кстати сказать: буквально через месяц после «эвакуации» советской военно-морской базы из Порккалла-Удд Западная Германия была принята в НАТО. Вау! — хотелось воскликнуть. Куда ж мы плывем?! «Черета, мягко говоря, странных совпадений, — подсказали умные аналитики. И сами себя спросили: — Получается, что упомянутые действия хрущевского руководства насквозь проамериканские?»

Что тут скажешь? Нечего сказать.

Но именно в то же время и подрывная работа против СССР усилилась. Теперь это не секрет: уже спустя три-четыре года

после вывода советских войск из Порт-Артура и Порккалла-Удд американский Конгресс принял резолюцию и следом Закон «О порабощенных народах» — ах, какая трогательная забота о попавших в беду народах мира! Хоть стой, хоть падай... Между прочим, в том же Законе «О порабощенных народах» черным по белому значилось — «расчленение СССР на несколько марионеточных государств»... Впрочем, точные сроки сей экзекуции не указали, обойдясь оговоркой: «в бессрочной перспективе». Что ж, авторам этого сострадательного закона в дальновидности не откажешь. Да и «бессрочные перспективы» оказались отнюдь не бессрочными — и теперь это уже не сказка, которая раздражала Никиту Сергеевича, а самая настоящая быль и трагическая сенсация, случившаяся в начале последнего десятилетия XX века.

Ключ сработал — и замок открылся...

Тогда, в октябре 1954-го, удачно развязав, как он сам считал, ляодунский «морской узел», Никита Сергеевич пребывал в отличном настроении. И даже подшучивал над Микояном: «Ну что, салага, лишаем тебя моря, придется на суше послужить...» Анастас Иванович отшучивался: «Так вы не только воды, но и воздуха лишили меня...» — намекал явно на то, что большинство из них (членов правительственной делегации) надеялось на быстрый воздушный перелет из Порт-Артура во Владивосток. Хрущев помалкивал, как будто его это не касалось. Однако в самый последний момент вдруг объявил: «Поедем поездом! Дебаты на эту тему отменяются, — упрямил сразу. И добавил, посмеиваясь: — Пора с неба на землю спуститься и разглядеть ее вблизи. А из вагона все видно как на ладони. Не то что из самолета с неба...»

Поезд (безномерной, литерный) был сформирован, как видно, загодя, стоял на первом пути, но где-то вдалеке, как бы на отшибе, сразу и не заметишь; так же тихо и незаметно, без каких-либо громких объявлений и упреждений литерный медленно тронулся и остороженько, будто крадучись, миновав привокзальный участок, облегченно вздохнул, набрал скорость и гуднул прощально и длинно, уходя в сторону Дальнего... Справа мелькнули, как на экране, вершины Золотой и Саперной гор,

заслонив собой Электрический утес, отплыл назад и пропал из вида Порт-Артур.

Вот отсюда и начиналась самая знаменитая из всех знаменитых, легендарная КВЖД, вернее сказать, здесь, в Порт-Артуре, она завершала свой путь, начинаясь в России...

«Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) возникла из стратегических соображений. КВЖД являлась логическим завершением Великого Сибирского пути; это не просто рельсы, протянутые в сторону Порт-Артура и Дальнего, это скорее центральная платформа русско-китайского альянса, обогащенная двумя важными факторами. Фактор п е р ы й: там, где раньше ядовито полыхали опиино-маковые плантации, быстро возник торговый город Харбин. Фактор в т о р о й: Владивосток обзавелся Восточным институтом, ставшим научным придатком КВЖД и всей той запутанной политики, которая возникла на отдаленных рубежах нашего государства. Восточный институт готовил не только переводчиков, он выпускал толковых администраторов, негоциантов, товароведов и даже счетоводов, приспособленных действовать в азиатских условиях. Выбор языков был обширен: китайский, японский, корейский, монгольский, наречья маньчжурские – и обязательное знание английского...» – читаем у В. Пикуля в романе «Крейсера».

Вот что такое Порт-Артур и КВЖД! И, надо полагать, подпisyвая свой августовский указ 1897 года о начале столь грандиозного по размаху и замыслу строительства, молодой российский император Николай Второй сознавал всю значимость этой великой Дороги, связавшей Китай и Россию. Здесь, на Ляодунском полуострове, омываемом Желтым морем, в маленьком портовом городке Льюйшунь (русские называли его Порт-Артуром), и закрепился с конца девятнадцатого века форпост российского флота.

Официально КВЖД была открыта летом 1903 года, хотя действовать начала гораздо раньше и поработала уже изрядно. Вот с этого момента обеспокоенные японцы и начали суетливо и провокационно маневрировать, их корабли подходили все ближе и ближе, нарушая всякие нормы, а потом и вовсе пошли в открытую, намереваясь с ходу взять Порт-Артур... Началась

хоть и непродолжительная, но трагическая для России война. Нет, Порт-Артур укреплен был надежно. Ни о какой сдаче и речи не шло. Японцы несли в разы большие потери. Порт-артурский же гарнизон стоял прочно, мужественно и расчетливо. Командующий обороной Порт-Артура генерал-лейтенант Кондратенко нередко появлялся на самых передних позициях и говорил: «Спасибо, братцы, так и стоять! Вот измотаем противника — и сами начнем атаковать...»

Но случилось непредвиденное: во время одного из артиллерийских обстрелов генерал Кондратенко погиб. Вместо него командующим обороной Порт-Артура назначен был генерал-лейтенант Стессель. Однако на передних позициях Анатолий Михайлович не появлялся, да и на «задних» позициях его не видели. Зато приказы посыпались, как из рога изобилия, один другого противоречивее. Потом и приказы оборвались. Наступило непонятное затишье. И вдруг поползли слухи: «Братцы, нас сдают!» Трудно было поверить. Но слухи подтвердились. Генерал Стессель от дальнейшей обороны отказался — сдал Порт-Артур без малейшего сопротивления.

Позже военным судом за трусость и предательство генерала Стесселя приговорили к смертной казни, но царским указом он был помилован. И прожил еще десять лет.

Полуостров же Ляодунский вместе с Порт-Артуром, Дальним и конечной частью КВЖД японцы заняли беспрепятственно; кроме того, пройдя от Хоккайдо через пролив Лаперуза, прихватили еще и южную часть российского Сахалина. И ровно сорок лет владели щедрыми этими «дарами», положив глаз на просторы бескрайней Сибири, богатой лесом, пушниной и поистине золотыми недрами... Ах, как тянуло туда! Чего уж там, планы вынашивались грандиозные. И попытки были отчаянные. Но видит око, да зуб неймет!

А в конце августа 1945 года планы эти и давние умыслы рухнули окончательно — факт всем известный, потому и нет нужды повторяться. Достаточно сказать: поезда из Порт-Артура идут теперь аккуратно и круглосуточно через Далянь, Аньшань, Чанчунь и Харбин вплоть до Владивостока.

КВЖД работает безотказно!

Нет, Никита Сергеевич не прогадал, предпочтя поездку по железной дороге, а не скоротечный воздушный бросок. Ну что оттуда, сверху, углядишь? Сплошь облака, облака... А тут земля рядышком, как на ладони. Вон погляди, полюбуйся, как обработаны все поля! Круто обернулся и глянул в окно, за которым с курьерской скоростью проносились, будто кем-то расчерченные и аккуратно раскрашенные желто-белесые и солнечно-золотистые квадраты и ромбы хорошо прибранных, обихожённых полей. Да, умеют китайцы работать, не мог не заметить Никита Сергеевич, тут же и вспомнив, что начались эти поля тотчас, как только поезд вырвался за пределы Порт-Артура и, не останавливаясь в Дальнем, не сбавляя скорости, промчался в сторону Аньшуня. Поля, поля и поля тянулись вдоль полотна, бежали, спешили встречь поезду; казалось, все пространство между узкими речками, буераками и ярко рдевшими перелесками занято было этими ромбами и квадратами. Ни единой пяди бросовой, забытой земли, не говоря уже о громадных пустошах, тонувших в бурьяне, здесь, в Китае, узреть невозможно. Такое в Китае исключено и недопустимо! Но как только пересекли границу, доехали до Уссурийска и повернули вправо, на Владивосток, тут и пошла совершенно иная картина...

Никита Сергеевич, глядя в окно, аж за голову схватился — контраст был слишком наглядным. Как же так? — пытался понять. — Почему китайцы могут, а мы не можем? Почему, черт побери?! — искал он причины столь резких контрастов. А потом, уже будучи в Москве, вернется к этой мысли и выложит все в специальной «Записке» — не для памяти, а дела ради, хотя, казалось бы, одно другому не помеха:

«Что бросается в глаза, когда переезжаешь границу Китая и попадаешь на территорию Советского Союза? На всем протяжении от Порт-Артура до границ СССР все китайские земли обработаны, из окон вагона видны посевы овощей, но главным образом риса, гаоляна, чумизы и кукурузы. Посевы этих культур тянутся буквально до самых границ Советского Союза. А как только переедешь нашу границу, сразу чувствуется какая-то

заброшенность полей. Земли такие, как и китайские. Климатические условия те же самые, а если взять Владивосток — здесь теплее и больше влаги. Плохо то, что к этой запущенности наши руководящие работники привыкли и она воспринимается ими как должное, не ищут они путей для освоения этих земель, — подытоживает и продолжает доискиваться причин: — Когда мы приехали во Владивосток, то первое впечатление о городе очень хорошее, — возвращаемся к началу. — Город представляет живописную, красивую панораму, разбросан на холмах, на осеннем желто-зеленом фоне красиво белеют постройки. Но когда познакомились ближе, когда мы поехали по улицам и переулкам, где можно было проехать, то представилась картина совсем иная. Есть хорошие дома и много домов новой постройки, но городское хозяйство очень запущено. Дороги плохие, тротуары плохие, много полуразвалившихся хибарок. Транспорт очень слабый... Местным организациям нужно поднять Владивосток, сделать его таким, который бы отвечал своему назначению портового города, который бы действительно являлся окном для Азии и Америки. Напрашивается вывод: сделать город подчиненным прямо Совету Министров Российской Федерации, отдельно планировать его по капиталовложениям и коммунальному хозяйству. Надо создать строительную организацию по жилищному и коммунально-дорожному строительству, дать туда механизмы, — ставил задачи масштабные. — Так как Владивосток разбросан на холмах, надо построить несколько фуникулеров с тем, чтобы разгрузить город и дать возможность людям подниматься по вертикали на удобном и дешевом транспорте...»

Ах, как здорово! Но фуникулеры, кажется, так и застрянут в мечтательных планах Никиты Сергеевича, никто никогда их не увидит на холмах Владивостока. А Никита Сергеевич уже перескочил на другое, излагая в «Записке» свои соображения о делах вполне конкретных и реальных:

«Провели совещание рыбаков, слушали людей, которые непосредственно ловят рыбу и ходят в море: капитанов рыболовческих кораблей, председателей рыбколхозов. Здесь также выявили неприглядную картину, — вздыхал Никита Сергеевич,

будто в некоем батискафе погружаясь в глубины текущих забот. — Я после этого совещания убедился, что рыбацких кораблей надо прибавить, особенно рефрижераторных кораблей, — признавался, зарубая себе на носу: надо помочь рыбакам. И тут же отмечал главные причины слабой работы: — Но и те корабли, которые сейчас есть, используются плохо... Рыбаки часто вынуждены сбрасывать рыбу за борт в море. Это происходит из-за неорганизованности работ на берегу: то соли нет, то чанов, то тары, то сети не те...»

— А плохому танцору всегда что-нибудь мешает, товарищ Мельник, — это уже он, повернувшись к сидевшему рядом с ним на совещании первому секретарю Приморского крайкома, сказал довольно громко, чтобы слышали все, зал хохотнул недружно. — Это вы, товарищ Мельник, возьмите себе на заметку, — язвительно и сердито добавил Никита Сергеевич. Смутившийся приморский секретарь, грузноватый и, наверное, нелегкий на подъем, проворно достал из кармана пиджака авторучку и что-то черкнул, записал в лежавшем перед ним блокноте...

И пока Хрущев знакомился с Владивостоком, сначала очаровавшись, а потом и придя в уныние от всего увиденного, пока проводил совещание рыбаков, слушая их выстраданные, нет, не жалобы, а исповеди, пока занимался другими делами, которыми весь день был забит под завязку, флагманский крейсер «Каганович» терпеливо ждал его на внешнем рейде залива Петра Великого.

Но так и не дождался! Ни в этот прохладный пасмурный день октября 1954 года, ни на завтра, когда чуть прояснилось иглянуло солнце. Что случилось? Никто ничего не знал. Ждали объяснений, а их не было — ни в боевых частях, командах и службах корабельных, ни по внутренней радиосвязи корабельной... Полное умолчанье!

И тогда, будто выждав свой час, оживилось и подало голос «палубное радио»: «Внимание, слушайте нас! Сегодня стало известно: Никита Сергеевич отменил свой визит на крейсер «Каганович». Как отменил, почему отменил? Никто объяснить не мог. И вопрос этот, обрастая всевозможными догадками и придумками, так и повис в воздухе.

Между тем крейсер жил привычной жизнью, никак не ломая своего корабельного распорядка. Сегодня, как и вчера: побудка, утренний туалет, завтрак, вахты, подвахты, дежурства, дневальства, тренировки на боевых постах и прочие, прочие очередные, а то и внеочередные наряды... Одним словом – сплошная рутина! А куда ты двинешься без этой рутины, без нее, брат, и шага не сделать...

Вон и типографы корабельные ровно в девять утра уже на своих местах. Единственный иллюминатор – нараспашку, тугой утренний воздух, натекая с залива, вмиг проветривает и освежает типографскую каморку, отчего тесный железный отсек вроде бы раздвигается и становится шире...

Лениво перешучиваясь и подначивая друг друга, наборщики явно не торопясь выдвигают наборные кассы, берут в руки верстатки, но как будто время тянут – то ли к чему-то прислушиваются, то ли кого-то поджидают...

Вот в этот момент и появляется редактор, спокойный, свежесбрированный и подтянутый, как всегда, хороший пример салагам!

– Ну, как тут наше хозяйство? – спрашивает, едва притворив за собою дверь.

– Стараемся, товарищ лейтенант, – отвечают ему без особой, однако, бодрости и с явной заминкой. Он сразу это улавливает:

– А что за унылость, откуда взялась? А ну докладывайте.

– Так полный раздрай получается, товарищ лейтенант, – выступил Зеленцов. И пошел напрямую: – Разговоров на корабле о визите Хрущева хоть отбавляй, а ясности никакой. Вот и гадаем: будет – не будет, ждать – не ждать?

– Понятно, – кивнул редактор, посмеиваясь. – А я думал, вы все уже знаете. А вы тут, оказывается, гадаете на бобах. Вношу ясность, – сказал четко, помедлил и объявил: – Визита Хрущева на крейсер «Каганович» не будет.

– Как не будет?! – разом подались к нему наборщики, подступили вплотную. – Почему не будет? – как будто от него, редактора корабельной газеты «Вперед!», зависела программа пребывания Хрущева на Дальнем Востоке. – Товарищ лейтенант, но вы же говорили, что столь высоких гостей должен принимать только флагман.

— Говорил, — признался редактор, оставаясь при этом совершенно спокойным. — И решение такое было: наш крейсер готовился принять гостей. Но ситуация изменилась. Никита Сергеевич и вся делегация прибыли и уже находятся на борту крейсера «Калинин».

— Ничего себе! Но почему «Калинин», а не «Каганович»? Ведь говорили, что только флагман...

Лейтенант спокойно их выслушал и сказал, загадочно усмехаясь:

— Видимо, потому, что «Калинин»... не «Каганович». А у флагмана есть проблемы... — добавил.

Что он имел в виду? Никто из молодых типографов не понял тогда и не разгадал той беглой редакторской усмешки, за которой скрывалась правда, а может, и сама кривда. Лейтенант Волков знал уже в то время причину «отставки» флагманского крейсера. И не понаслышке знал, не на ушко шепнули ему, а доверительно и по-дружески открыто поведали, что бунт на корабле, образно говоря, устроил сам Никита Хрущев.

Когда командующий Тихоокеанским флотом адмирал Пантелеев доложил ему, что флагманский крейсер «Каганович» готов принять на свой борт и ждет гостей, Никита Сергеевич, как-то странно дернувшись, посмотрел на адмирала и покраснел до ушей. «А что это вы так старательно тащите меня на флагманский крейсер? — тихо и жестко спросил. — У вас что, кроме флагмана, других крейсеров нет?»

Пантелеев несколько растерялся, но вида не подал и ответил не колеблясь: «Есть и другие, Никита Сергеевич. Отличный крейсер «Калинин», такого же типа, как и флагман». Юрий Александрович название флагмана благоразумно упустил, дабышний раз не упоминать фамилию Кагановича. И Хрущева это вполне удовлетворило: «Вот «Калинин» и примет гостей», — сказал он с безапелляционной твердостью, будто концы обрубил. Никита Сергеевич остался доволен таким поворотом, ибо не только ступить на палубу, но даже представить себя в качестве гостя на крейсере «Каганович» не мог и не хотел — слишком велика честь Лазарю Моисеевичу, слишком велика...

Эпизод этот был известен редактору Волкову. Но типографской команде, жаждущей истины, лейтенант ничего не сказал, ни словом об этом случае не обмолвился, считая, наверное, что матросам такие подробности знать вовсе не обязательно. Что ж, может, он и прав.

И в этот же холодный октябрьский день, пронизанный северными муссонами, часу в одиннадцатом, отряд кораблей во главе с крейсером «Калинин» выдвинулся из бухты Золотой Рог, оставив справа по борту живописные берега Русского острова, а слева стоявший в гордом одиночестве на внешнем рейде флагманский крейсер «Каганович», пока еще не разжалованный, но как бы уже отодвинутый в сторону...

Корабли шли кильватерным строем, строго держа дистанцию, и вскоре исчезли в серой дымке, затерялись из вида, будто и не было их здесь, в заливе Петра Великого.

Вот с этой минуты всякая связь обрывалась, никто уже ничего решительно не знал или мало кто знал что-либо о дальнейших действиях ушедшей в море эскадры во главе с крейсером «Калинин», на борту которого находились Хрущев, Микоян, Булганин, Малиновский, Кузнецов и Пантелеев. Куда, в какой район они направлялись, какие задачи ставили перед собой? Это для оставшихся на рейде было уже вне всякой видимости и досягаемости...

Между тем корабли, выйдя в открытое море, дружно и мощно отстрелялись, дырявя брезенты щитов-мишеней, вздымая горы воды и сотрясая воздух. Никита Сергеевич похвалил комендоров за большое старание и отличную стрельбу. Затем корабли, оставив слева Татарский пролив, легли курсом на пролив Лаперуза, минули его и вошли в просторную и удобную корсаковскую бухту. А здесь, в порту Корсаков, давно (и не без тревожного чувства) поджидал высоких гостей лично сам первый секретарь Сахалинского обкома партии Чеплаков сотоварищи. Встреча была исключительно теплой, сердечной. Гости усадили в машины – и кавалькада черных легковушек тронулась от причала в сторону Южно-Сахалинска, до которого тут рукой подать. Однако дорога дала о себе знать!

И Хрущев не забыл этого, припомнил, уже вернувшись в Москву и составляя «Записку» о развитии Дальнего Востока, где сахалинскую часть своего вояжа начинал с вопроса: «Что производит неприятное впечатление на Сахалине? Это разбитые дороги, совершенно непроезжие, ехали с большим трудом, просто ползли. А говорят, что при японцах были хорошие дороги, — невесело признается, излагая свои впечатления. — Проехали по городу Южно-Сахалинску. Там есть наши хорошие постройки, есть хорошие мощеные улицы. Но, в общем, застройка японская, деревянная, изношенная... Позже решили познакомиться с возможностями Сахалина в сельском хозяйстве. Японцы там выращивали рис, овощи, животноводство имели... Теперь ничего этого не было. Когда в сорок пятом освободили южный Сахалин, там от японцев остался сахарный завод, но и его вскоре ликвидировали, вывезли на Украину.

Нам сказали, что недалеко, на окраине Южно-Сахалинска, имеется филиал Академии наук и что там есть люди, которые могут нас познакомить с возможностями острова в развитии сельского хозяйства. Когда же мы настроились и собрались ехать туда, оказалось, руководители области не знали дороги в это учреждение, — негодовал Никита Сергеевич и гневно подчеркнул: — Очень плохое впечатление произвели руководители Сахалинской области и особенно первый секретарь обкома КПСС тов. Чеплаков. Почему-то ему надо было деятельность свою на Сахалине начинать со строительства детской железной дороги. Нет жилья, нет дорог, нет овощей, а он вбухал в это дело миллионы рублей... Провели заседание в обкоме партии, послушали руководителей области, поговорили затем с местными жителями, с военнослужащими — выявилась неприглядная картина! Очень плохо с жильем, еще хуже организована торговля. Молока на острове никогда не бывает. Не завозят ни овощей, ни картофеля, ни даже свежей качественной рыбы. Завозят иногда сельдь, но народ говорит, она настолько тухлая, что ее никто не покупает...»

Ну как тут не возмущаться! Тухлая сельдь здесь, на острове Сахалин, окруженном богатейшими рыбой морями, проливами и заливами — кета, горбуша, та же сельдь, минтай, навага, камба-

ла, треска... Где она, эта рыба лососевая и другая? — возмущался Никита Сергеевич, продолжая раскапывать вороха накопившихся недостатков:

«Существует сейчас так называемая теория, которой прикрываются в министерстве рыбного хозяйства, что в морях Дальнего Востока уменьшилось количество рыбы, — добрался и до московских «рыбаков». — Действительно, высокосортных пород рыбы уменьшилось. Но уменьшение это зависит в значительной степени от плохой организации рыбопроизводных предприятий и от засорения рек, где рыба мечет икру. То, что мы слышали во Владивостоке, повторилось и на Сахалине, — и добавляет, как бы прочерчивая свой дальнейший маршрут: — Такая же история была выявлена и на совещании в Хабаровске, где мы собирали рыбаков Охотского моря и Камчатки...»

Однако прежде, чем оказаться в Хабаровске, делегация во главе с Хрущевым попутно заглянула и в Комсомольск-на-Амуре, и в Совгавань, и в Находку. А уж оттуда поездом до Хабаровска, любимым транспортом Никиты Сергеевича — хороший обзор из окна, как не раз он подчеркивал. «На основе впечатлений из окна вагона можно сделать вывод, что край этот пустынный, — сетует он, излагая свои путевые наблюдения, и как бы мимоходом отмечает: — Железная дорога расположена в пойме Амура...» Впрочем, здесь надо уточнить: железная дорога от Находки или Владивостока через Уссурийск, оставив слева озеро Ханка, на протяжении всего дальнейшего пути до Хабаровска идет правобережной поймой реки Усури, а дальше все правильно. «... трава здесь растет хорошая, густая. Если провести дешевые мелиоративные работы, можно возделывать овощи. Можно иметь даже консервную промышленность, — мечтательно прикидывает Никита Сергеевич, — можно сеять рис. Земли пригодны и для выпаса крупного рогатого скота, — но тут он, что называется, берет быка за рога. — Местные руководители присмотрелись, привыкли к этой запущенности и не принимают никаких мер по освоению края, — возмущается и добавляет почти с директивной жесткостью: — Освоение должно идти по линии крупного рогатого скота...»

Но вскоре поймет: для освоения и развития Дальнего Востока, окруженного морями и крупными реками, одной только линии, даже и столь важной как линия крупного рогатого скота, явно недостаточно. А как обойдешь рыболовный промысел с его донельзя изношенными и устаревшими судами, особенно рефрижераторными? А строительство дорог и мостов? А возведение добротного современного жилья? Нехватка его болезненно сказывается на развитии всего дальневосточного региона, начиная от Хабаровска, Владивостока и кончая Сахалином, Камчаткой, Курилами, – перелистывал Никита Сергеевич короткие беглые записи, мысленно планируя сразу по приезде в Москву хорошо изучить их, обмозговать, четко сформулировать деловую «Записку», на основе которой (возможно, совместно с Советом министров) подготовить постановление о развитии Дальнего Востока и безотлагательно рассмотреть его на одном из ближайших пленумов ЦК КПСС... Планы обширные! А Порт-Артур? – вдруг кольнула мысль, напомнила. О Порт-Артуре – ни слова! Как будто его и не было вовсе. Ладно, вопрос решен, а после драки кулаками не машут... Ну, малость столкнулся с Мао, погорячился, не понял и не принял его «Сто цветов», так это ж наше личное дело, утешил себя Никита Сергеевич. Ему и в голову не приходило тогда, что с этого их «личного дела» начинается полоса многолетних и более чем холодных, неприятельских отношений с Китаем, вплоть до больших обид и нежелательных обострений... Но это все было еще впереди.

А сейчас, будто отмахнувшись от порт-артурской «загвоздки», подтолкнул он себя, сейчас есть дела поважнее! Будем осваивать и укреплять Дальний Восток. Да эта задача по размаху и масштабам своим может превзойти, пожалуй, и нынешнее целинное наступление, – мыслями уносился вперед.

Однако, вернувшись в Москву, не то чтобы спохватился, но как бы прозрел и увидел – с нынешним Совмином не только каши, но и жидкой похлебки не сварить. А кто в этом повинен? Вопрос излишний – рыба гниет с головы... «Вот с этой «головы» и начнем спрос», – твердо решил Хрущев.

Впрочем, решение это не было спонтанным. Никита Сергеевич еще в поездке по Сахалину как-то в одном из разговоров

с Булганиным и Микояном без всяких экивоков сказал: «Что ж, Совмин придется потряхнуть изрядно». Микоян внимательно посмотрел на него и осторожно поинтересовался: «А что там... у нас?» Его, Анастаса Ивановича, встряска эта хоть и не напрямую, но тоже могла коснуться. Хрущев, угрюмо помедлив, ответно спросил: «А вы сами не видите? — И добавил внушительно: — Маленков там у вас... вовсе расхомутился мужик! Не тянет и не везет...» — этим все было сказано. И теперь оставалось только ждать — какие меры засим последуют?

Визит на крейсер «Калинин»

В середине пасмурного и стылого ноября крейсер «Каганович», снявшись с внешнего рейда, перешел в бухту Золотой Рог и встал к стенке девятнадцатого причала. Знакомый трап, сброшенный с кормы флагмана на берег, мигом дал понять: вот мы и дома! И сразу отпало множество мелких добавочных беспоконств, связанных с рейдом; ненужным стал и рейсовый катер, доставлявший с корабля и до причала (разумеется, и обратно) увольнявшихся на берег офицеров и матросов, теперь все было под рукой, сбежал по трапу — и ты уже в городе, шагай куда надо; и никакой тебе суеты и спешки в ожидании обратного катера, явился на причал к тому же знакомому трапу, секунда-другая — и ты уже на борту своего флагмана...

Нет-нет, крейсер «Каганович» пока еще не утратил этого статуса! Хотя после хрущевского приезда во Владивосток и выхода Никиты Сергеевича в море не на флагмане, как планировалось изначально, а на крейсере «Калинин» (вообще-то, крейсера эти, как два близнеца, однотипные, на одном заводе, одновременно и по одному проекту 26-бис построены, и все же...), после неожиданных и, прямо скажем, неприятных передраг, вызванных прихотями Хрущева, «палубное радио» все чаще и настойчивее стало вещать о некоем скором статусном понижении крейсера «Каганович»; а затем выдало в «эфир» и куда более достоверную информацию, что отказ Никиты Сергеевича взойти на борт флагмана объясняют две причины. Первая — недавнее (с тех пор прошло всего лишь три месяца) и всем известное на крейсере, всеми так или иначе пережитое потрясение, связанное с загадочной смертью в своей каюте контр-адмирала Клевенского; вторая — название крейсера, которое и вызвало у Никиты Сергеевича



столь бурное и раздражительное неприятие (аллергия сработала), будто красная тряпка для тореадорского быка... Вот это ближе всего к истине. Именно тогда, в ту пору, отношения Хрущева с Кагановичем (как, впрочем, и с Маленковым, Молотовым, заодно и с Булганиным) достигли крайней точки, того предела, за которым, похоже, ничего уже не оставалось, кроме разрыва.

Но тогда, поздней осенью пятьдесят четвертого, об этом лишь назревавшем событии мало кто знал и догадывался. И даже «палубное радио» в своих широких загашниках не имело такой убедительной фактуры, ходило вокруг да около; вскроется же то событие и станет всем известно лишь в начале 1955-го, вскоре после новогодних праздников, на очередном партийном пленуме, где с погромной речью выступит Никита Сергеевич...

А пока на крейсере «Каганович», как, наверное, и на всем флоте, жизнь бурлила и шла своим чередом – каждый знал свое место и делал свое дело.

И как всегда утром, сразу после девяти, в типографский отсек забежал редактор, перекинулся парой-другой привычных, можно сказать, ритуально-обрядовых вопросов-ответов, как бы походя известил о том, что давно обещанный четвертый наборщик, кажется, вот-вот должен прибыть, потом повернулся к Сергею и, словно спохватившись, добавил:

– Да! И вот еще что: есть боевое задание. Сегодня, к 12.00, надо сходить на крейсер «Калинин». Там, в типографии, будет ждать тебя твой коллега, ответсекретарь. Возьмешь у него фотографии, пожмешь ему руку – и полным ходом обратно. Все понятно?

– Так точно, – кивнул Сергей. – А что за фотографии?

– Памятные, – коротко бросил редактор. – Хрущев там во всех видах, снимали его в походе. – И пояснил: – А типография на «Калинине» в том же отсеке, что и у нас, рядом с правобортным торпедным аппаратом. Не заблудишься?

– Постараюсь, – заверил Сергей.

Где-то без четверти двенадцать сошел на берег, повернул налево и не спеша двинулся вдоль причала, мимо теснившихся у стенки эсминцев, тральщиков, морских охотников, сто-

рожевых кораблей, в сторону хорошо заметного в их ряду крейсера «Калинин», стоявшего невдалеке от всем известного судоремонтного завода №202, туда и устремился Сергей — любопытно было взглянуть на крейсер-двойник. И в какой-то миг почудилось ему, что взошел он на палубу своего корабля — так все здесь до мелочей было знакомо; он двинулся правым бортом, слева осталась кормовая башня с чуть вздернутыми и зачехленными орудийными стволами, немного в стороне темнел распахнутый люк нижней палубы, секунды спустя, надвинулись, заслоня обзор, и потянулись к шкафуту привычные глазу спардековские надстройки, а справа по борту виднелся все тот же трехтрубный торпедный аппарат... Поравнявшись с ним, Сергей коснулся рукой ближней трубы и круто повернул к двери типографского отсека. Все как дома! Уверенно распахнул дверь. «Разрешите», — шагнул через комингс и тотчас увидел вставшего навстречу парня, такого же невысокого и белокурого, как и он, в синей фланельке, погончики с двумя нашивками — это их как бы уравнивало. Сергею вдруг отчего-то стало смешно и весело (сплошные двойники!), но он сдержал себя и доложил с явно преувеличенной серьезностью:

— Старшина второй статьи Лепихин с крейсера «Каганович», по поручению редактора...

— Насчет фотографий? — опередил его «калининский» старшина и руку подал: — Привет, коллега! А мы вас ждем. И все для вас уже приготовлено. Вот, — сказал он, при этом взял с наборного стола довольно увесистый конверт, секунду-другую подержал, будто для наглядности, затем вынул из него пачку снимков и положил на том же столе перед Сергеем. — Здесь тридцать штук. Хватит?

— Думаю, хватит, — помедлив, кивнул Сергей. И взял из слегка разъехавшейся стопки верхний снимок, небольшой (наверное, девять на двенадцать), но сделан мастерски — великолепный ракурс, светотени и две фигуры на переднем плане, Хрущев и Булганин, столь живы и натуральны в каждом своем зафиксированном жесте, что, кажется, вот-вот сдвинутся и пойдут по палубе, мимо орудийной башни, подле которой стояли. — Отличная

фотография, — сказал Сергей. — И бумага отменная, глянцевая... Это не ваши фотографии постарались? — глянул на своего коллегу.

— Да ну, — мотнул головой тот, посмеиваясь, — таких мастеров у нас нет. Сплошные любители, для них что глянцевая, что матовая — все на одну колодку. А это фотокоры из Москвы, зубры! Вон, посмотри, — кивнул на снимки, — у них и на матовой бумаге все схвачено и отпечатано как надо.

Сергей взял другую, гораздо больших размеров карточку, на ней, кажется, уместился, не оставив ни единого просвета, чуть ли не весь экипаж крейсера — яблоку негде упасть. Можно сказать, не просто коллективный, а массовый снимок. Однако и этот снимок отделан столь искусно и тщательно, что даже в самых последних рядах «массовки», сплошь заполнившей фотографию, матросские лица вполне различимы и характерны; не говоря уже о переднем плане, он сразу бросался в глаза, этот единственный сидячий ряд, в центре которого вольготно расположился Никита Сергеевич, справа от него Микоян, Малиновский, Пантелеев, а слева Булганин, Кузнецов и первый секретарь Приморского крайкома партии Мельник.

Сергей окинул взглядом общий вид фотографии, раз-другой пробежал глазами по первому ряду, всматриваясь в знакомые лица, и тут взгляд его как бы споткнулся о нечто такое, что выпадало из ряда вон (Сергей не сразу углядел: что это?), но уже в следующий миг все понял, обнаружив тот «казус», и повернулся к своему коллеге:

— Послушай, а что это Анастас Иванович единственный на всей фотографии вырядился в зимнюю шапку?

— Да еще и в офицерскую, — уточнил «калининский» старшина, посмеиваясь. — Правда, без кокарды, но за этим дело не станет. А вообще-то прохладно было в тот день, — сменил тон, как бы оправдывая Микояна. — Хотя «палубное радио» наше утверждает, что шапку Анастас Иванович надел поневоле, поскольку шляпу с него сорвало ветром во время учебных стрельб и унесло в море где-то в районе Татарского пролива. Может и так. Но я этого не видел и подтвердить не могу.

— Будем считать, что так, — как бы мимоходом обронил Сергей. — А снимки великолепны, — собрал их аккуратно и уложил в конверт. — Так что вам, товарищ старшина второй статьи, за столь ценный подарок благодарность от лица всей нашей редакционно-типографской команды, — церемонно пожал руку коллеге. — Подарок что надо! Будем теперь на досуге разглядывать фотографии и гадать: почему Микоян в офицерской шапке, а Хрущев в фетровой шляпе... И почему Никита Сергеевич в самый последний момент передумал и не пошел на флагманский крейсер? — добавил с горчинкой. — А мы ждали, готовились к этой встрече...

— Да ты не горюй, — поспешил подбодрить его «калининский» старшина. — Какие наши годы — все впереди. И Хрущева ты еще встретишь. Непременно встретишь! — твердо пообещал, прямо таки духоподъемно, хотя в голосе сквозили шуточные нотки. Да и Сергей, похоже, не шибко-то горевал и, явно подыгрывая, спросил:

— Ну, и когда эта встреча состоится?

— Думаю, скоро... в недалеком будущем.

— Что ж, будем надеяться на будущее, — они переглянулись и понимающе засмеялись, еще раз крепко пожав друг другу руки, и расстались легко — разошлись, как в море корабли...

Но вот что интересно! Слова о неперенной встрече с Хрущевым, сказанные вроде бы шутки ради, а, может, и для поднятия духа (пустые, в общем-то, слова, как тогда думалось), оказались пророческими. Сергей Лепихин вспомнил о них спустя семь лет, когда впервые увидел Хрущева на комсомольском съезде и услышал его свержгорячую и даже крикливую речь не только о завершении строительства коммунизма в нашей стране в ближайшие двадцать лет («Нынешнее поколение будет жить при коммунизме!»), но и о делах международных, особенно об остром и жгучем в то время «китайском» вопросе, точнее сказать, об испорченных и разрушенных вконец отношениях с Китаем; причем всю вину за эту печальную нескладуху Никита Сергеевич возлагал на Мао Цзе-Дуна и его приспешников. Однако ни единого слова не сказал о том, как осенью 1954-го, будучи

в Пекине, рассорился с Мао — и причиной послужили вовсе не «Сто цветов», смысла которых не уловил Никита Сергеевич (восток — дело тонкое), а неразумный, поспешный и нежелательный для обеих сторон разрыв важнейшего тридцатилетнего договора о совместном использовании Порт-Артура, а затем и сколопалительный вывод с Ляодунского полуострова советских войск...

Впрочем, вряд ли кто-нибудь из сидевших в огромном зале нового Кремлевского дворца делегатов и гостей комсомольского съезда знал все подробности этой головотяпской, во многом ошибочной (если не преступной) порт-артурской «операции» 1954 года. Но Никита Сергеевич в своей пылкой речи, разумеется, ни слова об этом не проронил. Он говорил о строительстве неизбежного коммунизма, в котором наша страна будет жить уже через двадцать лет... Зал неистово аплодировал. Двадцать лет — это же рукой подать! А что-то будет через тридцать, сорок лет... Кто мог знать?! Но планов начертано громадье, и песня как бы сама по себе возникала — наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка... Настроение было приподнятым. И люди верили — так и будет!

Шел апрель 1962 года. Заседали комсомольцы в новом Кремлевском дворце съездов, совсем недавно построенном (и года еще не прошло), однако снискавшем уже довольно нелестное прозвище — «аквариум». Говорили об этом вслух. Новое кремлевское здание, по мнению неких знатоков, лишенное самых малейших признаков какого-либо архитектурного стиля, изрядно раздражало, вызывая сплошную и несусветную тоску, — стеклянно-бетонный квадрат, похожий на громадный аквариум. Вот отсюда и пошло... «Боже, что сотворили! Испортили Кремлевский ансамбль...» — стонали все те же знатоки, пуская слезу и разглядывая новый дворец лишь издали и только снаружи. Но когда вошли в здание и увидели его изнутри — от прежних оценок и следа не осталось. Просторно, красиво и современно, словом, полный ажур!

«Ну, братцы, в Приобске у нас такой роскоши не сыскать», — говорил Сергей Лепихин коллегам своим, вместе с ними подни-

маясь в ложу прессы. Эдакие почетные гости! «Знаешь, старик, здесь все располагает к отдыху, но не к работе», — вальяжно усевшись в кресло, посмеивался Вадим Загвоздин. Будучи в Москве, они держались рядом — земляки, можно сказать. Несколько лет Загвоздин жил и работал в Приобске. Там и уступил свое место Сергею Лепихину, а сам перебрался в Сталинград, совсем недавно переименованный в Волгоград. Вадим то и дело оговаривался, называл его по старинке и разводил руками, как бы извиняясь: «Никак не могу затвердить новое название». Сергей сочувственно утешал его: «Ничего, затвердишь, время все обрадует». И вдруг заметил неподалеку, в их же ряду, но как бы на отшибе, сидевшего в гордом одиночестве (ложе прессы была просторной) солидного пожилого человека, с довольно знакомым лицом. Сергей смотрел на него, но никак не мог догадаться — кто это? И тихонько спросил Загвоздина, указав глазами: «Вон того седого товарища узнаешь?» Вадим, едва глянув, сказал с усмешкой: «Ну, дорогой, таких людей надо знать! — И уже вполне серьезно: — Это же поэт Безыменский. Помнишь: «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян...» Еще бы не помнить! «Но почему он здесь сидит, а не в президиуме?» — удивился Сергей. «Так он же с прессой накрепко связан, вот потому и сидит здесь, в ложе прессы. Нет-нет, старик, тут все справедливо, — по-своему повернул Вадим, лукаво сощурясь: — А что, пойдём да поговорим с поэтом? Зададим парочку вопросов...» — «Так ведь нам никто этого не поручал», — остерег Сергей в том же игривом духе. «А если без поручений, не для печати, а лично для себя... имеем право? — явно подначил Загвоздин. — Или тебе неинтересно? — И видя, что Сергей колеблется, мигом его уломал: — Запомни, старик, такого случая может больше не быть. Сегодняпустишь — завтра жалеть будешь. Ну?!» И они разом встали и двинулись в сторону сидевшего неподалеку, известного им еще со школьной скамьи комсомольского поэта Александра Безыменского, знаменитого в те поры не меньше Демьяна Бедного...

Они подошли, делая вид, что столкнулись случайно, и более уверенный и опытный Загвоздин заговорил просто, без всякой фальши и даже с неким душевным пафосом, будто встретив

давно и лично знакомого человека: «Здравствуйте, Александр Ильич! Приятно видеть и приветствовать вас в этом прекрасном зале на комсомольском съезде...» — проникновенно и тихо сказал он, обращаясь к поэту. Безыменский вскинул голову и посмотрел на них с любопытством, но без малейшего удивления, похоже, для него такие внезапные встречи и случайные разговоры привычны, особенно здесь, на комсомольском съезде, где был он своим человеком — и узнавали его на каждом шагу.

«Здравствуйте-здравствуйте, молодые товарищи, — спокойно и так же тихо ответил он и, чуть помедлив, добавил: — А зал этот, вы правы, действительно замечательный. Мне он по душе». — «Вот видите! — как бы зацепившись за эту мысль, подхватил Загвоздин. — А кое-кому не нравится новый Кремлевский дворец, построен, мол, без всяких архитектурных затей и сильно похож на аквариум...» Безыменский улыбнулся и покивал: «Да-да, я слышал такое. Ну, так это и неудивительно, к новому всегда отношение неоднозначное, — сказал он. — Кто-то с восторгом принимает, а кто-то хаёт всю и отвергает напропалую. Тут главный ценитель время — оно и расставит все по своим местам». — «Время? — как бы усомнившись в чем-то, спросил Сергей. — Скажите, Александр Ильич, а людей время шибко меняет? Вот вы, как известно, были делегатом самых первых комсомольских съездов и вам, наверное, нетрудно сопоставить, чем отличаются друг от друга поколения тех далеких двадцатых и нынешних шестидесятых годов?» — «Да мало чем отличаются, — чуть подумав, ответил Безыменский. — Разве что наружно... Вот, например, нынешние делегаты получше одеты, — сказал, улыбнувшись и обводя глазами глухо и сдержанно гудевший внизу, под ложей прессы, громадный многоцветный зал — перерыв заканчивался, и делегаты поспешно занимали свои места. — Но все-таки сходств гораздо больше», — добавил, переводя взгляд на своих неганданых собеседников. «И что же это за сходства?» — почти разом спросили они, прерывая короткую паузу. Безыменский, глядя на них, все так же раздумчиво и неспешно отвечал: «Сходств много. И самое первейшее, а может, и самое главное — мы были в то время такие же молодые, как и вы сегодня, и такие же роман-

тики, энтузиасты, горячие головы, готовые хоть в огонь, хоть в воду...» Сергей, улучив момент, спросил: «Александр Ильич, вы ведь были делегатом и первого, и второго съездов?» — «Да, был и на первом, и на втором, — подтвердил Безыменский. — Кстати, комсомольские съезды проходили тогда ежегодно, — добавил. И тут же пояснил: — Но в работе второго съезда участвовал я скорее не как делегат, а как член ЦК РКСМ, избранный еще на первом съезде». — «Это сколько ж вам лет было, когда избрали вас в ЦК?» — подивился Загвоздин. «Много, — сдержанно улыбнулся Безыменский, и округло-моложавое лицо его как бы озарилось изнутри: — Полных двадцать лет, — сказал он. — Но у меня за плечами к тому времени был уже двухлетний партийный стаж, два года учебы в Киевском коммерческом институте и вдобавок — мои стихи уже всюду печатались в журнале «На посту»... Но это к слову, — все с той же лукавой усмешечкой произнес. — А что касается сходств, о которых вы спрашивали, можно вспомнить два факта, очень схожих и весьма значительных. Итак, начнем с осени 1920 года, — слегка форсируя голос, продолжал неспешно и с расстановкой: — Только-только закончилась гражданская война, еще слышны были ее мятежные отголоски то в Крыму, то на Балтике, а потом и в Тамбове... Вот в эту пору и открылся в Москве 3-й съезд комсомола, на котором, к великому ликования делегатов, выступил Ленин. Торжество было невероятное! — задумчиво и кротко улыбнулся Безыменский, он ведь был участником этих торжеств (и написал поэму о Ленине). — Владимир Ильич говорил о задачах, стоявших перед комсомолом, и призвал молодежь всей страны «учиться коммунизму», — вспоминал поэт. — Этот поистине окрыляющий ленинский призыв — учиться, учиться и учиться! — стал для тогдашней молодежи путеводным на многие и многие годы... Он и сегодня, как мне кажется, не устарел, этот ленинский тезис, не утратил своей злободневности...» — «А второй факт?» — осторожно напомнил Сергей. «А второй факт — сегодняшнее выступление Хрущева, — ответил Безыменский и живо глянул на своих собеседников: — Вот эти два факта и перекликнулись почти через сорок два года. Можете представить себе: если в двадцатом году Владимир Ильич

только призывал молодежь «учиться коммунизму», то сегодня, в апреле шестьдесят второго, Никита Сергеевич уже начертил программу строительства коммунизма на ближайшие двадцать лет...» — «Ближе нельзя, — не без ехидства вставил Загвоздин, — рукой можно дотянуться». Однако Безыменский, пропустив это мимо ушей, как бы закруглил свою мысль: «Так что эстафета, принятая от Ленина, как сказал Никита Сергеевич в своем выступлении, передана в надежные руки молодых...» Загвоздин и тут не удержался: «Да-да, сходство двух этих фактов весьма велико, разница лишь одна, — гнул он свое, — на 3-м съезде комсомола выступал Владимир Ильич, а сегодня, на 14-м съезде, речь произнес Никита Сергеевич...»

Безыменский внимательно посмотрел на остроязыкого своего собеседника, но ничего не сказал, не успел сказать — на авансцене Кремлевского дворца в это время появился почетный президиум во главе с Хрущевым, который, казалось, не шел, колыхаясь всей своей укороченно-тучной фигурой, а катился по авансцене на неких невидимых и неловких роликах; справа от него спокойно и твердо шагал статный широкоплечий красавец, председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев, а между ними, будто зажатый в их объятиях, легко и как бы играючи двигался невысокий, очень ладный и молодой (явно комсомольского возраста) майор, имя и лицо которого знала не только вся страна, но и весь мир, космическая слава его уже достигла зенита. Громадный зал Кремлевского дворца, шумно и разом поднимаясь, долго и радостно скандировал: «Га-га-рин! Га-га-рин!! Га-га-рин!!!» — словно рядом с этим круглолицым приветливо улыбающимся майором не было ни Хрущева, ни Брежнева...

Вадим Загвоздин и Сергей Лепихин наспех, но тепло попрощались с Безыменским, не смея больше отвлекать его, и вернулись к своим коллегам, дружно занимавшим почти всю правую часть просторной ложи. Кто-то из них (кажется, киевлянин Володя Онищенко) с усмешечкой поинтересовался: ну что, взяли интервью у комсомольского поэта? «Поговорили, — сухо и более чем серьезно ответил Загвоздин и, чуть помедлив, добавил: — Умный мужик».

И в это время первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов сочным и молодым голосом объявил заседание открытым. Четырнадцатый съезд комсомола продолжал работу.

Нет-нет, ни Сергей, ни его коллеги делегатами съезда не были, но и гостями назвать их тоже нельзя. Хотя съехались они, можно сказать, с 1/6 земного шара, то есть со всего Советского Союза, собственные корреспонденты (тридцать три собкора!) «Комсомольской правды», приглашенные, а лучше сказать, в ы з в а н н ы е из далеких и самых дальних мест в столицу на Четырнадцатый съезд Комсомола. И среди этих тридцати трех Сергей Лепихин – самый молодой (не по возрасту, а по стажу), он всего лишь три с половиной месяца как утвержден собкором по Приобскому краю. О, батенька, это ж чуть не вся юго-западная часть Сибири! Степи, леса, горные перевалы, просторы неохватные – больше тысячи километров от Кулунды, что близ Казахстана, до Кош-Агача и Ташанты, где граница с Монголией. Такие пространства иным европейским государствам и не снятся...

Но стоп! Кажется, мы забежали вперед. А Сереже Лепихину еще предстояло служить да служить на флоте. И он только что побывал на крейсере «Калинин», где из рук своего коллеги получил добрую пачку памятных фотографий и возвращался в отличном настроении на свой родной крейсер, напевая себе под нос: «Уходит вдаль широкая дорога, окутал сопки утренний туман и снова бухта Золотого Рога нас провожает... Стоп! – уже ступив на знакомый корабельный трап, оборвал себя и усмехнулся: – Никуда мы в ближайшее время не уходим...»

Дневная облава

Вторую неделю крейсер «Каганович» стоял у стенки девятнадцатого причала. Шел предпоследний день ноября 1954 года. И день этот для типографской команды оказался свободным. Набор очередного номера газеты «Вперед!» сделан был загодя, и редактор, расщедрившись, дал увольнительную всем трем наборщикам – вроде поощрения. Типография после их ухода как-то враз опустела и затихла. Старшина Кужельников покрутился минуту-другую подле дремотно молчавшей «американки», ощупал, осмотрел ее, что-то подправил, протер мягкой тряпичей и без того блестящую станину... И вдруг, словно о чем-то вспомнив, оставил работу и повернулся к Сергею: «Ты здесь будешь? Отлучусь-ка я на часок, кое-что надо сделать...» Кужельникова в конце года ждала демобилизация, и он готовился к ней довольно серьезно и тщательно. «Да-да, я буду здесь», – сказал Сергей, продолжая перебирать и укладывать стопкой газетные вырезки наиболее интересных и важных своих публикаций, которых за три года поднакопилось изрядно. Однако сортировка была строгой – и в стопку Сергей откладывал исключительно только очерковые («близкие к беллетристике») материалы, напечатанные во флотской газете «Боевая вахта». Вся мелкота тут же и без особого сожаления отодвигалась в сторону как заведомо проходная однодневка, не имеющая маломальской ценности. Впрочем, Кужельникова это мало интересовало. Он кинул бескозырку на голову и вышел.

Сергей тем временем закончил «расфасовку» своих сочинений, увенчав довольно жиденькую стопку газетных вырезок Бюллетенем Главного Политуправления Советской Армии и Военно-Морского Флота; вот в этом бюллетене, имевшем форму некой (четырёхстраничной) брошюры, и был напечатан в за-

метно сжатом виде (целиком опубликованный раньше в «Боевой вахте»), может, и не самый лучший очерк Сергея Лепихина, но самый громкий – это бесспорно. Очерк «Самоотверженный поступок» (о подвиге матроса Бориса Панфилова, спасшего из ледяной весенней воды пятерых тонувших детей) перепечатали затем все армейские и флотские многотиражки страны, а героя очерка (с ним Сергей служил на одном корабле и жил в одном кубрике) командующий Тихоокеанским флотом адмирал Пантелеев наградил именными часами...

Но с тех пор прошло уже два года.

Сергей придвинул поближе картонную папку, чтобы уложить в нее столь тщательно подобранные для дальнейшего и более надежного хранения газетные вырезки со своими бессмертными опусами – посмеивался, будто подначивая себя: а что, вполне тянет на книжку морских очерков...

Вдруг его осенило. Он встал, быстро прошел к двери, закрыл ее на задвижку, как делалось это во время учебно-боевых тревог, задраил иллюминатор... Что он задумал – пока неясно. Но, кажется, решение принял твердое. Тотчас вернулся к наборному столу, выдвинул кассовый ящик и начал выуживать из ячеек нужные литерки, вгоняя их, словно патроны, в обойму верстатки. Вот так! – остался доволен. Набрать заглавие некой мнимой книги, которая не только витала в облаках, но и прочно сидела в голове Сергея, оказалось парой пустяков. Минута, другая – и семь слов образовали четкий титульный порядок: «Сергей Лепихин» – нетрудно догадаться, автор этой мифической книги, а ниже, после пробела, более крупным шрифтом заголовок: «Морской узел», еще ниже, под заголовком и через такой же пробел, изящным мелким курсивом обозначение жанра: «Рассказы и очерки». Все до мелочей продумано, осталось только сверстать. «Сейчас сверстаем... и заматрицируем!» – мысленно упредил Сергей. И матрица вот она, под рукой, и печатная машина «американка», тускло отсвечивая хорошо протертой округлой станиной, всегда наготове, включай – и поехали... По-о-ехали! – весело загудела «американка», шлепнула несколько раз – и тут же, можно сказать, на разгоне, была остановлена. Минута работы – и вот

он, свеженький, пахнувший ни с чем не сравнимую типографской краской, четко отпечатанный на газетной бумаге (лощенной не было под рукой) титульный лист пока что лишь мнимой, воображаемой книги. Но титул выглядел настоящим, необыкновенно живым — и шрифт удачно подобран, и все пропорции соблюдены... Ах, как здорово получается: «Сергей Лепихин. Морской узел. Рассказы и очерки». Куда с добром! — мечтательно улыбнулся Сергей, подойдя к столу, где стопочкой сложены все его лучшие сочинения, опубликованные за три года в газете «Боевая вахта». Сергей свернул только что отпечатанный титульный лист вдвое (за неимением твердой обложки сойдет и мягкий переплет), примерил — как будто тут и было! Правда, корешка не получилось, пачечка вырезок газетных оказалась излишне тонкой. Ничего, утешил себя Сергей, первая книжка и без корешка обойдется...

И в это время кто-то торкнулся в дверь. Сергей замер в ожидании, полагая, что вернулся Кужельников и сейчас подаст голос. Но в тот же миг, не давая опомниться и что-либо уяснить, снаружи донеслось повелительно-твердо и властно: «Откройте дверь! Немедленно откройте!» Голос явно не кужельниковский и вовсе незнакомый. Кто там ломился в дверь, лихорадочно пытался сообразить Сергей. Возможно, кто-то случайно обнаружил в наглухо закрытом отсеке работу печатной машины, да еще и в час неурочный, и, заподозрив неладное, поднял тревогу. Эта мысль показалась нелепой. Кто мог знать, когда тут, за этой бронированной и всегда наглухо закрытой типографской дверью, урочный или неурочный час? Никто не мог этого знать! Никто, кроме редактора и типографского старшины. Наборщики тоже не в счет, они, как известно, в этот день были свободны и находились на берегу.

Эта мысль мелькнула и в долю секунды обмозговалась в голове Сергея. Значит? — спешил он ответить и на этот вопрос. Значит, либо Миша Кужельников, либо сам редактор, лейтенант Волков, кто-то из них, засек рабочий гул безотказной «американки» как раз в тот момент, когда Сергей печатал титульные листы своей «самиздатовской» книги «Морской узел», сделав три оттиска — минутная работа, пара пустяков...

А дальше – опять непонятный пробел. Откуда, как и зачем возник за дверью этот явно посторонний, напористый и нетерпеливо-жесткий голос, чей он, кому принадлежал? В какой-то миг Сергею показалось, что это замполит крейсера капитан третьего ранга Зеленин. Неужто и замполиту доложили? Какой стыд! – ужаснулся Сергей, мгновенно оценив свое незавидное, а может, и катастрофическое положение. Нет, особого страха он не испытывал, а вот чувство стыда возникло вдруг за столь необдуманный «детский» поступок, с одной стороны, нелепый и даже смешной, но с другой стороны, не по-детски весьма опрометчивый и чреватый своей непредсказуемостью... Ну, что ж, сумел по-детски залететь, умею по-взрослому и ответ держать, как бы смирившись с этим, подумал Сергей, а ничего другого ему и не оставалось.

И когда из-за двери после короткой и злой паузы все тот же незнакомый железный голос в третий раз воззвал к нему, требуя открыть немедленно, Сергей уже без всяких колебаний и промедлений шагнул к двери, отодвинул засов и едва успел отпрянуть, чуть ли не лицом к лицу столкнувшись... с osobистом. Вот этой встречи он не ожидал! Это похоже было на удар в спину. Так вот, оказывается, чей это голос, как бы поверх сознания мелькнуло в голове Сергея. И защемило внутри. Уж лучше бы замполит явился, подумалось вдруг.

Но капитан-лейтенант, кажется, и не взглянул на Сергея, влетел в типографию и напрямик устремился к наборному столу, где на самом видном месте (ожидая, наверное, своего изобличителя) лежала та самая печатная продукция, которая больше всего и занимала сейчас особиста; редактор вошел вслед за ним и теперь, стоя рядышком, не без любопытства и некоторого удивления разглядывал чуть отодвинутые на столе, как видно, запасные титульные листы будущей книги Сергея Лепихина... Капитан-лейтенант подержал согнутый вдвое листок на ладони, будто взвешивая, и молча передал редактору. Затем взял в руки брошюрного вида стопочку, облаченную в точно такой же титул, спешно перелистал сухо шуршавшие газетные вырезки, попутно, должно быть, читая заголовки, и, ничего не порушив (и даже,

что называется, не тронув пальцем и не изъяв из обихода свежееотпечатанный титульный лист), аккуратно, все как было, вернул на стол и раздельно-тихо сказал, расставив, где надо, точки: «Все понятно. Но это не моя сфера». Редактор вопросительно посмотрел на него. И капитан-лейтенант, круто повернувшись и направляясь к двери, бросил уже на ходу: «Разберетесь сами».

Сергей стоял чуть в стороне, как будто процедура эта никак его не касалась; и особист, так ни разу и не взглянув на него и не сказав ему ни единого слова, стремительно вышел из типографии, оставив их втроем. Хотя лицом к лицу в этот момент Сергей оказался только с редактором, Кужельникова не было видно... Несколько минут назад, как только Сергей открыл дверь, Миша вслед за особистом и редактором проскользнул в отсек и тотчас исчез за неостывшей еще от недавней работы печатной машиной, там и отсиживался — тише воды и ниже травы.

«Ну, молодцы-ы, наделали шума...» — прямо-таки выдохнул редактор после ухода особиста. Сказал не только с упреком, скорее с облегчением, как показалось Сергею. Видать, и ему, редактору, несладко достались эти минуты. А ну как вскрылось бы что-то серьезное?! Но, кажется, обошлось... А капитан-лейтенант, оказалось, мужик с характером. Мог ведь и гайки закрутить, сопроводив «печатника» в свою каюту 33, а он эти «гайки» просто сорвал: «Разберетесь сами». Все?!

И Сергей, чувствуя свою вину, с покаянным видом шагнул к редактору: «Извините меня, товарищ лейтенант, за мальчишество, глупо все получилось, мне стыдно», — искренне повинулся. «Конечно, глупо... и необдуманно. Вы хоть сейчас понимаете? — спросил редактор и внимательно посмотрел на вышедшего, наконец, из своего укрытия старшину первой статьи Кужельникова. — Нельзя с этим шутить... — внушительно-потаенно и тихо сказал. — С этим не шутят».

Сергей слушал редактора, следил за каждым жестом его и выражением лица, пытаясь понять и уяснить для себя, как и почему случай сегодняшний обернулся таким неожиданным и рьяным вмешательством особиста, кто ему доложил? Однако вся процедура эта, похожая на облаву, длилась считанные минуты

и завершилась еще более неожиданным и чуть ли не смешным поворотом. Все, мол, понятно, но это не моя сфера, — объявил капитан-лейтенант, как бы тем самым отводя типографскому инциденту роль этакой «домашней», сугубо семейной заварухи, потому и отвернулся от нее, походя бросив: «Разберетесь сами».

Все верно — случай, действительно, выеденного яйца не стоит, можно было и в «домашнем» кругу разобраться. Но как и почему в этот круг особист затесался? Ведь не мог же он сам догадаться, что печатная машина в типографском отсеке работала в неурочное время. Не мог! Такое исключено. Значит, кто-то ему доложил. А вот это уже не смешно. И, как сказал редактор, с такими вещами шутить нельзя. Правильно! Однако сам редактор предпочел замять эту не очень-то красивую ситуацию, не полез вглубь, дабы разложить все по полочкам (зачем, кому это нужно?), и не стал разводить антимионию там, где в сущности вопрос уже разрешен. «Все! Тема закрыта, — сказал он твердо, по-командирски. — Поставим точку и займемся делами».

А как еще мог в этой ситуации поступить редактор? Трудно представить себе иное решение.

Но как только лейтенант вышел за дверь, Лепихин с Кужельниковым, оставшись наедине, переглянулись и поняли по глазам — нет, точку ставить еще рано...

— Ну вот! — опережающе заговорил Кужельников, как бы глядя на все со стороны. — Прав лейтенант, наделали тут шуму. А кто виноват?

— И кто же по-твоему? — встречно поинтересовался Сергей.

— А то ты не знаешь...

— Знаю, — кивнул Сергей. — И признаю: если бы я не взял в руки верстатку и не делал бы никакого набора, а потом не включал бы на полную мощность нашу безотказную «американку», чтобы тиснуть этот набор, уверяю тебя, никакого шума никто бы не услышал.

— Ну?! Так и я об этом же говорю, — воспрянул и оживился Кужельников, подошел к наборному столу, глянул не без интереса на титульный лист, отпечатанный Сергеем, и удивился: — Так это ж сущий пустяк! Таких штукovin мы бы тебе сколько угодно

нашлепали. А ты сам взялся, да еще и задраил на всю катушку, будто по тревоге. Такую бучу поднял!

— Верно, буча, действительно, вышла никчемной и зряшной, — как бы согласился Сергей, чего-то не договаривая. Помедлил чуть и добавил: — Даже капитан-лейтенант не стал вникать в нее, в эту нашу бучу, разберетесь, говорит, сами...

— А чего тут разбираться — и так все ясно.

— Это тебе ясно.

— А тебе что неясно? — довольно грубо и напористо проговорил Кужельников. — Да если б ты не полез в чужие сани, никакого шума не было бы и в помине.

— Правильно! И я тебе уже объяснял и еще раз скажу: тут вся вина лежит на мне, оправдываться не собираюсь. Но меня интересует другое: а каким чудным образом корабельный особист узнал о нашем шуме, кто-то же ему доложил? Кто? — глянул в упор на типографского старшину.

Кужельников, как видно, не ожидал столь прямого вопроса и замер, оторопело застыв на какое-то время, потом встрепенулся, голову вскинул и пристально посмотрел на Сергея:

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— А кого же мне еще спрашивать? — не отводил взгляда Сергей. — Когда я открыл дверь и увидел особиста, а за его спиной рядом с лейтенантом и ты стоял, мне сразу стало понятно, что именно ты доложил по инстанции.

— Но я же не один там стоял... за спиной особиста.

— Лейтенант?! Нет, в этом я твердо уверен, лейтенант нашел бы другой выход, — решительно исключил Сергей всякие подозрения в адрес редактора. — А вот зачем это сделал ты, мне и сейчас непонятно.

Говорили они на удивление спокойно, без всяких срывов и какой-либо излишней горячки, но при этом не прибегая и к эзоповским экивокам — шли открыто и напрямую. Хотя Кужельникову было это и не с руки.

— А что здесь непонятного? — сказал он тихо и неохотно. И тут же пояснил: — Подхожу к нашему отсеку, а он задраен... и «американка» внутри гудит вовсю и шлепает, что-то печатая.

Меня аж в жар бросило! Я ж не знал, почему печатная машина на ходу и кто там на ней работает.

— Постой, постой, а кто же еще, кроме меня, мог здесь быть? — остановил его Сергей. — Мы же с тобой условились, что я буду в типографии до твоего прихода. Ты что, забыл об этом?

— Ничего я не забыл, — буркнул Кужельников. — Но у меня в тот момент голова кругом пошла. Кто там, в типографии, ты или кто-то другой, я и не думал. Машина работала явно не на холостом ходу. И что мне оставалось делать? Медлить было нельзя...

— И ты поспешил в 33-ю каюту?! — не то подсказал, не то спросил Сергей.

— Другого выхода у меня не было, — поколебавшись, ответил Кужельников.

— Был, Миша, был и другой выход, простой и самый надежный. Постучать в дверь и подать голос, мол, это я, старшина первой статьи Кужельников, и дверь, как по щучьему веленью, открылась бы перед тобой. Но ты этого не сделал.

— Да, наверное, так было бы лучше, но я не смог этого сделать, — как будто сожалея, признался Кужельников. — Слишком внезапно все вышло. Да ты не переживай быстро, — ободрил он Сергея. — Все уже позади и закончилось благополучно. Вон и капитан-лейтенант не нашел никаких претензий.

— Вот это и утешает меня, — сказал Сергей, пряча усмешку. — А тебе спасибо за откровенность. Теперь можно и точку поставить, как говорит наш редактор.

И вдруг заспешил, быстро собрал в стопку почему-то не изъятые особистом, еще тепленькие, своими руками набранные и отпечатанные титульные листы воображаемой книги «Морской узел», аккуратно пристроил в «редакционном углу», секунду помедлил и сверху положил вчетверо свернутую газету «Боевая вахта» — этакая крыша над головой.

— Ну, я пошел, — двинулся к выходу. — Будь здоров! — отсалютовал Кужельникову, уже открыв дверь, и резко вышагнул через комингс на палубу, словно концы за собой обрубив.

Было свежо и тихо. Соленый бриз тянул с залива, касаясь лица и приятно щекоча кожу. Сергей облегченно вздохнул, будто

напрочь избавляясь от всех недавних треволнений, мимоходом и по привычке коснулся ближней торпедной трубы, казалось, пальцами ощущая и вбирая в себя скрытую в ней энергию и силу взрывную... Но подумалось о другом: наверное, прав Кужельников — все случайное и нелепое уже позади и возврата к нему не будет. Однако и слова редактора, брошенные, что называется, под горячую руку, не выходили из головы: «Шутить с этим нельзя». Кого и что имел в виду лейтенант? Похоже, касалось это необдуманной мальчишеской выходки Сергея, столько шума наделавшего включением «американки» и печатаньем не то титульного листа, не то обложки для некоей своей пока лишь в заоблачных высях витавшей книги... Но, думается, прежде всего, имел в виду редактор крайне поспешный и довольно рискованный доклад (скорее донос) Кужельникова вполне реальному особисту, жившему в 33-й каюте флагманского крейсера «Каганович». Словом, что-то из двух одно! А может, то и другое вместе? Хотя, по правде сказать, два этих поступка вряд ли совместимы...

Операция (по захвату с поличным этакого дерзновенного самиздатовского «печатника») оказалась предельно короткой и пустопорожней, потому и не имела какого-либо заметного резонанса. Опытный особист, вмиг раскусив ситуацию, решительно отступился: «Разберетесь сами». И редактору одному пришлось утрясать неожиданно возникшее, весьма щепетильное дело; но, кажется, все обошлось тихо и мирно, не выходя за пределы типографского отсека.

Да и в этих пределах участниками столь необычного события оказались лишь трое, не считая особиста: редактор, ответсекретарь и старшина типографской команды, той самой команды, которая полным составом находилась в тот день на берегу и, разумеется, ничего не ведала о случившемся. Зато наутро, когда Сергей сначала не без умысла проговорился, а потом и со всеми подробностями рассказал об этом невероятном своем приключении, наборщики посмеялись от души, живо представив себе картинку «облавы» во главе с особистом...

Что ж, было над чем смеяться! Но и удивляться было чему, а хорошо поразмыслив, и осознать, что случай этот не такой уж

смешной да потешный; и, разобравшись как следует, искренне возмутиться, не понимая лишь одного: почему Кужельников не постучал в дверь и не подал голоса, а сразу же, тихой сапой, кинулся докладывать особисту? Вот это было непонятно. Почему... почему он все-таки не постучал? Упорно доискивались истинной причины, казалось, и вовсе необъяснимого происшествия, прямо-таки зашли в тупик.

И тогда самый спокойный и опытный из них (на то он и старший матрос) Виктор Кусков, уже сидя за наборным столом с верстаткой в руке, как бы между делом вмешался:

— Ну что вы заладили, будто попугаи: почему да почему не постучал? — врасстяжку проговорил, то и дело поглядывая на лежавший перед ним на столе еще не набранный рукописный текст и аккуратно одну за другой выуживая из наборной кассы нужные литерки. — А с чего вы взяли, что он не постучал? Постучал, — все так же, не прерывая работы, усмешливо пояснил: — Правда, постучал не в ту дверь, о которой вы говорите, но... по-сту-чал!

Слово это, произнесенное с расстановкой, прозвучало с явным намеком, не надо и расшифровок, все понятно — стукач; хотя слово стукач ни разу вслух не произносилось, оно лишь подразумевалось, угадываясь в неких скрытых и прямых наводках, тем не менее наличие этого факта было для них бесспорным.

— Да-а... — покачал головой Зеленцов. — Дела-делишки...

А Шмыга и вовсе промолчал — не лез наперед батьки.

И буквально в этот же миг вошел в типографию Кужельников, озабоченно-хмурый и вечно чем-то недовольный, подозрительно глянул на как-то странно и враз примолкших наборщиков и догадался, наверное, или даже учуял, что разговор здесь только что шел о нем...

— Ну что, все еще раскачиваетесь? — походя и явно двусмысленно осведомился.

— Раскачались уже, — кратко и в тон ему ответил Кусков. — Работаем.

— Высиживаем набор для очередного номера, — подбросил Зеленцов и свою патетическую лепту.

— Ну-ну, высиживай... тоже мне петух нашелся, — буркнул Кужельников, не глядя на него и проходя к печатной машине, которая как бы всем видом своим выражала готовность в любой момент включиться в работу.

— А причем тут петух, товарищ старшина? — спросил Зеленцов. — Разве петухи, а не куры высиживают цыплят? Между прочим, у нас этих кур-наседок паруньями называли.

— Вот-вот! — вмешался Кусков, должно быть, стараясь загоя упредить его излишнюю говорливость. — Сейчас ты закатаешь нам целый трактат о паруньях, как они выпаривают, то бишь высиживают цыплят. Скажи, а кто за тебя будет высиживать набор для газеты «Вперед!»?

— Петухи, — подсказал Антон Шмыга, да с такой уморительной серьезностью произнес он это слово, что удержаться от смеха никто не смог. И Василь Зеленцов хохотал громче всех, аж до слез, а потом, вытирая глаза, пригрозил Шмыге:

— Ну, погоди, злодей, клюнет тебя петух в одно место...

На этой веселой волне и закончился разбор вчерашнего ЧП. Потом этот случай и вовсе потускнел и отодвинулся, заслонившись другими, наверное, более важными событиями. В начале декабря, завершив морскую свою «кругосветку», Миша Кужельников распрощался с крейсером и отбыл в родное Забайкалье. Никто особо не горевал — дело житейское, отслужил свое и уехал. Да и замена нашлась ему скоро (свято место пусто не бывает), старшиной типографской команды был назначен старший матрос Кусков. И радость, как говорится, была всеобщей, никто одобрения своего не скрывал — лучшего старшины и желать не надо! Они и сами, типографы, будь их воля, избрали бы только старшего матроса Кускова, только его — и никого больше!

Впрочем, старшим матросом Виктор пробыл недолго, вскоре ему, как и по штату положено, присвоили звание старшины второй статьи. Все шло своим чередом.

А еще через неделю, буквально в конце декабря, прибыло, наконец, давно ожидаемое пополнение — четвертый наборщик в лице матроса Тимура Абалкина. Редактор, долго не задерживаясь, представил его типографам. И как только лейтенант вы-

шел, оставив команду наедине с новичком, тут как тут и Зеленцов объявился, мигом найдя зацепку:

— Вот теперь и в нашей команде будет свой Тимур! — сказал весело и не без поучительной нотки. Эти слова (давно знакомые каждому) произнес он особо подчеркнуто и с явным экивоком в адрес известной гайдаровской повести. — Ну что, Тимур, готов вместе с командой покорять моря? Держи «краба»! — дружески подмигнул новичку, одарив его крепким рукопожатием, ладонь к ладони, большие пальцы в обхват, будто тугие клешни морского краба...

— Ну, хватит ритуальных забав, — сдержанно улыбнулся Кусков. — Всем занять свои места, — довольно спокойно и в то же время достаточно строго распорядился, глянув пытливо на выжидательно стоявшего перед ним новичка: среднего роста, худощавый, наголо стриженный, смотрит прямо, не виляя глазами, что особо отметил про себя Виктор, а вслух сказал: — Матрос Абалкин, будешь сидеть вот здесь, рядом с Антоном Шмыгой, — и указал рукой на свое место за наборным столом (похоже, теперь уже бывшее свое), ибо отныне и присно старшина типографской команды Виктор Кусков, следуя корабельной традиции, взвалил на себя обязанности печатника — никаких новшеств тут не предвиделось. Все шло обычным чередом. Считанные дни оставались до нового года.

Чем-то он, этот год, одарит человечество?!

Корабли, стоявшие на приколах у стенки девятнадцатого причала (в их ряду и крейсер «Каганович»), казалось, вслушивались в тягучий шорох и плеск студеной воды, но еще не обледенелых вод залива Петра Великого, стараясь разгадать только им, кораблям, понятные коды... Пахло зимой. Но зимы, метельно-заснеженной, с пронизывающе холодными тугими норд-остами, пока еще не было.

Не забывайте, это Дальний Восток с океанским дыханием, а не Сибирь-матушка, где больше зима, чем лето...

Грядущий год

Новый, 1955-й, наступил в свой черед и так лихо набрал обороты, не успели оглянуться, а восемнадцать январских дней уже позади — мелькнули и нет их, истаяли незаметно.

Казалось, и дальше ничто не изменится, пойдет без сучка и задоринки — и так же мимолетно, как бы исподтишка, явится 19 января, крещенский стылый день, и напомним Сергею Лепихину о «двойном» его празднике.

Впрочем, Сергей не считал и не чувствовал день своего рождения праздником, потому и относился к нему безразлично. А сегодня, закрутившись с утра, и вовсе забыл о нем. Сразу после завтрака (загодя сговорившись с комендорским старшиной) побежал в кормовую башню главного калибра на тренировку и не сидел там, бездельно глаза на слаженные действия башенных пушкарей, а сам хорошо потрудился, подменив «раненого» наводчика.

Освободился ровно в десять и под веселый перезвон рынды отправился в типографию, до нее от кормовой башни минута ходьбы. А там вся команда уже наготове — ждут не дождутся именинника! И едва он переступил комингс и вошел в отсек, дружно встали, не выпуская из рук верстаток, шагнули навстречу и гаркнули от души: «Поздравляем с днем рождения! И желаем... — не огласили, а прямо-таки пропели в четыре голоса «величальную», желая Сергею всяческих благ и: — Многие-многое лета!» Такой развеселый балаганчик устроили. Вот в этот момент (как всегда, неожиданно и без всякого упреждения) дверь, будто сама по себе, отворилась, дохнув холодком, и в узком проеме ее, как в раме, возникла фигура редактора.

— Ну, где тут виновник сегодняшнего переполоха? — спросил он усмешливо, но при этом лицо его оставалось непроницаемо строгим. — Нет, вы посмотрите на него, — преувеличенно удивлялся, хитро поглядывая на виновника. — Мы тут сбились с ног, разыскивая его, думали, на берег сошел старшина...

— Да нет, товарищ лейтенант, до берега я не дошел, — в том же тоне отшутился Сергей. — Комендоры кормовой башни залучили к себе.

— Во! И как ты с утра там оказался, в кормовой башне?

— Так я ж еще с вечера сговорился со старшиной башенных пушкарей. Захотелось посмотреть, как они управляются на главном калибре.

— Ну, и как?

— Выше всяких похвал, товарищ лейтенант. Классно работают! Думаю, стоит о них написать.

— Ну, если так, это иной расклад, — кивнул редактор, уже не скрывая улыбки. — Как, товарищи, зачтем объяснение старшины второй статьи Лепихина и отменим всякие строгие санкции? — живо оглядел стоявшую перед ним типографскую команду.

— Конечно, товарищ лейтенант, надо зачесть, — поспешно сказал Зеленцов. — Тут и вопроса нет. Он же, старшина Лепихин, делом был занят. Да еще в такой знаменательный для него день! Это ж не тяп-ляп, товарищ лейтенант.

— Вы так думаете?

— Так точно, товарищ лейтенант! Уверен, и другие так думают.

— Да-а? Ну что ж, в таком случае и мне остается лишь одно, — посмеиваясь и переводя взгляд на Сергея, сказал редактор, — поздравить старшину Лепихина с днем рождения и пожелать ему «многие лета», а заодно и многие успехи. Поздравляю! — пожал руку.

— Спасибо, товарищ лейтенант, — Сергей был тронут.

— Но это еще не все, — загадочно и тихонько упредил редактор. — Есть сюрприз для тебя. Да-да, сюр-приз! Впрямую с днем твоего рождения он не связан, но, думаю, именно сегодня придется кстати. Вот, прими, — чуть помедлив, достал из кармана шинели что-то и вовсе невидимое в руке.

— Сергей, закрой глаза, — вмешался опять Зеленцов.

Однако редактор спокойно и твердо пресек его:

— Отставить! Шутки в сторону. Дело это серьезное и всякое зубоскальство тут неуместно, — сказал строго, но не обидно и (на глазах у всей команды, как это делал нередко) вручил Сергею некий полукартонный квадратик, испещренный четкими линотипными строчками, это вам не ручной набор, тиснутый на корабельном печатном станке типа «американка». — Вот, ознакомься и будь готов, — коротко подсказал редактор.

Сергей, снедаемый любопытством и нетерпением, живо глянул на этот (нет, все ж таки не квадратик, а несколько продолговатый, наверное, сантиметров девять на двенадцать) полукартонный листок. И сразу бросились в глаза два наиболее крупных заголовочных слова — «Пригласительный билет». А ниже и гораздо мельче шел текст приглашения: «Уважаемый товарищ! Дом офицеров флота приглашает Вас на вечер встречи с прозаиками и поэтами Тихоокеанского флота, который состоится в Малом зале Дома офицеров 26 января 1955 года. Начало в 19.30». Это было потрясающе: встреча с прозаиками и поэтами флота! Сергей мигом прочитал и тут же, на одном дыхании, еще раз перечитал и внимательно посмотрел на редактора:

— Это вы мне, товарищ лейтенант?

— Лично тебе, — подтвердил редактор. — Персонально.

— Спасибо, товарищ лейтенант! Мне действительно интересно побывать на такой встрече, увидеть и послушать настоящих флотских прозаиков и поэтов... Это моя мечта, — признался Сергей.

— Н-да, — философически и вразяжку произнес лейтенант, глядя на него, и, чуть помешкав, осторожно и как бы вскользь обронил: — Но ты не до конца разобрался. Посмотри внимательнее. Там, на другой страничке, программа и пофамильно все участники этого вечера...

Сергей мгновенно отреагировал, повернув билет обратной стороной, и прямо-таки впился глазами в текст «ПРОГРАММА ВЕЧЕРА». Мелькнул заголовок, а ниже занумерованно и просто, как в арифметике, пошли пункт за пунктом:

«1. Вступительное слово о творчестве флотских прозаиков и поэтов (ст. л-т Белоконь).

2. Выступления прозаиков (любопытство Сергея достигает предела, и он спешит поскорее узнать имена тех, кого предстоит ему ровно через неделю увидеть и услышать в Малом зале Дома офицеров флота, где ни разу до сих пор не приходилось ему бывать): капитан-лейтенанта Косогляда, лейтенанта Сыропятова, старшины 2 статьи Лепихина...»

Вот здесь Сергей споткнулся и ошеломленно замер, не веря своим глазам: какой еще Лепихин? Не может быть! Наверное, вкралась ошибка... Метнулся взглядом, будто отыскивая тому подтверждение. Однако фамилия старшины 2 статьи Лепихина незыблемо стояла в ряду флотских прозаиков.

Это было невероятно! И неожиданно для Сергея, ибо никаким прозаиком он себя еще не чувствовал, даже «флотским»; потому, наверное, в первый миг, увидев свою фамилию в программе вечера встречи с прозаиками и поэтами Тихоокеанского флота, Сергей не столь обрадовался, испытав горделивое чувство за свое участие в этом сказочном вечере, сколь панически растерялся и... струсил порядком. Да-да, струсил! И растерялся, не зная, как вести себя и что делать на этом вечере...

В общем-то, он знал, конечно: прозаик или поэт должен что-то почитать из своих произведений, а попутно и о себе рассказать. Но что он мог рассказать или, тем более, почитать «из своих произведений»?

Память услужливо подсказала, как однажды летом на шкафуте крейсера «Каганович» была устроена встреча с поэтом Григорием Поженяном. Ах, как здорово читал он свои стихи и как великолепно рассказывал о себе! Но Поженян — герой войны, морской десантник, капитан-лейтенант запаса и поэт божьей милостью. А что у Сергея за плечами? Всего лишь один рассказик, напечатанный в многотиражке Учебного отряда на Русском острове, остальное... статьи да очерки в «Боевой вахте». Но это ж газетные жанры, а никакая не проза, — вздохнул глубоко. Редактор сочувственно смотрел на него, понимая, должно быть, что творилось

в душе Сергея. «Все смешалось, небось, как в доме Облонских...»
— сдержанно улыбнулся лейтенант и спросил вполне серьезно:

— Ну, разобрался?

— Не совсем, — сказал Сергей неопределенно, пробежав глазами программку до конца: «3. Выступления поэтов: старших лейтенантов Балинова и Кошеиды, матроса Копалыгина. 4. Демонстрация новой кинохроники». И добавил глухо, буркнув себе под нос: — Слишком все это внезапно... будто с неба свалилось.

— Ничего, впереди еще целая неделя, разберешься, — утешил редактор, направляясь к двери. И уже выходя, обнадежил: — А в Дом офицеров пойдем вместе.

Потом билет пустили по рукам — и вся типографская команда оставила на нем отпечатки пальцев. «Газетчики» Сергеем Лепихиным втайне гордились. А вы как думаете?! Такой парень живет рядом с вами в кубрике, вместе с вами бачкует, работает за одним наборным столом, в своем «редакционном углу». Прав Зеленцов: это ж не тят-ляп, а вполне законный «прозаик Тихоокеанского флота», как черным по белому напечатано и в пригласительном билете.

Однако сам «прозаик» настроен иначе — внешне держался уверенно и спокойно, никак не выказывая душевной своей раздвоенности, а внутри скребли кошки. Хотелось отдалить, отодвинуть момент этой предстоящей «литературной встречи» (да не где-то в матросском клубе, а в Доме офицеров флота!), чтобы подготовиться, как следует, набраться духу, но время ждать не хотело, время летело только вперед — и шесть «спасительных» дней проскочили махом. А на седьмой, 26 января 1955 года, утром, как всегда после девяти зашел в типографию лейтенант Волков. Обычный разговор, привычная обстановка — наборщики уже вооружились верстатками, выдвинув кассовые ящики, старшина команды Кусков колдует подле «американки», Сергей Лепихин тоже на своем месте, в «редакционном углу»...

— Полный порядок?

— Так точно, товарищ лейтенант, — отвечает Кусков. — Работаем.

– Добро, – кивает редактор и оборачивается к Сергею: – Ну что, сегодня у нас культпоход... не забыл? Настраивайся, будь в форме.

– Форма в порядке, – докладывает Сергей, – суконка и брюки поглажены, ботинки начищены.

– Ну, я надеюсь, ты понимаешь, какая форма имеется в виду, – строжеет редактор.

– Понимаю, товарищ лейтенант.

– Вот и лады, – подкинул словечко. – Готовься. Вечером, в половине седьмого, как штык...

И тут не убавить и не прибавить – как сказано, так и сделано. Вечером, сразу после ужина, Сергей быстро оделся, сунул в карман газетные вырезки со своими нетленными опусами и выскочил на палубу, наискось пересек шкафут, остановился подле правобортного торпедного аппарата, поджидая редактора. Дверь типографии напротив, как всегда, плотно закрыта, можно дотянуться рукой, но заходить не хотелось – лишняя суета. Да и лейтенант появился вскоре, неизменно подтянутый, собранный, живо и на ходу спросил:

– Ничего не забыл?

– Все при мне, – ответил Сергей, пристраиваясь рядом. Они прошли в корму и, сбежав по гулкому трапу на берег, напрямик двинули вверх, в сторону улицы Ленинской, затем повернули налево. А если бы пошли направо, минут пять спустя оказались бы подле матросского клуба. Там все знакомо, привычно. Но им нужен Дом офицеров флота, который стоял на этой же стороне главной улицы города, только в другом конце.

– Идем пешком, времени достаточно, – сказал лейтенант. – Не возражаешь?

Сергей лишь слегка повел плечами – вопрос риторический и ответа не требовал. Они зашагали бодрее. Послекрещенский морозец был далеко не лютым, едва давал знать о себе – это вам не Сибирь-матушка... Падал редкий пушистый снег, почти невидимый в сумрачном воздухе, при полном безветрии...

– Товарищ лейтенант, хочу с вами посоветоваться.

– Давай, – живо отозвался редактор.

– Вот никак не могу решить, – вздохнул Сергей. – Что мне лучше почитать: рассказ «Соперники», который вы дали когда-то в газете еще на Русском острове, или что-то из очерков, напечатанных в «Боевой вахте»?

– Конечно, очерк, – ничуть не колеблясь, ответил редактор. – А «Соперники» оставь пока. – И тут же, как бы зайдя с другой стороны, спросил: – Ты представляешь, какая будет сегодня публика в Доме офицеров?

Сергей пожал плечами.

– Флотская, – коротко пояснил лейтенант. – А теперь скажи: какая тематика, по-твоему, ближе всего для этого флотского народа? – преподнес как на блюдечке.

– Морская, конечно.

– Ну вот, а ты горевал! Так что никаких тут сомнений быть не должно. Читай очерк. Тот же, скажем, «Наш боцман». Текст очерка у тебя с собой?

– Так точно... в кармане.

– Вот и держись за него, – подсказал лейтенант, лоя рукой мельтешащие перед глазами снежинки.

Лейтенант был старше Сергея на четыре года, всего лишь на четыре, в будущем разница эта покажется ничтожной, а потом, наверное, и вовсе сотрется. Но в этот январский вечер будущее казалось Сергею Лепихину непостижимой далью.

– Итак, ровно девятнадцать ноль-ноль, – объявил лейтенант, глянув на фосфорически светящийся циферблат наручных часов. И тотчас, как бы подтверждая его слова, от девятнадцатого причала донеслись и заблаговестили на всю округу отрывисто-резкие сдвоенные удары разноголосых корабельных рынд. – Полчаса в запасе у нас, – коротко уточнил лейтенант.

Впереди уже виден был хорошо освещенный фасад Дома офицеров. Они прибавили шаг. Оранжево-красные трамваи с грохотом обгоняли их, замедляя ход на довольно крутом въезде, а на встречу, с вершины длинного косогора, вниз по Ленинской (бывшей Светланской), катили такой же расцветки двухвагонные сцепы, высекая железными дугами трескучие искры из нависавших над ними путейских электропроводов...

Странно! Вот эти попутные мелочи и подробности пустяковые навсегда сохранила память, тогда как более значимые, казалось бы, основные события того вечера, 26 января 1955 года, проходившего в Малом зале Дома офицеров флота, напрочь забылись, бесследно исчезли, затерявшись во времени.

Много лет спустя Сергей Лепихин попытался и не смог восстановить в памяти (как можно полнее, со всеми подробностями и нюансами) это, безусловно, немаловажное в то время событие — «вечер встречи с прозаиками и поэтами Тихоокеанского флота», как черным по белому значилось в пригласительном билете.

Однако и этот билет (чудом уцелевшая ватманская четвертушка, когда-то белая и плотная, теперь, за давностью более чем полувековой, изрядно помялась, истружливалась, подернулась пепельной серостью и старческой желтизной — боязно пальцем тронуть) ничего не добавлял и никакой ясности не привносил. Смутно помнились лишь отдельные малосвязанные эпизодики, обрывки неких случайных встреч и неожиданных разговоров, как бы и вовсе выпадавших из общего ряда...

И все-таки можно представить себе, хотя бы на миг, каково было ему в тот вечер, двадцатитрехлетнему парню, старшине второй статьи Сергею Лепихину, впервые в своей жизни (первые!) подняться на авансцену Малого зала Дома офицеров флота под прицелом сотен выжидательно острых и как бы с усмешкою вопрошающих матросских глаз: а ну-ка, мол, ну-тко, что ты, «прозаик Тихоокеанского флота», поведаешь нам сегодня, чем удивишь? И что он мог им сказать, Сережа Лепихин, если и сам был не уверен в себе, а внутренне и вовсе не готов к этой встрече... Может, набраться духу и поведать залу о своих сомнениях и мучительных колебаниях? Дескать, нет-нет, братцы, никакой я пока не прозаик, не созрел еще, извините...

Нет, разумеется, ничего подобного Сергей не сказал — да и поздно уже было что-то менять. Однако момент этот отчетливо помнился, стоял перед глазами, будто давняя фотография, глянул на нее — и все как на ладони. Малый зал Дома офицеров флота. Просторная авансцена, в центре которой продолгова-

тый стол и стулья рядом вдоль стола, пока незанятые, ждут главных виновников сегодняшнего торжества. И «виновники», люди военные, ждать себя не заставили, появились ровно в 19 часов 30 минут, как и было обусловлено. Зал мигом всколыхнулся и встретил их ликующе дружными аплодисментами.

Старший лейтенант Белоконь, переждав овацию, объявил вечер встречи открытым и тут же, без пауз и оговорок, начал свое вступительное слово о творчестве флотских прозаиков и поэтов, уже сидевших рядышком на своих местах.

Сергей отвлекся и слушал вполуха. Оказавшись за столом между лейтенантом Сыропятовым и матросом Копальгиным, он с любопытством, но бегло и как бы украдкой оглядел не такой уж и маленький Малый зал, плотно, что называется, под завязку набитый матросской братией – яблоку негде упасть! Лишь изредка среди матросских суконных форменок и небесно-синих, с белыми полосками гюйсов-воротников мелькнут офицерские или мичманские погоны и вмиг затеряются в сине-белой массе тех же матросских гюйсов, будто в пенистых бурунах. Сергей повел взглядом сверху вниз по рядам, как бы неспешно сбегая по трапу пологому, все ниже, ближе... и вдруг остановился и замер, не веря своим глазам. Прямо перед ним, лицом к лицу, в первом ряду спокойно и даже вальяжно, чуть откинувшись на спинку кресла, самолично восседал начальник Политуправления флота контр-адмирал Яков Гурьевич Почупайло. Ого! – дрогнул и страшно удивился Сергей, столь внезапным показалось ему присутствие здесь самого адмирала. А сбоку от него, слева и справа, сидели каперанги, кавторанги и так далее, по ранжиру, весь ряд был занят офицерами. Сергей глянул на них и ужаснулся: ему же предстояло выступить перед ними, читать адмиралу, каперангам да кавторангам свой очерк о корабельном боцмане. От одной только этой мысли внутри защемило и застучало в висках. Сергей попытался сдержать в себе этот сполох, унять волнение, быть собранным и готовым к выходу на трибуну... И пусть всем кажется, что для него, «флотского прозаика» старшины второй статьи Сергея Лепихина, дело это привычное.

Меж тем старший лейтенант Белоконь уже завершил коротенькую преамбулу, и вечер продолжил старший лейтенант Балинов; он, можно сказать, не прочитал, а прямо-таки пропел (с таким поэтическим прононсом!) свои стихи, сплошь морские, пронизанные солеными штормовыми ветрами. И зал не поскупился, наградив его бурными аплодисментами. Потом лейтенант Сыропятов явил прозу и, похоже, изрядно остудил публику. Так, чередуясь, и пошли один за другим: поэт, прозаик, поэт...

Сергей, ожидая свой черед, слушал невнимательно и толком не запомнил, что читал лейтенант — не то какой-то рассказ, не то какую-то бль-небылицу. Зато хорошо помнит, что лейтенанта сменил матрос Борис Копальгин — и опять всюду зазвучали стихи! Читал Борис без всякого прононса, просто и выразительно, будто чеканя каждое слово, но и его стихи не избежали «морской качки». А когда напоследок матрос Копальгин выдал два или три стишка для детей, как он сам объявил, притихший зал, переполненный двадцатилетней матросней, взорвался овацией, и кто-то из глубины дальних рядов по-мальчишески звонко выкрикнул: «Читай еще! Читай детские...» Ах, как славно это прозвучало!

Сергей глянул на первый ряд и увидел, с каким по-детски азартным лицом начальник Политуправления флота Яков Гурьевич Почупайло вместе и в такт со всеми усердно бил в ладоши, при этом успевая что-то развеселое говорить сидевшему рядом каперангу. Неужто и контр-адмирала так проняли и озарили детские стихи, подумал Сергей, вдруг и в себе ощутив внезапное облегчение, словно с души спала пудовая гиря, и теперь ему, Сереже Лепихину, как говорится, и море по колено. Наконец, зал поутих, будто накатившая волна отступила и улеглась бесшумно; и матрос Копальгин, пользуясь этим, вернулся за стол. Сергей пожал ему руку, ладонь Бориса была горячей и потной, точно не стихи он читал, а тянул канат или хорошо поработал веслами...

Вот в этот момент и назвали Сергея: «Старшина второй статьи Лепихин. Встречайте!» — это уже кивок в сторону зала.

И как Сергей ни готовился, как ни настраивал себя, застали его врасплох. Он резко поднялся, отодвинув стул, и зашагал к трибуне, держа наготове вдвое свернутую газетную вырезку и мысленно твердя: «Спокойно, Лепихин, спокойно, держи себя в руках...» Во всяком случае внешне старался никак не выказывать душевной своей сумятицы, уверенно (как будто не впервые, а в сотый раз!) подошел к трибуне, развернул и положил перед собой вырезку с очерком «Наш боцман», получившим в конкурсе флотской газеты «Боевая вахта» первую премию. Можно было с этого и начать, но старший лейтенант Белоконь чуть раньше в своей преамбуле уже сказал об этом, и Сергей, обращаясь к залу, не стал его повторять, а начал просто: «Очерк этот о замечательном человеке и настоящем моряке, вместе с которым довелось мне служить... — слегка замешкался и добавил: — на вспомогательном корабле Н.» Хотелось для весомости уточнить, расшифровать набившее оскомину, пресловутое Н, дескать, не просто на какой-то старой, задрипанной посудине, теперь вспомогательной, а на бывшем японском эскортном эсминце «Хацудзакура», обезоруженном еще в одна тысяча девятьсот сорок пятом и ныне служащим под номером 26 на побегушках в первой эскадре Тихоокеанского флота...

Но, увы, такие подробности были недопустимы и, более того, никакой расшифровке не подлежали. Потому Сергей и ограничился лишь кратенькой оговоркой и тут же, уткнувшись в газетную вырезку, начал читать, не отрывая глаз от текста и не видя зала. Как будто некая стена их разделила — притихший зал где-то за тридевять, а чтец сам по себе, никакого контакта! Это поэту легко читать стихи лицом к лицу со своими слушателями, а бедный прозаик (особенно молодой да зеленый) накрепко привязан к тексту, как некий раб к галере, голову поднять и осмотреться не может...

И все же Сергей, собравшись с духом, старался читать внятно и с выражением, что называется, с толком и расстановкой, пытаясь в лучшем виде показать своего героя и тем самым заинтересовать публику. Но удалось ли ему это, Сергей не знал

и не чувствовал. А в какой-то момент он и себя-то самого перестал слышать: читает, старается вовсю, а голос куда-то пропадает... Сергей заволновался, запаниковал — неужто и в зале его не слышат?

Но от текста ни на секунду не оторвался. Дочитал очерк, вскинул голову и увидел, как мигом оживший зал шумно и весело отбивает ладони; и тут же, слегка поведя взглядом, чуть ли не глаза в глаза Сергей столкнулся с контр-адмиралом Почупайло — вместе и в такт с матросской братией Яков Гурьевич хлопал старательно и, как видно, от всей души. Сергей улыбнулся про себя и, незаметно сунув в карман полусмятую (теперь, казалось, и вовсе ненужную) газетную вырезку, с чувством облегчения и какой-то даже опустошенности вернулся за стол на свое место.

А завершали тот вечер старший лейтенант Кошеида и капитан-лейтенант Косогляд. Но Сергей, изрядно переволновавшись, пропустил мимо ушей их выступления, ничего не запомнив... Потом был объявлен антракт, и Сергей с Борисом Копальгиным, решив кинохронику не смотреть, пошли одеваться. Вот там внизу, в просторном и многолюдном фойе, и поджидал Сергея приятный сюрприз. Они с Борисом, уже одетые, направились к выходу и вдруг заметили, будто вынырнувших из гущи матросского скопища, двух старшин, которые быстро и упреждающе двинулись им навстречу, приблизились, встали, заслоняя проход, и улыбаются. Оба равного роста, плечо в плечо, оба старшины первой статьи, оба с усиками «ворошиловскими», стоят, посмеиваясь и как бы вопрошая: «Не узнаешь?» Сергей смотрит на них, они на него... Секундное замешательство — и тут Сергея осеняет: «Ба! — подается он к ним, глазам своим не веря. — Дьявол вас задержит! — восклицает с приторным укором, одновременно и радости не скрывает: — Вы что же это, братцы, усами замаскировались?! Едва узнал вас... Денис Молотков, друг мой... Саша Юдин, ротный наш запева-ла... Русский остров... Школа оружия...» — как бы напомнил им. И они, перебивая друг друга, разом подхватили: «Ворошиловская батарея... Учебные классы артэлектриков... А помните, как

однажды в складчину целый ящик карамелек в магазине купили?» — «Ага! А потом кружечкой делили поровну всем...» — «Ах, какие сладкие были те карамельки-подушечки!» — «А помните, как строевым на плацу вкалывали?..» — «Шире шаг... Запевай!» — засмеялись, облапив друг друга, голова к голове, и тихонько, только для себя пропели: «Уходит вдаль широкая дорога, окутал сопки утренний туман. И снова бухта Золотого Рога нас провожает в Тихий океан...» — оборвали, выпрямились и, построжев, смотрели друг другу в глаза, как будто заново знакомясь. Почти три года не виделись и ничего друг о друге не знали с тех пор, как Школу закончили...

«Ну, как вы? — осторожно поинтересовался Сергей, не зная с какого бока и подступиться. — Все у вас в порядке, служите на кораблях?» Они переглянулись, и Денис ответил: «Точно так, на кораблях... только на разных. А ты молодец! — поспешил похвалить Сергея. — Вон как прославил своего боцмана, прямо герой настоящий. Между прочим, наш боцман не хуже, — как бы озаботился, хитро сощурившись, — если бы и о нем написать... Ну, а ты как? — глянул пытливо. — Служишь все на том же «японце», не знаю, как он там у них, у самураев, раньше назывался?» — «Хацудзакура», — подсказал Сергей и, помедлив, добавил: — Нет, ребята, я уже давненько служу на другом корабле...» Вот в этот момент, оборвав разговор, и настиг их зазывной и протяжный звонок, будто сигнал боевой тревоги. «Труба зовет!» — живо и весело отозвался Юдин. И матросское скопище, заполнявшее в этот вечер, казалось, все фойе Дома офицеров флота, враз колыхнулось, сдвинулось и крутой волной покатило в зрительный зал. Молотков и Юдин тоже заспешили, наскоро попрощались, пожав руку Сергея, взаимно похлопали друг друга по плечам и устремились в зал — смотреть кинохронику.

Фойе вмиг опустело и словно раздалось вширь, показавшись еще более просторно-гулким и светлым. Копальгин (все это время деликатно держась где-то сбоку) придвинулся к Сергею и скорее не спросил, а как бы проверил свою догадку: «Однокашники?» Сергей покивал: «Да-да, вместе служили на Рус-

ском, учились в Школе оружия... Можно сказать, альма-матер наша, — коротко улыбнулся. И вдруг спохватился: — Слушай, а тебе не кажется, что торчим мы здесь излишне?» И они, больше ни слова не говоря, направились к выходу. Двое офицеров обогнали их почти у самой двери, пройдя чуть не впритирку, и шедший ближе к Сергею капитан-лейтенант едва не задел его локтем. Они попридержали шаг и чуть посторонились, уступая проход офицерам; в этот момент, уже на выходе, будто что-то заподозрив, капитан-лейтенант резко обернулся, глянул на них в упор. И Сергей тотчас, как-то весь сжавшись от неожиданности и зябко передернувшись, узнал особиста. Кажется, и капитан-лейтенант узнал его. Вот это встреча так встреча! — подумал Сергей, когда они вышли наружу. Фасад Дома офицеров был хорошо освещен — все вокруг как на ладони. Но особиста нигде не было видно. Сергей поглядел туда и сюда — особиста словно ветром сдуло. Только что вышел — и нет его! А может, его и вовсе не было? — мелькнуло в голове.

Однако Борис, как бы перехватив эту мысль, тут же и опроверг ее, спросив: «А что, капитан-лейтенант этот... знакомый тебе?» — «А почему ты так решил?» — удивился Сергей. «Ну, посмотрел он на тебя как-то так... с улыбкой и, кажется, даже кивнул», — сказал Борис. «Да?! — еще больше удивился Сергей. — Вот этого я не заметил. А вообще-то, — чуть помедлив, признался, — мы с капитан-лейтенантом немножко знакомы... он с нашего корабля», — сказал и ни о чем больше не заикнулся, утаив главное, достаточно было и того, что выдал... вполне достаточно, решил про себя Сергей и даже повеселел, подумав с усмешкою затаенной: «Неужто особист и на встрече с прозаиками и поэтами флота присутствовал? А что! Сидел, небось, незаметно где-нибудь на шкентеле первого ряда, а то и подальше, где-то среди развеселой и удалой матросни, и вместе со всеми старательно и от всей души хлопал в ладоши...

Но это как-то не укладывалось в голове.

«Ну что, Борис, прощаемся, — сказал Сергей, когда они с Копалыгиным вышли на тротуар улицы Ленинской. — Тебе на девятнадцатый? А мне тут надо заскочить на Посьетскую... —

и, перехватив недоверчиво-удивленный взгляд Бориса, упредил: — Нет-нет, не в «Боевую вахту», в редакции сейчас никого. Да, собственно, и не на саму Посьетскую, а рядышком, неподалеку от редакции, в закоулок один...» — довольно туманно пояснил, чего-то явно не договаривая, хотя догадаться было нетрудно. «А-а! Понятно, — живо и, кажется, одобрительно отозвался Борис и чуть ли не заговорщицки подмигнул: — Ну, тогда поспешай! Не теряй время».

И они — будучи знакомы уже почти три часа — тепло распрощались, ни о чем не сговариваясь и ничего не загадывая, встретятся ли еще — где, когда, на каких перекрестках? Впрочем, вопрос этот в те времена, как видно, не шибко-то занимал Сергея Лепихина и Бориса Копальгина. И все «перекрестки» ждали их еще впереди...

Курс по бейдевинду адмирала Кузнецова

Зима 1955 года в Москве стояла аномально теплой и совсем бесснежной, вокруг черным-черно, неуютно, будто тушью все сплошь размалевано — и эта крещенская оттепель стойко держалась почти до конца месяца. Лишь в самые последние дни холодком потянуло, термометры показали минус 2-3 градуса, однако ниже не опустились...

И так совпало, что именно в эти же дни прошел в столице (далеко не «оттепельный»!) январский Пленум ЦК партии, на котором выступил Хрущев с прямо-таки погромной речью о «недопустимо слабой», провальной работе председателя Совета министров Маленкова, человека, по мнению Никиты Сергеевича, «бесхребетного», не имеющего ни характера твердого, ни собственной позиции, ни... Одним словом, спустил Хрущев на Георгия Максимилиановича всех собак! Чем, наверное, не просто удивил, а крайне ошарашил большинство принимавших участие в работе Пленума членов ЦК. Сидевшие рядом Маршал Василевский и Адмирал флота Кузнецов понимающе переглянулись и покивали многозначительно, ни слова не говоря, но в глазах все было написано: вот, мол, и спета песенка! Слишком хорошо знали они Хрущева. И не ошиблись. Маленков, по настоянию Никиты Сергеевича, незамедлительно был освобожден от должности председателя Совета Министров и столь же скоропалительно назначен... министром электростанций СССР. Как бы для пущей наглядности: вот, мол, глядите, до чего докатился Георгий Максимилианович! А вообще-то, по Сеньке шапка...

Возглавил Совмин Булганин Н. А., первым его заместителем был избран Микоян А. И., министром обороны Жуков Г. К. Такой

вот получился пасьянс. И никаких вам толковых разъяснений, подробностей в печати. ТАСС не уполномочен заявлять... Еще чего не хватало! Думайте все, что хотите! Почему, например, Маленков, столь известный и крупный партийный и государственный деятель, отстранен от руководства Совмином с таким вызывающе оскорбительным понижением? Все это пахло самодурством и смахивало на расправу. А может, имелись на то причины веские и факты неоспоримые? Вполне возможно. Ну, так и объясните! Скажите народу всю правду, чтобы народ не гадал на кофейной гуще...

Нет, объяснений таких не последовало.

И тогда народ, кинувшись во все тяжкие, сам попытался во всем разобраться, до всего докопаться и все по-своему истолковать. Кто-то вдруг обнаружил, что Маленкова, столь крепко наказав, тем не менее из Президиума ЦК не вывели. Почему? Разве такое когда-то водилось, чтобы министр электростанций входил в состав Политбюро или нынешнего Президиума ЦК? Да отродясь такого не бывало! Статус не тот. Нос не дорос... И что это значит? – пытали друг друга. Тут же и ответ подвернулся: а то, что ходить Маленкову в министрах недолго, найдут, мол, для него местечко повыше, чтобы шапка и в самом деле была по Сеньке! «Правильно, – объявился еще один знаток. – Никита Сергеевич не обидит соседа своего». – «Какого еще соседа?» – настаивают. «А вы что, не в курсе? – прямо-таки воспаряет новый говорун над всеми и вся и тихо, почти шепотом, будто по секрету (всему свету!), докладывает: – Они ж на улице Грановского в одном доме проживают, Маленков с Хрущевым, можно сказать, рядышком, только по вертикали, то есть Маленков на втором этаже, а Хрущев прямо над ним – на третьем. Жены их одна к другой за солью бегают...» – хитро щурится. «А кто же на первом этаже ютится?» – «А на первом Семен Михайлович Буденный», – торжественно сообщает. «Ну, а на четвертом, повыше Хрущева...» – «На четвертом... выше Хрущева? – вроде бы затруднился с ответом. – Вот этого я не знаю. Но, думаю, выше Хрущева сегодня нет никого... – выкрутился-таки и засмеялся, доволен собой. – Так что будьте уверены, Никита Сергеевич соседа своего в беде не оставит...»

Такие вот досужие разговоры велись, наверное, в те дни повсюду, начиная от узких арбатско-московских переулков и кончая самым Дальним Востоком, обрастая попутно все новыми и новыми подробностями, невероятными «фактами» (народ истины жаждет!), но поди угадай — где тут суцая правда, а где выдумка несусветная...

Вскоре после «оттепельного» январского Пленума, уже в начале февраля, Главкомандующий ВМФ Адмирал флота Кузнецов был зван на некий раут к вновь избранному председателю Совмина Булганину. Впрочем, насчет раута брошено было походя и скороговоркой, на самом деле никаким празднеством в кабинете премьера и не пахло. Да и сама встреча была с глазу на глаз, один на один, без каких-либо излишних соглядатаев; разговор был деловой, скорее формальный, но в то же время не казенно-сухой и официальный, а вполне свободный и доверительный. Не обошли в разговоре и самой, можно сказать, болезненной темы для Кузнецова — прочно и неумолимо заблокированной Никитой Хрущевым программы строительства современного сбалансированного флота. «И в каком состоянии пребывает сегодня эта программа?» — поинтересовался Булганин. Вопрос показался странным, поскольку Николай Александрович доподлинно знал причины упорного торможения этого многострадального кузнецовского проекта. Но вопрос был задан, и Кузнецов на него ответил. «Ну что ж, не будем терять надежды», — раздумчиво помолчав, сказал Булганин, как бы и Кузнецова подбадривая и себя не отдаляя от этого грандиозного проекта... Потом вскинул голову и мягко, скорее даже вполголоса, будто боясь, что их подслушают, спросил: «Николай Герасимович, а что вы думаете по поводу назначения Жукова?»

Кузнецов не ожидал этого вопроса, хотя сам себе многократно его задавал. «Наверное, поздно уже обсуждать это решение, — ответил уклончиво. — А вот пожелание маршалу я бы хотел донести...» — «Что вы имеете в виду?» — «Имею в виду, Николай Александрович, лишь одно: обратить внимание министра обороны на необходимость более объективного отношения к флоту». — «Что ж, замечание серьезное, — кивнул Булганин. — И мы

неприменно укажем Георгию Константиновичу на это обстоятельство. Думаю, все уладится», — обнадежил твердо.

Однако свидетели тех событий уверяют в другом: пожелание Кузнецова было передано новому министру, но дошло до него в явно искаженном виде и с грубой негативной подкладкой... Сам же Кузнецов скажет об этом коротко и недвусмысленно: «Я был выставлен перед Жуковым как его противник. Маршал при первом же случае высказал мне свое неудовлетворение: “Так вы были против моего назначения?” Судьба моя была решена. Я понял, что нужно уходить подобра-поздорову...»

А может, Николай Герасимович поторопился с выводами? Судьба не спешила вершить неправый свой суд, а весна пятьдесят пятого казалась на редкость милостивой.

Итак, будем считать: все уладилось!

Утром 3 марта 1955 года Климент Ефремович Ворошилов узаконил своей подписью внесенную поправку в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1940 года о введении звания Адмирал флота, в связи с чем отныне высшее звание в ВМФ должно именоваться Адмирал Флота Советского Союза.

Что ж, для страны, омываемой двенадцатью морями и тремя океанами, вполне оправданное и справедливое решение! Кстати, Николай Герасимович Кузнецов был пока что единственным в стране Адмиралом флота, а звание это присвоено ему еще в мае 1944 года. Так что поправка нынешняя касалась его напрямую — и Николай Герасимович воспринимал ее как добрый знак. В свои пятьдесят три года он был полон сил, желаний и планов, как утверждают свидетели тех давних событий, много работал, еще раз тщательно и с удовольствием проштудировал проект десятилетней программы развития и укрепления современного сбалансированного флота, который наряду с созданием атомных подводных лодок и надводных ракетных кораблей предусматривал строительство авианосцев и крупных десантных судов, способных выполнять любые задачи в Мировом океане.

Вот с этим проектом и связаны были все надежды. Но утвердить его оказалось почти невозможно. Хотя сначала верилось — поддержка будет всесветной! Теперь же от этой веры мало

что осталось. И Николай Герасимович Кузнецов, Главком ВМФ, Адмирал Флота Советского Союза, член ЦК КПСС и депутат Верховного Совета СССР, глубоко убежденный в правильности главной идеи и всех основных посылов этой грандиозной судостроительной программы, увы, не мог знать и не знал, что ждет его завтра... Сумеет ли он убедить, скорее, переубедить Хрущева с его замшелыми «морскими» заблуждениями и тем самым спасти, отстоять свой проект. Случится это – значит, победа! А не случится...

Кузнецов еще дважды пытался сотворить чудо – и оба раза безуспешно. Хрущев, с некоторых пор возомнив себя флотоводцем, упорно гнул свое. Нашла коса на камень?! Между тем свидетели тех событий твердят: «Кузнецов сделал максимум для будущего флота. И сделал бы еще больше, если бы ему дали довести до конца все свои судостроительные замыслы...» Особенно рьяно и упорно противился этому Хрущев, считавший вообще нецелесообразным строить крупные корабли, а тем более авианосцы, которые значились в кузнецовской программе. «Подводные лодки строить надо – они решат все», – доказывал Никита Сергеевич и грозился навести порядок на флоте.

Однако кипучая хрущевская энергия наткнулась на твердость характера Кузнецова, глубоко убежденного в правильности главных идей судостроительной программы, что и придавало ему решимости стоять до конца. И Кузнецов открыто и честно высказал однажды Хрущеву свое возмущение безответственным отношением к флоту со стороны самого Никиты Сергеевича и не в меньшей мере со стороны его ближайшего и послушного окружения.

Это был их последний и, наверное, самый прямой и жесткий разговор. Казалось, теперь за спиной никаких м о с т о в не осталось... Потом вроде все улеглось и затихло – так случается перед бурей; но слабая надежда все еще теплилась: а может, Хрущев одумается и сделает крутой поворот – лицом к флоту? Что ж, надежда умирает последней...

Оставались считанные дни до майских праздников. Стояла сухая солнечная погода, чистое небо над головой – как доброе

предвестие... Вот в такой погожий день, 27 апреля 1955 года, Главком ВМФ Кузнецов и получил лично из рук Климента Ефремовича маршалский знак — Бриллиантовую звезду и Грамоту к ней. Ворошилов душевно поздравил Николая Герасимовича с присвоением столь высокого звания и шутливо добавил: ну, вот, мол, товарищ Адмирал Флота Советского Союза, теперь вы с маршалами идете наравне!

Свидетели этих радужных событий отмечали, что Кузнецов в те дни «полный планов и с новой энергией продолжал разработку десятилетней программы строительства флота...»

Все верно, так и было. Только радужные надежды длились недолго. Видимо, нескончаемые передрыги дали о себе знать, и Кузнецова настиг второй инфаркт (семь лет спустя после первого), шутить с этим нельзя, он это понимал и теперь уже без каких-либо колебаний твердо решил: надо уходить, отдышаться надо, набраться сил... Сказал об этом жене. Вера Николаевна поддержала безоговорочно: «Правильно! Главное сейчас — здоровье».

И где-то в середине мая, после всех отшумевших праздников, которых, в сущности, он и не видел, Николай Герасимович пишет письмо министру обороны Жукову с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с болезнью, а вместо себя Главкомом предлагает назначить командующего Черноморским флотом вице-адмирала Горшкова.

Жуков не ответил.

А вскоре позвонил Василевский, справился о здоровье, поговорили о том-сем, и как бы между прочим Александр Михайлович обронил: «Да, кстати, письму вашему дан ход, просьба ваша учтена». Но это частный разговор, официального же уведомления Кузнецов так и не получил. А ведь он в это время был не только Главкомом ВМФ, но и заместителем министра обороны СССР.

«Сейчас остается только жалеть, — сетуют свидетели этих горьких моментов, — о несостоявшемся сотрудничестве двух, безусловно, выдающихся людей своего времени, Жукова и Кузнецова, двух полководцев, прошедших войну и умудренных ее опытом».

Сожалел об этом и Кузнецов. Тем не менее «безработное» лето пошло ему на пользу, Николай Герасимович поправился, посвежел, внутренне успокоился и стал уже подумывать: а не пора ли возвращаться к своим прямым обязанностям? Фактически он и оставался на своем месте, уволить его не могли, не было оснований, поскольку находился он в отпуске по болезни, но отпуск изрядно подзатынулся... Он ждал, пригласят его, позвонят — и не дождался.

Да и вице-адмиралу Сергею Георгиевичу Горшкову, небось, не с руки была тягучая эта двойственность — приходилось разрываться между Москвой и Севастополем, с одной стороны, временно исполняя обязанности Главкома, а с другой стороны, еще не успев, как следует, распрощаться с Черноморским флотом, которому отданы годы...

Вполне возможно, Сергей Георгиевич был уверен, что Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов со дня на день вернется — и тогда все встанет на свои места; но нельзя и того исключать, что врио Главкома уже знал, осведомлен был и поставлен в известность, что обратный путь Кузнецову заказан... Эти догадки лишь повод к размышлению. Время шло вперед. Однако положение в верхних партийно-властных кругах и после «оттепельного» январского Пленума ЦК оставалось неустойчивым... События наслаивались одно за другим.

А тут еще вдобавок ко всему, именно в этот шаткий период, будто по чьей-то злой воле, случилась в Севастополе страшная трагедия — взрыв линкора «Новороссийск». Произошло это поздней осенью, 29 октября 1955 года. Днем линкор принимал участие в праздничном параде по случаю 100-летия героической обороны Севастополя, а вечером, бросив якоря, встал на внешнем рейде — и навсегда... Взрыв прогремел глубокой ночью, где-то в половине второго часа, когда весь экипаж линкора, кроме вахтенных служб, крепко спал и видел, наверное, безмятежно тихие черно-белые, а может, и розовые домашние сны... Картина жуткая! Позже комиссия подтвердит, что уже после первого взрыва линкор был обречен, потеряв всякую жизнеспособность. Спасатели подоспели очень скоро, но подойти близко

к тонувшему, горевшему изнутри и снаружи линкору было почти невозможно — и все-таки подходили, пытаясь кого-то спасти, и спасали, снимая с гибнущего борта, выхватывая из огня и кипящей под бортами воды... И сами гибли один за другим на глазах у товарищей... Прожекторные лучи всю ночь не гасли, метались, скрещиваясь над водой, в поисках ещё живых людей... Погибших же вместе с линкором «Новороссийск» в эту жуткую (нет, не Варфоломеевскую, а Севастопольскую) ночь оказалось более восьмисот моряков. Более 800! И кто в этом повинен? Впрочем, разбирательство длилось недолго, как будто виновника знали еще задолго до взрыва. Так что найти его не составляло большого труда — виновником оказался Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов...

Свидетели тех странных и страшных событий утверждают: «Н. С. Хрущеву было недостаточно просто снять Кузнецова с должности — нужна была расправа над Главкомом в назидание «строптивым» военным. Поводом послужила гибель в Севастополе линкора «Новороссийск». Формально Н. Г. Кузнецов уже полгода находился в отпуске по болезни. Обязанности Главкома ВМФ, по его рекомендации, исполнял командующий Черноморским флотом вице-адмирал С. Г. Горшков. Но всю вину за «Новороссийск» свалили на Кузнецова».

И учинили расправу: 8 декабря 1955 года Николая Герасимовича сняли с должности Главкома ВМФ. Однако Хрущеву показалось этого мало, решили добавить. И спустя два месяца, 17 февраля 1956 года, Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов был разжалован в вице-адмиралы и уволен в отставку с упреждающей формулировкой: «без права работать во флоте».

Одним взмахом все и решилось — гора с плеч и дух вон!

Историки и свидетели тех событий и поныне теряются в догадках: зачем понадобилось Хрущеву идти на столь крутые и сверхжестокие меры? Сам же Никита Сергеевич ровно два года спустя после весьма и весьма загадочной гибели линкора «Новороссийск», выступая (29 октября 1957 года) с высокой трибуны Пленума ЦК КПСС, ничтоже сумняшеся, утверждал, а попросту говоря, врал направо и налево: «Нам предложили вло-

жить во флот более 100 миллиардов рублей и строить старые катера и эсминцы, вооруженные классической артиллерией...» — пылая праведным гневом, докладывал членам ЦК, не уточняя, однако, кто этот негодяй, попытавшийся выудить из госказны сотню миллиардов, чтобы построить непригодные «старые катера и эсминцы». Впрочем, догадаться было нетрудно, конечно же, имелся в виду бывший Главком ВМФ Кузнецов! Хотя многие члены ЦК чуть ли не наизусть знали кузнецовскую «Программу строительства сбалансированного современного флота», где наряду с созданием атомных подводных лодок и надводных ракетных кораблей предусматривалось строительство авианосцев и крупных десантных судов... О строительстве же «старых катеров и эсминцев, вооруженных классической артиллерией» в проекте Кузнецова и речи не шло! Однако сие не смущало Никиту Сергеевича, держался он твердо и беззастенчиво гнул свою линию: «Мы провели большую борьбу... и сняли Кузнецова. Думать и заботиться о флоте, об обороне он оказался неспособным...» Слушать столь откровенную неправду о Кузнецове было как-то неловко, а слова «оказался неспособным» и вовсе вызвали у многих некий скрытый протест, хотя, разумеется, никто из членов ЦК здесь, на Пленуме, и не заикнулся в защиту столь жестоко и бессудно разжалованного Адмирала...

И все же Хрущев уловил это настроение и слегка возвысил голос, как бы сразу ко всем обращаясь, но и в то же время — отдельно к каждому. «Нужно все оценивать по-новому, — поучал он строго. — А флот надо строить, но прежде всего, строить подводный флот, вооруженный ракетами...» — чеканя и точно по ранжиру ставя слова, назидательно и самоуверенно говорил, казалось, и вовсе не скрывая взывавших и окрепших в нем «флотоводческих» амбиций...

Между тем, сидя в этом просторном и привычном зале и слушая хлесткую речь Никиты Сергеевича, нельзя было не видеть, что высочайший Президиум ЦК КПСС (все лица знакомые) заметно поредел — не видно было за столом президиума ни Молотова, ни Кагановича, ни Маленкова, ни даже маршала Жукова...

Впрочем, к тому времени судьба «антипартийной» тройки была уже решена: Молотов снят с должности министра иностранных дел и отправлен послом в Монголию; бывший председатель Совмина и нынешний министр электростанций СССР Маленков лишен и этого своего поста и послан в Казахстан начальником строительства одной из крупнейших в стране гидроэлектростанций; лишь Каганович, что называется, выпрягся и отказался покидать Москву, предпочтя заслуженный отдых какой бы то ни было ссылке...

Особняком держался (теперь уже бывший) министр обороны Жуков. Его скоропалительная отставка и вовсе непонятна. Как, почему?! Казалось, ничто не предвещало такого поворота. Прославленный маршал вполне соответствовал занимаемой должности, и Хрущев относился к нему более чем благосклонно; не прошло еще и года, как отметили юбилей Георгия Константиновича, вручив ему четвертую Звезду Героя, а вслед за этим перевод Жукова из кандидатов в члены Президиума ЦК — вроде бы все шло как по маслу. И вдруг — бах-трах! — отправлен в отставку. И никаких объяснений — освобожден и точка.

А может, Никита Сергеевич что-то заподозрил...

Новым министром обороны назначили Малиновского. Узнав об этом, Кузнецов оживился и даже воспрянул духом — они ж с Родионом Яковлевичем давно и близко знакомы, можно сказать, не один пуд соли съели, неся службу и работая рядом, рука об руку, на Дальнем Востоке, в Китай вместе ездили, Порт-Артур сдавали... — не преминул кольнуть себя. И что-то дрогнуло, сдвинулось в душе, подумалось с тайной надеждой о вполне возможных и крайне необходимых переменах...

«Верочка, а ты знаешь, что министром обороны назначен Малиновский?» — спросил он жену. Вера Николаевна внимательно посмотрела на него: «А может, это и к лучшему?» — осторожно предположила. «Будем надеяться, — кивнул он и протяжно вздохнул: — Но безработных прибавилось... — видимо, имел в виду не только свою безработность, но и Жукова рядом поставил. И вдруг скомкал, замаял разговор, как бы заторопившись: — Ладно, потом разберемся. Пойду-ка я прогуляюсь. А заодно и мысли

свои упорядочу...» — накинул курточку, надел берет. «Ну, чистый профессор, а не адмирал», — улынулась Вера Николаевна и помахала ему рукой. Господи, как она любила этого человека!

Прошла дозором, оглядывая свои загородные (барвихинские) хоромы, как в святая святых заглянула в распахнутый настезь кабинет Николая Герасимовича. Здесь, как всегда, образцовый («морской», по словам самого Кузнецова) порядок. Справа, на видном месте письменного стола, покоится изрядно пополнившая за последние месяцы папка, в которой хранятся всевозможные записи и записки, заготовки, а в сущности, почти готовые отрывки и главы начатой книги... И тут же рядом, всегда под рукой, как будто ждет (и дождалась!) своего часа, лежит объемистая, но по-своему изящная записная книга, этакий гроссбух, на обложке которого крупно и четко значится — «Рабочая тетрадь».

Помнится, Вера Николаевна, как только приглядела эту нестандартно-увесистую «Рабочую тетрадь», так сразу решила: вот и подарок новогодний! Купила, долго не думая, и не ошиблась. Николай Герасимович был в восторге, весь так и сиял, приняв из рук жены этот великолепный гроссбух: «Ну, Верочка, спасибо, ты мне угодила... Да-да, говорю правду, чудесный подарок! — радовался, как мальчишка, и вслух с расстановкой прочитал: — Ра-бо-чая тет-радь». Вдруг умолк, задумавшись на секунду, затем взял авторучку и на первой странице подарочного гроссбуха, справа вверху, будто некий эпитаграф, размашисто написал: «У безработного — рабочая тетрадь».

Много лет спустя Вера Николаевна вспоминала: «Этой записью он словно бы открыл первую страницу своей новой жизни, в центре которой находилась его новая работа. Часто он задумчиво ходил по дому. Был рассеян и отвлечен какими-то глубокими потаенными думами. А в папке на письменном столе появлялись все новые и новые листки воспоминаний о его большом плаваньи по жизни...» И, как бы минуя некие рифы, продолжала неторопливо: «Мы жили тогда за городом, в Барвихе, летом и зимой. Сыновья навещали нас, приезжали на каникулы с друзьями... Николай учился уже в Высшем военно-морском училище

имени Дзержинского, Владимир — в Нахимовке, а Виктор работал в Москве. Мы полюбили наш домик с маленьким садом. Вставал Николай Герасимович рано. Пока я готовила завтрак, он, уже одетый в простой старый костюм (к новым вещам привыкал долго) и в берете, не спеша прогуливался по самой длинной дорожке сада. Часто останавливался и о чем-то думал, думал. К завтраку приходил свежий, оживленный. “Как хорошо, что мы живем здесь, какой воздух, какая тишина — можно о многом поразмышлять. Знаешь, когда я выхожу в сад, мне начинает казаться, что все у нас наладится, справедливость все-таки должна победить ложь. Мне даже кажется, что это скоро придет”, — говорил он и лицо его светилось. А мне почему-то казалось, что это он говорит для меня, чтобы я поверила...»

Сам же Николай Герасимович признавался: «Пока мы рядом и вместе с Верой, нам не страшны никакие невзгоды...» И это чистейшая правда. Жена Вера Николаевна всегда для него была надежной и крепкой опорой. Именно в ту пору, когда делили они поровну горечь жестокой несправедливости и лютый холод мрачного забвения, и появится в заветном грессбухе короткая и твердая запись Кузнецова: «От службы во флоте меня отстранили, но отстранить меня от службы флоту невозможно». Адмирал не сдавался! И погрузился в воспоминания, уйдя с головой в работу. Однако свидетели тех (далеко не «оттепельных») времен писали, что после столь жестокой отставки, «едва оправившись в 1956 году от болезни, Н.Г. Кузнецов был принужден ограничить свою «службу флоту» лишь написанием мемуаров и трудов по истории и военно-теоретическим проблемам ВМФ». Но разве этого мало?!

Одна за другой выходили его книги: «На далеком меридиане» (о событиях в Испании, где довелось Кузнецову быть далеко не рядовым участником), «Накануне», «На флотах боевая тревога», «Курсом к победе», «Крутые повороты». Около сотни статей о героической деятельности флота в годы Великой Отечественной войны напечатаны были в различных журнальных и газетных изданиях... Так что скучать безработному адмиралу не приходилось — загружал он себя, что называется, по макушку. Но даже

и в этот предельно загруженный и нелегкий период Николай Герасимович нашел в себе силы, исхитрился, а лучше сказать, подвинулся и выучил «наизусть», как он сам говорил, еще один язык, английский, хотя в совершенстве уже владел испанским, французским, немецким и перевел несколько прекрасных лоций и книг по морской тематике...

И все-таки давайте помнить, что, несмотря ни на какие внешние «благоприятности», почти двадцать лет, в сущности, до конца его жизни, как Дамоклов меч, висело над головой Кузнецова (одного из крупнейших, а может, и самого крупного российского флотоводца XX века) холодное забвение и упорная невосребованность его поистине энциклопедических знаний, колоссального опыта и огромного желания служить Отечеству. Он эту несправедливость глубоко чувствовал и сознавал, но бессилён был что-либо изменить. А когда становилось вовсе неумоготу, обращался к своим записным книжкам, будто к последней инстанции, поверяя им самые душевные, а нередко и самые горькие мысли: «Сегодня был в Польском посольстве. Вручили медаль за Испанию. За последние годы я получил три медали за Испанию – и ни одной за защиту своей Родины. Ну, кто что заслужил, то и получает!» – мрачно иронизировал. И почти рядом, на другой страничке, еще одно, не менее горькое признание: «Переживания по случаю 50-летия Вооруженных Сил стоили мне не так дорого: обошлось небольшим гипертоническим кризом... А вот в процессе празднования мне было нанесено довольно много булавочных укулов с печатью низкой мести...» И следом еще одна короткая запись: «Книгу подписал к печати... В журнале «Октябрь» будут два куска в 11 и 12 номерах, уже посмотрел и подписал, – судя по всему, отрывки из упомянутой книги. – В журнале «История СССР» есть статья «День первый и день последний». Расписался ко Дню Победы! – будет статей пять. Но вот беда, – вдруг признается, – меня это почему-то не радует, как раньше. Очевидно, падающие рядом снаряды контузили меня – и апатия берет верх...»

Казалось, за многие годы он к этому должен бы привыкнуть, но смириться с этим Кузнецов так и не смог – не в его это характере. «До самой кончины своей он обращался, стучал-

ся в различные высокие инстанции с одной лишь просьбой — вызвать его, разобраться с ним, ибо хотел понять, в чем он виноват, и, если действительно виноват, готов был понести еще более суровое наказание. Да-да, именно так полагал Кузнецов, — подтверждают свидетели тех событий. — После мучительных раздумий, через опыт душевных страданий Николай Герасимович пришел к выводу, что в государстве должен главенствовать и управлять закон и только закон».

Однако за все это время (почти два десятка лет!) его многочисленные письма, обращения и вполне законные требования, увы, никакого отклика не имели. Все его просьбы-взывания канули в Лету, разбившись о толстую стену расчетливо-холодного и властного умолчания. А закон? Что ж, видимо, не случайно с давних пор и поныне живет в народе поговорка: закон, что дышло, куда повернут — туда и вышло!

Это был самый тяжелый период в жизни Кузнецова. «Падающие рядом снаряды» и особенно «булавочные уколы с печатью низкой мести» делали свое дело. Внешне Николай Герасимович держался спокойно, не подавал вида, как бы выработав некий иммунитет ко всем неприятностям... И продолжал работать, ждал выхода новой книги, писал статьи, переводил. Работал упорно и много — это и держало его на плаву. Иногда засиживался до глубокой ночи. Барвиха уже давно погасила огни и спит себе, в ус не дует, а он все сидит над своими рукописями. Жена, не выдержав, на цыпочках входила в кабинет и глазами указывала на часы... Он кивал ей согласно, еще чуточку задерживаясь: все, Верочка, все, тут надо было доделать концовку... Закругляюсь. Точка.

Вера Николаевна, опасаясь за его здоровье (после двух инфарктов), была в последнее время по-особому внимательна, старалась остеречь, уберечь Николая Герасимовича от чрезмерных перегрузок и всяких излишних волнений; иной раз прямо-таки оторвет его от работы и соблазнит прогуляться в ближайшие сосняки, там сейчас и грибы, и ягоды, и белки прыгают с одной сосны на другую... Такие вылазки доставляли удовольствие. И Николай Герасимович, набродившись по хвойному густоле-

сю Барвихи, сдержанно улыбался и говорил: «Ах, как славно... будто морским воздухом надышался!»

Море и здесь, в барвихинских лесах, не отпускало его...

А однажды, глубокой уже осенью, Вера Николаевна вдруг предложила прогуляться в Москву, в Большой театр, на «Дон Кихота»... И, как бы отрезая все пути к отступлению, добавила веско: билеты уже имеются!

«Дон Кихот»? — переспросил Николай Герасимович, заметно оживляясь. — Весьма любопытно». Ну, она-то как раз на это его л ю б о п ы т с т в о и рассчитывала...

Много лет спустя Вера Николаевна об этом напишет: «Вспоминаю один из походов в Большой театр... Смотрели балет “Дон Кихот”. Николай Герасимович смотрел внимательно. Казался грустным. Придя домой, долго молчал. Подошел к книжному шкафу, взял книгу Сервантеса, долго листал ее и сказал: «Как не похоже на то, что я читал. Послушай, когда в Картахене я обнаружил старое издание Сервантеса с прекрасными иллюстрациями, я был удивлен: ни в одном русском издании я не встречал ничего подобного. Я наслаждался, читая книгу, и понял, что Дон Кихот как это ни странно и теперь еще остается у нас не таким, каким он показан в произведениях Сервантеса, рыцарь печального образа — такой честный, такой святой, что даже смешной для нашей жизни. “Какой же ты чудак!” — не раз я слышал о себе. Я вижу в Дон Кихоте мечтателя, честного, преданного идеалу, ради которого он готов подвергнуться лишениям и жертвовать всем. Он весь живет для других. Счастливый он человек, волевой. Многие представляют его слабым, нелепым. Это неверно. Он крепок, любит рано вставать, ходить на охоту. Человек тренированный, ловко, смело, умело владел шпагой. Настоящий храбрец и к тому же очень образован: хорошо знал французский, итальянский, арабский и другие языки. Совсем другой человек, чем принято считать...»

Вера Николаевна слушала мужа и поражалась. «Господи, это ж он о себе говорит! Так много общего у них с героем Сервантеса: оба честные, волевые, преданные своему делу, ради которого готовы на любой риск и самые тяжкие испытания, оба блестяще образованны, владеют многими языками... и оба любят рано вставать,

— подумала Вера Николаевна и резко отвернулась, пряча слезы... Так обидно было за своего Кузнецова! Она-то знала, что в жуткой этой истории (со взрывом линкора «Новороссийск») Николай Герасимович и вовсе ни при чем, но обвинили и наказали только его — без суда и следствия. Так решил Хрущев. А все попытки найти правду наткнулись на глухую стену, возведенную тем же Никитой Сергеевичем, и стена эта простоит ровно тридцать два (32!) года — это факт.

Историки подсказывают: в 1956–1988 годах общественность, военачальники, моряки-ветераны, служащие ВМФ, семья Н. Г. Кузнецова отправляли письма в самые высшие инстанции — на имя всех Генеральных секретарей ЦК КПСС и в Верховный Совет СССР с просьбой разобраться по существу и восстановить справедливость.

Куда там — все та же глухая стена! Хотя среди авторов этих писем было немало прославленных, широко известных и авторитетных людей, к мнению которых стоило бы прислушаться; особенно выделялся своей прямоотой и решимостью Александр Михайлович Василевский, безоговорочно исключавший всякую виновность Кузнецова. «В довоенное время и особенно в период Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы, — говорил он в своем письме-заявлении, адресованном в Секретариат ЦК КПСС, — я, по характеру возложенной на меня работы, имел возможность наблюдать всегда исключительно партийное, высококвалифицированное руководство со стороны Кузнецова Н. Г. всеми теми ответственными участками работы, которые поручались ему партией и правительством, — пропел, что называется, необходимую аллилуйю и перешел к главному: — Более чем уверен, восстановление т. Кузнецова Н. Г. в звании, которого он необоснованно был лишен, и зачисление его в группу генеральных инспекторов при Министерстве обороны было бы, безусловно, справедливым и было бы с большим удовольствием воспринято всем знающим его личным составом Вооруженных Сил и особенно Военно-морского флота, большим и вполне заслуженным авторитетом у которого он пользовался и пользуется поныне.

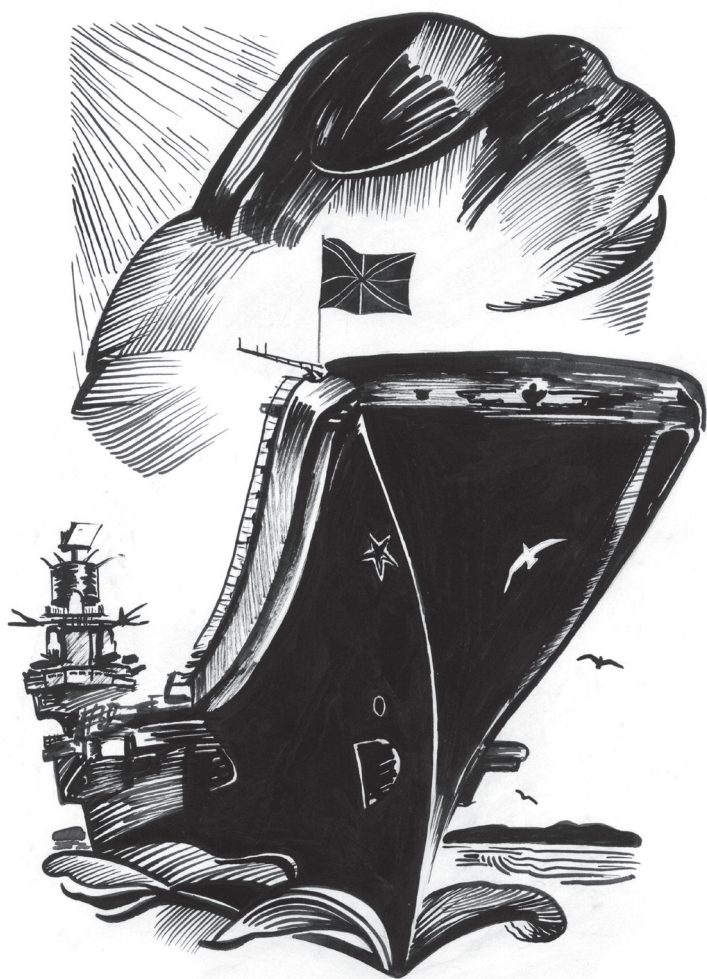
Маршал Советского Союза, член КПСС А. Василевский.

9 апреля 1966 г.»

Что ж, Александр Михайлович знал, что говорил. Они с Кузнецовым, действительно, многие годы бок о бок служили Отечеству, войну прошли тяжелейшую и завершили победно в начале сентября 1945 года: один, будучи Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, другой возглавлял военно-морские силы — эти мощные соединения и нанесли решающий удар, разгромив хваленую Квантунскую армию и принудив японцев капитулировать... Такое грешно забывать! Жаль, очень жаль, что так бесчеловечно поступили с Кузнецовым, — вернулся мыслями Александр Михайлович к своему письму в ЦК: неужто и на этот раз отгородятся все той же глухой стеной? Письмо Василевского передали новому Генсеку (Хрущев уже пребывал в отставке), но Леонид Ильич, ознакомившись с письмом, как видно, не захотел принимать спешных решений — и «дело» Кузнецова отложили до лучших времен...

Много лет спустя (в течение которых Кузнецов так и не был оправдан) Вера Николаевна вспоминала: «Дружная работа А. М. Василевского и Н.Г. Кузнецова переросла в добрые отношения, которые продолжались и после отставки Николая Герасимовича... до его последнего дня. В одном из своих писем ко мне Александр Михайлович писал: «Я храню постоянную память о редкостном человеке, талантливейшем военачальнике, любимом друге Николае Герасимовиче, отдавшем все, что он мог за свою жизнь, делу укрепления, развития и победы наших славных Вооруженных Сил».

Историки уточняют: решение не принимали вплоть до 28 июля 1988-го, когда (спустя 32 года!) после отставки Н. Г. Кузнецову в е р н у л и, наконец, звание Адмирала Флота Советского Союза. Но случилось это, к сожалению, лишь через 14 лет после кончины выдающегося флотоводца — и все это время на его надгробии на Новодевичьем кладбище не значилось никакого воинского звания, так пожелали (в знак протеста!) близкие родственники Николая Герасимовича... Теперь же, когда правда была восстановлена, заговорили о Кузнецове в полный голос, отдавая должное первому в стране Адмиралу Флота Советского Союза, который за свои заслуги перед Отечеством удостоен был звания Героя, награжден



четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Ушакова I степени, многими иностранными орденами и медалями...

И буквально через два года после реабилитации, весной 1990-го, его именем назван был еще не сошедший со стапелей одного из черноморских судостроительных заводов будущий флагман российского флота, а ныне известный всему миру тяжелый авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов», биография которого (как, впрочем, и флотоводца) весьма любопытна своей прихотливой неровностью — ибо за время от закладки и до схода на воду, в сущности, еще не родившийся крейсер успел побывать аж в четырех ипостасях: в самом начале, при закладке, назвали его просто — «Советский Союз», потом, спустя какое-то время, будто спохватившись или почуввав некую шаткость в названии, будущий крейсер переименовали в «Брежнев», однако и на этом не удержались, подули новые ветры — и строящийся морской гигант получил имя «Тбилиси», что, по правде говоря, и вовсе не шло ни в какие ворота...

И тогда кому-то (не то в Главном Морском штабе, не то в Политуправлении ВМФ) пришло в голову четвертое название — на том и остановились. Вот так в 1991 году со стапелей судостроительного завода и сошел на воду и встал в боевой строй наисовременнейший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Они очень скоро накрепко срослись и сжились, дополняя друг друга — прославленный адмирал и крейсер, достойный своего фаворита... Меж тем имя Кузнецова присвоено также Военно-морской академии в Санкт-Петербурге; на здании Главного штаба ВМФ в Москве открыта мемориальная доска; его портрет помещен в галерее флотоводцев Российского государственного морского историко-культурного центра; создан Фонд Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова; имя его носят улицы в Архангельске, Котласе, Санкт-Петербурге и других городах России. А в Севастополе на Большой Морской улице великому флотоводцу сооружен памятник — лицом к морю.

Так что сегодня можно твердо сказать: Адмирал флота Кузнецов продолжает служить Отечеству!

Корабли железные, но...

Крейсер «Каганович», что именинник, стоял на внешнем рейде залива Петра Великого, увенчанный флагами расцветивания; неподалеку, слева и справа от него, будто в почетном эскорте, держались два эсминца — «Резвый» и «Стерегающий». Было тепло и тихо. Владивосток отсюда — весь как на ладони, а до Русского острова, густо закамуфлированного крутыми зелеными сопками, и вовсе подать рукой.

Близкое лето уже дышало в лицо. Чайки стремительно и низко носились над зыбкой гладью залива, смело пикировали и по-домашнему усаживались прямо на рейдовые бочки, как бы удивляясь и радуясь всему окружающему и тихонько взвизгивая от избытка птичьего торжества: а что это, мол, за праздник учинили вы сегодня на рейде, товарищи моряки?

Праздник и вправду намечался грандиозный! Но точнее сказать — юбилей корабля. Ровно десять лет назад, 23 февраля 1945 года (еще шла война), крейсер «Каганович» поднял флаг и вошел в состав Тихоокеанского флота.

Однако стоп, что-то тут не сходилось: юбилей в феврале, а сегодня всюю уже сияло майское солнце. И легко раскусив столь явную неувязку, Сергей Лепихин при первом же удобном случае спросил об этом редактора: отчего-де юбилей крейсера передвинули с февраля на май?

— А ты не догадываешься? — пристально посмотрел на него лейтенант и, не ожидая ответа, продолжал: — Ну, во-первых, не надо упускать из вида существенную деталь: крейсер наш, действительно, поднял флаг 23 февраля сорок пятого года, но в боевой состав флота вошел временно. Окончательно он был зачислен гораздо позже. И, во-вторых, — помедлив, добавил, — ты же

знаешь, что на юбилейные торжества приглашен Лазарь Моисеевич Каганович.

— Так об этом знает весь корабль, — уточнил Сергей.

— Вот и прекрасно! Надеюсь, теперь не надо тебе растолковывать, почему предпочтение отдано солнечному и теплomu маю, а не сырому простуженному февралю... — усмехнулся редактор, хотя могло показаться — разговор оборвал, явно чего-то не договаривая.

И наутро, уже после подъема флага и плотного воскресного завтрака, прямо-таки, как гром с ясного неба, грянула и прокатилась по кораблю оглушительная новость: Кагановича на торжествах юбилейных не будет! Лазарь Моисеевич не сможет приехать.

— Как не сможет? Почему не сможет? — спрашивали друг друга. И удивлялись: — А ты что, телеграмму не читал?

— Какую телеграмму? — еще больше удивлялись.

— Самую настоящую... правительственную! — переходили на шепот. И тут же спохватывались: — Да ты сходи на шкафут, там все и увидишь своими глазами.

Вот так неожиданно и прояснилась ситуация — и все встало на свои места. Командование крейсера, как видно, упреждая ненужные толки и кривотолки, решило обнародовать полученную накануне телеграмму и очень удачно поместило ее для общего обозрения на самом видном месте спардековой надстройки, рядом с дверью корабельной канцелярии, от которой, собственно, и начинался шкафут. Место живое, бойкое. И телеграмма одинаково хорошо была заметна хоть с правого борта, хоть с левого, тотчас бросалась в глаза, притягивая к себе, как магнитом. Да и телеграмма под грифом «Правительственная» выглядела многозначно и несколько парадно, не говоря уже о тексте, который, в отличие от обычных телеграмм, укороченно сжатых, будто рубленых, без всяких знаков препинания, занимал добрую половину довольно плотного квадратного листа, при этом строго блюдя все правила орфографии и пунктуации.

Сергей внимательно, от первого и до последнего слова (ниже только подпись «Л. Каганович»), пробежал глазами по тексту —

таких пространных и грамотных телеграмм читать ему не доводилось. Лазарь Моисеевич поздравлял личный состав крейсера с юбилеем, желал дальнейших успехов в боевой и политической подготовке, благодарил за приглашение («считаю за честь быть в этот праздничный день вместе с моряками») и глубоко сожалел, что «в связи с большой занятостью в ЦК лично присутствовать на боевом и славном корабле не представляется возможным». Сергей дочитал, затем еще раз перечитал концовку – и ему вдруг почудилось, что за словами о большой занятости в ЦК скрывалось нечто другое, совсем другое. Но что? Тщетно пытался он разгадать.

Вот в этот момент и объявились на шкафуте трое матросов (очередная «делегация»), должно быть, жаждавших воочию узреть «Правительственную» телеграмму, молва о которой прокатилась уже по всему крейсеру; подошли, встали сбоку, чуть потеснив Сергея, и один из них живо и весело осведомился:

– Ну, что тут нам пишут? – будто и к Сергею обращался, но вроде и не к нему, а куда-то в пространство. Другой насмешливо упредил:

– Тихо! Читаем про себя.

Они враз смолкли, быстренько ознакомились с телеграммой, и, уже направляясь к левому борту, все тот же говорливый матрос обронил на ходу:

– Да, братцы, невезучий наш крейсер! Лонись Хрущева ждали, но так и не дождались, а нынче вот Каганович на юбилей крейсера не явился...

И кто-то мягко утешил:

– Не горюй, ребята, скоро лето, купальный сезон начнется, – они дружно засмеялись. И Сергей тоже улыбнулся шутивому этому утешению, но в голове застряло совсем другое – «невезучий наш крейсер». Почему невезучий?

Только 26 августа крейсер «Каганович» впервые коснулся ласково-теплых вод залива Петра Великого и был пришвартован к причалу завода №202. Здесь он без лишней раскачки начал подготовку к ходовым испытаниям, которые заняли всю вторую половину октября. Крейсер учился ходить... При этом

показывал хорошую максимальную скорость — 36 узлов! — чему способствовали крейсерские турбины, работавшие в иные моменты с мощностью почти в сто тридцать тысяч лошадиных сил, водяной вихрь кипел под винтами и пенный бурун не мог угнаться за кормой...

Тридцатого октября ходовые испытания завершились, а еще через месяц и государственные. Теперь ждали решения приемной комиссии. Но та не выказывала спешки, хотя иногда кто-нибудь из сведущих и проговаривался: ну, мол, чего беспокоитесь, испытания прошли неплохо, хорошие характеристики налицо, конечно, есть и замечания, но это дело поправимое...

Однако несколько серьезных недоделок отмечено было особо. Так, во время испытательного тренинга обнаружили очень малый зазор в боевом штыре второй башни главного калибра, отчего башня с трудом разворачивалась. А случись такое во время боевых действий?! Аргумент веский. Вторая недоделка не менее, а может, и более серьезная — незавершенные работы по бронированию торпедных аппаратов, элеваторов и бензохранилища. И еще полдюжины не столь значимых изъянов и просчетов, легко устранимых.

Думали, приемный акт будет подписан только после исправления всех ошибок и недоделок, но комиссия сочла возможным подписать его в таком виде — 6 декабря 1944 года крейсер «Каганович» у с л о в н о был передан флоту.

И в тот же день командующий Тихоокеанским флотом адмирал Юмашев связался с наркомом ВМС Кузнецовым и доложил об этом исключительно важном для тихоокеанцев событии. «Добро, Иван Степанович, — внимательно выслушав его, сказал Кузнецов. — Поздравляю вас, тихоокеанцев, с новым кораблем! Устраняйте недоделки и вводите крейсер в строй, — секунду помедлил и добавил: — А в случае каких-либо затруднений держите меня в курсе». — «Вот об этом затруднении, Николай Герасимович, я и хотел вам сказать, — живо отозвался Юмашев. — Боюсь, что бронирование торпедных аппаратов и элеваторов может затянуться». — «Это ваши догадки?» — спросил нарком. «Это не мои догадки, Николай Герасимович, — возразил Юмашев, — об этом

упреждают заводчане, ссылаясь на жесткий график и нехватку нужных спецов». — «Понятно, — спокойно и чуть раздумчиво ответил Кузнецов. И предложил: — Давайте так, Иван Степанович, вы займитесь доводкой крейсера, а проблему бронирования доверьте нам», — последнее прозвучало как твердое обещание.

Однако сроки не были оговорены, потянулись дни неопределенного ожидания: кончался декабрь, наступил новый год... «Доводка» крейсера была почти полностью завершена, должок оставался лишь за бронеукладчиками, но их никто пока не видел. Неужто сам нарком ВМС не в силах решить этот вопрос?! Возникло сомнение и тут же было развеяно — ситуация резко поменялась. И причина тому была весомой: утром 8 января командующему Тихоокеанским флотом вручили свежую дешифровку постановления Государственного комитета обороны от 7 января 1945 года, которое обязывало Наркомсудпром завершить бронирование торпедных аппаратов, элеваторов и бензохранилища крейсера «Каганович» не позже мая с.г. Не позже! Все четко и предсказуемо. Тут никакими отговорками не отделаешься — и, что называется, выше головы не прыгнешь. Вмиг нашлись опытные спецы по бронеустановке, целая бригада, и три дня спустя без лишней раскочки приступили к работе. Завидная оперативность! И броню навели, комар носа не подточит, к тому же, не растягивая до мая (как позволяло постановление ГКО), а уложившись в неполных два месяца.

Вот так 23 февраля 1945 года и стало двойным праздником для крейсера «Каганович» — именно в этот день крейсер поднял флаг и временно вошел в состав Тихоокеанского флота.

Временно, а затем и навсегда.

Однако Сергей Лепихин знал об этом лишь понаслышке, а точнее сказать, со слов и беглых историей лейтенанта Волкова, отец которого был одним из непосредственных и активных строителей крейсера «Каганович». Это же он, Волков-старший, в составе команды дальневосточных спецов осенью 1942 года побывал в огненном Сталинграде и (под обстрелами и лютыми бомбежками) из-под развалин завода «Баррикады» извлекал чудом уцелевшие гребные валы, предназначенные для крейсе-

ра «Каганович», а потом с тем же чудом невероятным сумел эти валы через всю страну доставить целехонькими в Комсомольск-на-Амуре; таким же образом добыты были и вывезены из блокадного Ленинграда гребные винты...

И все это происходило не без участия и на глазах Волкова-старшего. В том числе и мощное обрушение деревянных перекрытий вместе с кровлей эллинга над доком №8, где стоял недостроенный крейсер... Вот тогда-то, в те невеселые сумрачные дни, изодрав не одну пару брезентовых верхонок на разборке завалов, Волков-старший и сказал однажды, что судьба «битого» еще на стапелях корабля неминуемо ждет невезучая... Тяжелый приговор!

Может, ошибся старый судостроитель? Впрочем, лейтенант Волков никак не комментировал отцовские слова, а у Сергея вызывали они лишь улыбку недоумения. Для него крейсер «Каганович», тихоокеанский флагман 50-х годов (другого он не знал), был реальной данностью, и служил на нем Сережа Лепихин (старшина второй статьи и ответственный секретарь корабельной многотиражки «Вперед!»), пожалуй, в самую добрую и счастливую пору. Смешно и помыслить о какой-то невезучести. Все шло как надо! Вот и десятилетний юбилей крейсера славно отпраздновали, концерт был великолепный, хотя самого Лазаря Моисеевича так и не дождались...

Но праздники быстро проходят, а будни тянутся бесконечно. И все привычно — все изо дня в день как бы повторяется. Утром, после завтрака, Сергей выскакивает из кубрика и, как всегда, наискось пересекает шкафут в сторону правобортного торпедного аппарата, поравнявшись с которым, столь же привычно касается рукой ближней трубы и, словно пароль, заученно произносит: «Ну, как тут броня?» — «Броня что надо! Держимся», — игриво и весело отвечает кто-нибудь из торпедистов, если оказывается на своем посту; но если даже и нет никого, Сергей, проходя мимо, непременно коснется ладонью остывшего за ночь металла, как бы по-свойски осведомляясь: ну, как, мол, все трубы на месте? И тотчас круто свернет направо, упираясь глазами в типографскую дверь, до которой от ближней торпедной трубы не больше пяти шагов...

Странно, такие вот мелочи остаются в памяти, а, казалось, куда как более важные события исчезают бесследно; ну, не помнит Сергей, например, убей — не помнит, как и сколько раз за три года крейсер «Каганович» проходил в Охотское море через Татарский пролив, а сколько раз через пролив Лаперуза. Да и так ли уж это важно?!

Однако 1955 год оказался памятным для Сергея и, можно сказать, щедрым на события знаковые. Что касается юбилея крейсера «Каганович», как, впрочем, и вечера встречи с прозаиками и поэтами Тихоокеанского флота в Малом зале Дома офицеров 26 января 1955 года, об этом уже достаточно сказано; остается лишь добавить: осенью этого же пятьдесят пятого года завершилась морская служба Сергея Лепихина. И завершал он ее вполне достойно. Очерк его «Морской узел» получил первую премию ежегодного конкурса флотской газеты «Боевая вахта». Сергей трижды (за время службы на кораблях) участвовал в этих замечательных конкурсах — и трижды его очерки отмечались премиями! Так что школу прошел он хо-орошую — и не только в большой четырехполосной «Боевой вахте», а главным образом в корабельной двухполосной многотиражке «Вперед!», работа в которой была далека от каких-либо особых изысков, но требовала немалых трудов и усилий. Сергей понимал: все это в будущем пригодится.

Хотя будущее рисовалось ему пока очень смутно. Одно знал твердо: работать будет только в газете! Но где, в какой газете? Вот это, как говорится, на воде вилами писано...

Сергей подумывал о «районках». Приобский край громадный, шестьдесят районов (на территории в 262 тысячи квадратных километров, где свободно и даже с большим запасом могли бы разместиться два-три европейских государства, таких, скажем, как Великобритания и Люксембург с Монако) — и в каждом районе своя типография и газета. Выбор богатый, уверен был Сергей, без работы не останется!

Между тем в середине октября срок службы его истекал. Четыре года — как волной смыло! Оставались считанные дни. И Сергею малость даже взгрустнулось... Как будто не домой он

ехал, а куда-то в неведомые края. Отчасти, видно, так и было. И вдруг – новый поворот: срок службы Сергея Лепихина неожиданно притормозили. Лейтенант Волков сказал об этом в самый последний момент, виновато глядя на Сергея: знаю, мол, старшина, на чемодане уже сидишь, но такая вот ситуация – повременить придется, задержаться на энное время, куда ищут тебе замену. Сергей воспринял эту новость спокойно – не как сенсацию, а как должное, без восторга, но с пониманием. Все верно, решил он про себя, газету выпускать неммыслимо без ответсекретаря.

И в эти же дни произошло еще одно, бесспорно, важное событие: старпом Ховрин был пожалован в каперанги и назначен (трижды ура!!!) командиром крейсера «Каганович». Будущему адмиралу и командующему Черноморским флотом Николаю Ивановичу Ховрину исполнилось в то время тридцать три года и пользовался он на корабле безоговорочным и глубоким уважением.

Так что Сереже Лепихину угодило при новом командире дослуживать энное время, которое растянулось, между прочим, на целых два месяца и закончилось так же внезапно, как и началось.

Однажды утром зашел в типографию редактор, поговорил с наборщиками о том и сем, затем повернулся к Сергею, занимавшему, как и прежде, «редакционный угол», и живо, чуточку даже торжественно объявил:

– Ну, старшина Лепихин, могу вас обрадовать: проездные документы готовы – можете получить. Трех дней хватит на сборы? – скорее для проформы спросил.

– Так я, товарищ лейтенант, давно уже собран, – улыбнулся Сергей.

Вот и все! Служить оставалось три дня, всего лишь три – это же мизер в сравнении с полутора тысячами дней, оставшихся позади... «Сборы были недолги», – озвучил песенно этот момент как всегда находчивый и остроязыкий Василь Зеленцов. И вправду, недолги! Хотя последние эти дни и выдались на редкость суетными и плотно забытыми: Сергей получил проездные документы, не без ностальгической грусти освободил «редакционный угол», тщательно разобрав кучу рукописных своих бумаг

и газетных вырезок, уложил в папку лишь самые нужные, авось, пригодятся, уверен был – пригодятся! Затем еще и еще какие-то мелочи, пустяки неотложные, так до ужина и проваландался...

А назавтра с утра помчался в железнодорожные кассы, оформил плацкартный билет до Приобска и прямо с вокзала отправился к Рите, чувствуя и опасаясь, что встреча сегодняшняя будет для них нелегкой, а может, и последней. Но об этом и думать не хотелось! Да они, кажется, и выяснили уже все, придя к обоюдному согласию: не стоит Рите столь необдуманно и поспешно срываться, пусть Сергей сначала один возвращается в Приобск, оглядится, подыщет работу для себя подходящую, утвердится как следует, а потом и решат окончательно... Помнится, Рита отнеслась к этому очень спокойно. И даже пошутила: ничего-ничего, мол, это полезно пожить врозь и проверить свои чувства... М-да! – качнул головой Сергей, как бы притормаживая ход событий, сделал небольшой крюк и вышел на Посъетскую, придержал шаги подле двухэтажного особняка «Боевой вахты» – увы, редакция сегодня отдыхала, было воскресенье. И Сергей вдруг понял: сюда он больше не ходок...

Круто свернул в переулок, держа на виду совсем уже близкий и, кажется, вечно и до самой последней трещинки знакомый краснокирпичный барак. Рита была дома, ждала его. И внешне могло показаться – встретила Сергея спокойно-сдержанно и даже сухо, но с такой проникновенной теплотой и засветившейся искоркою в глазах, что у Сергея отлегло внутри – печаль с души вон! – и он засветился, ощущая ее нежную теплоту. Как прекрасен был мир в этот миг!

И даже после того, как Сергей, скинув шинель и повесив шапку на гвоздик, перевел дух и, как бы спохватившись, достал из кармана свой проездной билет на вторник, показал его Рите, ни слова не говоря, даже после этого ничто не изменилось в ее лице, Рита осталась все такой же спокойно-сдержанной и в то же время приветливо-улыбчивой, с этакой лукавой искоркою в глазах. Им сегодня, как никогда, было хорошо! И они провели этот день, без оглядки на прошлое и вовсе не говоря о будущем, которое никому неведомо и всегда впереди... А вечером, собрав-

шись уходить, уже надев шинель и держа в руке шапку, Сергей чуть прислонился к Рите, стоявшей рядом, и тихо спросил:

– Ты запомнила номер моего вагона?

– Конечно, – кивнула она, – седьмой.

– Буду ждать. Надеюсь, ты придешь меня проводить?

Рита очень внимательно и долго на него смотрела, не отвечая, потом сказала:

– Нет, Сережа, не приду.

– Почему? – страшно он удивился и не поверил.

– Не могу... и не хочу тебя провожать, – раздельно и твердо сказала Рита. – А вот встречать побегу, если нам доведется...

– Примета такая? – догадливо улыбнулся Сергей.

Рита не ответила. Но до угла своей краснокирпичной казармы она его все-таки проводила – здесь и расстались.

Днем подсыпало снега, выбелив заново переулок и улицу адмирала Посыета, в сторону которой уходил Сергей, то и дело оглядываясь; пройдет десяток шагов, обернется и помашет рукой, Рита стоит недвижно. И так до тех пор, пока могли видеть друг друга...

А два дня спустя, в начале второй недели декабря 1955 года, Сергей Лепихин в последний раз сошел с корабля. Дружная газетно-типографская команда проводила его до трапа – крейсер «Каганович» стоял у стенки давно обжитого девятнадцатого причала. Сергей неспешно спустился на берег, обернулся, козырнул прощально друзьям-типографам, все еще стоявшим на юте, и двинулся скорым шагом вверх по бетонному спуску к совсем близкой трамвайной остановке... Все просто и буднично. Минут через двадцать он уже был на вокзале; едва перевел дух – объявили посадку; поднялся в седьмой плацкартный вагон, без труда нашел свое место – нижняя полка, очень похожая на корабельный рундук, только не железная, а деревянная... Сергей улыбнулся этой схожести, поднял крышку вагонного «рундука», упрятал свой чемоданчик, чтобы не торчал в проходе, присел к столику перед окном и облегченно вздохнул.

Посадочная суета наконец-то угомонилась. И вскоре поезд, коротко гукнув, почти неслышно тронулся, сопровождаемый

волнующе грустной и печально-торжественной музыкой широко популярного и любимого в те послевоенные годы марша «Прощание славянки»... Мимо окна поплыли знакомые городские кварталы, строения, поезд набрал ход и как бы пересек некую черту, бесшумно ворвавшись в новое пространство, разом оставив позади Владивосток и все, что связано было с ним целых четыре года с гаком...

Прощай, флот! Прощай, крейсер «Каганович»!

Сергей все еще смотрел в окно, будто не желая упускать из вида ускользящее прошлое, но поезд неудержимо мчал, уносил его вперед — и время тоже не стояло на месте...

Много лет спустя Сергей прочтет у Пикуля слова бесхитростно простые и пронзительно точные о боевых кораблях — он любил писателя Пикуля как никого другого именно за эту жгучую простоту и точность. «Все корабли, как и люди, смертны, — кажется, не сказал, а выдохнул Валентин Саввич. — Но смерти бывают разные. Одни погибают в бою, им ставят памятники, как героям. Других губит стихия, и они исчезают бесследно, как пропавшие без вести...»

Слова эти крепко запомнятся и тронут душу. И Сергей, всколыхнувшись, тотчас подумает о своем крейсере. Что с ним случилось? Никакой связи с флотом Сергей не поддерживал, жил теперь как бы в иной ипостаси и в другом мире. Да и крейсер, распрощавшись с ним, немедля восполнил пробел другим человеком (может, хуже, чем он, Сергей Лепихин, а может, и лучше) и остался на плаву с теми же корабельными заботами и порядками. А вот как сложилась дальнейшая его жизнь, об этом Лепихин узнает лишь многие годы спустя и будет потрясен печальной судьбой крейсера «Каганович».

Однако никакими подробностями не располагал даже всезнающий сегодняшний Интернет — лишь скупая жесткая хроника. Известно одно: поначалу все ладилось и шло, как нельзя лучше. И даже недавнее (еще в бытность Сергея на корабле) пополнение Тихоокеанского флота двумя более современными и тяжелыми крейсерами, «Сенявин» и «Пожарский», никак

не поколебало многолетний авторитет замечательных «стариков». «Калинин» и «Каганович» оставались головными в боевом крейсерском составе. Но, пожалуй, самое знаковое событие случится в конце лета 1957 года — отсюда и пойдет сплошная «хроника».

Итак, вечером 2 августа в последний раз был спущен флаг на крейсере «Каганович», а наутро 3 августа под мажорное трезвучие фанфар и высокий распев трубы впервые подняли кормовой флаг, а затем и праздничные флаги расцвечивания на том же крейсере, но уже под другим названием — «Петропавловск». Как, почему? Впрочем, экипаж корабля не застало это врасплох, все уже знали: столь внезапное, прямо-таки скоропалительное переименование крейсера «Каганович» связано с довольно громким делом, изобличившим «антипартийную группировку» во главе с Маленковым, Молотовым и Кагановичем... Так что другого исхода и быть не могло! Да никто на корабле, судя по всему, шибко-то не горевал и не жалел об утраченном. Более того, новое имя крейсера, что называется, враз пришлось ко двору и покорило сердца матросские. Говорили об этом вслух и открыто. Да и что тут скрывать! Командир крейсера капитан первого ранга Ховрин перед началом праздничного концерта, когда весь шкафут и ближняя часть полубака были плотно забиты зрительской массой, поднялся с единственного сидячего ряда и, повернувшись лицом к стоячему «залу», произнес торжественно строго и чуточку приподнято: «Товарищи матросы, старшины и офицеры, поздравляю вас с началом службы... на крейсере «Петропавловск»! Отныне наш крейсер будет достойно нести это гордое имя, унаследованное от легендарного эскадренного броненосца «Петропавловск», флагмана первой Тихоокеанской эскадры, на котором пятьдесят три года назад, во время порт-артурских сражений держал свой флаг адмирал Макаров и погиб вместе с героическим флагманом, подрывшимся на вражеских минах... — секунду помедлил и добавил: — На борту броненосца «Петропавловск» в этот день рядом с адмиралом находился и знаменитый российский художник Верещагин... Вечная им память!»

Этот приподнято строгий и в то же время душевный спич командира как бы придал хотя и не будничному, отнюдь не рядовому случаю еще более глубокий и высокий смысл героического преемства. Как тут не гордиться, коли служишь ты на крейсере «Петропавловск»!

Такой вот поворот.

Однако никому тогда и в голову не могло прийти, что самый крутой и опасный поворот подстерегает уже впереди, поджидая крейсер... Случится это ровно через год после переименования. Погожим сентябрьским утром крейсер «Петропавловск» выйдет из бухты Золотой Рог и ляжет курсом норд-ост – через пролив Лаперуза в Охотское море. Кстати, командовал крейсером в это время уже не Ховрин (переведенный прошлой осенью на дивизион), а молодой каперанг Соловьев – ему и досталось принять на себя страшный удар тайфуна.

Спрашивается, а где же были синоптики? Вот и все! И никаких больше подробностей. Один ли крейсер вышел в Охотское море? Слишком сомнительно, Сергей не помнил, чтобы столь дальние переходы флагман «Каганович» совершал в одиночку. Но кто знает, какую задачу решал в тот день «Петропавловск»?

Лепихин попросил сына заглянуть во всезнающий Интернет – что известно ему об этом последнем походе бывшего тихоокеанского флагмана? Минут через двадцать Андрей перезвонил: «Нашел! Но сведения очень скупы. Записывай. – И неспешно продиктовал: – 19 сентября 1958 года в Охотском море крейсер «Петропавловск» оказался в зоне действия сильного тайфуна, получил довольно тяжелые повреждения, но своим ходом вернулся во Владивосток... 6 февраля 1960 года крейсер «Петропавловск» был перестроен в плавучую казарму... А в 1964 году сдан на слом».

– И все? – удивился Лепихин, подумав одновременно: «Какая холодная, бесстрастная лапидарность!» В голове не укладывались эти невероятные события. Лепихин понимал: корабли, как и люди, смертны, но в этом случае было что-то непостижимое: вчерашний тихоокеанский флагман перестроен... в большую плавучую казарму. – И все?!



— Пока все, — виновато вздохнул Андрей. — Но я загляну в другие источники, может, что-то еще обнаружится...

Однако что-то еще трудно давалось, все упрятано было за семью печатями — и даже всезнающий нынешний Интернет мало что знал об этой давней морской катастрофе в Охотском море. И все же некие другие источники подсказали: во время того разрушительного урагана крейсер «Петропавловск» потерял около двадцати человек и лишь на другой день своим ходом вернулся в базу. Там его аккуратненько отбуксировали к причалу завода № 202 — надеялись отремонтировать и восстановить в прежней боевой готовности. Но это ведь не какой-нибудь текущий, навигационный ремонт. Слишком тяжелы, можно сказать, несовместимы с боевой жизнеспособностью корабля, оказались повреждения: металл был разодран, как бумага, и даже крейсерская броня местами не выдержала тринадцатибалльных ударов тайфуна. Чертова дюжина! Это пострашнее любого девятого вала...

И хотя корабль был отремонтирован, остался на плаву, но в статусе боевой единицы продержался недолго. Зимой 1960 года с «Петропавловска» сняли все вооружение и до неузнаваемости переоборудовали, перестроили его в большую плавучую казарму. Как будто и не было крейсера!

Лепихина потрясла эта жуткая история, дошедшая до него через многие годы. Представить же ее во всей реальности он так и не смог, умозрительно, оторванно как-то воспринимая события, словно имелся в виду не один и тот же крейсер, а два совершенно разных — «Каганович» и «Петропавловск».

Первый из них, флагманский крейсер Тихоокеанского флота, был близок и дорог Лепихину, как дом родной, в котором прожил он три самых, наверное, счастливейших года. Второй же крейсер для него — что другая планета; вот эта раздвоенность так и осталась в нем навсегда...

Но прошлого не вернешь и, тем более, не исправишь. А будущее — непредсказуемо. Что впереди грядет?



Перед судом (Вместо эпилога)

Визит был незапланированным, можно сказать, спонтанным, с налетом некой даже нахрапинки, хотя далеко не бездельным. Лепихин поднялся по крутой и узкой, будто корабельный трап, деревянной лестнице на второй этаж, к своему адвокату Ксении Львовне, которая, к счастью, оказалась на месте. Довольно молодая, отнюдь не «бальзаковского» возраста, приятная и учтивая, но, как показала Лепихину, зело многословна и чуточку хитровата — себе на уме. Впрочем, давно известно, всякая профессия налагает свой отпечаток... Внезапный приход Лепихина не смутил Ксению Львовну, она как будто даже обрадовалась и по-хорошему оживилась:

— Вот и славно, что вы зашли! А я только что собиралась позвонить вам и кое-что уточнить. Скажите, вы давно видели своего ответчика?

— Кого-кого? — не сразу он понял, но тотчас догадался: — Соседа по даче? Вообще-то, мы с ним теперь видимся только изда-лека, — усмехнулся. — А что? Случилось что-нибудь?

— Да, в некотором роде, — подтвердила Ксения Львовна, перебирая на столе бумаги, словно отыскивая нечто важное, наконец, вскинула голову и посмотрела на него живо и прямо: — Дело в том, Сергей Леонидович, что назначенное судебное слушание пришлось отложить на две недели... — перехватила вопросительный взгляд его и добавила: — Заболел ответчик.

— Даже так, — не поверил Лепихин. — Какая же муха укусила его?

— Все мы под небом ходим, Сергей Леонидович. А сосед ваш находится в отделении пульмонологии.

— Странно, — покачал он головой. — Пульмонология... неужто с легкими нелады? На него это не похоже — мужик он вроде крепкий, каленый. И что же теперь? — глянул на свою защитницу.

— Придется подождать.

— Ну что ж, будем ждать, — смиренно развел он руками, подозревая, однако, что внезапная болезнь Хмырева может изрядно подзатыннуться, похоже, на это все и рассчитано...

— Да вы не беспокойтесь, — утешила его Ксения Львовна. — Такое в нашей практике не редкость: то свидетель не явится, то ответчик занедужит... Так что наберитесь терпения — и занимайтесь своими делами. А если что-то изменится, я извещу вас непременно. — И вдруг без всякого перехода и почти без малейшей паузы упредила: — Да, кстати, Сергей Леонидович, вам необходимо еще доплату внести, — быстро глянула на него и остерегла: — Нет-нет, не мне... в нашу бухгалтерию.

Лепихин спокойно воспринял эту новость, сказав, что он готов сие сделать немедленно, если такие издержки возникли.

— Нет-нет, это не горит, — вежливо уклонилась Ксения Львовна. — Внесете доплату, когда вам удобно.

Лепихин кивнул, как бы принимая к сведению столь важную информацию, подумав, однако, что их «банное» дело и выеденного яйца не стоит, но ничего не сказал скорее из принципа: в чужой монастырь со своим уставом не ходят!

Любезно распрощался с милой своей защитницей, прошел длинным и мрачноватым, как туннель, коридором, спустился вниз и вышел во двор, облегченно вздохнув.

Было солнечно и прохладно. Сухо шуршала под ногами опавшая с тополей листва. Лепихин, шагая через двор по бетонной дорожке, вдруг оглянулся зачем-то, как будто что-то забыв, и внимательно оглядел дом райсуда, стены которого, похоже, совсем недавно обшиты были голубовато-серым сайдингом — современно, красиво и прочно; но даже маскировочное это «одеяние» не могло скрыть необычной и тонкой архитектурной вычурности старинного купеческого особняка. Лепихин еще раз оглядел его, что называется, с ног до головы (и как бы с другого ракурса), ловя себя на мысли: а ведь с этим домом его, Лепихина, когда-то и что-то связывало... Но что могло его связывать именно с этим домом, напрягал он память, пытаясь тайну сию раскрыть. И вдруг его осенило: «Ба! Да ведь в этом доме

когда-то давным-давно размещался военкомат». И все... все разом встало на свои места, отчетливо прояснившись; отсюда вот, с этого обширного двора, уходили они бесшабашно-неровным строем, зеленые призывники, и пешедралом чуть ли не через весь город топали до железнодорожной станции, где в одном из тупиково-дальних путей ожидал их эшелон из семи или восьми телячьих вагонов, прицепленных к стоявшему уже под парами и шумно вздыхавшему паровозу «ФД»... И день тот был такой же сухой и ясный, как и сегодня, с высоким ситцево-синим небом и терпким запахом рано опавшей тополевой листвы.

Лепихин все это явственно ощутил и зримо представил, безошибочно угадав в безалаберно топающем строю себя тогдашнего, хотя девятнадцатилетний тот паренек показался ему таким чужаком из другого мира, светловолосый и синеглазый, годившийся нынешнему Лепихину даже не в сыновья, а во внуки...

«Вот такой получился расклад! — не без горечи усмехнулся Лепихин. — Сам себе дед и в то же время внук...»

А может, все это привиделось, примерещилось наяву? И давний тот эшелон из семи или восьми телячьих вагонов, и долгий, почти двухнедельный путь через все транссибирские пространства, вплоть до берегов Тихого океана...

Куда же еще дальше?!

Лепихин, подумав об этом, невольно зажмурился — и уже не шорох сухого листа под ногами услышал, а плеск воды за бортами дежурного катера, отвалившего от девятнадцатого причала и взявшего курс поперек и чуть ли не по линии стыка двух заливов, Амурского и Петра Великого — строго на Русский остров... Это было первое для зеленых матросиков (в еще не обмятых робах и бескозырках без ленточек) «морское» плавание, пусть и всего-то десятиминутное, длиною в неполных четыре мили; но когда впервые ступили на каменистый берег легендарного острова, чувства и мысли охватили такие, как будто только-только сейчас они родились — и жизнь их с этих шагов начинается...

А жизнь, между тем, продолжалась.

И упрятанный где-то мобильник, резко вибрируя и зуммеря, напомнил об этом. Лепихин привычно выудил его из глубин кар-

мана, даванул пальцем зеленую скобку приемника и, поднеся к уху, коротко отозвался:

– Да, я слушаю.

– Сергей Леонидович?! – донесло, как из бочки, густой и знакомый голос. – Кое-как достучался до вас. Бесконечные «временно недоступен»... Вот вы какой недоступный сегодня! – усмешливо пошутил. И живо открылся: – Это Бузняков беспокоит, – хотя Лепихин узнал его сразу по голосу, молодого писательского секретаря, избранного ровно полгода назад. – Оторвал вас, наверное, от работы... – продолжал Бузняков, заходя явно издалека. – Вы на даче? Грибами, небось, завалились?! Не то, что мы тут, грешные, прокисаем в городе...

– Так я сейчас тоже в городе, – как бы солидаризируясь с ним, признался Лепихин. – А с грибами, Виктор Валентинович, нынче туговато, неурожайный сезон.

– Что, совсем нет ничего?

– Так, по мелочи кое-что попадается... Опята вот пошли. Ну, а у вас тут какие новости? – выпрямил разговор. – Давно не был я в нашем Доме писательском. Завтра часу в двенадцатом забегу. Ты будешь на месте? – уточнил на всякий случай.

Бузняков молчал неестественно долго. Лепихин решил, что связь прервалась, хотел проверить:

– Алло! –дохнул в мембрану.

– Да-да, я слышу, – спохватившись, отозвался Бузняков. – Думаю вот, как бы помягче сказать, но, увы и ах, Сергей Леонидович, забежать вам некуда... Нет у нас больше Дома литераторов, – с усилием выговорил.

– То есть как нет? – не поверил Лепихин, ошеломленный внезапной новостью. Они с этим домом сжились за многие годы, привыкли к нему, как к некой неотъемлемой части своего существования – и вдруг... нет больше Дома литераторов! – Да что же случилось? – Лепихин был явно расстроен. – Не могу понять, скажи мне толком: куда же подевался писательский дом? Кто-то покусился на него, отнял у нас?

– Да нет, что вы, упаси бог! – поспешно отозвался Бузняков, будто сидели они рядышком (хотя и не видели друг друга) и вели

доверительный разговор. — Нет-нет, Сергей Леонидович, никто не отнимал его у нас, наш Дом, никто на него не покушался, напротив, с пониманием относились, пожалуйста, мол, живите на здоровье и творите во славу российской литературы, но все свои проблемы житейские решайте с коммунальщиками...

— И в чем же закавыка?

— Закавыка, Сергей Леонидович, одна: полное наше безденежье. Сегодня у нас на счету — круглый ноль. Круглый! Как, на какие шиши прикажете жить да еще и наш прекрасный Дом содержать...

— И нет никакого выхода?

— Выход был один, вот мы и воспользовались им: передали бывший Дом литераторов по назначению — он же числится на балансе городской мэрии...

— Да, выход не лучший. А что, городская мэрия не могла бы полностью взять на свой баланс писательский дом... во славу, так сказать, российской литературы? Может, с этой стороны зондировать? Ты не пытался?

— Нет, не пытался. Да это и не решило бы проблемы. Нас же полностью сняли с довольствия, — не без горечи доложил. — Так что все «зондирования» мои оказались бы пустыми — тот же ноль! А нам очень вежливо и по пальцам растолковали, что бюджетное финансирование писательских организаций — незаконно, поскольку сегодня числятся они как общественные, а посему ни под каким соусом в бюджет не включаются. Все! Разговор исчерпан — и крыть больше нечем. Выходит, писатели нынче, как и церковь, отделены от государства... Увы, мы нынче и в государственном-то реестре не значимся, нет такой профессии — писатель. Есть архитекторы, есть артисты, есть спортсмены... Последние даже свое министерство имеют. И не только в Москве, но и во всех регионах... Поскольку они профессионалы, а вот мы, писатели, где-то на отшибе, вроде бомжей или в лучшем случае неких самозанятых частных... — выложил махом, вдруг спохватился и, усмехнувшись, сам себя оборвал: — Ну вот, расхныкался! Извините, накипело в душе.

– Да, брат, дела невеселые, – сказал Лепихин и, чуть помедлив, спросил: – А не рано мы опустили руки? Ну, не может быть, чтобы никакого лучшего выхода не нашлось... Быть такого не может! Кстати, а лично с губернатором не было разговора?

– Поздно уже, Сергей Леонидович, вести такие разговоры.

– Как это поздно?! – возмутился Лепихин. – Вопрос решать никогда не поздно.

– Так вопрос уже решен, – вздохнул Бузняков. – Нам твердо и официально сказали: никаких подпиток впредь не ждите, бюджетом не предусмотрено финансирование общественных организаций... Вот так и оказались мы у разбитого корыта, как пушкинская бабка, – перевел дух и добавил с ядовито-горькой усмешкой: – Но Пушкин старуху все-таки в землянке оставил. А у нас ни кола ни двора, хоть шаром покати... Кстати, Дом свой мы уже освободили и ключи передали новым хозяевам... Впрочем, ключи наши им не понадобились, они уже другие замки там поставили.

– Лихо! – изумился Лепихин, потерянно помолчал, должно быть, осмысливая происшедшее, и спросил, наконец: – И кто же теперь замещает писателей, что за учреждение обживает бывший Дом литераторов?

– Хоспис, – подчеркнуто сухо и внятно сказал Бузняков.

– Ну-у, брат, и шуточки у тебя, – неодобрительно буркнул Лепихин, воспринимая это как некую злую иронию глубоко обиженного человека. – Ничего другого не мог придумать?

– А зачем мне придумывать, говорю то, что есть...

И тотчас, не дав Бузнякову договорить, связь резко оборвалась, мобильник заглох. И когда Лепихин, досаду на недоговоренность, уже готов был сунуть его в карман, мобильник снова ожил и настойчиво заверещал. Лепихин включился:

– Кажется, нас оборвали... – сказал он, как бы обозначив свое присутствие.

– Да-да, – подтвердил Бузняков, посмеиваясь. – Похоже, кому-то не понравилась наша голая правда, – и продолжал, будто и не было никакой паузы, – одним словом, отныне приобские писатели живут на правах бомжей...

– Ну, ты не паникуй шибко и не преувеличивай, – остерег его Лепихин. – А если все упирается в бюджет, значит, надо искать другие варианты...

– И где ж их искать, эти варианты?

– Ну, не в лесу, разумеется, – ответил Лепихин. – И я тебе еще раз говорю: будь понастырнее и напросись на прием к губернатору. Только он может решить этот вопрос. Ну, что молчишь? – выждав немного, спросил.

– Думаю, – отозвался Бузняков. – В общем-то, вы меня убедили: надежда сейчас только на губернатора! Но ведь и губернатор наш не царь фригийский и, тем более, не Александр Македонский, который мог разрубить любой узел...

– Вот и проверь, на кого он больше похож, наш губернатор, – вполне серьезно сказал Лепихин. – Испыток – не убыток.

– Спасибо за поддержку, Сергей Леонидович.

– Ну, какая это поддержка...

– Моральная. А вы опять в свои леса? – повернул разговор. – Представляю, какая там у вас тишь да благодать, белки, небось, прыгают по деревьям... Завидую вам!

– А чего завидовать... приезжай. Машина твоя на ходу? – Бузняков промолчал. – Наберем грибов, нажарим, посидим ладком, как говорит мой сосед Густокашин... Он, кстати, наши леса называет храмом спасения. Да! – вспомнил о чем-то и вернулся к прежнему: – Просьба к тебе: когда все уладится или даже (упаси бог!) вконец разладится, в любом случае, после визита к губернатору – не поленись, звякни...

– Конечно, конечно! Обязательно позвоню, – пообещал Бузняков. На этом и закончили разговор.

Лепихин сунул в карман мобильник и вышел из «судебной» ограды. Пожухлый тополевый лист мягко шуршал под ногами, будто вялый морской прилив лениво накатывал и шлепал о бетонную стенку причала... хлюп! Лепихин улыбнулся странному этому сходству – память как бы выхватила из далекого далека знакомый до боли девятнадцатый причал и там же, в далеком прошлом, оставила, затмила его навсегда...

Теперь иные причалы ждали Сергея Лепихина.

Отвыкнув за лето и устав до чертей за два дня от какой-то неодолимой городской суеты, Лепихин спешно собрался и укатил без оглядки в «свои леса», на полустанок Лесной, в свой давно обжитый, с веселой мансардой бревенчатый дом, окруженный все теми же поднебесно высокими и густыми сосново-березовыми лесами... Воистину храм спасения! Сюда не надо заманивать калачом, сюда тянуло и без того — как магнитом. Здесь легко дышалось и работалось... Ну, не сказать, что легко (труд есть труд!), но каждое утро Лепихин усаживался за письменный стол — и старенький ноутбук служил ему безотказно...

Андрей как-то спросил отца: «Может, заменим? Сбросим текст на новый — и стучи себе дальше». — «Зачем?!» — мотнул протестующе головой. — «Так ведь старенький, может забарахлить». — «Ну, не старше меня, — отговорился Лепихин и живо добавил, посмеиваясь: — Ничего, старый конь борозды не испортит!» — похоже, имел в виду не только ноутбук, но и себя самого не в последнюю очередь.

... А Бузняков так и не позвонил. Хотя обещал твердо. Лепихин, вспомнив об этом и поколебавшись, решил сам ему дозвониться. Но в тот миг, когда он уже потянулся к лежавшему на столе мобильнику, тот опережающе засветился и подал голос.

— Привет! — звонил Андрей. — Ну, как ты там, в родных лесах? Не скучаешь?

— Некогда скучать — работы хватает.

— Ноутбук трудится, не подводит?

— Тьфу-тьфу! Пока ладим. А вы как, дома все в порядке? — и спохватился: — Слушай... чтоб не забыть: я только что собирался Бузнякова разыскивать. Что-то молчит наш молодой секретарь. Обещал позвонить — и ни гу-гу! Был он или не был у губернатора? Ты не в курсе, что там творится у нас, в нашей епархии?

— А у вас свет погас, — слегка нараспев и довольно язвительно отозвался Андрей. И уже на полном серьезе признался: — Вообще-то я не хотел забивать тебе голову лишними новостями. Но раз уж ты сам заговорил... доношу: никакой встречи с губернатором у Бузнякова не было.

– Как? Почему не было? Бузняков сам тебе об этом сказал?

– Бузнякова я не видел. Да его уже и нет в Приобске.

– А где же он? – еще больше удивился Лепихин.

– Точно не знаю, кажется, в Краснодаре...

– Он что... отдыхать уехал?

– Ну, сейчас ему не до отдыха, говорят, совсем перебрался.

Вчера забегал я в краевую администрацию, разговаривал с Гуреевым, пресс-секретарем губернатора, он и сказал, что предварительно с губернатором условились о встрече, Александр Лукьянович был готов принять Бузнякова, но несколько позже... А когда время пришло – оказалось, встречать уже некого. Вот такой поворотик случился.

– Ничего себе... поворотик! – вздохнул Лепихин, ошарашенный этой новостью. – Не поворот, а полнейший развал...

– Да ты не переживай шибко, – успокоил его Андрей. – Ну, уехал Бузняков, так это ж дело житейское. Изберете нового секретаря. Хотя проблема, как мне кажется, вовсе не в секретаре. Скажи, – вдруг спросил, – сколько сегодня писательских организаций в Приобье?

– Это что, вопрос на засыпку?

– Никакой тут засыпки, лично я не знаю.

– Так и я за все Приобье не берусь отвечать, – вздохнул Лепихин. – Нынче писателей, а лучше сказать, членов союза писателей, наплодили столько, что впору в каждом из шестидесяти приобских районов создавать свои отделения. У нас в Приобске три организации. Две из них относят себя к Союзу писателей России, а третья – к Союзу российских писателей. Вот и попробуй угадать, чем отличаются «писатели России» от писателей «российских»...

– И чем же? – спросил Андрей. И тотчас, не ожидая ответа, сообщил доверительно: – А я недавно встретил Демина. Стокнулись нос к носу, и Демин чуть ли не с ходу, едва поздоровались, заговорил об этом же писательском разброде... Мне показался он сильно расстроенным.

– Кто? Демин расстроен? – удивился Лепихин. – А он-то отчего расстроился – порядок у него полный. Единственный приобский журнал в его руках, есть помещение, финансовая под-

держка вполне достойная, находятся средства даже на издание книг в журнальной «Библиотеке»...

– И ты в этой «Библиотеке» тоже издавался, – напомнил Андрей.

– Издавался. И не только я, там вышло немало хороших книг приобских литераторов, к тому же в прекрасном полиграфическом исполнении...

– Так это ж здорово, если в такое трудное для писателей время появилась возможность издавать книги!

– А кто говорит, что плохо, конечно, здорово, – согласился Лепихин. – Вот Вячеслав Петрович и правит там бал... Надо сказать, хорошо управляется. И журнал выходит на должном уровне, и книги издаются в журнальной «Библиотеке», здесь я, как говорится, не погрешу против истины. А вот «расстройство» Демина мне непонятно.

– И что же тут непонятного? – докапывался Андрей. – Тебя же волнует нынешняя ваша неразбериха. А почему другие должны к этому относиться спокойно? Демин как раз и возмущен вот этим непониманием и разбродом. Я, говорит, предлагаю неотложно собраться, договориться и, если хотим выжить, воссоздать единую организацию.

– Это Демин так говорит?! – изумился Лепихин.

– А ты не согласен с ним?

– Нет, почему же, я двумя руками за такой вариант! Но ты бы спросил Вячеслава Петровича: а кто был главным заперщиком развала этой единой организации и почему он, Демин, в те поры лихие и на дух не принимал никаких компромиссов и договоренностей?

– Так ты же сам назвал те поры лихими – вот тебе и ответ на вопрос. Впрочем, я хорошо знаю, как Демин сплотил вокруг журнала приличную группу писателей.

– Редакционный и авторский актив.

– Вот-вот! Этот «актив» и послужил основой для создания промежуточной организации.

– Промежуточной? – как бы опробовав слово на вкус, усомнился Лепихин: – Лучше сказать, послужил поводом для раскола единой Приобской организации...

– И это верно. И даже больше того: я знаю, что Демин предлагал тебе возглавить новоиспеченную писательскую организацию... Было такое?

– Было. И не просто предлагал, а настойчиво уговаривал, убеждал, прямо-таки уламывал...

– Ну, тут понятный расчет! – засмеялся Андрей. – Во главе новой организации – известный сибирский писатель, авторитетный... И почему ты отказался?

– Несподручно мне как-то, – уклончиво, но с язвинкой в голосе ответил Лепихин. – К тому же в свое время я уже возглавлял писательскую организацию...

– Так то было другое время.

– И мы были друзьями, – как бы посожалев об этом, Лепихин вдруг спохватился: – Ну, ладно, заговорил я тебя! – И круто повернул: – Ты мне лучше скажи: с Дашей давно разговаривал, как она... все еще в экспедиции или вернулась?

– Даша уже в Пекине. Мы с ней вчера разговаривали, – легко переключился Андрей на новую тему. – Все нормально у Даши, полный порядок, экспедицией очень довольна. Привет тебе передает. Между прочим, она рассказала прелюбопытную историю, которая касается лично тебя...

– Меня?! – удивился Лепихин. – И каким же боком?

– Наверное, правым, – интригуяще посмеивался Андрей. – Оказывается, тебя уже знает... ну, не сказать, что вся Южная Корея, но один хорошо знакомый Даше профессор Сеульского университета, где бывала Даша не раз, позвонил ей недавно и спрашивает: а не знает ли Дарья Андреевна своего однофамильца писателя Сергея Лепихина, возможно, даже читала книги его, а может, и вовсе находится с ним в каком-нибудь близком или дальнем родстве? Даша была огорошена. «Родство самое близкое, – сказала она. – Это мой дед. Но вам-то, Кан Инук, откуда, из каких источников стало известно его имя?»

– И откуда же, из каких анналов? – спросил не менее озадаченный Лепихин. – Вроде связей каких-либо в Корее до сих пор у меня не было... Загадка!

— Да никакой тут загадки, все просто, — пояснил Андрей. — Профессор Инук в последние годы, как он сказал Даше, довольно всерьез увлекся сибирской историей, задумал написать биографические портреты особо выдающихся сибиряков, заинтересовался Ядринцевым, начал собирать материалы о нем, по крупицам выуживая из интернетовских глубин, наткнулся однажды на твой материал о Николае Михайловиче, не то статью большую, не то очерк...

— Какую статью... какой очерк, где он его раскопал?

— Вот этого я не знаю, — ответил Андрей. — Видимо, на каком-то сайте. Тебе лучше знать, где и когда публиковался твой очерк, если это важно.

— Любопытно, — уточнил Лепихин. — Но я догадываюсь. Скорее всего, это журнал «Сибирские огни», кажется, номер шестой за две тысячи четвертый год.

— Во память! — засмеялся Андрей. — Между прочим, Даша сказала: профессор Кан Инук очень тепло отзывался об этом очерке. Там, говорит, не крупички отдельные, а целый кладезь, из которого почерпнул он много больше, чем из всего прочитанного раньше...

— Даже так?! — удивился Лепихин и тут же искренне посетовал: — Жаль, не попал ему на глаза мой роман, там о Ядринцеве все гораздо глубже и полнее...

— Не горюй, — успокоил Андрей отца. — Даша об этом упредила профессора Кан Инука: есть, мол, у деда роман о Николае Михайловиче, изданный многократно и в Сибири, и в Москве, и если дед изыщет лишний экземплярчик, Даша с удовольствием подарит его уважаемому профессору... Вот такая историйка! — неожиданно и довольно весело заключил Андрей, исчерпав, как видно, все доступные новости.

Однако «историйка» эта имела продолжение. Вскоре Даша (точнее сказать, Дарья Андреевна Лепихина, старший преподаватель кафедры востоковедения, кандидат исторических наук, а ныне вполне исправный докторант Института археологии и музееведения Пекинского университета), возвращаясь из Парижа, где проходила международная научная конференция,

задержалась на несколько дней в родном сибирском Академгородке, улучив при этом пару деньков для Приобска. Здесь ждали ее самые близкие и дорогие люди – и внезапный Дашин приезд обернулся для них настоящим праздником! Собралась вместе (в кои-то времена) вся лепихинская семейка – и вопросам-расспросам, казалось, не будет конца...

Попутно вспомнили и о сеульском профессоре. И Лепихин, приобнимая внучку, сказал: «Дашенька, должок за мной! – живо поднялся, ушел в кабинет и буквально минуту спустя вернулся с книгой в руках: – Вот роман с автографом для профессора Кан Инука, мои, так сказать, самые добрые пожелания... – доверительно и несколько приподнято объявил, вручая Даше довольно плотный томик с портретом Ядринцева на обложке. И улыбнулся: – Остальное, если понадобится, добавишь от себя...»

Два дня незаметно проскочили. Укатила Даша в Новосибирск, оттуда в Пекин улетела, как будто в Приобске ее и не было... Но прошло какое-то время, волнения улеглись, будни умерили ход – и жизнь, воротясь в привычную колею, двинулась дальше своим чередом. И тут, как всегда, очень кстати приспел однажды Андрей со свеженькой новостью:

– Только что Даша звонила, – коротко доложил. – Всем большущий привет. А деду особая благодарность профессора Кан Инука за ценный подарок...

– Что, уже получен мой презент? – подивился Лепихин.

– Как штык! Даша сразу, как только вернулась в Пекин, с первой же оказией передала Инуку твой роман. Профессор звонил Даше, сказал, что очень тронут подарком. И обещал непременно прислать журнал со своей публикацией... Так что жди из Сеула отдарок! – посмеивался Андрей, подначивая отца. – Такая вот история...

Впрочем, к историйке этой Лепихин относился довольно сдержанно, хотя любопытство одолевало: что, почему и каким бейдевиндом занесло южнокорейского профессора в «дебри» сибирской истории? Вдобавок же ко всему еще и с Ядринцевым столкнуло, одним из ревностных адептов которого, без-

условно, считал себя (и был таковым!) Лепихин. Да и в скорый отдарок Инука, обремененного профессорскими заботами, не очень-то верилось — публикация дело шаткое... Но Лепихин и к этому относился спокойно, можно сказать, с большим пониманием, загодя оправдывая любую задержку и допуская даже самое крайнее — невозможность присылки обещанного журнала по каким-либо веским причинам... Словом, ко всему был готов!

Однако сомнения вышли напрасными — профессор Инук оказался человеком обязательным и слово сдержал.

Как-то Лепихин, будучи в городе, заглянул в почтовый ящик и обнаружил там довольно увесистый, но не обычный бумажный, а целлофаново-плотный, должно быть, непромокаемый (а может, и несгораемый?), аккуратный розовый пакет, с белыми полосками почтамтских наклеек. Глянул мельком на адрес обратный — и скорее не прочитал, а догадался: пакет из Сеула! Впрочем, оба адреса одинаково (сеульский и приобский) заполнены были не причудливой вязью корейского алфавита, а весьма знакомой латиницей...

Лепихин поднялся на третий этаж, в свою квартиру, быстро вскрыл пакет, достав из него аж два журнала, тютелька в тютельку, как два близнеца, неотличимых один от другого. Название — «HEART COMMUNICATION» — начертано было все той же четкой и внятной латиницей, но располагалось не привычно по горизонтали, слева направо, а черным по белому сверху вниз, как бы падая и страховочно повисая в воздухе, что прежде всего бросалось в глаза.

И сразу же опухло строгой восточной экзотикой.

Хотя, говоря правду, экзотика в этот момент меньше всего занимала Лепихина — ему интересно и любопытно было знать, как сеульский профессор Кан Инук воспринимает и понимает великого сибиряка Николая Михайловича Ядринцева, что пишет и как пишет о нем, какими красками рисует...

Но, увы, сие оказалось недоступным!

Лепихин старательно перелистал оба журнальных экземпляра, пытаясь найти следы пусть даже и не перевода под-

строчного, а на худой конец каких-либо примечаний беглых, коротеньких сносок, ничего не нашел — текст был чистый, без единой помарки... Больше того, не зная корейского языка, Лепихин впустую, как в потемках, разглядывал страницу за страницей, одну за другой публикации, разделенные изящными светло-коричневыми виньетками, но решительно не мог понять или хотя бы каким-то образом догадаться, которая из этих публикаций принадлежит профессору Кан Инуку...

«Да, брат, непроходимая чаща, прямо-таки дантовский «сумрачный лес», — растерянно усмехался Лепихин, ситуация и в самом деле создалась до смешного нелепой. Он был поглощен изучением незнакомого журнала (с довольно броским латинским названием «HEART COMMUNICATION», что скорее всего значило «Путь к сердцу»), проделавшего этот громадный путь от побережья Желтого моря до берегов могучей сибирской Оби.

Лепихин все так же упорно перелистывал страницу за страницей, беспомощно вглядываясь в непреодолимую глушь печатного корейского текста — пустое занятие! Одно теперь было ясно: без переводчика не обойтись. А где его взять, переводчика? — озаботился. И тут же сообразил: «Попрошу Андрея, пусть позондирует в приобских вузах, небось, найдутся там спецы по корейским иероглифам... Эх, жаль, Даши нет рядом!» Слегка пригорюнился, укладывая в хрустящий розовый пакет непрочитанный журнал, вскинул голову и прямо перед собой, в глубокой нише стоявшего у противоположной стены книжного шкафа, увидел фотографию Даши в деревянной рамке под стеклом. Он и до этого видел ее каждодневно, десятки и сотни раз, но сейчас посмотрел совсем иначе, как-то более пристально, что ли, словно с другого и неожиданного ракурса... Снимок был прекрасный! Да это скорее и не обычный был снимок либо фотопортрет, а самая настоящая многоцветная жанровая картинка, в центре которой, как в центре вселенной, и находилась Дарья Андреевна Лепихина. Картинка была настолько выразительной и живой, что, казалось, веяло от нее сухим и плотным жаром срединного лета...

Даша сидела на овально-массивной мраморной скамье, чуть опираясь обеими ладонями и слегка откинув голову; под ногами у нее и вокруг скамьи тускло и прямо-таки благородно отсвечивали большие квадраты двухцветных плит; сбоку и откуда-то сверху огрузло тянулись густо-зеленые хвойные лапы, а за спиной, начинаясь от узкой полоски цветистого берега, сплошь и почти при полном штиле все пространство занято было водой, водой и водой, свинцово-белесой морской гладью... Но где это конкретно, в каком районе? Возможно, Даша и говорила — однако Лепихин забыл. И силился вспомнить: кажется, в районе Циндао, близ порта, в заливе Желтого моря...

Вдруг подумалось: да-да, именно здесь, в этой точке Даша остановилась и, сама того не ведая, замкнула круг его, лепихинской, одиссеи... А где же начало? — мелькнуло вскользь. И память мгновенно вернула его на Русский остров. В ту самую, может, заглавную точку, с которой и начал Сережа Лепихин свой долгий и кружный путь...

Но причем тут Циндао и Желтое море?

Однако — причем! Хотя в ту пору, сухой и пригожей осенью 1951 года, такой вопрос и вовсе не возникал, по крайней мере, в границах Школы оружия. Ибо ни он, Сережа Лепихин, зеленый курсантик этой Школы, ни его друзья-сотоварищи, будущие корабельные артэлектрики ПУС (приборов управления стрельбой), и знать не знали о том, что на побережьях Желтого моря, где-то за 38-й параллелью, не так уж и далеко от китайского Циндао, идет жесточайшая кровопролитная война. Никто курсантов об этом не оповещал, а им по незнанию чудилось, что небо над всей планетой такое же спокойно-ясное и чистое, как и над Русским островом... И даже самая любимая песенка «оружейников» (казалось, и вовсе не строевая) звучала тут чаще других и с каким-то особо подчеркнутым пафосом:

Трубка-трубочка ленинградская,

Вьется голубой дымок...

Никогда свою юность моряцкую,

Милый друг, позабыть я не мог.

А война между тем шла уже больше года. Но Лепихин узнает о ней гораздо позже. Узнает и ужаснется одному только факту: за три года «освободительной» бойни на Корейском полуострове американцы потеряли более 3 тысяч (!) самолетов и около 40 тысяч человек. Последняя цифра не сравнима, конечно, с корейско-китайскими потерями — там счет шел не на тысячи, а на миллионы погибших...

Впрочем, американцев, как видно, это не шибко-то занимало, их отродясь не трогали чужие потери, они лишь свои «убытки» умеют считать — такая уж психология янки, если хотите, закваска та еще, ковбойская, которая, увы, и по сию пору, в XXI веке, дает о себе знать... Так думал Лепихин, аккуратно укладывая поверх стопки прочитанных газет только что полученную из Сеула бандероль с непрочитанным еще журналом «Путь к сердцу»... «Интересно, а что думает об этой войне профессор Кан Инук, как он ее понимает и оценивает сегодня, именно сейчас, более полувека спустя после тех страшных событий? И почему, наконец, каким образом подкупила и увлекла сеульского профессора наша сибирская история? — прямо-таки бились, пульсировали, как метроном, где-то под коркой жгучие мысли. — Ах, как быстро летит время! — вздохнул и даже прижмурился Лепихин. — Как быстро и неостановимо...»

Осенние дни таяли на глазах, становясь все короче и торопливее. Не успеешь оглянуться — уже темнеет. Однако этот день, будто непомерно растянувшись, оказался щедрым на события. Утром, как всегда, около или чуть позже девяти позвонил Андрей — и почти с хода зацепил:

— Привет вам из Владивостока! — но тут же, не дав и удивиться, выложил: — Только что с Дашей разговаривал. Она уже три дня как в Приморье. Съехались историки, археологи, востоковеды из разных стран. Конференция проходит в университетском городке на Русском острове. Слышишь, на Русском! — повторил с нажимом, как бы пытаясь расшевелить отца. — Даша говорит, что потихонечку волновалась, когда впервые ступила на берег острова, где когда-то давно размещалась Школа оружия... Чувство непередаваемое! Знаю, говорит, что дед начинал

добавил, как видно, для пущей остротки, все так же посмеиваясь. — А известили загодя — почти неделя в запасе! Ну, что ж, будем готовиться и порох держать сухим...

— Ты шибко-то не бодрись, побереги порох, — чуть насмешливо упредила Ирина. — Продумай лучше, что будешь говорить в суде.

— А что мне продумывать?! — вскинулся он с неким вызовом. — Мое дело правое — и говорить буду я правду и только правду. Это и есть главный наш козырь. А теперь представь себе, — как бы между прочим пробежал курсором до «Файла», открыл его, поставил свеженабранный текст на «сохранность», поднялся из-за стола и, глянув на жену, повторил мягче, — вот и представь себе, что на этом суде будет говорить наш заклятый сосед Федор Хмырев. Какие аргументы он выложит?

— Да уж я представляю, какую ахинею он будет нести, — покивала Ирина. — Врать будет напрапалую! Изворачиваться и снова напрапалую врать... Но ведь ложь — это тоже козырь?

— Фальшивый, — подумав, сказал Лепихин. — Однако все так и будет: Правда и Ложь — лицом к лицу! На то и Суд назначен...

После обеда, скучающе послонявшись, Лепихин вдруг спохватился: сегодня ж среда... газетный день! Живо собрался и, кинув на ходу: «Я за газетами», вышел из дома. Вот уже много лет кряду он аккуратно, по средам, покупал в одном и том же киоске «Роспечать» неизменно два еженедельника («Литгазета» и «Аргументы и факты»), изрядно за это время примелькался, можно сказать, стал узнаваемым и, видимо, в знак своего постоянства имел кой-какие поблажки — во всяком случае, газеты для него непременно откладывали и хранили даже тогда, когда Лепихин по тем или иным причинам не мог их вовремя взять...

Сегодня же все шло исправно. Лепихин едва появился, еще и слова сказать не успел, как милая киоскерша, тоже ни слова не говоря, мигом достала из-под прилавка и положила перед ним нужные номера «толстухек» — осталось лишь рассчитать, поблагодарить за столь чуткую услугу и попрощаться до

следующей среды. И вся процедура эта, как некий сдержанно-строгий святой ритуал, занимала не больше минуты, но тепло в душе хранилось дольше...

Лепихин, свернув газеты рулончиком, двинулся не спеша вниз по проспекту Молодежному. Было свежо и безветрено. Листопад завершал осеннюю круговерть, лениво роняя на тротуар темно-желтые округлые кляксы. Стараясь не наступать на них, Лепихин пересек улицу Пушкина, чуть погода приблизился к улице Гоголя и неожиданно подумал о том, открыл для себя, что впереди еще будут одна за другой улицы Некрасова, Тургенева, Толстого, Короленко, Ядринцева, Шукшина... А если пройтись по всему городу? Ау! – взбодрил он себя, понимая, однако, что такой обход физически невозможен. Список «писательских» улиц Приобска неохватно велик – вся классика налицо! – изумился Лепихин и даже умерил шаг, будто отдавая честь своим великим предшественникам. А ведь такая картина не только в Приобске, но и по всей России не сыскать города, где не было бы «писательских» улиц... – Так это ж здорово! – ликовала душа Лепихина. – Значит, Россия помнит и ценит свою великую литературу... И вдруг как бы споткнулся обо что-то внутри, не то сильно поколебавшись и усомнившись в чем-то, не то кто-то другой, незримо шедший рядом, довольно отчетливо и едко спросил: «Помнит и ценит, говоришь? Отчего же тогда, скажи мне как на духу, российский писатель сегодня лишен своей профессии? Изгнан и вычеркнут напрочь из всех государственных реестров! Как будто и нет больше у нас на Руси такой профессии – писатель... Или писателя нашего не касается законное «право на труд»? Это как прикажете понимать?» – разом выпалил и умолк выжидательно. Молчал и Лепихин, чувствуя сбоку дыхание неуступчиво-жесткого своего «напарника», наконец, тихо и внятно сказал: «Писателям не только сегодня, но и во все времена нелегко жилось...» Что было безусловною правдой.

И вдруг замер на полушаге, уткнувшись глазами в табличку с необычным, а кому-то, наверное, и вовсе непонятным названием улицы – не по фамилии своего носителя, как принято

(Гоголь, скажем, Короленко или Шукшин), а всего лишь по имени — Анатолий.

Впрочем, не это остановило Лепихина. Он давно и хорошо знал историю улицы Анатолия, названную столь хитроумно — не по имени даже, а по кличке партийно-подпольной известного приобского большевика Матвея Ивановича Ворожцова; на этой улице, так странно поименованной, в угловом доме, который одной стороной выходил на проспект Ленина, а другой на улицу Анатолия, Лепихин прожил семнадцать лет... И тут же, на этой улице, неподалеку, рукой подать, в довольно просторном, старинного пошиба двухэтажном особняке многие годы вольготно размещался Дом литераторов... Казалось, все тут держалось прочно и неколебимо! И вдруг совсем недавно (да не так уж и вдруг) бревенчатый этот дом, добротнo обшитый изнутри и снаружи рифленой сосновой рейкой, с резными оконными наличниками и прямо-таки игрушечно-аккуратным балконом, живо и весело взиравшим на улицу Анатолия, был продан, что называется, с молотка — и теперь бывший писательский особняк занимал хоспис, да-да, именно х о с п и с.

Вот что остановило Лепихина! Он тотчас, едва уткнувшись в название улицы, подумал об этом и потерянно замер на какой-то миг, но тут же вскинулся и понял: надо увидеть и убедиться, воочию все увидеть! И больше уже не колебался. Решительно повернул и зашагал по улице Анатолия в сторону так называемого Старого центра, где, казалось, все было хожено-исхожено и знакомо до мелочей...

Хотя никакие мелочи в этот момент Лепихина не занимали. Он был предельно собран, весь в себе, и сосредоточен на одной только мысли: «Надо самому все увидеть!» И вскоре достиг цели. Дом стоял на том же месте, вроде и тот, каким его знал Лепихин, и в то же время уже не тот, с какой-то отчужденной, но неуловимой пока переменной...

Лепихин убавил шаг, чтобы получше разглядеть еще недавнюю писательскую обитель, задержал взгляд на резном козырьке над входной дверью, повыше которого искусно вырубленными буквами, дерево по дереву, броско и с давних пор

значилось — Дом литераторов. Теперь было пусто. Все убрано, аккуратно зашито таким же деревом, без единой прорехи, как будто ничего другого никогда здесь и не было.

«Ну, вот и перемены налицо! — пригорюнился Лепихин. — Значит, должна быть другая вывеска...» Поискал глазами на фронтоне. Никаких следов. «Странно, — удивился он крайне, но тут же и осенило его: — Видимо, хосписы не принято разглашать вывесками?» И вдруг, уже минуя крыльцо, слева от входной двери на стене, в самом что ни на есть потаенном углу, обнаружил небольшой накладной квадратик с неким текстом, будто подальше спрятанным от чужих глаз, приостановился и внимательно прочитал: «Некоммерческий благотворительный фонд «Светодар». Буковки дробные, мелковатые, надпись неброская... «Скорее для отчета, чем для наглядности», — догадался Лепихин. Однако в душе отлегло, и он с неожиданной теплотой подумал о вовсе ему незнакомых людях, сумевших так деликатно и ненавязчиво обойти пугающе безнадежное, ледяное слово-понятие — хоспис, создав благотворительный фонд «Светодар», что само за себя говорило: дарение тепла и света... свето-дар.

Лепихин был тронут. «Ну, что ж, — подумал он, как бы найдя некую подспудную связь, и мысленно уточнил, — благотвори-тельный дух, доброта и гуманность во все времена отличали и нашу российскую литературу», — и тотчас незримо шедший рядом «напарник», «двойник» ли незванный, вмешался и едко, почти с не скрытой издевкой спросил: «Выходит, брат мой, смирился ты со всем, что происходит здесь, на твоих глазах, та-кой немислимый предел?»

Лепихин прибавил шагу, будто спеша уклониться от словесных уколов беспардонного своего «двойника»; затем обернулся, чтобы взглянуть еще раз на бывший писательский дом — и ошарашенно замер, не узнав левосторонней и самой глухой его стены, снаружи которой (видать, совсем недавно) пристроена была на второй этаж довольно широкая деревянная лестница, похожая на подвесной корабельный трап. «Ба! А это еще зачем?» — изумился Лепихин, разглядывая странное сооруже-

ние. Но так и не понял, не разгадал его назначения... Однако успокоил себя: коли построили — значит, так надо...

И тут же «двойник» его неусыпный опять подал голос, ехидно спросив: «Ну что, брат, утешился? И куда ж податься теперь бедному нашему писателю?» — заунывно-певуче растягивал каждое слово, точно пиликаая на губной гармошке. «А куда ж денется ваш писатель, если он действительно п и с а т е л ь? Будет жить и работать, — ответил в тон ему Лепихин, чуть помешкал и добавил: — И запомни, друг мой, литература никогда не иссякнет и не умрет. Никогда! Покуда вертится наш земной шарик... Вот это запомни и заруби себе на носу!»

И, кажется, впервые бесшабашно въедливый и языкастый лепихинский «двойник» промолчал, ни единого слова не пророчив, будто и не было его рядом... А может, и не было.

Возвращался Лепихин путем кратчайшим, давно знакомым и многократно хоженным — некими хитрыми проулками, закоулками, двумя проходными дворами и напрямиком на главный проспект, тютелька в тютельку между политехническим институтом и Никольским храмом. Здесь он, шибко не задерживаясь, круто свернул в довольно просторную и густую аллею, уходившую наискосок, строго по диагонали, к обширной институтской ограде, в центре которой, в ореоле обезлиственнопорезанных осенних тополей, хорошо выделялся памятник великому русскому теплотехнику Ивану Ивановичу Ползунову, чье имя и носил нынешний Политех. Лепихин засмотрелся, а когда повернул голову — слегка опешил, увидев шедшего встречу по той же дорожке знакомого священника; он узнал его сразу, хотя и не виделись они давненько... Да и то давнее их знакомство, говоря правду, было весьма случайным, не шапочным, а скорее... казенным — так вышло. Оба они, лица известные в Приобске, настоятель Никольского и Знаменского храмов протоиерей Матвей Горбунов и писатель Сергей Лепихин, враз были включены в состав краевой комиссии по вопросам помилования. Там и увиделись впервые, сблизились по работе, совместно решая вопросы сложные, подчас головоломные,

можно сказать, душеспасительные... И Лепихин помнит – мнения их почти никогда не расходились. Однако и служебные их отношения, спокойно-уважительные и ровные, увы, за это время не углубились и не разрослись в нечто более личное и доверительное, видимо, для такого роста недоставало неких внутренних корешков; так и замкнулись они в узких рамках сугубо казенных общений... А спустя два года комиссия обновилась, они так же спокойно и незаметно разошлись. Что ж, всему свое время...

И вдруг – нате вам! – совсем нечаянно и секунда в секунду оказались на одной дорожке, встречные-поперечные, идут и улыбаются, узнав кто есть кто еще издалека.

– О-о, сколько зим, сколько лет! – чуточку растерянно и заученно произнес Лепихин, когда они сблизились и остановились в полушаге друг от друга, на секунду замешкавшись (соображая, наверное, какой же церемониал в данном случае более уместен), и тут же, не скупясь, обменялись крепким рукопожатием, чисто по-светски, если хотите, по-русски, этак русскопожатно...

– Ну, вот, вознаградил нас Господь негаданной этой встречей, – замедленно тихим и низким голосом заговорил протоиерей Горбунов.

– И я, Матвей Семенович, безмерно этому рад! – живо отозвался Лепихин. И тотчас, на всякий случай, шутливо повинился: – Простите, отец Матвей, за сию вольность.

– Ну, сия вольность, Сергей Леонидович, допускается невозбранно, – посмеивался умнейший протоиерей.

Слово за слово и они как-то незаметно освободились от первичной скованности, заговорив легко и просто, без всяких яких, что называется. И Лепихин, как бы между прочим, попутно обронил, мол, только что попрощался с бывшим Домом литераторов, а посему отныне приобских писателей, которые есть еще живые, можно смело переводить в статус бомжей, горько и зло пошутил. Однако отец Матвей принял это не как шутку, а более чем всерьез:

– Жаль, очень жаль, – сказал он все тем же глуховато-

низким, но твердым голосом. — Неужто иного пути не нашлось?

— Теперь уже поздно, — вздохнул безнадежно Лепихин, — ничего не поправишь. Все решено!

— Решено, говорите? — удивленно и остро глянул на него из-под круглых роговых очков протоиерей Матвей Горбунов, густобородый, как всегда и во всем (в каждом жесте и слове своем) опрятный; хотя, казалось, опрятность его и вовсе не с бороды начиналась, аккуратно прибранный и как бы оттеняющей благородство лица, и даже не с подчеркнуто «иерархической» и ладно сидящей на нем бархатной рясы, а где-то в нем самом, в тайниках души зарождалась. — Так вы боитесь, что ничего уже не поправить? — переспросил он, помедлив. И вдруг воспрянул: — Сергей Леонидович, а помните, как будучи членами комиссии по вопросам помилования, отстояли мы однажды свою позицию, переубедив самого президента страны... Само-го президента! — повторил назидательно. — А ведь ситуация тоже казалась тупиковой. Неужто забыли?

— Ну, такое забыть нельзя, случай редчайший. Мне и сегодня он кажется невероятным, — признался Лепихин. И улыбнулся: — А справедливость тогда все же взяла верх!

— Благодаря соборным нашим усилиям, — мягко добавил протоиерей Матвей Горбунов, что было истинной правдой.

История же эта и в самом деле выбивалась из ряда вон. Представьте себе: парню по имени Вадим С. чуть за двадцать, до ареста учился он в лесотехническом не то колледже, не то техникуме и осужден был на семь лет по довольно суровой статье — «грабеж с применением насилия».

Грабеж?! Это как же его угораздило (увы, так и не состоявшегося лесотехника, а может, и главного лесничего), земную жизнь свою не пройдя и до половины, оказаться в столь сумрачных и непроходимых лесных дебрях? А когда докопались до сути, ахнули и удивились еще больше: наказание, что называется, не лезло ни в какие ворота! Об этом и сам факт «грабежа» говорил. Вадим С. в тот злополучный зимний вечер, будучи в легком подпитии (после именин у друга-сокурсника), возвращался в свое общежитие и где-то на полпути неожиданно

встретил еще одного будущего лесника, правда, курсом помладше и почти незнакомого, иногда лишь при встречах кивали друг другу и проходили, не останавливаясь. Однако на этот раз Вадим был навеселе и шел прямо навстречу юному леснику, лоб в лоб, словно целясь взять его на abordаж: «О, кореш! — ухватил парня за плечи, потом за воротник и, как родного и долгожданного, рывком притянул его к себе, готов расцеловать: — Ах, какой ты молодец! Вовремя здесь оказался. Теперь вся надежда на тебя. Выручай! Ссуди малость... для сугрева, — и тут же другой вариант предложил: — Или давай завернем в кафешку, тут рядом, минутное дело, примем по чарочке и разбежимся, как в море корабли... Ну! Чего затих?» Парень сказал, что денег у него нет. «Как нет... совсем нет, что ли?» — изумился и не поверил Вадим. «Мелочь какая-то», — сказал парень. «Врешь, небось? Ты же вроде не из бедненьких...» — Парень молчал. И Вадим вдруг взорвался: «Мелочь, говоришь? А ну выворачивай карманы!» Позже в своих показаниях Вадим С. признавался, что потерял в тот момент контроль над собой, надо было одуматься и вовремя остановиться, а он не смог, будто какой-то бзик взвырал в нем, некий кураж обуял... да и хмель из головы не весь еще выветрился. Они стояли друг против друга, как два петуха, маленький и большой, парень был на полголовы ниже и явно слабее более взрослого «кореша», потому, наверное, и не противился особо; да и не врал он вовсе, когда говорил о какой-то мелочи в карманах — действительно так и было. «Ну, я пошел», — сказал парень, когда, казалось, все уже выяснили и никаких вопросов больше не осталось. «Проваливай! — мотнул головой Вадим. И вдруг после некой заминки, словно чем-то задетый, круто повернул: — Нет, постой-ка, братец! А что это в руках у тебя?» — «Перчатки», — приостановился парень. «Лайковые, небось?» — «Замшевые». — «О-о! — насмешливо и чуть нараспев произнес Вадим. — А ну-ка дай посмотрю, — забрал из рук парня одну перчатку (мягкая, на меху), померил: — Годится! А ну-тко, дай другую... В самый раз! Что ж, будем носить замшевые...» — объявил коротко. «Ты шутишь, наверно?» — протестующе удивился парень. «Нет, братец, не шучу, а конфискую, — издевательски

весело сказал. И не менее издевательски посоветовал: — А ты купи себе лайковые. Бывай!» Об этом Вадим С. в своих признательных показаниях раскаянно поведал. Однако история эта завершилась для него печально: семь лет с отбыванием срока наказания в колонии общего режима... Семь лет!

Половину срока он уже отбыл и теперь с полным правом мог просить о помиловании. Лепихин помнит — никого из одиннадцати членов краевой комиссии прошение Вадима С. не оставило равнодушным. Хотя все понимали: поступок его (безобразный и, более того, омерзительно хулиганский) заслуживал безусловного осуждения. Но столь суровый судебный вердикт не укладывался в голове...

Разбор и оценка судебных решений в обязанности комиссии по вопросам помилования не входили, задача комиссии была другая — внимательно изучать дела претендующих на помилование и решать, исходя из этого, чье прошение поддержать, а кому-то и отказать в просьбе. Вот в этих рамках и шла работа. Бывали тут дела спорные, случались и разногласия всевозможные. Однако прошение Вадима С. ни у кого даже самых малых сомнений не вызывало — и, как помнится, все одиннадцать членов комиссии бесспорно его поддержали. Уверены были — двух мнений тут быть не может! Но, кажется, просчитались.

Москва в этот раз долго молчала. Видно, дел невпроворот накопилось, вот и зарылись в них сотрудники и члены Центральной комиссии по вопросам помилования, куда стекались эти дела из всех регионов громадной России.

Здесь же, в комиссии при президенте страны, дела эти вновь штудировали, тщательно отбирали, будто сквозь частое сито просеивая, и не без понятного трепета передавали на подпись самому В. В. П. — ему-то, президенту страны, и надлежало в этой длинной цепочке принять окончательное решение.

Наконец-то и Приобск получил из центра исчерпывающее короткое и сухое уведомление: мол, будьте спокойны, все ваши прошения президентом подписаны, кроме лишь одного — и называют, ничтоже сумняшеся, прошение Вадима С., которое все одиннадцать членов приобской комиссии решительно поддер-

жали и стояли за него, что называется, горой. И вдруг — нате вам! Президент наложил вето. Как?! Почему? Там же все ясно и видно насквозь, не надо и в лупу заглядывать — возмущенно доискивались. Почему президент не подписал? Непонятно!

И тут, как всегда, уместно и вовремя подал голос протоиерей Матвей Горбунов, привычно спокойный и сдержанный, сидевший как раз напротив Лепихина: «Знаете, а мне все понятно», — сказал он ровным и густым баском. И все разом на него посмотрели. «Понятно? Так почему же президент не подписал?» — кажется, никто вслух и не спрашивал об этом, вопрос в самом воздухе витал. «Да потому и не подписал, что прошения этого, как мне кажется, президент и в глаза не видел», — неспешно и твердо сказал отец Матвей, словно заранее знал разгадку. Как не видел?! Неужто проглядел? А может, нечаянно вкралась ошибка либо по чьей-то другой вине случился этот прокол? И что теперь делать? Смириться с этим? Ничуть не бывало!

Лепихин не помнит (да и не столь это важно), кто первым предложил довольно простой, но спасительный выход: повторно и немедленно отправить на имя президента прошение Вадима С. Парня надо защитить. Он и без того наказан чрезмерно! Идею тотчас подхватили и без раскачки все как положено сделали. И в тот же день депеша-молния улетела в Москву. Однако сомнения все же остались. А вдруг? Мало ли что может случиться — таких дел там уйма, запутаются в бумагах, затянут время либо и вовсе замнут ненароком, а там ищи-свищи... Вот чего опасались. И зря!

Москвичи на этот раз не подкачали, все четко и ладно работали — и месяца не прошло, как сибиряков известили: «Ваше повторное прошение получено, рассмотрено и подписано Президентом. Поздравляем!»

Историйка эта вмиг ожила и пронеслась в памяти Лепихина.

— Да, вы правы, — сказал он, вскинув голову и выразительно посмотрев на стоявшего рядом протоиерея. — Тогда мы и впрямь переубедили президента... Мне тот случай и посейчас кажется чудом.

— Отчасти, наверное, так и есть, — согласился отец Матвей. — Только ведь чудо-то сопряжено было с живым делом, а мы

оказались правы в своей неуступчивости, вот потому умный президент и поддержал наше решение. Похвальный шаг, — добавил раздумчиво. — И наглядный урок для всех нас: не отстаивайся на полпути, если хочешь добиться правды!

— Вот-вот, — оживился Лепихин, будто все это разом при- меряя на себя, — надеюсь, урок этот и мне поможет отстоять правоту... — оговорился случайно, заметил вопрос во взгляде отца Матвея, секунду поколебался и вдруг решил открыться, как на духу, поведав эту (сугубо личную, с одной стороны, до смешного забавную, а с другой стороны, увы, далеко не смехотворную) «банную» историю — с чего начиналась она и почему судом завершается...

— И пришло мне тогда в голову: а может, с этой вот вызывающе наглой и неприкрытой лжи моего соседа и начинаются, как с малого ручейка, все нынешние потоки прямо-таки неудержимого вселенского вранья, отравляюще грязного и разрушительного? Ложь обратили в самое страшное и бесчеловечное оружие XXI века! Опаснее, пожалуй, всех ядерных боеголовок. Мир обезумел и, кажется, вот-вот рухнет, разлетится вдребезги... Куда же дальше-то двигаться! Может, вы, отец Матвей, подскажете?

— Боюсь, что моей тут подсказки мало, — задумчиво и все с той же деликатной сдержанностью ответил протоиерей Матвей Горбунов. — Однако, надеюсь, мир наш все-таки устоит. А что до лжи, Сергей Леонидович, так ведь ложь не вчера и не сегодня родилась. Об этом тяжком грехе еще в дремуче-давние времена апостол Иаков упреждал: «Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое, — говорил он. — Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Вот истина — и как будто сегодня изречена. Не находите, Сергей Леонидович?

— Нахожу... нахожу, безусловно! — легко и живо согласился Лепихин. — Проникновенные, умные и справедливые слова. Но все-таки апостол Иаков, как мне кажется, имел в виду мирские плоды лжи и правды, к тому же разделяют нас не сотни, а тысячи лет... Поправьте меня, если я не точен. Но давайте посмо-

трим правде в глаза: что творится нынче вокруг той же крымской проблемы!

— А что творится? — как бы удивился и мягко возразил отец Матвей. — Крым справедливо вернулся в свое историческое лоно — и нет тут никакого греха. Разве это не плод правды, посеянный теми, которые хранят мир...

— Да! Но сколько помойной грязи по этому поводу вылито и продолжает литься на Россию с разных сторон?! — напомнил Лепихин. — И никаких рамок для нынешних лгунов, так называемой мировой элиты, уже не существует. Все осталось за пределами общечеловеческих норм. Великие мировые мухлевщики продолжают свою работу...

— Выходит, на старых ошибках не только учатся, но и по-разному их толкуют?

— Более чем по-разному, — кивнул согласно Лепихин. — И не просто толкуют, но грубо используют под лживой маской борьбы за некие высокие западные ценности... А где они, эти ценности, кто их видел в лицо? Покажите! — чуть помешкал, как бы обдумывая что-то, и сказал с усмешкой: — Мне тут фактик один припомнился, исторический, между прочим, как утверждается. Думаю, вам, отец Матвей, он тоже известен. Как Уинстон Черчилль, самый яростный и многолетний противник советской державы, отмечал свое девяностолетие в британском парламенте. Там ему в знак благодарности наговорили кучу всяких дифирамбов, но к особым заслугам отнесли неоченимый вклад его в последовательную и упорную борьбу с ненавистной российской системой... Черчилль не отрицал своего вклада. Однако, поколебавшись, сказал, что есть человек, который внес куда как больший вклад в разрушение российского государства — это Никита Хрущев. Вот ему, господа, и давайте похлопаем, предложил старый лис, явно посмеиваясь. И британский парламент дружно и весело аплодировал в тот памятный вечер Хрущеву. Случилось это в конце 1964 года, когда Никита Сергеевич уже два месяца пребывал на заслуженном отдыхе...

— Отдадим им должное, — не без горькой иронии сказал отец Матвей. — Они ж потом, когда пришло время, наши западные

радетели под тою же лисьей маской и так же бурно и весело аплодировали Михаилу Сергеевичу и особенно Борису Николаевичу, который окончательно и безоглядно довершил развал великого государства...

— Великого? — переспросил Лепихин, как бы усомнившись в этом, и тут же подтвердил: — Да-да, вы правы, аплодировали, ах, как старательно, прямо из кожи вон! А что потом? — едко сощурился и сказал жестко: — А потом, когда увидели, что Россия не токмо выстояла и сохранила себя, но и окрепла уж очень, прямо у всех на глазах обрела силу, аплодисментики эти враз поутихли и вовсе сошли на нет, как обветшалое и непригодное оружие... И теперь они, наши извечные «благодетели», спешно и твердо вооружились Ложью, откровенно грубой и разрушительной, когда все черное выдается за белое, а чистое и светлое мешается с грязью... Мутят воды повсюду. Тут уж не до аплодисментиков! Историю торопятся перелицевать, что выходит за рамки всякой морали. Постыдно и не секрет, но сегодня уже открыто говорят о пересмотре решений Нюрнбергского процесса... Да-да, именно так! А в это время в центре самой Европы, откуда и начинался осужденный Нюрнбергом фашизм, то там, то здесь, а то и вовсе рядышком, у нас под боком, нетрудно увидеть колонны свободно и нагло марширующих бандеровцев, нацистов, молодчиков с той же фашисткой свастикой... Куда же дальше-то двигаться? XXI век! И ложь... ложь превратили в изуверски нещадное, варварское оружие. Как прикажете с этим бороться? Может, баш на баш?

— Боже упаси! — остерег отец Матвей.

— Тогда скажите мне: а многим ли сегодня известно, что тот же Нюрнбергский международный трибунал принял и утвердил закон, который пока никем не отменялся и, думаю, никогда не отменится; там черным по белому сказано: военные преступления не имеют срока давности! И что? — будто сам в себя заглянул и вспомнил: — Больше семидесяти лет прошло с тех пор, как впервые в мире атомные бомбы сброшены были не где-то в глубоко отдаленной безлюдной пустыне, а на жилые, живые и незащитные города Хиросима и Нагасаки, испепелив

их почти дотла... Мир содрогнулся, но промолчал. И никто за это, может, самое страшное и бесчеловечное преступление XX века не предстал перед судом и не понес хоть какой-то малейшей кары. Никто! Или теперь-то все позади?

Но разве сегодня, уже в XXI веке, на глазах у всего мира не то же самое творится? Под маской лжи раздавлен Ирак, растерзана Ливия, разодрана в клочья прекрасная Югославия, тут и там возникают «цветные» и вовсе бесцветные революции, перевороты, продолжаются войны, гибнут люди, десятки, сотни тысяч, миллионы людей... Кто их считает! И во имя чего они гибнут? Мир содрогается, но молчит. А ведь все исполнители и организаторы нынешних кровавых «кампаний» спокойно здравствуют, живут себе всласть и ходят по земле, не потеряв и волосинки с головы... Выходит, мир таким и остался, каким его еще двести лет назад видел Пушкин? Это же он с горечью признавался: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше...»

— Правда есть на земле, — тихо и твердо сказал отец Матвей, оспорив самого Пушкина. — Иначе земля наша давно бы рухнула. А правда и ложь, увы, извечные и непримиримые антиподы — и от этого никуда не деться. Но чем сильнее и крепче будет правда, тем больше вокруг появится добрых «сеятелей плодов ее», о чем так страстно заботился и говорил апостол Иаков. Это же старая истина, — секунду помедлил и добавил с улыбкой: — А старый конь, говорят, борозды не испортит...

— Не испортит, — как бы согласился Лепихин. — Только мне, отец Матвей, гораздо понятнее и ближе слова на эту жгучую тему, сказанные не тысячи лет назад, а совсем недавно патриархом российским Кириллом. «Не в силе Бог, а в правде», — говорил он и добавлял не без печали, что «слишком силен сейчас информационный поток, но мы сумеем его одолеть». Во всяком случае, будем надеяться, — кивнул машинально Лепихин, мельком глянул на часы и вдруг спохватился: — Простите, кажется, я вас утомил и задержал излишне своими монологами...

— Нет-нет, — протестно опередил его отец Матвей, — мне было очень интересно! Такие встречи, батенька, редкий дар, и я благодарен Богу. Ну, Сергей Леонидович, всяческих вам

благ и успехов, — они чуть поколебались и приобнялись, трижды коснувшись друг друга щеками. — Да храни вас Господь! — совсем тихо, но душевно сказал протоиерей Матвей Горбунов, поправляя на груди серебряную цепочку с небольшой иконкой, обрамленной драгоценными камушками, и зашагал, прямой и ладный, в сторону Никольского храма.

Сергей проводил его взглядом, ожидая, что протоиерей оглянется и они помашут друг другу руками; но отец Матвей так ни разу и не обернулся. И Лепихин, сугубо светский и невоцерковленный человек, глядя ему вослед, мысленно и так же душевно пожелал: «Да храни вас Господь, отец Матвей!» И тоже двинулся своим путем. Под ногами ломко и сухо шуршала опавшая с тополей и берез листва — был тихий осенний час.

Лепихин ступил, наконец, на свою улицу, пересекавшую главный проспект и напрямик уходившую к невидной отсюда Обской набережной. И вдруг его осенило: а многие ли годы из череды прошлых лет мог он вспомнить отчетливо и запросто, навскидку, что называется, коснулся того или иного времени — и все перед тобой как на ладони? Оказалось, нет, очень немногие, крайне редкие годы, может быть, единичные... Да и те как-то смутно, затерто и обрывочно, будто некие туманные сновидения. Увы, память — хитрое и безжалостное решето, все нещадно перетряхивает и провеивает, сохраняя лишь самую жалкую малость...

Однако 1963 год, на удивление, помнился ясно и целиком, время как бы и вовсе не тронуло его, словно не полвека назад, а не далее как вчера все это свершилось. Но почему именно 63-й год? Это сегодня Лепихин понимал: год был... поворотным! И не только для него, Сергея Лепихина, собкора в то время сверхпопулярной «Комсомольской правды», но и для всей страны. Да, именно так: для всей страны! Начинался же тот год трескучими морозами. Весна выдалась затяжной. А лето случилось сверхжарким...

И события в лето 1963 года рождались немаловажные.

Помнится, однажды ночью позвонили из Москвы — редакция упреждала: завтра где-то в районе вашего края, близ казах-

станской границы, приземляется Чайка... да, Валентина Терешкова. Все остальное, старик, решай сам.

А что тут решать – все ясно! Наутро, чуть свет, обратали соборовского «Москвича» и рванули, помчались на всех парах в довольно отдаленный район, к месту посадки Чайки... И все же как ни спешили, как ни гнали своего «рысака», Валентину Терешкову, увы, не застали. Кто-то сказал, что спасатели вместе с нею буквально минут пятнадцать назад улетели на Байконур. Можно представить себе в тот миг состояние Лепихина... Всего лишь пятнадцать минут! Ах, какая обида... Но космический корабль «Восток-6» уныло и скособоченно, как показалось (отнюдь не геройски!), стоял еще на месте приземления, и Лепихин, заглянув внутрь, невольно представил себе, как бы он тут разместился – впечатление осталось двоякое: невероятная теснота, этакая одиночная камера... И в этой вот плотно задраенной камере, один на один с неведомо бесконечным космическим пространством, почти трое суток жила и работала первая в мире женщина-космонавт, вчерашняя ткачиха и планеристка, двадцатишестилетняя Валя Терешкова – это казалось выше всякого героизма... Гораздо выше!

Подобревшие стражи-распорядители вручили Лепихину, будто приз за старание, довольно приличный шматок поролоновой корабельной обшивки; потом Сергей столь же щедро и от души будет отрезать от него кусочки и дарить друзьям и знакомым, пока не останется от космического шматка лишь малый квадратик. Но это потом, а сегодня...

Стояла изнурительная июльская жара 1963 года.

Отсюда, с пустынного «космодрома», и тронулись они восвояси, что называется, несолоно хлебавши, но не прямым обратным путем, а сделав хороший крюк, решили забежать в Кулунду, как бы тем самым оправдывая, увы, незадавшуюся встречу с космической героиней. Лепихин, чувствуя в том и свою вину (и как бы в отместку себе), пошутил неловко: ну, мол, не повезло с космосом – вернемся на грешную землю...

Однако самая жуткая невезуха в этот день поджидала их именно здесь, на земле целинной. Они уже подъезжали к Кулунде, оставалось километров десять, не больше, и вдруг заметили впереди — что-то зловеще клубилось над окоёмом и буквально у них на глазах разрасталось, ширилось, превращаясь из пепельно-серой бесформенной массы в аспидно-темную живую громаду, которая оторвалась, наконец, от горизонта и черной тучей двинулась прямо на них...

Над головой тихо задребезжало и загудело. И тут же немедленно ударил ветер, машину слегка подбросило и затрясло, как на кочках, по стеклам будто сухим горохом хлестануло, разом все вокруг помутилось и потемнело. И сильно запахло пылью — дышать стало нечем. Шофер убавил скорость и включил ближний свет...

Так и явились они в Кулунду, насквозь пропыленные, донельзя чумазые и помятые, словно только что вырвались из некоей немисливо дьявольской преисподней. Слава богу, живые! Заехали напрямик в райком комсомола, там и отмылись, машину почистили, привели себя в порядок. Шутили: прямо из космоса — и на землю свалились! Сергей поговорил с первым секретарем. Но тогда еще неизвестен был истинный размах этой неистовой пыльной бури и того, какой урон нанесла она кулундинской степи, героически распаханной и засеянной в свое время «от крыльца райкома и вплоть до горизонта», никто не знал толком... А результат оказался страшным. Все посева, буквально все подчистую погигли! Кулундинские пашни лежали мертво, бугрясь бесконечными пепельно-серыми пустынными барханами, весь плодородный слой содрало, счистило, как наждаком, и разнесло по воздуху... Ищи свищи!

Пришлось в ту же осень почти четверть миллиона целинных земель признать непригодными и вывести из разряда пашни — ни хлеба тебе и ни травы! Урон был убийственный. А ведь Кулунда в переводе на русский — жеребенок в траве... И где он теперь, этот жеребенок? — вздыхали горько, подспудно чувствуя и свою в том вину. Тогда-то и довелось Лепихину увидеть, как главный агроном Кулундинского райземотдела,

мужик средних лет, суровый и крепкий, стоял на краю громадного мертвого поля и плакал, не скрывая слез... Потом вдруг вскинул голову, будто очнувшись, и, посмотрев на Сергея, сказал тихо, но твердо: «Это мы сами виноваты... Своей бездумной распашкой пустили землю на ветер... Нам самим и восстанавливать ее, исправлять свои ошибки...»

Вот с этих слез агронома и с этих его слов и начал свой «пыльный» репортаж Сергей Лепихин, писал по горячим следам, можно сказать, с места событий, скорее даже не репортаж, а жгучий памфлет о потерянных, унесенных ветром кулундинских землях — и вопрос тут стоял ребром: только ли буря в этом повинна? Агроном и себя винил...

Однако репортаж не прошел. Да Сергея и не удивило, он это предвидел — тогда о целине, донельзя героизированной (не меньше космоса), писать и говорить надлежало только в тонах превосходных. Иное верхи не принимали, а Никита Сергеевич и знать не желал...

Это потом, гораздо позже, будучи уже на заслуженном отдыхе, обмяк и разоткровенничался в своих мемуарах. «Когда мы уже распахали большое количество гектаров целины, в Казахстане случились страшные пыльные бури, — писал он, имея в виду то жаркое ураганное лето, которое не минуло и Кулунды. — Поднимались в воздух тучи земли, почва выветривалась...» — задним числом горевал. Да-да! Казахстан гораздо раньше Кулунды нахлебался пыльных бурь. Оттуда они, эти жуткие смерчи, и прикатили в Приобье. «С вводом целинных земель под посевы, — решил, наверное, Никита Сергеевич, до конца приоткрыть завесу, — мы создали большие возможности заготовки хлеба и все-таки желанного изобилия не добились... — Подумал, покумекал малость и, что называется, подбил бабки, окончательно расставаясь с былыми иллюзиями: — Не получился у нас и выход на международный рынок». При этом тяжело, должно быть, вздохнул и поставил точку.

«Вот так, старичок, и сгорели твои репортажи! — ехидно посмеивался над собой Лепихин, вспоминая то буйное сверхжаркое лето 1963 года, когда, казалось, все горело и валилось

из рук... Однако именно тогда, в тот «бедственный» час, у него вдруг (и не случайно) появилось второе дыхание, что добавило сил и уверенности идти дальше своим путем. Судите сами: в июле случился прокол с «пыльным» репортажем, а ровно через месяц, в августовском номере журнала «Юность», была опубликована повесть его и готовилась к выходу вторая книга в Приобском издательстве. Ну, и в каком настрое, по-вашему, мог пребывать в это время Сережа Лепихин? Да, конечно, в приподнятом! Но как никогда обострилось в нем чувство раздвоенности, и он решил, наконец, для себя: если хочешь работать серьезно, выбирай из двух одно — либо газета, либо литература. И не колеблясь, выбор сделал. Хотя в газете оставался еще около года, но это уже нюансы...

Случались в то время и поважнее события. Именно тогда, в то несусветно жаркое приобское лето, Никита Сергеевич радовал страну новой и поистине небывалой своей реформой, на сей раз коснувшейся, можно сказать, святая святых — самой Партии. Представьте себе: еще вчера было в стране 127 крайкомов и обкомов КПСС (по числу краев и областей), а сегодня вам говорят: отныне, дорогой товарищ, этих партийных органов будет ровно вдвое больше; оказывается, все они, с легкой руки Никиты Сергеевича, надвое разделены — и теперь в каждом крае и в каждой области оказалось по два крайкома или обкома. Но зачем, почему, какой в этом смысл? Трудно понималось, да и не лезло ни в какие ворота. «Два крайкома в одном крае. Это ж нелепица, чушь!» — злословили, возмущались втихую... Однако исполнили все безоговорочно и скороспешно.

Сам же Никита Сергеевич суть очередной реформы объяснял, как всегда, доступно и просто: дескать, разделив крайкомы и обкомы на «сельские» и «промышленные», мы тем самым создали условия для более конкретной и эффективной работы наших партийных структур на местах, максимально приблизили их к жизни и к нуждам-заботам народным... Словом, реформа была осуществлена!

И уже вскоре любой горожанин, проходя мимо давно знакомого темно-бордового крайкомовского здания (стоявшего

в самом центре Приобска, на главном проспекте), мог видеть над входной дубово-строгой распашной дверью не одну привычную вывеску, как это было многие годы, а две абсолютно новые и схожие по форме, этикие близнецы-копии, одна слева — «Приобский сельский краевой комитет Коммунистической партии Советского Союза», а другая справа — «Приобский промышленный краевой комитет...», что явно указывало и подсказывало: оба крайкома остаются в одном хорошо ими обжитом доме. Так какой же это раздел, сомневались одни. Другие, себе на уме, усмехались язвительно и уточняли: мол, два медведя в одной берлоге... и как же они уживаются? Вопросов тогда возникало немало. И Сергея иногда друзья и знакомые прижимали, как говорится, к стенке, пытая прямыми и довольно каверзными расспросами: ну ты же корреспондент центральной газеты, знаешь, небось, вот и скажи: сейчас два крайкома в Приобье, два первых секретаря, а какой же из них наипервейший, кто должен руководить всем краем? Появились и свеженькие анекдоты. Вроде того, как поспорили русский с американцем. «А у вас в стране хлеба нет», — язвил американец. «А у вас в Америке негров линчуют», — парировал русский. «А мы у вас Хрущева украдем», — припугнул американец. «Тогда и у вас хлеба не будет!» — победительно засмеялся русский.

Смеялись в ту пору почти в открытую — и над двумя вывесками, и особенно над двумя «медведями», которых загнали в одну берлогу. Уживутся или не уживутся?»

Однако любая вывеска — это лишь внешняя, уличная сторона.

Лепихин же, в силу своего собкоровского положения, мог при случае заглянуть и в крайкомовское здание, увидеть нечто совсем другое, что не разглядишь с улицы; к тому же вдобавок случилось так, что корреспондентские планы его угодили в момент спешной партийной перетасовки (а лучше сказать, хрущевской ломки через колено), когда, казалось, никому и ни до кого не было дела... Но у Сергея были свои дела — неотложные. Он замыслил поездку в Целинный край, и сельхозотдел «Комсомолки» одобрил его идею — слишком уж заманчиво, необычно

и прямо-таки козырно выглядела эта задумка! Сергей ведь не налегке в одиночку решил прокатиться по степным районам Целинного края, а вдвоем с широко известной в то время и прославленной, можно сказать, на всю страну Ниной Ипатьевной Чектановой, опытни́шим агрономом и ученым- селекционером, Героем Соцтруда и депутатом Верховного Совета СССР. Разве это не козыри? Называли Чектанову еще и «крестницей» самого Никиты Сергеевича — и это чистейшая правда. А случилось так.

Летом 60-го Хрущев заглянул ненадолго в Приобье, здесь ему перед отъездом уже, напоследок, и решили показать прямо-таки образцовое сортоиспытательное хозяйство, где работала никому в то время не известная, кроме ближайших своих коллег, Нина Ипатьевна Чектанова, много лет кряду упорно и последовательно занимаясь селекцией бобовых культур не только продовольственных, но и кормовых. И деляны на ее участке — одно загляденье! Коллеги шутили: мол, Нина Ипатьевна, да ваши деляны хоть сейчас целиком на ВДНХ! Однако шутки оставались шутками, а чектановские торговые бобы, как и прежде, не выходили за пределы тесных делянок. Казалось, так и будет всегда. И вдруг однажды утром ее упреждают: сегодня в четырнадцать ноль-ноль будьте, как штык, на своем месте и ждите гостя — ваш участок покажут Никите Сергеевичу. Вот это была уже не шутка.

И Нина Ипатьевна изрядно поволновалась, ожидая гостя. Но, когда он появился в сопровождении целого легиона, взяла себя в руки и держалась спокойно. Каждую деляну показала, рассказала и пояснила толково, какую роль могли бы сыграть бобовые культуры в пропашной системе земледелия, разумеется, если внедрять их умно, расчетливо, чередуя посевы строго по циклам. Хрущев не скрывал своего интереса. И встреча эта произвела на него хорошее, очень даже сильное впечатление! А когда попрощались, Никита Сергеевич снизу вверх посмотрел на стоявшего рядом первого секретаря крайкома и подчеркнуто громко, с жестью в голосе произнес: «И таких работников вы держите взаперти? Выдвигать их надо, выдвигать и поддерживать... Шляпы!»

Вот после этой хрущевской реплики и взошла звезда Чектановой. Когда Лепихин впервые с ней встретился, слава ее уже достигла зенита. Сергей вознамерился написать о ней, но потом передумал, решив, что лучшая форма в этом случае — записки самой Нины Ипатьевны, человека знатного, титулованного. Впрочем, трудились совместно, поскольку Сергею тоже пришлось изрядно покорпеть над черновым текстом, приложив к нему и свою набитую руку. И «записки Чектановой», кажется, получились вполне сносными, даже читабельными. «Комсомолка» бережно к ним отнеслась, публикуя небольшими подвальчиками аж в трех номерах. «История этого не забудет!» — посмеивался довольный Лепихин. Хотя фамилия его там никоим образом не значилась. Да и в том ли дело! Так было принято в те времена — не высовываться...

А спустя какое-то время Сергей вновь дозвонился Чектановой и выложил план совместной поездки по областям Целинного края... Да-да! То был единственный край в стране, созданный по настоянию Никиты Сергеевича, не из каких-либо отдельных автономий, а из пяти вполне дюжих и довольно обширных областей: Павлодарской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Целиноградской. Размах, батенька мой, аж где-то в пределах полумиллиона квадратных километров! А зачем, для какой надобы такая махина — это уже другой вопрос. «Простите, но моя-то какая роль в этом заманчивом вояже?» — спросила Чектанова. «Главная, самая главная роль, Нина Ипатьевна, — живо и твердо заверил Сергей. — Думаю, вам есть чем поделиться с казахстанскими коллегами. Остальному не мне вас учить. Одно скажу: редакция наша двумя руками за этот проект. Связались уже с казахстанским собкором Володей Крушинским, велели быть наготове, он встретит нас, у него машина — и дальше двинем втроем, не считая водителя. Ну как, Нина Ипатьевна, готовы?» — «Всегда готова, — похоже, улыбнулась она и добавила строже: — Мне и самой интересно побывать в этих краях. Но, знаете, я ведь не столь свободный человек, чтобы самостийно решаться на такие вояжи. Надо бы заручиться поддержкой крайкома». —

«Ну, это не проблема, — оживился Сергей. — Беру все заботы на себя».

Не откладывая в долгий ящик, перезвонил второму секретарю Овчинову, которого знал неплохо, не раз с ним встречался-общался и, кажется, всегда находил понимание; правда, в то время Овчинов не был еще вторым, а был просто секретарем по сельскому хозяйству единого крайкома партии. «Ну, коли так горит, заходи, — немножко подумав, сказал Овчинов, — буду на месте до двух часов. Успеешь?»

И Сергей уже вскоре подкатил на соборовском «Москвиче» к зданию крайкома, взбежал по широким гранитным ступеням, мельком глянул на две одинаково бросившиеся в глаза вывески, невольно подумав о том, что, наверное, и внутри, на всех этажах отныне двух крайкомов царит такая же несусветная раздвоенность. Однако, войдя в довольно просторный и светлый вестибюль (не меньше волейбольной площадки), ничего подобного не заметил. Все здесь оставалось, как и прежде, неизменным и знакомым до мелочей: справа в дальнем углу гардероб, слева в простенке, на самом видном месте, громадное зеркало (смотришь, прихорашивайся!), а прямо по ходу, на некоем подиуме в две ступеньки, близ лестничной площадки, уходящей на верхние этажи, размещался, как и всегда, милицейский пост. Сергей назвал свою фамилию. Постовой скользнул глазами по списку и козырнул — проходите. Сергей поднялся на второй этаж (и здесь все знакомо — никаких перемен), повернул направо и двинулся коридором по ковровой дорожке в сторону кабинета первого секретаря крайкома, но, чуть не дойдя, еще раз повернул направо, как бы в некий проулок, тут рядышком, буквально через стенку, и размещались апартаменты второго секретаря.

Приемная небольшая, уютная. Секретарша, едва выслушав, с готовностью встала, прошла к двери кабинета, упреждающе заглянула внутрь, быстро обернулась, указав глазами на приоткрытую дверь... Овчинов, увидев гостя, тотчас поднялся и выжидательно встал сбоку стола:

– Ну, гляжу я, комсомол ударно работает! – сказал, дружелюбно посмеиваясь, и крепко пожал руку Сергея. – Завидная оперативность.

– Стараемся, – в тон ему и с той же хитринкой ответил Сергей.

– Настроение боевое? – возвращаясь за стол, спросил Овчинов.

– Рабочее настроение, Василий Иванович. А вас можно поздравить с повышением?

– Спасибо. Но скорее не повышение, а перестройка, – оговорился он с некой заминкой.

– Да-да, возможно, и так, – вроде бы согласился Сергей, но тут же признался: – Только к нынешней перестройке этой никак не могу я привыкнуть. Душа не лежит, – вырвалось у него. – Сейчас вот увидел над входом две вывески – «сельский», «промышленный» – и ералаш в голове: как же, думаю, они работают и уживаются рядом, два совершенно разных отраслевых крайкома?

Овчинов как бы и не расслышал, пропустив мимо ушей этот довольно резкий выпад, а может, умышленно и даже подчеркнуто явно обошел скользкий вопрос.

– Присаживайся, – кивнул он Сергею. – И выкладывай, что там у вас горит... Может, и от нас что-то зависит?

– Ну, пожара пока нет, – улыбнулся Сергей. – Но суть задуманной акции такова, что без вашей поддержки решить ее невозможно... – заинтриговал и тут же, не теряя времени, кратко изложил эту суть.

Овчинов ожидал, наверное, более веских и затруднительных просьб, а тут всего лишь разрешение Чектановой на поездку в Целинный край – пустяшное дело, формальность.

– Что ж, – повеселевше глянул он на Сергея, – поездка по Казахстану задумана чрезвычайно интересно, в этом я убежден. И Чектанова, как мне видится, не будет там лишней.

– Более того, – добавил Сергей, – поездка эта без Нины Ипатьевны теряет всякий смысл...

– Согласен. Считайте – вопрос решен. Другие просьбы есть?

— Спасибо, Василий Иванович, — сочтя разговор оконченным, живо поднялся Сергей из полумягкого гостевого кресла; и Овчинов тоже встал и вышел из-за стола, однако чуть замешкался, как будто вспомнив о чем-то, и вдруг тихо, вполголоса проговорил:

— А что касается вопроса насчет уживания или неуживания двух отраслевых крайкомов, могу пояснить: живем и действуем в тесном содружестве. Да-да! Можешь подняться на третий этаж, к промышленникам, и они тебе это же скажут. Кстати, все они на своих местах, при своем деле — как работали, так и работают; промышленный отдел как размещался раньше на третьем этаже, так и остался там целиком и полностью — никакого разлада. Смущают вывески? — пристально посмотрел на Сергея.

— Так они ж, Василий Иванович, вывески эти, снаружи, у всех на виду, — напомнил Сергей. — Идешь мимо — читай и делай свои выводы. Разговоров сейчас — на все лады! Новые анекдоты...

— Ну, к анекдотам нам не привыкать, — довольно спокойно и твердо сказал Овчинов. — А все новое проверяется временем. Вот это надо запомнить. Желаю вам доброй поездки по Казахстану! — неожиданно оборвал разговор.

Они обменялись крепким рукопожатием и разошлись. Осталось в душе Сергея лишь чувство каких-то досадных недомолвок; хотя он и понимал: крайкомовский кабинет не самое удобное место для шибко откровенных словоизлияний, это вам не улица-переулок и, тем паче, не кухонный закуток!

Позже, однако, Сергей вспомнит слова Овчинова («новое проверяется временем») и поразится их провидческой сути. Похоже, Василий Иванович и тогда уже, в момент их встречи, держал в себе, вынашивал столь жгучую мысль, был убежден и уверен в том, что само время вскоре сметет беспощадно, как ветром сдует, все эти спешно состряпанные реформаторские городушки... Так и случится!

Но пока все шло своим чередом.

Хотя поездка в Целинный край и выпадала из общего ряда, удавшись, можно сказать, прямо-таки на ять; но, думается, при-

нимали их везде и всюду так душевно и щедро, будто самых желанных и дорогих гостей, благодаря лишь присутствию Чектановой. И Нина Ипатьевна все пять дней незабываемой этой поездки держалась выше всяких похвал. Она всегда была в центре внимания, умела не только находить общий язык с людьми самыми разными, начиная от сельских механизаторов и кончая обкомовскими секретарями, но, кажется, могла и обратиться к этим людям (и обращала многих!) в свою незыблемо твердую веру, увлекая и покоряя необыкновенно чудными рассказами и чуть ли не сказками, присказками о небывалых свойствах, качествах и далеко не раскрытых еще возможностях прекрасных бобовых культур, любимых ею безумно, лелеянных и боготворимых на протяжении многих и многих лет...

Но это уже не сказка, а самая настоящая быль.

Сергей помнит, как однажды во время довольно солидной встречи Чектановой с участниками областного совещания партийно-хозяйственного актива в Павлодаре (то был предпоследний день их вояжа), сидевший рядом казахстанский коллега Володя Крушинский повернулся к нему и тихо, почти шепотом сказал: «Знаешь, старик, чем больше я слушаю Нину Ипатьевну, тем глубже проникаюсь верой: бобовые культуры — всему начало! Все на земле от них пошло... Даже Адам и Ева», — добавил весомо. Потом они, работая, что называется, в две тяги, напишут статью-репортаж о только что завершившейся целинной поездке знаменитой Чектановой. Статья вскоре будет напечатана и, кажется, даже отмечена (как образец оперативной работы) на одной из летучек. Радуйтесь, авторы! Однако на всем этом лежала печать некоей поспешности и двойственности... Да, с одной стороны, все вроде на месте: масштабность событий, интересное содержание, а с другой стороны, статья эта в силу своей репортажности, увы, не могла раскрыть во всей полноте и сотой доли того необыкновенно живого и колоритного общения Нины Ипатьевны с людьми разными, подчас не менее колоритными, и антуража, который все пять дней окружал и сопровождал их в пути... Но это уже издержки газетных рамок.

«Вот так, дорогой товарищ! Это тебе не беллетристика...» — с невеселой подковыркой усмехнулся Сергей, как бы возвращая себя к мысли о «двух стульях», явно мешавших один другому. Он это понимал, чувствовал и, кажется, выбор для себя сделал... Но вполне ли готов был к столь крутому поворотному шагу? Может, для этого поворота какой-то малости не хватало, чтобы все встало на свои места... А время вдруг заспешило.

Осенью, в первой половине октября, в приобском издательстве показали Сереже Лепихину свеженький, остро и сладковато пахнущий типографской краской «сигнал» новой его книги, подписанной к печати; а спустя полмесяца здесь же, но еще с большей церемонной торжественностью вручили из рук в руки аккуратную связку из десяти положенных авторских экземпляров. И редактор дружески ему пожелал: «Будь здоров и расти большой!» — дюже тепло и с хорошим подтекстом. И Лепихин, держа в руке эту бесценную для него связочку книг, вдруг ощутил и понял, что теперь уже никакой гамлетовский вопрос (быть или не быть?) не сможет ему помешать — он крепко уверовал и зарубил себе на носу: «Быть!»

Меж тем последний месяц отшумевшего 63-го как-то незаметно проскочил и оборвался у порога нового, 1964 года, который запомнился Лепихину лишь тремя далеко не равнозначными событиями, однако так или иначе тесно связанными между собой... И то, что время, как бы очертив круг, свело их опять вместе и поставило в один ряд, показалось Лепихину неким странным и даже мистическим совпадением! Но мистики тут никакой — и факты-события вполне реальные.

Итак, весной 1964 года Сергей Лепихин навсегда распрощался с газетой. Навсегда! Это был поворотный момент в его судьбе — и Лепихин никогда в жизни, ни единого раза не усомнился в правильности своего поворота и выбора. Похоже, сама судьба подарила ему этот выбор! Хотя он готов был к нему и загодя это предвидел...

А вот второе событие оказалось неподвижным и застало Сергея врасплох. Летом, в середине июля, пришло письмо от бывшего редактора корабельной газеты «Вперед!» лейтенан-

та Волкова (к тому времени уже капитан-лейтенанта); особо регулярной переписки они не придерживались (так, от случая к случаю, в год под расход, как говорится), а тут бывший редактор размахнулся почти на полстраницы тетрадной, о себе сказал, что все у него в порядке, служба идет, не стоит на месте, пару пустяковых вопросов задал Сергею — и аккуратно перешел к главному, ради чего, как видно, и сотворил эту писульку: «Да, кстати, хочу сообщить тебе новость, — писал он, как бы заходя откуда-то сбоку. — Корабль К., на котором довелось нам служить вместе, несколько лет назад (уже в твое отсутствие) однажды в Охотском море попал под мощнейший удар тайфуна, однако изрядно потрепанный и побитый, с тяжелыми повреждениями своим ходом дотянул все-таки до базы, но в боевой состав больше уже не вернулся, был разрушен и перестроен в плавучую казарму (об этом, кажется, я писал тебе), а теперь вот сообщая: бывший наш славный К. не далее как позавчера окончательно выведен из строя, списан, что называется, подчистую и сдан на слом. Такие вот дела! Думаю, тебе это небезынтересно знать...»

А лучше бы и не знать вовсе! — остро кольнуло где-то внутри у Сергея, ошарашенного внезапной новостью. Он и представить себе не мог, в голове у него не укладывалось, как могло случиться, что «бывший славный К.», а вернее бывший флагман Тихоокеанского флота крейсер «Каганович» вопреки всякой логике превращен был в плавучую казарму, а теперь вот подчистую списан и сдан на слом. Последнее казалось невыносимым! Нет-нет, Лепихин, конечно же, понимал — всему свое время, но поверить в столь безжалостный ход событий не мог... и не хотел — душа противилась!

И надо признать, из всех трех событий года, крепко засевших в памяти, именно это воспринял он более чем близко и остро, даже болезненно — не столь разумом, сколько душой...

Хотя, разумеется, третье событие было несоизмеримо по своей значимости с этими двумя, сугубо личными, ибо касалось оно не чьих-то отдельных интересов, но целиком и полностью всей страны, а может, и всего мира...

Случилось же это событие 14 октября 1964 года на скороспешном Пленуме ЦК КПСС, созванном по настоянию группы наиболее рьяных членов Президиума ЦК. Никита Сергеевич по привычке цыкнул было на них, желая приструнить и поставить на место: если, мол, у кого-то возникли неотложные вопросы, давайте в рабочем порядке решим... Однако группа «рьяных» оказалась в большинстве и настояла на своем. Вот на этом Пленуме и выдали Хрущеву за все десять лет единоличного его правления на полную катушку, обвинили в субъективизме, волюнтаризме и дружно, почти единогласно освободили от всех высочайших постов – заслужил, дорогой Никита Сергеевич... Отдыхай!

Одним словом, сдали «на слом», – неожиданно и, казалось, вовсе некстати пришли тогда в голову Лепихина эти горчайшие слова, хотя относились они к судьбе конкретного корабля, а не пострадавшего за свои деяния человека, который от бессилия и на виду у всех наклонил голову и, дрогнув плечами, неслышно заплакал... Картинка была потрясающей! Хрущев плакал. Но странное дело: момент этот не вызвал в Лепихине никакого сочувствия. «Человека сдали на «слом», – как будто кто-то невидимый рядом навязчиво-жестко напомнил, помедлил и еще тише и жестче спросил: – А скажи мне, сколько судеб человеческих сломано было этим плачущим персонажем – десятки, сотни, а может, и тысячи? Кто их считал!» И все как-то разом сопоставилось, связалось в один узел, и Лепихина вдруг осенило, что октябрь 1964 года – юбилейный! Да-да, ровно десять лет назад, в октябре 1954-го, Хрущев, возвращаясь из Китая (после самоличной сдачи Порт-Артура), прибыл во Владивосток; отсюда уже назавтра готовился к выходу в море отряд кораблей во главе с флагманом Тихоокеанского флота крейсером «Каганович», который и должен был принять на борт высоких гостей. Однако план этот сорвался! Хрущев неожиданно потребовал отставить крейсер «Каганович», заменив его другим кораблем, и настоял на своем, не слушая никаких доводов.

Да что там корабль с неуютным именем!

Вскоре и сам Лазарь Моисеевич Каганович вкупе с Молотовым, Маленковым и Булганиным будут сурово осуждены и наказаны.

14 февраля в Москве открылся поистине исторический XX съезд КПСС, на котором Никита Хрущев выступил аж с двумя докладами — один отчетный, а другой «О культе личности Сталина и его последствиях».

Оглушительность второго доклада была невероятной.

«Мы устроили закрытое заседание во время прений по отчету ЦК, — много позже вспоминал Никита Сергеевич, — там я и сделал второй доклад. Съезд выслушал меня молча. Как говорится, слышен был полет мухи. Все оказалось настолько неожиданным. Нужно было, конечно, понимать, как делегаты были поражены рассказом о зверствах, которые были совершены по отношению к заслуженным людям, старым большевикам и молодежи. Сколько погибло честных людей, которые были выдвинуты на разные участки работы! Это была трагедия...» — горевал Никита Сергеевич. Съезд, выслушав доклад, решительно осудил культ личности Сталина и одобрил мероприятия ЦК по ликвидации его последствий...

И ликвидация началась! А впрочем, началась она гораздо раньше — еще с процесса над Берией. И Никита Сергеевич в тех же своих воспоминаниях, касаясь этой жгучей темы, признавался: «Мы создали в 1953 году, грубо говоря, версию о роли Берии: что, дескать, Берия полностью отвечает за свои злоупотребления, которые совершались при Сталине... Поэтому после процесса над Берией мы находились в плену этой версии, нами же созданной... Берия же предстал перед судом народа как преступник. Но мы тогда еще находились в плену у мертвого Сталина и даже когда многое узнали после суда над Берией, давали партии и народу неправильные объяснения, все свернув на Берию. Нам он казался удобной для того фигурой...» — распинался задним числом Никита Сергеевич. Но такой ли «удобной» в то время была фигура Берии? Скорее весьма неудобной, поскольку речь шла не о каких-то правильных или неправильных объяснениях, а конкретно и самым что ни на есть брутальным

образом — о захвате власти, которую на двоих никак не поделюсь... Чем кончился тот «дележ» — теперь нам известно! Хотя Никита Сергеевич и тщился изо всех сил выглядеть таким безупречно чистым, незапятнанным добряком: «Считаю, что вопрос был поставлен абсолютно правильно и своевременно, — говорил он, имея в виду доклад о культуре личности, и тут же, не переведя духа, клятвенно уверял: — Я всегда стоял, а сейчас тем более стою за правдивость, абсолютную правдивость... только так можно завоевать доверие народа».

Завоевать или все-таки заслужить? Спорить излишне.

А доклад действительно получился зубастым и непривычно яростным по своей остроте — такое услышать с трибуны партийного съезда?! Мог бы стать этот доклад хорошим подспорьем (для самосознания народного) или даже отдушиной — народ хотел знать всю правду! Но отдушина оказалась слишком узка для полной правды. Хотя вгорячах, затаив дыхание и стараясь не пропустить ни единого слова, трудно было заметить сразу, что доклад этот лишен истинной правды, однобок, с перекосом в одну лишь сторону... Что присуще было Хрущеву — за примерами далеко и ходить не надо! Однако один из этих примеров особо поучителен и тем интересен, что все происходило еще при жизни Сталина. Никита Сергеевич (будучи в то время первым секретарем ЦК компартии Украины) на одном из киевских совещаний, касаясь весьма болезненной темы, довольно жестко и прямо сказал: «Якиры да Тухачевские хотели бы, чтобы на Украину пришли польские паны, — чуть помедлил и добавил еще жестче: — Почистили мы эту так называемую публику очень хорошо...» И сразу чувствовалось, что Никита Сергеевич не отрешивался от этой схватки, а напротив, ставил себе в заслугу: «Почистили мы эту... публику!» Заметим только: один из блистательнейших советских маршалов Тухачевский к тому времени был уже расстрелян.

Но вот что любопытно: спустя много лет (уже будучи на заслуженном отдыхе) Никита Сергеевич об этой же «так называемой публике» рассуждал совсем иначе, как бы вывернув все наизнанку. «Я уже говорил о Кедрове, Тухачевском, Его-

рове, Блюхере и других, — пишет он в своих «Воспоминаниях». — Можно составить целую книгу только из одних фамилий крупнейших военных... Все это были люди честные. Они стали жертвами Сталина, жертвами произвола без всяких настоящих доказательств их вины, без всяких оснований...» Читаем — и мурашки по коже. И тянет спросить: так кто же все-таки «почистил эту так называемую публику», неужто один Сталин? Ну, и Берия впристыжку...

А между тем нашумевший в ту пору доклад о культе личности, хорошо продуманный и тщательно вымеренный, построен был по лекалам все тех же «неправильных объяснений», как и в сравнительно недавнем случае, когда «создали в 1953 году, грубо говоря, версию о роли Берии» (по словам самого Никиты Сергеевича) и, обвинив лишь одного Лаврентия Павловича во всех смертных грехах и злоупотреблениях, расправились с ним беспощадно; вот и на этот раз, как говорится, наступив на те же грабли, Никита Сергеевич все стрелы доклада выпустил в одного лишь Сталина... Этакий меткий стрелок!

Так и вошло в историю.

«Но согласия никакого не было, и я увидел, что добиться правильного решения от членов Президиума ЦК не удастся», — признавался позже Никита Сергеевич, то ли жалея о чем-то, то ли оправдываясь перед кем-то; потому, прибегнув к различным ухищрениям, и поступил, как хотел, поскольку лишь свои решения считал заведомо верными. А кто с этим не согласен — ату его!

Двадцатый съезд закончился бодрым хрущевским напутствием: «За работу, товарищи!» И началась жаркая послесъездовская работа, оставившая в памяти не менее глубокий след. Летом, в конце июня, был спешно созван Пленум ЦК, на котором стоял только один-единственный, но какой вопрос: об антипартийной фракционной деятельности (внутри самого Президиума ЦК!) группы Маленкова, Кагановича, Молотова, Булганина и Шепилова, «оказывавших прямое или косвенное противодействие проведению линии партии, одобренной XX съездом КПСС», как говорилось в преамбуле. Факт, выходя-

щий за все пределы. Хрущев негодовал! И Пленум решительно осудил фракционную деятельность антипартийной группы, требуя самой суровой кары. Приговор тут же, как говорится, не сходя с места, был исполнен: Маленкова, Молотова и Кагановича вывели из состава членов Президиума ЦК, Шепилова сняли с поста секретаря ЦК, а вот на Булганине споткнулись... Вдруг вспомнили: он ведь еще, Николай Александрович, кроме всех прочих неугодных дел, был и главой правительства, то есть председателем Совета Министров СССР, которого даже Пленум ЦК не вправе так с ходу лишать поста, да и выводить из состава членов Президиума ЦК действующего председателя Совмина тоже казалось неловким. Выход подсказал Никита Сергеевич – дело Булганина отложили до особого рассмотрения... Вроде бы дали мужику время на обдумывание своих «фракционных» колебаний.

Но судьба Булганина, в сущности, была решена.

Однако на этом «изобличения» не кончились. И вскоре совсем нежданно, кажется, и вовсе беспричинно грянула отставка министра обороны Жукова. Вот это было непонятно! Как, почему? Все терялись в догадках. Вроде бы никаких грехов за маршалом не водилось, никакого повода он не давал... Напротив! Отношения с Хрущевым прекрасные, работали они, можно сказать, рука об руку; не прошло еще и года, как Георгий Константинович в честь своего шестидесятилетия удостоен был четвертой звезды Героя, и Никита Сергеевич душевно поздравил его, мол, для таких людей и звезд не жалко! А совсем недавно министр обороны Жуков из кандидатов был переведен в члены Президиума ЦК – и здесь, разумеется, не обошлось без вмешательства Никиты Сергеевича. Одним словом, небо над головой было чистейшим, никакой грозы не предвиделось... И вдруг – нате вам по шапке! Никто ничего не понимал. Отчего Хрущев так неожиданно взъялся, чем Жуков ему не потрафил?

Некоторую разгадку внес 29 октября 1957 года очередной Пленум ЦК КПСС, день в день, кстати, приуроченный к двухгодичной дате взрыва линкора «Новороссийск»... Уже одно это придавало пленуму довольно суровый оттенок. И Никита

Сергеевич, главный докладчик, как всегда, решительно, прямо-таки с открытым забралом, взойдя на трибуну, повел речь об укреплении боевой мощи Вооруженных Сил и беспощадной борьбе с остатками вредоносной сталинщины, тормозящей эту работу.

Вот тут, как тому пример, и Жуков был назван, снятый с должности «за нарушение им ленинских принципов руководства Вооруженными силами и насаждение культа своей личности в Советской Армии», — особо выделил Никита Сергеевич. Остальное мотайте себе на ус!

И как бы походя и вдогонку, задал перцу уже по всем статьям «развенчанному» Адмиралу Флота Советского Союза, одному из крупнейших флотоводцев XX века Николаю Герасимовичу Кузнецову, о котором брошено было зло и с явною неприязнью: «Мы провели большую борьбу, сняли Кузнецова... Думать, заботиться о флоте, об обороне он оказался неспособным, — чуть помедлил, как бы усомнившись в чем-то, и твердо добавил: — Нужно все оценивать по-новому». А это значило: делать все, как велит Хрущев!

Так и сделали. Маршал Жуков, всего лишь несколько месяцев назад переведенный из кандидатов в члены Президиума ЦК, вдруг выдворяется из этого, безусловно, высокого круга за нарушение ленинских принципов и насаждение культа своей личности в армии. Непостижимо! Каким это образом исхитрился Георгий Константинович за столь короткий срок совершить такие непоправимо тяжкие нарушения неких, прямо скажем, незримо-загадочных «ленинских принципов» и, тем более, расплодить в армии культ своей личности?

Впрочем, наивный вопрос, поскольку сверхспешная операция эта имела совсем другую подоплеку — и Хрущев, разумеется, лучше всех знал об этом. Потому и не стал он излишне затягивать «дело Булганина». И буквально вскоре, как бы по горячим следам октябрьского Пленума, но без лишнего шума, Николай Александрович был снят с поста председателя Совмина, выведен из Президиума ЦК и отправлен вос-
восяси.

Все своим чередом. Однако на сей раз Никита Сергеевич стал искушать судьбу, а взял в свои руки еще и Совет Министров. Близкие люди его настораживали: «А не трудно будет? Это ж двойная тяга и ответственность...» — «Ничего, своя ноша не тянет, — сдержанно он посмеивался. И добавлял уже серьезно и многозначно: — Все мы вышли из Октября и нам не пристало бояться тягот». Никита Сергеевич, считая себя твердым ленинцем, нередко (особенно когда речь шла о делах сложных) повторял эту максиму: «Все мы вышли из Октября...» Похоже, со временем октябрь для него стал месяцем знаковым, хотя, вполне возможно, сам он и не замечал этих довольно странных и чуть ли не мистических совпадений, отнюдь не обрывочно мелькавших, а как бы выстроенных строго по ранжиру в некий хронологический ряд... Случайность это или какая-то сверхзагадка? Трудно сказать, но так было.

Представьте себе: канун октября 1953 года (ровно полгода после кончины Сталина) — Н.С. Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС; октябрь 1954 года — поездка в Китай, сложные переговоры, сдача Порт-Артура; октябрь 1955 года — труднообъяснимый, загадочный взрыв линкора «Новороссийск», расправа над Главнокомандующим ВМФ Кузнецовым; октябрь 1956 года — визит в «братскую» Польшу, там проблем накопилось изрядно, как, впрочем, и в Югославии, где совсем недавняя сентябрьская встреча с Броз Тито принесла еще большие разочарования; октябрь 1957 года — сверхнеожиданная и спешная отставка (вывод из состава членов Президиума ЦК) министра обороны четырежды Героя Советского Союза Жукова, а вслед за сим, но уже в начале 58-го, разжалован был, что называется, по всем статьям председатель Совета Министров — неисправимый «фракционер» Булганин; октябрь 1959 года — очередная, кажется, третья поездка в Китай, где Никита Сергеевич опять повздорил с Мао, не найдя общего языка и накалив до предела отношения...

Вот здесь стоит перевести дух и шагнуть прямо в октябрь 1964 года, точнее сказать, в тот день, 14 октября, когда внеочередной Пленум ЦК КПСС подверг резкой критике самого Хру-

щева и освободил от всех занимаемых должностей «за имевшие место проявления в его действиях субъективизма и волюнтаризма». Никита Сергеевич был потрясен! Такого поворота не ожидал он — и не мог в это поверить. Как? Почему? За что?! Столько сил положили, чтобы оградить партию от влияния закоснелого сталинского Политбюро, а затем и вовсе избавиться от него, что и сделано было в кратчайшие сроки — Берия, Маленков, Молотов, Каганович, Булганин, Жуков... Где они? Иных уж нет, а те далече... Создали, в сущности, новый Президиум ЦК, оставили в нем лишь таких проверенных и надежных, как Анастас Иванович Микоян и Отто Куусинен, укрепили состав не менее надежными и более молодыми — Брежнев, Козлов, Полянский... Казалось, твердый блок единомышленников и сообщников, на который можно положиться.

И вдруг такое немыслимое решение... Нате вам на орехи!

Никита Сергеевич аж двумя руками схватился за голову, будто враз оказавшись в какой-то зловещей пропасти — выхода никакого... Обида обожгла его, обида и бессилие что-либо изменить и поправить; он это с ужасом осознал, ощутил полнейшее свое безвластие и поник головой, не смог удержать слез, забыв, наверное, о давно затверженной спасительной максиме: «Все мы вышли из Октября и нам не пристало...»

Выходит, пристало... да еще как пристало!

Но Москва, как известно, слезам не верит...

События тех дней Лепихин помнит хорошо, однако смотрит на них сегодня — аж из XXI века! — с особым пристрастием. Разговоров тогда велось немало — и вполне серьезных, недвусмысленно озабоченных (куда ж нам дальше двигаться?), и откровенно беззаботных, с явною подковыркой, ну, мол, друзья-товарищи, дожили от Ильича до Ильича, теперь дорога у нас одна — в светлое будущее; и, казалось, совсем уж невинное, прямо-таки детское любопытство: скажите, а с чего Брежнев начнет свою работу? Но тут и гадать не приходилось, готовый ответ давно витал в воздухе: работу свою Леонид Ильич начнет (а может, и начал уже!) с расчистки «авгиевых конюшен»...

Слова эти не сказать, что вошли в обиход, но какое-то время послужили неким паролем. Бывало, встретишь кого-то из близких знакомых, а тот, еще и руки не подав, огорошивает: ну, мол, и как там у нас «авгиевы конюшенки» проживают? Да и сам Лепихин грешил иногда этой кодовой условностью.

Вот в пору этих выжидательных перемен и заглянул он однажды к родителям на Катунскую и чуть ли не с порога живо и весело поинтересовался: «Ну, как вы тут при новой власти проживаете... или о старой все еще горюете?»

Отец понял это слишком по-своему, ответил сухо и кратко, как бы отмахиваясь: «А чего о ней горевать о старой власти? Отбрехался Никита! Вот и отправили поделом».

Появился Вадим, усмехается: «Ну, видал, как наш батя по-нужает вдогон еще недавно всеми почитаемого и грозного мужика... — не то язвил открыто, не то говорил всерьез и даже озабоченно: — Одного не могу понять: неужто за десять лет правления Хрущев не заслужил никакой благодарности? Это ж несправедливо, — придвинулся ближе, лицом к лицу. — А ну давайте вспомним: сколько доброго сделано было за эти годы! Тут вам и освоение целинных земель, и строительство новых совхозов, и возведение жилья по всей стране, и полеты в космос... Нет, вы мне скажите: разве этого мало или все это не в счет?» — упорно доискивался некой истины. Сергей уклончиво отшутился: «Так ведь счета бывают разные. А вообще-то надо хорошенько подумать и все взвесить...» — мягче добавил, но спорить с братом не стал. Да и не о чем было спорить! Все шло своим порядком.

И где-то не то в конце ноября, не то в начале декабря Лепихин услышал новость: раздвоенные в свое время крайкомы и обкомы вновь сомкнулись. Стоп! Ушам он своим не поверил, спросил «доносчика» — откуда у него такая немислимая осведомленность?! Газеты об этом ни гу-гу, радио тоже молчит, а он, смотрите, развел тут бодягу... А тот лишь смиренно плечами пожимает: ну, мол, причем здесь бодяга, если новая вывеска уже не первый день красуется над главным входом крайкомовского здания. Одна-единственная вывеска! Желающие могут воочию

убедиться, посоветовал настоятельно, скорее подстрекнул хитровато. И Лепихин удивлялся потом — все сказанное подтвердилось.

Что ж, лиха беда начало, радовался Сергей, прямо-таки душа ликовала, будто и сам он в эту акцию вложил немало усилий; и ясно-понятно было, что первые шаги по зачистке «авгиевых конюшен», которые в то время, казалось, не сходили с языка, сделаны твердо, разумно и безоговорочно. Затем, как бы на одном дыхании, последуют и другие, не менее твердые и решительные шаги, но это уже чуть позже, в 1965 году, когда столь же бесшумно и аккуратно упразднены были (пришей-пристебай!) хрущевские Совнархозы...

А между тем очень многие реформаторские загибы Никиты Сергеевича приходилось тогда исправлять на ходу, но чаще всего как «несостоятельные явления» категорически устранять, ликвидировать... Так случилось и с непомерно громадным Целинным краем, неясно, зачем и по какой прихоти созданным, точнее сказать, наспех слепленным в 1960 году из пяти вполне самостоятельных, давно сложившихся и довольно крупных казахстанских областей... Памятник самому себе — как очень верно и коротко оценил его значение новый в то время председатель Совета Министров СССР Николай Алексеевич Косыгин, буквально в три слова уложив и свое кредо, и свой вердикт...

И Целинный край, просуществовав ровно пять лет (увы, за ненадобностью!), был аннулирован.

Ну, а что же случилось с другим хрущевским «громадьем планов», не менее, скажем, надуманных и еще более утопических, таких, например, как план «строительства коммунизма за 20 лет», оглашенный Никитой Сергеевичем не только на всю страну (Лепихин слушал его три года назад на комсомольском съезде), но и на весь честной мир?!

Впрочем, несусветно размашистый (в хрущевском духе!) проект этот, видимо, не нуждался в каких-то особых решениях о запрете-отмене, его просто-напросто замяли, обошли стороной, окружив умолчаньем...

Но вот что удивило. Много лет спустя, уже в конце девяностых прошлого века, сын Хрущева, Сергей Никитич, готовя к изданию «Воспоминания» отца, допустил о нем в сугубо строгой аннотации довольно жесткие (объективности ради?) «черно-белые» нюансы: «Он все хотел делать сам. Возможно, поэтому в десятилетие его правления великое нередко соседствовало с нелепым, героическое — с едва ли не смешным... Умный, решительный, но противоречивый... Хрущев так говорил о себе: «Помру я... положат люди на весы дела мои, на одну чашу худые, на другую — добрые... И добро перетянет!» Последнее Лепихин въедливо прочел и, кажется, вслух произнес: «Ну, что ж, как говорится, блажен, кто верует! Только надо помнить: каждый здравый человек имеет свои весы и свой аршин... Каждый человек! — подчеркнуто повторил, чуть помедлил и уточнил твердо: — И я в том числе».

Поистине, простые дела и решаются просто — как дважды два! Вечером в пятницу Лепихин и не думал о поездке в Лесное, а назавтра утром, едва проснувшись (и глаз еще толком не открыв), наверное, и для себя неожиданно и бесповоротно решил: поеду! Хотя три дня назад убеждал Ирину, что лучше ему не дергаться, а посидеть, поработать спокойно...

На том и порешили. Ирина вместе с Андреем и Полиной укатили на дачу, его не трогали, работа — дело святое.

И нате вам: «Поеду!» Разом вскочил, мигом собрался, вызвал такси и буквально через полчаса сидел уже в мягком кре-сле пригородного поезда... Все тут было знакомо до мелочей.

Дорога привычная: минут пять после отправки — и первая остановка (так называемая, Лестница, по-казенному сухо и безымянно означенная: «226 км»), вскоре глухо прогрохотал под колесами высокий мост через Обь, задержались чуток на маленьком промежуточном полустанке, а дальше поезд, набрав хорошую скорость, помчался вдоль обширных заобских лугов, прокатил окраиной большой узловой станции Новообск и, почти не сбавляя хода, повернул вправо, лишь коротко и виновато гуднув издалека... Навстречу поплыли поля, поля золоти-

сто-белесого пшеничного жнивья, редкими островками среди этого зыбкого неоглядного моря мелькали небольшие уютные колки; потом как-то враз и внезапно пробежали мимо веселые перелески, как бы дав понять: впереди ждет их настоящий лес! Лепихин и без подсказки знал, проехав здесь не десятки, а сотни раз; он тотчас повернулся и прильнул к окну в ожидании этого мгновенья, но как ни готовился, как ни ждал, карауля момент, лес, как всегда, налетал внезапно, высокий и оглушительно-шумный, поезд врвался в него с протяжным и упоенным гулом, ныряя с ходу в густую текучую сень, словно разом переходя из одного мира в другой – такое чувство охватывало Лепихина! Мелькали за окнами купы громадных шишкинских сосен (не хватало только медведицы с медвежатами), желтели меж ними космы осенних берез и ярко рдели прямые, как свечи, сибирские осины... Ау! – хотелось крикнуть во всю глотку – позвать кого-то.

Еще минута-другая и поезд плавно притормозил – станция Лесная! Лепихин сошел на бетонный перрон, осмотрелся – никого больше. Раннее утро. Вскинул легкий рюкзак на плечо и зашагал ходко вниз от вокзала, через густо заросший пустынный склон, к своей улице Лесной, здесь все было лесное – станция, речка, любой двор, перечислял он в уме. И вдруг прямо перед собой, обочь дороги, увидел большую рыжую собаку, узнал ее и тихонько, лишь про себя, засмеялся: ну вот, мол, и живая душа. «Здравствуй, Лохматая!» – сказал он весело. Собака, услышав свое имя, вскинула голову, мельком глянула и тут же отвела глаза, уткнувшись носом в траву и что-то вынюхивая... Лепихин уже знал: вот сейчас, как и всегда, вслед за собакой должен появиться (с неизменным топориком под мышкой) хозяин ее верный... Однако на этот раз не оправдалось – никто не появился. Собака все так же упорно что-то вынюхивала, кралась, низко припадая, по заросшей обочине... И Лепихин впервые заметил какую-то странную неухоженность и даже растерянность собаки, лохматая шея и грудь ее были сплошь в колючках-репьях... «Да что с тобой, дорогуша? – ласково он спросил. Но собака, не поднимая головы, прошла мимо. –

А где же твой хозяин... где Филипп?» — настойчиво он домогался. При слове «Филипп» собака дрогнула и остановилась, чуть обернувшись, пошарив глазами вокруг и, как видно, ничего похожего не найдя, вновь сунулась носом в траву и засемила, прибавила ходу...

«Н-да! — озадачился Лепихин. — Что-то случилось?» — и с этим (как бы застрявшим где-то внутри) вопросом спустя минуту-другую вошел в довольно просторную ограду своей дачи — тридцать метров поперек, семьдесят вдоль... Утро уже всюду разгулялось. И все тут дышало свежестью, после городской духоты — истинный рай! Лепихин глубоко и с удовольствием вдохнул этой свежести и неспешно приблизился к дому, постоял, затаив дыхание, — тишина несусветная. И никто его не встречал. Странно... очень странно, — подумал он, слегка обеспокоившись, поднялся на крыльцо и потянул на себя входную дверь, боясь, что она окажется запертой изнутри, но дверь легко отворилась; Лепихин вошел на веранду (служившую одновременно кухней, столовой и гостевой-прихожей), увидел Ирину, стоявшую у газовой плиты, что-то там кипело, шкварчало и аппетитно пахло жареным...

— А вот и мы, к вашим услугам! — объявил он бодро. — Не опоздал к завтраку?

— Нет-нет, — обернулась Ирина, — в самый раз. Ждем тебя.

— Ждете? Но не встречаете, — шутливо он упрекнул. И тут же, как бы спохватившись и указав глазами на потолок, тихонько спросил: — А наши верхние все еще спят?

— Да ты что! — изумилась Ирина. — Наши верхние давно уже в лесу. Андрей только что звонил: возвращаемся, говорит, с грибами, даже любимых папиных лисичек набрали...

— Молодцы! Весело живете, — улыбнулся Лепихин.

— Ну, не всегда так весело, — загадочно помолчав, сказала Ирина. — Видел бы ты, что тут творилось три дня назад... Уму непостижимо!

— Даже так? И что... что же могло тут случиться?

— Не могло, а уже случилось, — уточнила Ирина. — Кстати, ты шел сейчас мимо хмыревского гаража... Рядом столб там стоит телеграфный — тебе не бросились в глаза никакие перемены?

– Перемены? – насторожился Лепихин и виновато развел руками: – Вот столба-то я и не заметил. Да ты скажи без всяких загадок – что случилось... и при чем тут столб?

– Скажу, – все так же загадочно кивнула Ирина. – Только сначала ты посмотри на него, чтобы своими глазами увидеть...

– Хорошо, – с готовностью отозвался Лепихин и ушел в дом, а минуту спустя подал голос: – Ну вот, смотрю! Столб как стоял, так и стоит на своем месте...

– А ты внимательнее посмотри, – посоветовала Ирина. – Столб ведь не сам по себе стоит, на нем провода...

– Провода? Вижу провода... О, теперь все ясно! – вдруг воскликнул весело и тотчас вернулся на веранду, посмеиваясь: – Что... электрики побывали в гостях у нашего соседа?

– Побывали.

– И достали, наконец, из-под земли все его «заморские» провода, пустив их, как и положено, по воздуху – от столба и прямо к дому? Культурно – и все налицо. Молодцы электрики!

– Отчасти это так, – подтвердила Ирина. – Проводку от столба к дому сделали электрики, но только после всего случившегося. Как это называется у нашего Андрея телепрограмма – «Постфактум»... Вот и электрики явились к месту происшествия, когда все страсти были уже позади.

– Замысловато немножко. Но главная-то суть в чем?

– А суть в том, что той ночью столб Хмыря был срублен.

– Как срублен... зачем? И кто мог это сделать...

– Не удивляйся, виновником объявили тебя.

– Меня-я?! – изумился и не поверил Лепихин. – Кому ж этот бред мог прийти в голову? Ну, да! Хмырю, конечно... – тут же и догадался.

– А кому ж еще, – кивнула Ирина. – Он в то утро ворвался сюда, дверь нараспашку и прет на меня, кулаки сжаты, морда красная, глаза бешеные... «Вы что тут натворили на нашей усадьбе! – заорал еще от порога. – Где сам? Ах, в городе... Что, следы замечает? Да мы с вас за это три шкуры...» А я понять ничего не могу. Он меня чуть ли не за руки хватает и тащит за собой: «Идем-идем, покажу, носом ткну в то,

что вы натворили...» Картина и в самом деле жуткая. Столб валяется в стороне, щепы вокруг, провода выдраны из-под земли, порваны и порублены... «Вот ваша работа!» — орет он вовсю, не может остановиться. Ну, думаю, сейчас весь поселок поднимет. Смотрю, и вправду, идет прямо к нам фермерша Галина, спокойная и уверенная, как всегда; подошла, поздоровалась, сказала: «Ну, что тут за шум, а драки нет?» Хмырь аж передернулся: «А драка еще впереди! Вот полюбуйся, — взывал он к ее сочувствию, — что учинили они, соседи мои ближайшие, — и глянул так на меня, будто кипятком ошпарил. — Да я сегодня же передам в суд встречный иск... головой мне ответят!» — пригрозил. «А ты уверен, что сделали это они?» — спросила Галина. «Более чем уверен!» — прямо таки выпалил он, казалось, вложив в эти три слова всю свою накипевшую злобу. Галина внимательно посмотрела на него. «Тогда послушай меня, — чуть помедлила и спокойно сказала: — Столб этот срубил наш Филипп». Можешь себе представить возникшую паузу, этакую немую сцену в духе гоголевского «К нам едет ревизор» — стоим и молчим. Наконец, Хмырев, глядя куда-то в сторону, спрашивает: «Зачем он это сделал?» — вопрос явно был обращен к Галине. «Об этом надо спросить самого Филиппа, — все так же спокойно сказала она. — Хотя делать этого я не советую». — «А что я должен делать?» — мрачно озаботился Хмырев. Разговор между ними назревал явно непростой. Я с облегчением поняла, что моя миссия в этой «столбовой» передряге полностью исчерпана, благодарно тронула руку Галины и удалилась в свои палаты. О чем они там говорили и договаривались, я не знаю. Однако столб в тот же день восстановили. И сделано это было стараниями самой Галины, поскольку ее брат заварил эту кашу.

— Да, крутая история, — покачал головой Лепихин и не без сочувствия поинтересовался: — А что Филипп, сидит, небось, теперь за свою провинность взаперти?

— Филиппа увезли в Боровиху, — сказала Ирина. — Там же что-то вроде профилактория для таких увечных людей, что и Филипп, вот оттуда по вызову Галины и прибежал скоренько

крытый фургончик, усадили Филиппа в него и уехали... Подальше от греха! — добавила с усмешкой.

Однако Лепихин вполне серьезно, без всякой иронии отнесся к этой неминуемой «экзекуции»:

— Вот так и страдают люди за правду, — сказал он. — А Филипп не столь увечный, сколь глубоко скрытый от нас и слишком остро воспринимающий всякое зло и несправедливость, чего нам, простым умникам, зачастую недостает... Жаль Филиппа! — вздохнул и улыбнулся одновременно: — А я только что, идя от станции, встретил его собаку, Лохматую, вид у нее потерянный, прямо-таки несчастный, вся в репьях... Теперь-то мне понятна ее неухоженность.

— Галина говорила, что Филипп щеночком принес ее в дом, выкормил, вырастил, вот она и тоскует теперь, когда его нет... — пояснила Ирина. И вдруг, как бы разом обрывая эту историю, оживилась: — А вот и наши грибники с полными лукошками...

И почти в тот же миг дверь распахнулась, вошел Андрей, увидел отца и, руки раскинув, двинулся к нему:

— О-о, злостный порубщик телеграфных столбов явился! Полина, где ты там? — поторопил жену. — Готовь мангал! Объявляем в честь такого события шашлычный день...

И закрутилось! Лепихин чистил и сортировал грибы для сушки — и тут ему не было равных, он эти операции знал назубок; Андрей, будучи несравненным истопником, уже заготовил аккуратно колотых чурочек, поставил мангал на бетонный подиум близ пожогочной ямы, за баней, и разводил в нем топку — запахло сладковатым березовым дымком; Полине доверена более важная часть работы — сотворение шашлыков, то бишь уже нанизанных на металлические шампуры добротных кусочков телятины, тщательно обработанных и сдобренных всевозможными добавками — тут вам и перчик молотый, и мелко нарезанный лук, и лимонный сок либо уксус пахучий, можно и в сухариках мясо обвалить, а затем выдержать пару часиков в холодильнике...

И, наконец, появляется Поля, держа перед собой довольно широкий противень с большой и прямо-таки живописно уложенной горкой загодя изготовленных ею шашлыков.

— А вот и мы! — торжественно объявляет, ставя противень на низкий столик — все под рукой. — Как там у нас с уголочками?

— Малость придется повременить, добавим еще жару, — спокойно ответил Андрей.

Неторопливо, как бы между делом, подошел Лепихин, увидел, а может, учуял шашлычную горку на противне и не сдержал восторга:

— Боже, какой роскошный натюрморт! Нет-нет, я давно заметил: настоящий художник во всем художник, — сказал и хитро глянул на Полину, та сдержанно улыбалась:

— Ну, Сергей Леонидович, насчет «настоящего» художника вы явно переборщили — да я ведь и художественное училище окончила с педагогическим уклоном.

— Это не имеет значения, — сказал он твердо. — Ты отменная рисовальщица, вон как чудесно и точно сделала Дашин портрет. Когда он был на выставке, я дважды специально заходил в музей и любовался «Дашей». Хотя до этого портрет больше двух лет висел в моем кабинете...

— Угли готовы! — объявил Андрей, прерывая ненужные разговоры. — Закладываем шашлыки...

Славный денек выдался! Солнечно было, тепло и сухо — середина приобской осени. А главное — не шибко часто удавалось собраться так вот всем вместе. И шашлыки получились отменные. Но в момент расчудесной этой трапезы Ирина Григорьевна вдруг вздохнула и посетовала:

— Сейчас бы Дашу сюда — и вся семья в сборе!

— Так в чем же дело, — мигом вскинулся Андрей. — Давайте мы ей дозвонимся.

— Как? Даша ведь где-то в экспедиции.

— Это не проблема, — заверил он и сам, похоже, загорелся уже не на шутку, держа в руках заморский свой всеслышащий и даже всевидящий чудо-смартфон; поколдовал там что-то, тыча пальцем, секунду-другую прислушивался и, не повышая голоса, спокойно сказал: — Алло! Даша, привет. И где я тебя застал? Небось, отложив лопаты, отдыхаете сегодня? Ах, в палатке... Так тебе, наверное, неудобно там разговаривать... Не

помешаешь соседям? — Даша что-то ответила, он секунду помедлил и засмеялся: — Понятно! Да-да, теперь понятно... Оказывается, и в экспедициях палатки не только общие, но есть и одноместные, а может, и люксы имеются? — шутиливо съехидничал. — Вот так и отрываются от народа... — и разговор этот казался таким обыденным, будто встретились отец с дочкой в давно знакомом проулке, близ дома родного, а не за многие тысячи верст друг от друга — отец в Приобье, на станции Лесная, а дочь где-то аж на самом дальнем востоке Китая, в районе Циндао, на берегу Желтого моря... И запросто общаются: — Ну, как у тебя? Все нормально? Раскопки интересные? А тут вот бабуля, дед и все остальные жаждут поговорить и увидеть тебя воочию... Выше голову! — упредин, посмеиваясь. — Включаю видеомонитор.

И буквально в тот же миг на экране чудо-телефона возникло милое, чуть напряженное Дашино лицо. Бабушка охнула от неожиданности, но тотчас объявила, что выглядит Даша куда как хорошо... очень даже славно! Дед попытался вставить нечто более серьезное и деловое, связанное с экспедицией Дарьи Лепихиной, но бабуля Ира уже взяла вожжи в свои руки... Говорили наперебой, довольно весело и бурно, скорее даже сумбурно; много смеялись, подшучивая друг над другом; говорили долго и, кажется, обо всем; а когда закончили разговор — оказалось, ни о чем серьезном вроде и не было сказано-спрошено, все как бы поверху проскочило...

Однако никому и в голову не пришло сожалеть, испытывая чувство какой-либо недосказанности, всем и все было ясно, понятно и видно насквозь: Даша спокойна, уверена в себе, любит свою работу, живет ею сполна и преуспела за эти годы немало... А что еще и желать человеку?!

... Вот такой славной выдалась та суббота. И завершилась хорошей баней. Натопили крепенько — аж за девяносто градусов! И в первый жар, как и положено, пошли мужики. Да в обнимку с березовым веничком... И напарились, нахлестались от всей души, что было уже вершиной всех земных благ, можно сказать, праздничным омовением...

А наутро, после завтрака, выйдя из-за стола и немного поколебавшись, Андрей сказал, что сегодня надо бы пораньше вернуться в город. Ирина Григорьевна удивленно глянула на сына: и зачем такая спешка – сегодня ж воскресенье? Андрей кивнул: помнит, мол, что воскресенье, но завтра, в понедельник, у него, как всегда, запись программной передачи «Ваш ход», приглашены ректоры трех заглавных приобских вузов, разговор предстоит очень важный, и ему (как ведущему) необходимо кое-что уточнить, загодя подготовить, одним словом, подбить бабки, – улыбнулся он матери. Она лишь руками развела: надо – значит, надо! Но тут и Лепихин-старший подал голос: вы, говорит, поезжайте, а я останусь. Как останешься?! – смотрят на него изумленно. – Завтра ж у тебя такой ответственный день... Знаю, – соглашается он. – Однако не беспокойтесь, к пятнадцати ноль-ноль буду, как штык, на месте. Повестка у меня в кармане... – обнадежил, посмеиваясь.

На том и порешили. После обеда спешно собрались. Попрощались нежно – Ирина, Полина... Андрей подошел последним, обнял отца за плечи, прижавшись щекой к щеке, как бывало когда-то в далеком детстве, и доверительно тихо сказал: «Ну... доживем до понедельника?! Не скучай».

Лепихин помахал им рукой – и остался один. Постоял, как бы привыкая к враз наступившей тишине и придумывая, чем бы дальше заняться, вздохнул и буркнул себе под нос: «Доживем до понедельника, а там поглядим». Послonyaлся по ограде туда-сюда, словно потеряв самого себя, не поленился сходить и в дальний угол усадьбы, где почти вплотную к забору стоял кривобокий, наполовину крашенный (видать, на другую половину краски не хватило!) железный гараж Хмыря; и тут же, рядом, высился тот злополучный телеграфный столб, который накануне был срублен Филиппом, чтобы лампочки и у Хмыря не горели, как объяснял сам порубщик, пытавшийся так или иначе восстановить справедливость. Теперь и его, искателя правды, увезли в Боровиху, где он там, в знакомой уже обстановке, гостевал не впервые.

А срубленный столб в тот же день подняли и воздели еще выше, зажав между двумя рельсами, вбитыми в землю, и стя-

нув напрочь стальными обручами. Укрепляется мужик! — не без грустной иронии подумал Лепихин. И тотчас неотлучный его «двойник» напомнил о себе: «Выходит, ложь сильнее правды?» — спросил он с явную подковыркой. «Правда всегда одна, а ложь многолика», — помедлив, отозвался Лепихин. «Значит, вся сила нынешней лжи в ее многоликости?» — как бы с другой стороны зашел «двойник». «И слабость ее в этой же многоликости», — ответил Лепихин. — Ты замечал? Когда правда и ложь сталкиваются лоб в лоб — последней приходится туго, и она зачастую пасует...» — «Да, но мне и другое знакомо, — гнул свое упрямый «двойник». — Когда ложь припрут к стенке, она тут же отыскивает и находит иные ходы, более изощренные и наглые... Вот и растолкуй: откуда она берется, эта несусветно жуткая зараза, из каких грязных источников вытекает и разрастается до пределов прямо-таки вселенских, если не космических?» Лепихин, выслушав пылкую эту тираду, ответил коротко: «Откуда, говоришь, берется? А вот отсюда... от этого столба», — сказал он и, круто повернувшись, двинулся в сторону своего дома; в ушах от волнения слегка позванивало... Однако, пройдя немного, он уловил и, кажется, понял: звон доносился откуда-то издалека. Лепихин, замедлив шаги, прислушался. Вот опять где-то, не так уж и далеко, в глубине леса несколько раз кряду обрывисто-сдвоенно и глухо брякнуло, будто корабельная рында отбила склянки... И тут же, почти без паузы, неким тонким подголоском отозвался колокольчик. Что это? — не мог понять Лепихин. Остановился подле ворот, выходящих к лесу, минуту подождал. Снова брякнуло раз и другой, но теперь уже более громко и отчетливо и мигом колокольчик исполнил свою партию. «Странно, — вслух подумал Лепихин и неожиданно решил: — Пойду-ка прогуляюсь... давно не был в лесу», — так поманили его эти загадочные перезвоны.

Сразу же от ворот по накатанной автомобильной колее он прошел метров двести вдоль согры, одолел некрутой ложок и враз оказался в затишно-густом и по-осеннему пестром лесу. Позади осталась согра, слева в полусотне метров шла асфаль-

товая дорога к санаторию «Березовая роща» — оттуда время от времени и доносились странные перезвоны, хотя Лепихин, как ему казалось, и успел уже распознать в их глухом и отрывистом бряканье басовитый голос железного ботала... Туда и держал курс! Шел не спеша, иногда чуть ли не спотыкаясь о попадавшие под ноги запоздалые осенние грибы; осторожно обходил их и вздыхал сожалеюще: извините, мол, братцы, но взять вас не могу — экипировка сегодня не та, а в карманы гриб не усадишь, — разговаривал как с равными.

Вот в этот момент, пройдя еще немного, и ощутил перед глазами какое-то непонятное колебание, что-то застить стало, как будто дымкой затягивало — и вдруг сплошная серая масса беззвучно и невесомо обрушилась сверху, разом окутав и поглотив мглой все окружающее пространство... Ни зги! Лепихин остановился в растерянности — что делать, куда идти?.. Такого неожиданного и плотного тумана он в жизни своей не знал. Можно было на трассу — она слева, но он уже покружил изрядно — и теперь неведомо, где лево, а где право... И перезвоны затихли — всякая ориентировка пропала.

Лепихин шагнул туда, сюда... Что-то хрупкое попало под ноги, обдав знакомым запахом... Ну вот, раздавил грибы! Мрак несусветный. Ау, человек заблудился! — не то подумал, не то сказал вслух. И тут как всегда, кстати, подал голос его неугомонный «двойник».

— Человека заблудшего можно найти, — сказал он. — А вот если все человечество настигнет такая тьма, кто его выручит?

Лепихин, помедлив, сказал тихо: «Мир не без добрых начал. Думаю, выпутаемся и выйдем из этой тьмы».

Вот в этот миг и раздались совсем близко бряканье медного борота и тоненький звон колокольчика... И Лепихин вдруг почувствовал, как распадается, редет перед глазами серая мгла. И прямо перед собой, шагах в десяти, увидел пасшихся рыжую кобылицу и маленького жеребенка с колокольчиком на шее.

«Жеребенок в траве! — невольно вырвалось у него.

— Ну, вот и рассвет наступил, — сказал он. — Значит, будем жить!

Лепихин вернулся на дачу и лег спать пораньше, чтобы завтра пораньше встать. Предстояли дела непростые. Затих уже, задремал, когда неусыпный его «двойник» тихонько спросил:

– Скажи, ты доволен своей жизнью?

Вопрос был слишком значимый, но Лепихин ответил сразу, почти без раздумий:

– Доволен.

– А почему?

– Потому что это моя жизнь. И другой мне не дано. Ну все, все... отбой. Надо хорошо отдохнуть, выспаться, быть в форме...
– проговорил уже в полудреме. Завтра Судный день!

Библиографический список

1. Цветы на камнях : рассказы / И. Кудинов. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1961. — 132 с. : ил. — Содерж.: разделы : Лесной царь ; Цветы на камнях.

2. Покушение ; Городская жизнь : повести / И. Кудинов ; [ил.: Б. Лупачев]. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1969. — 132 с. : ил.

3. Подлипка течет в океан : маленькая повесть : [для сред. шк. возраста] / И. Кудинов. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1971. — 35 с. : ил.

4. Хлебозары ; Федькин воз : повести и рассказы / И. Кудинов. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1972. — 355 с. : портр. — Содерж.: повести : Хлебозары ; Федькин воз (На земле) ; Белая Картошка ; рассказы : Бухон ; Икона ; Тески.

5. Сосны, освещенные солнцем : повесть о художнике Шишкине / И. Кудинов ; оформление худож. В. Раменского. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1973. — 142 с. : ил. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1973. — 142 с. : ил.

6. Окраина : роман / И. Кудинов. — Москва : Современник, 1980. — 381 с. : ил. — (Новинки «Современника»).

7. Стихия : роман / И. Кудинов ; [вступ. ст. Н. Яновского]. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1984. — 256 с. : ил. — (Библиотека сибирского романа).

8. Переворот : роман / И. Кудинов. — Москва : Современник, 1990. — 415 с.

9. Избранное / И. Кудинов ; [вступ. ст. Н. Яновского]. — Барнаул : Алт. полигр. комбинат, 2000. — 416 с. : портр. — (Библиотека «Писатели Алтая» ; т. 4). — Содерж.: повести : Каракорум ; Шесть дней в июне ; Год жизни.

10. Яблоко Невтона : повести / И. П. Кудинов. — Барнаул : [б. и.], 2003. — 352 с. — (Библиотека журнала «Алтай»). — Содерж.: Яблоко Невтона ; Сосны, освещенные солнцем.

11. Последняя любовь : повести, рассказы, эссе / Иван Кудин. — Барнаул : Алт. полигр. комбинат, 2006. — 448 с. : портр. — Содерж.: повести : Не сама машина ходит ; Покушение ; Федькин воз ; рассказы : Бухон ; Икона ; Белая картошка ; Туески ; эссе : Последняя любовь ; Катунский пленник ; Соседи по времени ; Пожогочная яма.



Литературное
наследие
Алтая

И. П. Кудинов

Русский остров
История одной жизни
Том II

Редактор: С. А. Мансков
Художник: К. М. Паршина
Корректор: И. Б. Прохорова
Верстка: И. А. Климашина
Арт-директор: А. Н. Шелепов



Подписано в печать 12.10.2022
Формат 84x108/32.
Печать офсетная. Бумага мелованная.
Тираж 1500 экз. Заказ 380.
Отпечатано в типографии ООО «АЗБУКА»
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а
тел. 62-91-03, 62-77-25
E-mail: azbuka@dsmail.ru







Литературное
наследие
Алтая



2
И.К.